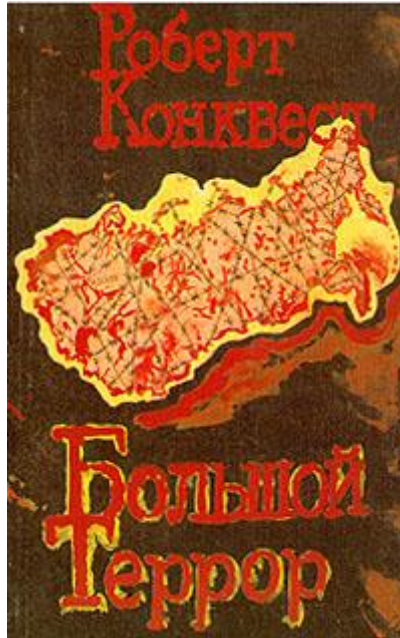


Роберт Конквест

Большой террор. Книга 1.



Издательство: Ракстниекс, 1991 г., 416 стр.
Перевод с английского Л. Владимирова
Художник В. Решетов
© Robert Conquest, 1968 © «Ракстниекс», 1991

Исторические интересы Роберта Конквеста всегда относились к двадцатому веку. Не изменяет он себе и в новой трилогии. Понимая долг историка-исследователя как "реставрацию прошлого во всех подробностях", Конквест проделал гигантскую работу, документально восстановив период двадцатых-тридцатых годов. Даже тех, кто был в ту пору взрослым человеком, ожидает в книге не мало сюрпризов. А для современной молодежи многое в книге "Большой террор", да и в последующих частях трилогии, окажется подлинным откровением.

Книга посвящена исследованию причин, внутренней логики и масштабов террора, организованного Сталиным в 30-х годах 20-го века. В основе исследования огромное количество печатных источников: документов Советского государства и коммунистической партии СССР, советских газет, воспоминаний самых разных людей, книг других историков.

Численные оценки жертв террора, сделанные Р. Конквестом, часто оспариваются. Однако важнейшая часть книги — это не два-три числа, полученные методом грубой оценки и подвергаемые сомнению, это подробное отслеживание трагических событий 30-х. Событий, в полной мере подтвержденных документально.

Оглавление

РОБЕРТ КОНКВЕСТ БОЛЬШОЙ ТЕРРОР I
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
ВСТУПЛЕНИЕ. ПРИЧИНЫ, КОРНИ, ИСТОКИ
ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ
СТАЛИНСКАЯ РАСПРАВА С «ЛЕВЫМИ»
«ВЕРНЫЕ И ПРЕДАННЫЕ»
ПОРАЖЕНИЕ «ПРАВЫХ»
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОН ГОТОВИТСЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ. ДЕКАБРЬ, 1934
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОРГАНИЗАТОР И ВДОХНОВИТЕЛЬ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПРИЗНАНИЯ
ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ИТАК, «ЦЕНТР»
СМЕРТЬ ГОРЬКОГО
ПЕРВАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ
СУД НАЧИНАЕТСЯ
ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ
СТЕПЕНЬ ПРАВДОПОДОБИЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЧТО ОЗНАЧАЛИ ПРИЗНАНИЯ
ПАРТИЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ
ПЫТКИ
КОНВЕЙЕР
ДОЛГИЙ ЦИКЛ
ЗАЛОЖНИКИ
ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ
ГЛАВА ШЕСТАЯ. У ПОСЛЕДНЕГО БАРЬЕРА
ОСЕННИЕ МАНЕВРЫ
«ВРЕДИТЕЛИ» В СИБИРИ
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ПАРАЛИЧ СЕРДЦА
ФЕВРАЛЬСКО-МАРТОВСКИЙ ПОЕДИНОК
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ИЮНЬ
ПАРТНЕРЫ-ПРОТИВНИКИ
1937–1938
«САМЫЕ ДОВЕРЕННЫЕ»
КОМАНДИРЫ СУХОПУТНЫЕ
ШТОРМВОФЛОТЕ
ВТОРОЙ КРУГ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПОД КОРЕНЬ
ДЕЛА ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
В РЕСПУБЛИКАХ
УКРАИНСКАЯ ГЛАВА
В ЦЕНТРЕ
НА САМОЙ ВЕРШИНЕ

Роберт Конквест родился в 1917 году, образование получил в колледже г. Оксфорда. Во время второй мировой войны он служил в английской пехоте и закончил войну в войсках взаимодействия с Советской Армией на Балканах. Затем он работал в Софии в качестве сотрудника Министерства иностранных дел и в Организации Объединенных Наций. За свои заслуги Р. Конквест был награжден Орденом Британской Империи. С 1956 года Р. Конквест занимался исследовательской деятельностью в Школе экономики в Лондоне, читал лекции по английской литературе в Университете г. Баффало, работал литературным редактором в журнале *Spectator* и старшим преподавателем в Институте по изучению России при Колумбийском университете. Среди книг, написанных Р. Конквестом, можно назвать следующие: *Power and Policy in the USSR, Russia Since Khrushchev, Courage of Genius: The Pasternak Affair, The Nation Killers*. Р. Конквест является также автором нескольких научно-фантастических произведений, критических работ и трех сборников стихотворений.^[1]

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Я писал эту книгу не для русского читателя. И потому вы, конечно, обнаружите много мест, где автор пытается растолковать совершенно ясные вам обстоятельства. Но объяснения эти нужны западному читателю, не имеющему опыта сталинщины.

Дело в том, что людям всего мира чрезвычайно важно понять — точно и ясно — истинную природу того периода. Правление Сталина представляет собой один из важнейших эпизодов современной истории; если суть его не усвоена, то нельзя понять до конца, как вообще устроен современный мир, ибо невозможно познавать мир без изучения крупнейшей его части.

На Западе опубликовано много книг, описывающих те или иные стороны сталинизма. Моя книга, однако, — первая попытка дать полный и общий отчет о событиях определенных лет. По-видимому, книга, действительно, заполнила серьезный пробел, ибо она быстро вышла на всех главных языках Европы, Америки, Африки и Азии.

Русский читатель воспримет эту книгу не так, как западный. Ибо в принципе для вас здесь не будет ничего нового. По многим эпизодам осведомленность некоторых русских читателей, несомненно, превышает мою. И тем не менее, друзья из Москвы единодушно говорят мне, что полный отчет о второй половине тридцатых годов в СССР — это откровение для советского гражданина.

Кроме того, у меня есть ощущение, что предлагаемая летопись событий убедит тех, кто выжил после террора: их страдания не забыты, не вычеркнуты из памяти человечества (а ведь они могут думать и так).

Каждого, кто любит русский народ, глубоко трогает его трагическая история. Страна, столь богатая талантами, столь многообещающая, столь щедро одарившая мировую культуру, перенесла тяжкие муки без всяких реальных причин. Если не верить ни в какие якобы «научные» теории исторического процесса (а я не верю ни в одну из них), то создается впечатление, что России много раз подряд просто не везло, когда на поворотах истории события могли пойти иным, гораздо лучшим курсом.

Но правда и человечность, как бы свирепо они ни подавлялись, так и не вытоптаны до конца. Во всех уголках мира люди доброй воли с надеждой смотрят вперед. И мне хотелось бы, чтобы русский читатель принял эту книгу как скромный вклад в фонд правды, как перечень фактов, вынесенных на обсуждение человечества.

Конечно, было бы куда лучше, если бы история того периода была написана советским специалистом. Я хорошо понимаю трудности, встающие перед иностранцем в такой работе. К несчастью, однако, при нынешнем положении дел объективное исследование периода и серьезные публикации о нем могут быть предприняты только вне пределов Советского Союза.

РОБЕРТ КОНКВЕСТ

Лондон, июль 1971.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Английский писатель Роберт Конквест — один из самых удивительных литераторов современности. Автор трех поэтических сборников, романа и повести, Конквест написал еще шесть больших исторических исследований! Есть поклонники поэзии, даже не подозревающие о Конквесте-историке; есть ученые, готовые рассмеяться при мысли о том, что их коллега историк Роберт Конквест пишет стихи. Но замечательная особенность писателя в том, что ни в его поэзии, ни в прозе, ни в научных работах нет и тени дилетантства — он поистине профессионал, и талантливый профессионал, во всех этих далеких одна от другой областях литературы.

Исторические интересы Роберта Конквеста всегда относились к двадцатому веку. Не изменяет он себе и в новой трилогии. Понимая долг историка-исследователя как «реставрацию прошлого во всех подробностях», Конквест проделал гигантскую работу, документально восстановив период двадцатых-тридцатых годов. Даже тех, кто был в ту пору взрослым человеком (сам Р. Конквест, кстати сказать, был лишь ребенком и юношей), ожидает в книге немало сюрпризов. А для современной молодежи многое в книге «Большой террор», да и в последующих частях трилогии, окажется подлинным откровением.

Переводя книгу Р. Конквеста «Большой террор», я старался держаться возможно ближе к оригиналу и позволял себе заменять лишь отдельные понятия, давая их в той форме, какая принята в СССР. Если это и не лучший метод литературного перевода, то, во всяком случае, я утешаюсь тем, что русский читатель не утратит при чтении ни одного важного нюанса книги Конквеста.

Л. ВЛАДИМИРОВ

ВСТУПЛЕНИЕ. ПРИЧИНЫ, КОРНИ, ИСТОКИ

Средство, придуманное Лениным и Троцким — всеобщее подавление демократии — хуже самой болезни.

Роза Люксембург

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ

События середины 30-х годов не были внезапными и неожиданными. Они уходят корнями в советское прошлое. Было бы неверно утверждать, что террор — неизбежное следствие, вытекающее из самой природы советского общества и коммунистической партии. Он ведь сам по себе был средством для насильственных изменений того же общества и той же партии. Но, тем не менее, террор не мог быть развязан на ином фоне, чем характерный фон большевистского правления; и особые черты событий 30-х годов, чаще всего почти непонятные для западных умов, проистекают из особой традиции. Чтобы разобраться в основных идеях сталинского периода, в постепенной эволюции оппозиционеров, в самих признаниях на больших показательных судебных процессах, надо принять во внимание многое. Надо не столько изучить предшествующую историю советской власти, сколько разобраться в истории развития партии, в причинах консолидации ее руководства и роста влияния отдельных личностей, мотивах выступления различных фракций и в исключительности экономических и политических ситуаций тех лет.

26 мая 1922 года Ленин был разбит параличом. В значительной степени отрезанный от активной политической жизни, он обдумывал крупные недостатки, которые вдруг обнаружились в возглавленной им революции. Еще до болезни, обращаясь к делегатам X съезда партии в марте 1921 года, он указывал на «брожение и недовольство среди беспартийных рабочих»,^[2] а год спустя, на XI партконференции, понимая, что политическая власть неизбежно привлекает карьеристов, и чувствуя потребность объяснить низкие моральные качества многих членов партии, требовал строгого определения условий приема в партию, боясь, что в нее «пролезет опять масса швали».^[3] Ленин не уставал повторять, что в Советском государстве «бюрократическая язва есть»,^[4] что «мы переняли от царской России самое плохое, бюрократизм и обломовщину, от чего буквально задыхаемся, а умного перенять не сумели».^[5] А перед самой болезнью, в мае 1922 года, он отметил «в большинстве местных проверочных комиссий сведение местных и личных счетов на местах при осуществлении чистки партии» и говорил, что «мы живем в море беззаконности».^[6] К тому же времени относится и его замечание о том, что «не хватает культурности тому слою коммунистов, который управляет». У побежденной русской буржуазии «культура... мизерная, ничтожная, но все же она больше, чем у нас», т. е. чем у победивших эту буржуазию коммунистов.^[7] Ленин с возмущением нападал на безответственность и иждивенческие настроения и выдумал даже новые слова для характеристики хвастовства и лжи коммунистов: «комчванство», «комболтовня» и «комвранье».^[8]

В отсутствие Ленина его подчиненные действовали хуже чем когда-либо. До болезни его критические замечания носили более или менее случайный характер, они отпускались в перерывах его очень насыщенной политической и правительственной деятельности. Теперь же критика стала главной заботой Ленина. Он обнаружил, что Сталин, которому, как Генеральному секретарю, была вверена вся партийная машина с 1921 года, травил грузинскую партию. Эмиссар Сталина Серго Орджоникидзе однажды даже избил руководителя грузинских коммунистов Кобанидзе. Для Грузии, где население было сплошь антибольшевистским, где стремление к независимости было только что подавлено Красной Армией, Ленин предпочитал примирительную политику. Он возразил Сталину в резкой форме.

Как раз в это время Ленин составлял свое «Письмо к съезду», называемое его политическим «Завещанием» (см. приложение Б). В нем Ленин ясно дал понять, что, по его мнению, Сталин был наиболее способным руководителем Центрального Комитета после Троцкого, и критиковал его не так, как Троцкого (за чрезмерную самоуверенность и склонность чересчур увлекаться «чисто административной стороной дела»), а только за то, что «тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть». Ленин не был уверен в том, сумеет ли Сталин «всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью».^[9]

Через несколько дней, когда Сталин позволил себе грубость и угрозы по отношению к Крупской в связи с вмешательством Ленина в грузинские дела, Ленин добавил к «Завещанию» постскрипtum. Он рекомендовал снять Сталина с поста Генерального секретаря ввиду его грубости и капризности — что, однако, по мнению Ленина, «становится нетерпимым» только для этой конкретной должности.^[10] В целом же ленинские оговорки насчет Троцкого выглядят в «Завещании» более серьезными — особенно в том, что касается собственно политики и потенциальных возможностей Троцкого, в котором Ленин видел скорее администратора-исполнителя, чем будущего вождя.

«Завещание» составлено Лениным явно в расчете на то, чтобы избежать раскола между Троцким и Сталиным. Но предложенное в «Завещании» решение — увеличить число членов Центрального Комитета — помочь не могло. В своих последних статьях Ленин продолжал нападать на «бюрократические извращения»,^[11] говорил об «отвратительном» состоянии государственного аппарата^[12] и с горечью заключал: «нам тоже не хватает цивилизации для того, чтобы перейти непосредственно к социализму, хотя мы и имеем для этого политические предпосылки».^[13]

«Политические предпосылки...» Но ведь на практике Ленин сильнее всего критиковал именно действия руководителей партии и правительства. В предыдущие годы он сам создал систему руководства в виде централизованной партии, противостоящей, если необходимо, всем остальным общественным силам. Он создал партию нового типа, партию большевиков, централизованную и дисциплинированную в первую очередь. И он сохранил партию именно такой в 1917 году, когда перед его возвращением из эмиграции другие большевистские руководители стали на путь примирения с остальными революционными силами. Вряд ли можно сомневаться, что без Ленина социал-демократы объединились бы заново и заняли бы нормальное положение в государстве — как любое другое социал-демократическое движение. Вместо этого Ленин держал большевиков в полной изоляции, а потом пошел на захват однопартийной власти и власть эту захватил — опять вопреки сопротивлению многих своих последователей.

Из записей заседаний Петербургского комитета РСДРП[б], состоявшихся за две-три недели до Октябрьской революции 1917 года, ясно, что идея восстания была непопулярна: «боевого... настроения нет даже на заводах и в казармах»^[14] и намечается уже «разочарование масс в революции».^[15] Даже доклады из большинства гарнизонов звучали весьма сдержанно. Резолюция заседания ЦК РСДРП[б] 10/23 октября 1917 года перечисляет события «в связи с крестьянским восстанием и с поворотом народного доверия к нашей партии» и прибавляет, что «все это ставит на очередь дня вооруженное восстание».^[16] Сам захват власти был почти целиком военной операцией, выполненной небольшими группами красногвардейцев, лишь частично с фабрик, и несколько более многочисленной группой солдат, распропагандированных большевиками. Рабочие массы оставались в стороне.

А после этого и на протяжении всей последующей гражданской войны незначительное в сущности число храбрых и дисциплинированных «товарищей» (* Деятельное ядро партии в момент Октябрьской революции состояло приблизительно из 5000-10 000 человек, из коих треть принадлежала к интеллигенции.^[17] —сноска внизу страницы) сумело навязать России свою волю — вопреки представителям всех других политических и общественных направлений. Эти люди определенно знали, что будут немедленно уничтожены, если не победят. Среди них «старые большевики» обладали особым престижем как опытные подпольщики; вокруг них как создателей именно такой партии сложился ореол особой

дальновидности и мудрости. Дореволюционная подпольная деятельность порождала партийные мифы и являлась источником руководящих партийных кадров до самой середины 30-х годов. Но важнейшей силой, которая выковала партийную солидарность, была гражданская война — борьба за власть. В ходе гражданской войны новая массовая партия превратилась в крепкий и испытанный механизм, в котором выше всего стояла беззаветная преданность участников.

Однако по окончании гражданской войны стало расти влияние меньшевиков и социалистов-революционеров (эсеров). Рядовые члены профсоюзов отворачивались от большевиков, а «широкие рабочие массы», по словам Радека, от большевиков уже «отшатнулись».^[18] И когда провал попытки навязать строгий государственный контроль над экономикой стал очевидным, Ленин начал понимать, что вести такую линию дальше означало катастрофу. Он решился на экономическое отступление — на новую экономическую политику. Но признание большевиками ошибок немедленно открыло дорогу умеренным партиям, к которым примыкало все больше рабочих. Эти партии могли претендовать на политическую власть.

В мае 1921 года, на X партийной конференции, выступил Карл Радек. Он более откровенно, чем Ленин, поставил точки над *i*. Радек объяснил, что если при нынешней политике коммунистов предоставить меньшевикам свободу действий, то они потребуют политической власти; а допустить свободную деятельность эсэров в то время, как громадные массы крестьянства настроены против коммунистов, означало бы самоубийство.^[19] Обе названные партии следовало либо полностью легализовать, либо окончательно подавить. Принято было, конечно, второе решение. Меньшевицкая партия, работавшая в условиях тяжелых притеснений, но все же целиком не запрещенная, была окончательно разгромлена. Потом настала очередь социалистов-революционеров, по которым смертельный удар был нанесен судебным процессом над их руководителями в 1922 году.

Очаги сопротивления возникали и внутри самой коммунистической партии — они в известной степени были связаны с мыслями и чувствами рабочих; таковы группа «демократических централистов», руководимая Сапроновым, и «рабочая оппозиция» под руководством Шляпникова.

Первая из них выступала за свободу дискуссий по крайней мере внутри партии; обе группы противились растущей бюрократизации. Однако (это часто случается с оппозиционными коммунистическими группами) Ленин оказался вправе задать Шляпникову и его сторонникам вопрос: почему они не были такими яркими противниками партийной бюрократии пока сами занимали руководящие посты?

На X съезде партии в 1921 году Ленин внезапно внес две резолюции, запрещающие формирование таких групп или «фракций» внутри партии. С этого момента органы безопасности взялись за подавление более радикальных оппозиционных групп, которые отказались подчиниться. Но вскоре председатель ВЧК Дзержинский обнаружил, что многие верные партийцы считали оппозиционеров своими товарищами и отказывались давать против них показания. Тогда Дзержинский потребовал от Политбюро официального решения о том, что долгом каждого члена партии является доносить на других членов партии, если они *замешаны* в агитации против руководства. Его поддержал Троцкий, заявивший, что, конечно, элементарная обязанность членов партии — разоблачать враждебные элементы во всех партийных организациях.

В конце 1922 года нелегальная группа «Рабочая Правда» начала распространять прокламации, осуждающие «новую буржуазию»; в прокламациях говорилось о «пропасти между партией и рабочими», о «нешадной эксплуатации рабочих». Авторы прокламаций добавляли, что класс, который должен был выполнять роль гегемона, был «фактически лишен даже самых элементарных политических прав».^[20]

Так оно и было. Подавив все оппозиционные партии и открыто отказав в каких-либо правах непролетарскому большинству, ведя классовую борьбу как бы от имени пролетариата, партия теперь вдруг оказалась накануне разрыва с самим пролетариатом. Это означало разрыв последнего звена, связывавшего партию с какой-либо лояльной народной прослойкой.

Когда в январе 1918 года было силой разогнано Учредительное собрание (большинство депутатов было антибольшевистским, и роспуск последовал немедленно после начала работы), Ленин открыто объявил: рабочие не подчинятся крестьянскому большинству.

Однако уже в 1919 году Ленин счел необходимым заметить: «Мы не признаем ни свободы, ни равенства, ни трудовой демократии, если они противоречат интересам освобождения труда от гнета капитала».^[21] Рабочий класс в целом уже считался ненадежным. Ленин настаивал, что «революционное насилие не может не проявляться и по отношению к шатким, невыдержанным элементам самой трудящейся массы».^[22] Правый коммунист Рязанов резко упрекнул за это Ленина. Рязанов спросил: «Если этот пролетариат все еще состоит в значительной части из шкурников, мелкобуржуазных или отставших элементов, то является вопрос, на что мы будем опираться?»^[23]

Ответ мог быть один: на партию как таковую, и только на нее. В начале 1921 года стало очевидным, что рабочие противостоят партии. Выступая перед курсантами военного училища, как свидетельствует учившийся в нем в то время А. Бармин, Карл Радек сказал совершенно ясно:

«Партия — это политически сознательный авангард рабочего класса. В настоящий момент терпение рабочих истощается и они отказываются следовать за авангардом, который ведет их на битвы и жертвы... Должны ли мы уступить протестам тех рабочих, которые уже не в силах терпеть, но которые не понимают своих подлинных интересов настолько, насколько их понимаем мы? В настоящий момент рабочие настроены откровенно реакционно. Но партия решила, что мы не должны уступать, что мы должны навязать свою волю к победе нашим измученным и павшим духом товарищам»^[24].

Кризис разразился в феврале 1921 года, когда волна забастовок и демонстраций охватила Петроград; высшей точкой кризиса стало мартовское восстание в морской крепости Кронштадт.

Кронштадтское восстание выявило, что партия окончательно противопоставила себя народу. В борьбу против матросов и рабочих бросились даже «демократические централисты» и «рабочая оппозиция». Когда дошло до открытого столкновения, то решающим моментом оказалась преданность партии.

Восставшие открыто боролись за идею свободного радикального социализма, за пролетарскую демократию. А с другой стороны оставалась только идея партии как таковой. Партия, существование которой уже не имело социальных оправданий, опиралась исключительно на догму, она стала примером секты в наиболее классическом смысле слова — сборищем фанатиков. Партия считала, что ни народная поддержка, ни поддержка пролетариата для нее уже необязательна, а необходима и достаточна лишь некая целеустремленность, способная в дальней перспективе оправдать что угодно.

Так развивалась партийная мистика — по мере того, как партия осознавала свою изоляцию. Вначале она «представляла» российский пролетариат. Даже когда этот пролетариат показывал признаки слабости, партия продолжала «представлять» его как авангард мирового пролетариата, с организациями которого она должна была слиться немедленно после мировой или европейской революции. Только когда оказалось, что революции на Западе так и не назрели, стало вполне очевидным, что в реальном мире партия не представляла никого или почти никого. Однако теперь считалось, что она представляла не столько русский пролетариат в его тогдашнем состоянии, сколько будущие и истинные интересы этого пролетариата. Существование партии оправдывалось уже не реальной действительностью, а своеобразным политическим пророчеством. Источники сплоченности, солидарности партии заключались теперь в ней самой, в мыслях и высказываниях ее руководителей.

Более того, внутри самой партии Ленин посеял все семена централизованного бюрократического распорядка. Задолго до того, как Сталин возглавил Секретариат, этот орган уже переводил партийных работников с одной должности на другую по политическим мотивам. Сапронов писал, что местные партийные комитеты превратились в назначаемые органы, а на IX съезде РКП[б] он решительно поставил перед Лениным вопрос: «кто же будет назначать ЦК?.. Очевидно мы до этого не дойдем, а если дойдем, то революция будет проиграна».^[25]

Воюя против демократических тенденций внутри коммунистической партии, Ленин фактически передал все бразды правления в руки высших механиков партийной машины. Именно вследствие этого партийный аппарат стал сперва самой мощной, а впоследствии и единственной силой внутри партии. Теперь на вопрос: кто будет управлять Россией? можно было ответить просто: тот, кто выиграет фракционную борьбу внутри узкого партийного руководства.

Кандидаты на власть уже объявились. Пока Ленин находился в стороне от дел, не в состоянии вполне оправиться от последнего приступа болезни, они схватились в первом раунде той борьбы, которая окончилась большим террором в 30-е годы.

СТАЛИНСКАЯ РАСПРАВА С «ЛЕВЫМИ»

Самые решительные схватки происходили в Политбюро. В последующие годы Троцкому, Зиновьеву, Каменеву, Бухарину, Рыкову и Томскому было суждено принять смерть от рук единственного оставшегося в живых члена Политбюро — Сталина. Но в то время, о котором идет речь, подобная развязка казалась невероятной.

Первым и потому наиболее опасным соперником Сталина был Троцкий. Именно на нем Сталин несколько лет концентрировал всю силу, всю невероятную мощь своей политической злобности. Если говорить о личных истоках большого террора, то их надо искать в раннем периоде советской власти, когда вся ненависть Сталина к соперникам была сосредоточена на Троцком — на человеке, который выглядел, по крайней мере для поверхностного наблюдателя, наиболее вероятным наследником Ленина, но который именно поэтому вызывал единодушную вражду всех членов высшего руководства.

С того времени, как Троцкий вернулся из эмиграции и стал представителем Петербургского совета во время революции 1905 года, его революционный послужной список был совершенно исключительным. Он пользовался европейской известностью. Однако внутри партии он не был так силен, как могло показаться по его репутации. До самого 1917 года он стоял в стороне от тесно организованной ленинской большевистской группы и вместе с несколькими сторонниками действовал как независимый революционер, хотя во многом сходилась и с меньшевиками. Его группа слилась с большевиками в июне 1917 года, и он сыграл решающую роль в захвате власти в ноябре того же года. Но большинство старых большевиков считало его чужаком. В то же время ему не хватало опыта в интригах, опыта, которого было предостаточно у старых большевиков, прошедших долгую и темную внутрипартийную борьбу. Троцкий же если и участвовал в этой борьбе, то всегда старался лишь примирить враждующие стороны.

Кроме того, старые большевики считали Троцкого надменным, самонадеянным. Уважение, которого он заслуживал своим умом и талантом, выказывалось ему неохотно. Хотя у Троцкого было много горячих поклонников, он был способен отталкивать так же сильно, как и притягивать.

Троцкий пользовался частичной поддержкой Ленина и был несомненно вторым человеком в партии и государстве. Но в дальнейшем Ленин возражал против его политической линии. Со смертью Ленина Троцкий стал уязвим. Тем не менее, его положение, несмотря на некоторые изъяны, все еще оставалось прочным. Он имел серьезную поддержку не только со стороны многих влиятельных большевиков, но также со стороны студентов и молодых коммунистов.

В начале 20-х годов «левые», связанные с Троцким, выступали против Ленина по важным вопросам. Одним из таких вопросов была новая экономическая политика (НЭП). Объявив НЭП, Ленин спас страну от полной катастрофы и в то же время удержал власть партии — однако он сумел сделать это лишь за счет больших уступок «капитализму»: богатые крестьяне-собственники и оборотистые «нэпманы» действовали свободно и процветали. Для партийных блюстителей революционной «чистоты» все это было отвратительным святотатством.

В то время как Ленин предвидел очень долгий путь к тому, чтобы убедить независимое крестьянство принять какую-то форму коллективизации, левые желали немедленного, срочного

подавления крестьянства. Они часто не были особенно преданы Троцкому лично, однако держались взглядов — догматических или принципиальных, зависит, от точки зрения, — которые Троцкий олицетворял в начале 20-х годов, подобно Бухарину в 1918. Когда в 1928 году Сталин сам повернул «влево», большинство бывших троцкистов перестало поддерживать Троцкого.

В группу левых входил Пятаков — один из шести человек, названных по именам в «Завещании» Ленина. Ленин считал его, наряду с Бухариным, способнейшим из молодых. Рослый, благообразный человек с длинной, прямой бородой и высоким овальным лбом, Пятаков начал свою политическую карьеру как анархист, к большевикам он примкнул около 1910 года. Во время гражданской войны белые расстреляли его брата на Украине, а сам он лишь случайно избег той же участи. Пятакова любили не только за его способности, но и за скромность, за отсутствие честолюбия.

Другим ведущим «троцкистом» был Крестинский — член первого состава Политбюро, секретарь Центрального Комитета партии с момента революции до того времени, когда левые были отставлены Лениным от административной власти. В группу входили также: Раковский — привлекательный ветеран болгарского революционного движения, который фактически основал все революционные группы на Балканах; Преображенский — крупный теоретик создания промышленности за счет выжимания фондов из крестьянства, считавшийся в 1923-24 годах подлинным руководителем левых;^[26] умный и уродливый Радек, пришедший к большевикам из польской социал-демократической партии, возглавлявшейся Розой Люксембург, когда-то работавший также с германскими левыми социалистами. В революционном Берлине 1919 года Радек действовал с большой смелостью и ловкостью, был арестован, сидел в тюрьме. Однако в основном он был мастером подпольной интриги и политической игры, способным журналистом, острым сатириком. В партии его считали скорее неустойчивым, ненадежным, циничным болтуном, чем серьезным политиком; в последние годы своей жизни он полностью морально разложился.

Тем не менее в самом Политбюро Троцкий находился в изоляции. Важнейшим источником его силы был контроль над военным комиссариатом. Позже один старый троцкист высказал точку зрения, что Троцкий мог победить в 1923 году, если бы удержал свое положение в армии и лично обратился бы к партийным работникам в больших городах. Но, по мнению того же автора, Троцкий не сделал этого потому, что его победа наверняка означала бы раскол в Центральном Комитете, а он хотел избежать этого — хотел добиться победы путем переговоров.^[27]

Но Политбюро было не той ареной, на которой Троцкому следовало действовать. Как политик Троцкий оказался очень слаб.

Через много лет после убийства Троцкого, в 1958 году, английский автор Карр так сформулировал сильные и слабые стороны Троцкого:

«Выдающийся интеллектуал, крупный администратор, блестящий оратор — он не обладал одним качеством, необходимым, по крайней мере в условиях русской революции, большому политическому вождю. Троцкий умел зажечь массы, умел вызвать шумное одобрение людей и увлечь их за собой. Но среди равных себе у него не было таланта вождя. Он не умел создавать себе авторитет среди коллег — не обладал искусством терпеливого убеждения, не умел внимательно и с симпатией выслушивать мнения людей меньшего интеллектуального калибра. Он не мог выносить глупцов и его постоянно обвиняли в нетерпимом отношении к соперникам».^[28]

На партийных работников Троцкий производил впечатление своими широкими жестами и великолепными речами. Один из очевидцев его выступления отмечал:

«Как только Троцкий окончил речь, он ушел из зала. Никаких личных контактов в фойе, в коридорах. Полагаю, что эта уединенность частично объясняет неумение и нежелание Троцкого создавать окружение из лично преданных ему рядовых членов партии. Против интриг со стороны других партийных вождей — а этим интригам суждено было скоро умножиться —

Троцкий боролся только тем оружием, которым умел пользоваться: пером и ораторским искусством. Но даже за это оружие он взялся, когда уже было слишком поздно».^[29]

Кроме всего этого, роковую роль сыграла склонность Троцкого к позе, его убежденность в собственной победе благодаря личному превосходству над другими; он был уверен, что победит без того, чтобы опускаться до повседневных политических интриг. Югославский политический деятель Милован Джилас описал личность Троцкого в следующих точных словах: «Троцкий был превосходным оратором, блестящим, искусным в полемике писателем; он был образован, у него был острый ум; ему не хватало только одного: чувства действительности».^[30]

Сталин предпочитал не вести прямых и острых нападок на Троцкого — он предоставлял это своим соратникам. Более того, Сталин упорно держался умеренной линии. Когда Зиновьев и Каменев требовали исключить Троцкого из партии, Сталин не согласился с ними и Политбюро вынесло постановление «против обострения внутрипартийной борьбы», гласившее: «Будучи несогласным с товарищем Троцким в тех или других отдельных пунктах, политбюро в то же время отмечает, как злостный вымысел, предположение о том, будто в ЦК партии или в его политбюро есть хотя бы один товарищ, представляющий себе работу политбюро, ЦК и органов государственной власти без активнейшего участия товарища Троцкого».^[31]

Однако действия Сталина были гораздо более эффективны, чем слова его соратников. Возглавляемый Сталиным Секретариат организовал изоляцию главных сторонников Троцкого. Раковского послали работать в советское посольство в Лондоне, Крестинского отправили в Германию с дипломатической миссией, под разными предлогами отправили подальше и других троцкистов. В результате подобных мер Троцкий оказался в одиночестве, и против него легко было маневрировать без шума и неприятностей. Взгляды Троцкого, в то время уже расходившиеся с ленинскими, были официально осуждены, и к 1925 году стало возможным снять Троцкого с поста наркома по военным делам.

Теперь Сталин двинулся против своих бывших соратников Зиновьева и Каменева. Им обоим предстояло — лишь в чуть меньшей степени, чем самому Троцкому — стать главными «вражескими» фигурами в большом терроре.

Трудно найти автора, который писал бы о Зиновьеве иначе, как с неприязнью. На коммунистов и некоммунистов, оппозиционеров и сталинцев Зиновьев производил одинаковое впечатление пустого, малоспособного, наглого и трусливого ничтожества. Кроме самого Сталина, Зиновьев был единственным большевистским вождем, которого никак нельзя было назвать интеллигентом. Но в то же время он не обладал и никаким политическим чутьем. У него не было понимания экономических вопросов. Зиновьев был очень эффективным оратором, но в его речах было мало содержания и они лишь способны были временно возбуждать массы.

И вот такой человек некоторое время был руководящей фигурой в советском государстве перед смертью Ленина и после нее.

Он занял такое положение благодаря тому, что в период с 1909 по 1917 год был очень старательным личным секретарем и приспешником Ленина (часто слабо разбиравшегося в людях), фактически ближайшим учеником и сотрудником Ленина. Перед самой Октябрьской революцией и сразу после нее Зиновьев часто выступал против того, что считал рискованным в ленинской политике, в некоторых случаях подавал в отставку со своих постов. Но он всегда возвращался с повинной. И начиная с 1918 года опять безоговорочно следовал за Лениным.

Говорят, будто Ленин однажды сказал, что Зиновьев подражает даже его ошибкам.^[32] Тем не менее, Ленин простил Зиновьеву его слабость в 1917 году и вполне полагался на него, доверяя самые ответственные посты. И в то же время Ленин говорил, что Зиновьев становился смелым, когда опасность проходила. Свердлов называл Зиновьева «олицетворенной паникой».^[33] Надо, однако, отметить, что Зиновьев работал в подполье еще до того, как в 1908 году присоединился к Ленину за границей, а его поведение в оппозиции к Сталину, включая долгие периоды тюремного заключения, хоть и не было ни твердым, ни разумным, не было также и целиком трусливым.

При всех своих недостатках Зиновьев серьезно пытался достичь высшей власти, чего нельзя сказать ни о Троцком, ни о Бухарине без серьезных оговорок. Зиновьев создал в Ленинграде свою подлинную вотчину и вместе с Каменевым использовал все возможности, чтобы справиться со Сталиным. Однако можно лишь удивляться, что Каменев, человек с гораздо лучшей репутацией, все же работал в согласии с Зиновьевым много лет, фактически до самого момента их казни.

Каменев, подобно Сталину, мальчиком жил в Тбилиси и после окончания Тифлисской гимназии поехал изучать право в Москву. В начале нынешнего века он снова в Тифлисе, уже как представитель партии. В те годы Сталина мало кто знал. Еще студентом Каменев успел побывать в Бутырской тюрьме. После периода подпольной работы он уехал за границу и оставался там с 1908 по 1914 год в качестве ближайшего сотрудника Ленина после Зиновьева. Каменев не был таким безоговорочным последователем Ленина, как Зиновьев, он пытался достичь компромисса с меньшевиками, а позднее, в России, отмежевался от ленинской позиции пораженчества в первой мировой войне.

После Февральской революции 1917 года Каменев вместе со Сталиным вернулся из сибирской ссылки, и они выпустили совместную программу поддержки Временного правительства. Когда возвратившийся в Россию Ленин стал настаивать на более революционном подходе к Временному правительству, Каменев в одиночку продолжал сопротивляться. В октябре 1917 года он присоединился к Зиновьеву, возражавшему против захвата власти, чем навлек на себя сильнейший, хотя и недолгий гнев Ленина. С 1918 года Каменев полностью придерживался линии партии. Он не был честолюбив или тщеславен: он всегда был склонен к умеренности. Так или иначе, Каменев не обладал ни достаточной силой воли, ни достаточно сильными убеждениями, чтобы вести собственную линию на новом этапе.

Среди соратников Зиновьева и Каменева не было по-настоящему выдающихся личностей. Однако среди их последователей мы видим таких людей, как Лашевич (замнаркома по военным делам, умерший до начала террора), Г. Е. Евдокимов (секретарь Центрального Комитета партии) и много других влиятельных фигур. Более того, Зиновьев все еще был хозяином ленинградской организации, и эта организация единодушно голосовала против сталинского большинства. Таким образом создалась интересная картина: партийные организации, «представлявшие» рабочих Ленинграда и Москвы, единогласно принимали резолюции, осуждающие одна другую. Троцкий ехидно спрашивал: «В чем заключается социальное объяснение этого?»^[34]

И опять Сталин сумел выступить в роли умеренного. Он представил Зиновьева и Каменева как людей, желающих расправиться с большинством. Сталин произнес тогда слова, которые потом пришлось сильно изменить в более поздних изданиях его сочинений: «Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте». И дальше, критикуя платформу Зиновьева и Каменева: «Каков смысл этой платформы? Что это значит? Это значит, руководить партией без Рыкова, без Калинина, без Томского, без Молотова, без Бухарина... без указанных мной товарищей руководить партией невозможно».^[35]

Потерпев поражение, Зиновьев и Каменев, до того времени резко настроенные против Троцкого, теперь обратились к нему за поддержкой и сформировали «объединенную оппозицию». Вступив в блок с Троцким, Зиновьев и Каменев вынуждены были принять его левые взгляды на экономическую политику, а это немедленно объединило против них всех последователей ленинской линии, в особенности Бухарина и его сторонников. Как отмечает историк Борис Суварин, к 1926 году Троцкий «уже более или менее передал в руки Сталина всю власть из-за своей неспособности к предвидению, из-за своей выжидательной тактики, внезапно прерываемой непоследовательными вспышками, из-за своих ошибочных расчетов».^[36] Но решающей ошибкой Троцкого было, по мнению того же Суварина, формирование блока с Зиновьевым и Каменевым, — людьми, лишенными воли и авторитета, неспособными предложить ничего конкретного в противовес своей дурной репутации. Троцкий не понимал, чем к тому времени была партия, он не понимал самого существа стоявших перед ним проблем.

В апреле 1926 года из Секретариата ЦК был выведен Евдокимов — единственный оставшийся там сторонник Зиновьева. В июле из Политбюро был исключен сам Зиновьев — его заменил сталинец Рудзутак, — а в октябре один за другим изгнаны Троцкий и Каменев. В том же октябре оппозиция сдалась. Зиновьев, Каменев, Троцкий, Пятаков, Сокольников и Евдокимов «признали свои ошибки».^[371] Так началась серия саморазоблачений оппозиционеров, продолжавшаяся долгое время.

В 1927 году троцкистско-зиновьевский блок сделал еще одно, последнее усилие. Победенные и изолированные в руководящих партийных органах, троцкисты-зиновьевцы решили апеллировать к «партийным массам» и рабочим (эта мера свидетельствовала об их отрыве от реальности — массы были уже полностью инертны и отчуждены). Была организована нелегальная троцкистская типография и подготовлены демонстрации в Москве и Ленинграде.

Позже Мрачковский, Преображенский и Серебряков признали свою ответственность за организацию подпольной типографии. Они все были немедленно исключены из партии, а Мрачковский был арестован. Сталин придал всему этому делу особенно зловещий характер с помощью провокатора ГПУ, который давал показания как один из участников подпольной типографии и якобы «бывший врангелевский офицер» — что было чистой фальшивкой.

Демонстрации оппозиционеров 7 ноября 1927 года потерпели фиаско. Единственным результатом этих демонстраций было то, что 14 ноября Троцкого и Зиновьева исключили из партии, а Каменева, Раковского, Смилгу и Евдокимова — из Центрального Комитета. Их последователей повсюду выбрасывали из партийных организаций. Зиновьев и его последователи вновь отреклись от своих ошибок. Сторонники же Троцкого в тот момент держались твердо.

Нетрудно установить фактическое количество троцкистов и зиновьевцев к тому моменту. С отречениями и саморазоблачениями выступили 2500 оппозиционеров (после съезда 1927 года), а 1500 человек были исключены из партии. Ведущие троцкисты были отправлены в ссылку. В январе 1928 года в город Алма-Ата был выслан сам Троцкий. Раковский, Пятаков, Преображенский и другие «левые» отправились в изгнание в Сибирь и другие районы азиатской части страны.

16 декабря 1928 года Троцкий ответил отказом на предложение полностью прекратить политическую деятельность. И тогда Политбюро приняло решение о его высылке из СССР. Против этого решения выступали Бухарин, Томский, Рыков и, по-видимому, умеренный сталинец Куйбышев.

22 января 1929 года Троцкий был арестован и выслан в Турцию.

«ВЕРНЫЕ И ПРЕДАННЫЕ»

По мере того, как его соперники один за другим терпели поражение, Сталин продвигал новых людей, совсем иных по своим качествам. Ни один из этих новых не имел репутации теоретика; но при случае они могли изложить определенную линию с трибуны партийного съезда в обычной марксистской фразеологии, что до известной степени прикрывало их неспособность. Мало кто из них принадлежал к самому старшему партийному поколению. Но все они были старыми большевиками, отличавшимися упорством и склонностью к кропотливой, повседневной административной работе.

В числе этих новых были если не блестящие, то, во всяком случае, способные люди. Было естественно, например, что Молотов, лучший бюрократ России, стал на сталинскую платформу. В свое время Молотов редактировал «Правду», а в 1917 году был одним из руководителей подпольной большевистской группы в Петрограде. В 1921 году Молотов стал кандидатом в члены Политбюро, в следующем году к нему в том же качестве присоединился крутой администратор В. В. Куйбышев. Новая группа сталинцев пришла к власти в январе 1926 года.

Ворошилов, ставленник Сталина со времен гражданской войны, стал членом Политбюро; кандидатами в Политбюро стали Ян Рудзутак — латыш, олицетворявший собою несгибаемость старого подполья, — и Г. И. Петровский, в прошлом член Государственной Думы, а позднее исполнитель сталинской политики.

В том же 1926 году Рудзутака перевели из кандидатов в члены Политбюро — это случилось после исключения Зиновьева, — а состав кандидатов был усилен пятью новыми сталинцами: «Серго» Орджоникидзе, который был членом ЦК с довоенных времен, Сергеем Кировым, назначенным руководить ленинградской партийной организацией после разгрома зиновьевцев, Лазарем Кагановичем и Анастасом Микояном.

Орджоникидзе, которого Ленин предлагал исключить из партии на два года за его жестокость по отношению к грузинским коммунистам в 1922 году, был по профессии фельдшером. Необразованный ни в чем, кроме партийных дел, он производил на иностранцев впечатление симпатичного, но хитрого человека. Есть предположения, что Орджоникидзе участвовал в интригах вместе с Зиновьевым в 1925 году и вместе с Бухариным в 1928 — а потом последовательно предал и того и другого.^[38]

С другой стороны, колебания Орджоникидзе происходили скорее всего от его слабохарактерности, а не от злой воли. Он был не холодным и расчетливым, а темпераментным человеком. Он был готов принять Зиновьева и Каменева обратно в члены партии в 1927 году на лучших условиях, чем предлагал Сталин. Орджоникидзе говорил тогда о них как о людях, «которые немало пользы принесли нашей партии и не один год боролись в наших рядах»,^[39] и с горячностью отмежевался от наиболее тяжелых обвинений по адресу Троцкого.^[40] Орджоникидзе пользовался значительной популярностью в партии и в последующие годы оказывал на ее политику в какой-то мере смягчающее влияние.

Киров вступил в партию в Томске в 1904 году, 18-ти лет от роду. При царизме его четыре раза арестовывали и высылали. В момент Февральской революции 1917 года Киров руководил большевистской организацией во Владикавказе. Работа была типичной для подпольщика-боевика: не крупной по масштабу, но требующей большого напряжения.

Подобно Орджоникидзе, Киров тоже не обладал некоторыми худшими сталинскими чертами. Как и Орджоникидзе, он был довольно популярен в партии. Киров был русским по национальности, Сталин — нет. Кроме того, единственный среди всех сталинцев, Киров был очень убедительным оратором. Он неуклонно проводил сталинскую политику коллективизации и индустриализации, но, похоже, без того оттенка злобности, который характерен для Сталина и его ближайших соратников. Киров бывал беспощаден, однако он не был ни злодеем, ни раболепным исполнителем чужой воли.

Зарубежный коммунист, долго имевший дело с Кировым, вспоминает, что в его ленинградском кабинете не было и следов так называемого «революционного энтузиазма», а сам Киров «по своим высказываниям и методам руководства напоминал культурных высших чиновников, которых я знал в Брюнне».^[41]

Такие люди как Киров и Орджоникидзе, Рудзутак и Куйбышев, чьи судьбы позже стали важными вехами и в то же время препятствиями на пути большого террора, — такие люди были сторонниками и союзниками Сталина, но не безусловно преданными ему фанатиками. Они просто не замечали логических тенденций сталинской политики, не могли представить себе всех темных и мрачных возможностей сталинской личности. То же можно сказать и о Владе Чубаре, кандидате в члены Политбюро с ноября 1926 года, и о С. В. Косиоре, вошедшем в Политбюро в следующем году. Оба они были большевиками с 1907 года, оба рабочего происхождения.

В начале 30-х годов говорили, будто Сталин однажды сказал Ягоде, что предпочитает людей, поддерживающих его из страха, а не по убеждениям, ибо убеждения могут меняться.^[42] Когда доходило до дела, Сталин не мог быть уверен, что сторонники по убеждению поддержат его решительно во всем. И он расправлялся с ними столь же беспощадно, как с оппозиционерами, памятуя фразу Медичи, флорентийского герцога времен Инквизиции: «Есть заповедь прощать врагам нашим, но нет такой заповеди, чтобы прощать нашим друзьям».

Среди сталинцев, выдвинувшихся в 20-е годы, наиболее типичным был Лазарь Каганович. В 1922 году Сталин поставил его заведовать тогдашним Оргинструкторским отделом ЦК, находившимся в подчинении Секретариата. На XII съезде партии, в 1924 году, Каганович был введен в Центральный Комитет и Секретариат. После этого Сталин назначал Кагановича на важнейшие посты — первого секретаря ЦК КП Украины с 1925 по 1928 год (его отозвали с Украины, когда

Сталин решил сделать некоторые уступки); первого секретаря московского обкома с 1930 по 1935 год. А в 1933 году, в дополнение к своей основной партийной должности, Каганович еще руководил ключевым сельскохозяйственным отделом Центрального Комитета партии.

Каганович, человек до некоторой степени поверхностный и не умевший глубоко разбираться в делах, был зато блестящим администратором. Ясный ум и сильная воля сочетались в нем с полным отсутствием каких-либо гуманных самоограничений. Если мы применили слово «беспощадный» в качестве общей характеристики Кирова, то в применении к Кагановичу слово «беспощадный» звучит совершенно буквально — он не знал ни пощады, ни жалости на протяжении всей своей карьеры.

В годы террора Каганович занимал самую яркую позицию: дескать, интересы партии оправдывают что угодно. Как рассказывает в своей книге «Я выбрал свободу» советский инженер Виктор Кравченко, в разговоре с ним Каганович сказал, глядя на него в упор «своими стальными голубыми глазами», что в процессе самоочищения партии неизбежны те или иные ошибки: «лес рубят — щепки летят». Он добавил, что большевик должен быть всегда готов пожертвовать собой ради партии. «Да, надо быть готовым пожертвовать не только жизнью, но и самолюбием и своими чувствами».^[43] Публичные выступления Кагановича тех времен тоже полны призывами к беспощадности и самопожертвованию. Однако, когда его самого сняли в гораздо более легкой обстановке 1957 года, он умолял Хрущева по телефону «не допустить того, чтобы со мной поступили так, как расправлялись с людьми при Сталине».^[44] Нетрудно прийти к выводу, что перед нами злодей и трус.

Отметим также начало карьеры некоторых будущих членов Политбюро. Типичным для младшего поколения сталинистов был Андрей Жданов, в то время первый секретарь важного нижегородского (позже горьковского) обкома. Сильный, пусть и не очень глубокий ум шел в нем рука об руку с идеологическим фанатизмом — более подавляющим, чем у большинства его партийных коллег. Одним из немногих преимуществ, какие сталинская эпоха имела по сравнению с 20-ми годами, она обязана Жданову — я имею в виду систему народного образования. Восстановленная в 30-х годах система образования, хоть и отличалась узостью и подхалимством перед партией, обрела, по крайней мере, ту твердость и эффективность, какая вообще была характерна для русской системы обучения, но в 20-х годах утрачена среди всевозможных экспериментов.

Столь же беспощадным и столь же умным молодым человеком был Георгий Маленков, работавший в партийном аппарате. Он был несколько слабее по идеологической убежденности и фанатизму, но зато проявлял ловкость во всех деталях политического маневрирования, в работе с аппаратом и его личным составом.

В 1931 году Лаврентий Берия, в прошлом оперативник ОГПУ, был поставлен Сталиным возглавлять партийную организацию Закавказья — вопреки возражениям местных руководителей. В те же годы в Москве делал свою карьеру в партийном аппарате человек несколько более старшего возраста — Никита Хрущев.

Этой четверке предстояло, сочетая известные политические способности с нужной беспощадностью, высоко подняться по государственной лестнице. В годы террора Жданов, Маленков, Берия и Хрущев сыграли особенно кровавую роль.

Одно время господствовала точка зрения, что главная борьба в начале 30-х годов шла между «умеренными» сталинистами и людьми типа Кагановича, — борьба за «наибольшее влияние на Сталина». Действительно, сам Сталин время от времени благосклонно уступал воинственному большинству, оставляя за Кагановичем и компанией инициативу в открытом изложении крайних взглядов. В результате «умеренные» могли думать, что на Сталина можно

влиять и добиваться от него уступок, что возможны перемены в сторону менее жесткой диктаторской власти. Подобные заблуждения ослабляли «умеренных» точно так же, как раньше ослабляли оппозиционеров.

По-видимому, не может быть сомнений в том, что Каганович и другие приверженцы терроризма делали все возможное, чтобы отговорить Сталина от любого смягчения его политики. Ибо партия простила бы Сталину что угодно, а смена политической линии могла определенно привести к падению всей клики. Гораздо более сомнительно, требовались ли Сталину подобные увещания: его подозрительность и самолюбие были так сильны, что не нуждались в сколько-нибудь заметной поддержке со стороны советников. Вероятно, Хрущев правильно определил, кто на кого влиял, когда заметил: «Произвол одной личности допускает и поощряет проявление произвола другими лицами».^[45]

Помимо обычных политических деятелей, обслуживавших официальную партийную и государственную машину, Сталин начал еще в 20-е годы создавать группы своих личных агентов, выбирая их по принципу отсутствия щепетильности, по признакам полной зависимости от него и преданности. Английский историк И. Дейчер утверждает, что, по словам Троцкого, Сталин любил повторять русскую поговорку «Из грязи делают князя».^[46] Люди, которых он подбирал, были поистине отвратительны по любым меркам. Этой группе были чужды любые политические — даже коммунистические — нормы поведения. Можно сказать, что это были кадры головорезов, готовых к любому насилию или фальсификации по приказу своего вождя. В то же самое время политический механизм страны, в котором еще работали относительно уважаемые люди, продолжал существовать в качестве фасада и представлял собой набор обычного административного или экономического персонала.

«Кровожадный карлик» Ежов — его рост был около 154 сантиметров — вступил в партию еще в марте 1917 года. Сталин нашел его на каком-то провинциальном посту и продвинул в Секретариат. Членом ЦК Ежов стал в 1927 году. Известный исследователь внутренней борьбы в ВКП(б) Борис Николаевский в интересном этюде «Московский процесс. Письмо старого большевика» вкладывает в уста своего «старого большевика» слова: «За всю свою — теперь, увы, уже длинную жизнь мне мало приходилось встречать людей, которые по своей природе были бы столь антипатичны, как Ежов».^[47] Многим Ежов напоминал злобного уличного мальчишку, чьим любимым занятием было привязать к кошачьему хвосту смоченную керосином бумагу и поджечь ее. В несколько иной форме Ежов и занялся подобным делом в годы террора.

Интеллектуальный уровень Ежова повсеместно описывается как очень низкий. Но нельзя сказать, чтобы он, как и другие исполнители, не имел организаторских и «политических» способностей. Способности такого рода обнаруживаются у всех более или менее крупных бандитов: как известно, бандиты обыкновенно питают чувство преданности к своим таинственным организациям — то же было с Ежовым и его коллегами.

Личностью того же сорта, еще более близкой к Сталину, был его секретарь Поскребышев — высокий, немного сутулый, рябой человек. Он имел привычку говорить тихо, но применял грубейшие слова и оставлял впечатление почти совершенно необразованного. Возглавляя «спецотдел» ЦК много лет подряд, Он был ближайшим доверенным лицом Сталина вплоть до 1952 года.

Примерно такими же людьми, предназначенными для выполнения важных ролей во время террора, были Мехлис и Щаденко, разгромившие армию, главный помощник Ежова по террору Шкирятов и дюжина других менее заметных личностей.

Еще одной фигурой исключительного значения был Андрей Вышинский. Образованный, умный, трусливый и раболепный, он был меньшевиком до 1921 года и вступил в большевистскую партию только после того, как стало ясно, что она победила. Вышинский был, таким образом, уязвим, его прошлое позволяло оказывать на него давление и держать его под угрозой; и он скоро обратился за защитой к самой могущественной ячейке общества.

Вышинский сделал псевдочужую карьеру на юридическом факультете Московского университета, а затем быстро стал ректором этого университета по указанию партийного

аппарата. Позже он был высшим сановником наркомата просвещения и активно участвовал в чистках, проводимых среди научных работников.

В терроре Вышинский участвовал сперва лишь косвенно. Аппаратчики партии и органов его презирали и часто открыто отчитывали. Но оказалось, что он пережил их всех, построив свою карьеру на непрерывной фальсификации и клевете. На автора этих строк, встретившегося с ним в последние годы его жизни, когда Вышинский был министром иностранных дел, он физически и духовно произвел впечатление «крысы в облике человеческом» — избитое сравнение, но в данном случае применимое.

Макиавелли дает несколько примеров, когда настоящие преступники поднимались к управлению государством — как, например, Агафокл Сиракузский. Грузинские коммунисты между собой любили называть Сталина «кинто» — это старотифлисский эквивалент неаполитанского бродяги «лаццарони». Эта тенденция в характере Сталина очень ясно видна в том, как он подбирал приближенных. На процессе 1937 года Вышинский скажет об оппозиционерах: «Эту банду убийц, поджигателей и бандитов можно сравнить только со средневековой „каморрой“, объединявшей итальянскую знать с бродягами разбойниками».^[48] В некотором смысле это определение годится для самих победителей.

ПОРАЖЕНИЕ «ПРАВЫХ»

Немедленно после поражения Зиновьева и Троцкого Сталин повернул против своих «правых» союзников. Из них наиболее влиятельным был Николай Иванович Бухарин. Ленин назвал его «любимцем всей партии».^[49] Но раньше, в 1916 году Ленин писал Шляпникову, что Бухарин «(1) доверчив к сплетням и (2) в политике дьявольски неустойчив».^[50] Бухарин считался умнейшим человеком среди большевиков и очень интересовался теорией. По своеобразной ленинской формулировке, он был «ценнейший и крупнейший теоретик партии», «но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским».^[51] В 1917 году Ленин думал о Свердлове и Бухарине как о естественных преемниках в партийном руководстве, если бы он сам и Троцкий были убиты.^[52]

Но уже в следующем году Бухарин руководил так называемыми «левыми коммунистами», боровшимися против брестского мира, и эта борьба в какой-то момент достигла пункта, когда начали строить смутные планы свержения Ленина. Бухарин работал с «левыми» до 1921 года, когда он вдруг стал сильнейшим сторонником НЭП'а — этой позиции он придерживался до своего падения.

Биограф Троцкого и Сталина Исаак Дейчер видел в Бухарине сочетание «чопорного интеллекта» с «артистической чувствительностью и импульсивностью, деликатностью характера и веселым, подчас мальчишеским чувством юмора».^[53] Временами Бухарина охватывал сентиментальный, слезливый романтизм — даже по поводу секретной полиции. Троцкий говорит, что «Бухарин был привязан ко мне чисто бухаринской, т. е. полуистерической, полуребьяческой привязанностью».^[54]

Ближайшим помощником Бухарина был Алексей Рыков — преемник Ленина на посту Председателя Совета народных комиссаров. Рыков работал в руководстве большевистского подполья с самой его организации, но последовательно стремился к компромиссу с меньшевиками. Рядом с Бухариным и Рыковым стоит необычная фигура руководителя профсоюзов Томского — единственного представителя рабочих в Политбюро. Во время революции 1905 года Томский возглавлял один из первых советов — ревельский; позже, в 1909 году, он участвовал, в числе трех делегатов российского подполья, на конференции большевистских руководителей в Париже.

«Правые» бухаринцы привлекли на свою сторону и таких людей, как Угланов, сменивший Каменева на посту руководителя московской парторганизации; вокруг самого Бухарина все

росла группа младших по возрасту людей, в большинстве из интеллигенции. В эту группу, по-видимому, входили лучшие умы, какие только имела партия в конце 20-х — начале 30-х годов.

Реальная проблема этого периода заключалась в следующем. Хотя в деревне наблюдалось относительное благополучие, она поставляла в город совершенно недостаточно продовольствия. В 1928 г. в некоторых провинциальных городах и начале 1929 г. в Москве и Ленинграде были введены хлебные карточки. 13 апреля 1926 года, нападая на «левых» в своем ленинградском докладе «О хозяйственном положении и политике партии», Сталин говорил: «У нас любят иногда строить фантастические промышленные планы, не считаясь с нашими ресурсами», и он резко осуждал тех, кто рассматривает «трудящиеся массы крестьянства как чужеродное тело, как объект эксплуатации для промышленности, как нечто вроде колонии для нашей индустрии».^[55] Но теперь он начал менять курс, начал проводить политику левых в ее наиболее жестокой форме.

11 июля 1928 года Бухарин имел тайную встречу с Каменевым, организованную Сокольниковым. Краткое содержание разговора, записанное Каменевым, в конце концов стало известным. По словам Бухарина, ему стало ясно, что политические расхождения между его собственным правым крылом и левыми во главе с Зиновьевым и Каменевым были ничто, по сравнению с расхождениями принципиального характера между ними всеми и Сталиным. Вопрос не стоял об идеях, ибо их у Сталина не было. «Если Сталину нужно отделаться от кого-нибудь, он меняет свои теории применительно к данному моменту». Сталин пришел к выводу, что развитие социализма будет встречать все более сильное народное сопротивление. По этому поводу Бухарин заметил, что это будет означать полицейское государство, но Сталина ничего не остановит. По крестьянскому же вопросу Бухарин высказался в чисто партийном стиле, говоря, что кулаков можно вылавливать сколько угодно, но с середняками надо пойти на мировую.

Обращение Бухарина к уже опальному Каменеву было наихудшей тактикой из всех возможных. Каменев был не только бесполезен, и известие о встрече с ним не просто повредило Бухарину; дело было в том, что главные силы левых уже начали принимать партийную линию, поскольку она совершенно очевидно сменила направление. Пятаков капитулировал уже в феврале 1928 года. К середине 1929 года Крестинский, Радек и большинство других троцкистов обратились с просьбой о восстановлении в партии. Долше всех держался своей принципиальной позиции Раковский (до 1934 года). Характерно такое наблюдение: коммунисты, в прошлом связанные с оппозицией и старавшиеся искупить старые грехи, были особенно беспощадными.^[56]

К концу 1928 года Бухарин, Рыков и Томский подали в отставку, возмущенные тем, что Сталин постоянно подрывал их позиции. Сталин решил, что принимать отставку рано, и немедленно сделал свои обычные словесные уступки. Он провел в Политбюро резолюцию, имевшую смысл компромисса с правыми, и таким образом добился «единства». После этого нападки на правый уклон продолжались по-прежнему, но только имена вождей правых больше не упоминались.

В январе 1929 года Бухарин, Рыков и Томский представили на рассмотрение Политбюро свою политическую платформу. Этот документ нигде и никогда не был опубликован, но его смысл может быть частично восстановлен по различным ссылкам. Платформа правых содержала протест против планов выжимания соков из крестьянства и резко критиковала отсутствие внутрипартийной демократии. В ней было такое заявление: «Мы против того, чтобы единолично решались вопросы партийного руководства. Мы против того, чтобы контроль со стороны коллектива заменялся контролем со стороны лица, хотя бы и авторитетного». «В этом положении платформы оппозиции», — заявил Рудзутак, приводя полтора года спустя, на XVI съезде ВКП[б], эту цитату, — «имеется не только протест против существующего в партии режима, но имеется и прямая клевета на партию, прямая клевета на т. Сталина, против которого пытаются выдвинуть обвинение в попытках единоличного руководства нашей партией».^[57]

Постоянное внимание Сталина к организационным деталям приносило плоды. В Центральном Комитете правых поддерживала теперь только горсточка членов.^[58] На пленуме

ЦК в апреле 1929 года позиция правых была осуждена, Бухарин снят с поста главного редактора «Правды», освобожден от обязанностей председателя Коминтерна, а Томский отстранен от руководства профсоюзами. Говоря о профсоюзах, Каганович несколько позже заметил: «Таким образом в профдвижении большинство руководства и ВЦСПС и ЦК союзов сменилось. Могут сказать, что это нарушение пролетарской демократии, но, товарищи, давно известно, что для нас, большевиков, демократия не фетиш».^[59]

В том же апреле, на XVI партийной конференции, были одобрены принципы ускоренной индустриализации и коллективизации крестьянства. После того, как их позиция была осуждена, правые отступили. 26 ноября 1929 года они опубликовали весьма общее отречение от своих взглядов по ряду политических и тактических вопросов.

Когда правые покорились, Сталин немедленно приказал пойти в коллективизации гораздо дальше того, против чего они протестовали. Согласно решению XVI партийной конференции, к 1933 году «общественный сектор» сельского хозяйства должен был охватить 26 миллионов гектаров или 17½ % всей пахотной земли. От «общественного сектора» предполагалось получить 15½ % валового производства зерна. Однако все эти задания были внезапно и резко изменены.

«На ноябрьском Пленуме ЦК Молотов, с согласия и одобрения Сталина, подверг критике самое идею проведения коллективизации в течение пяти лет. „В теперешних условиях — заявил он — заниматься разговорами о пятилетке коллективизации — значит заниматься ненужным делом. Для основных сельскохозяйственных районов и областей, при всей разнице темпов коллективизации их, надо думать сейчас не о пятилетке, а о ближайшем годе“. Молотов объявил все разговоры о трудностях коллективизации право-оппортунистическими...».^[60]

Сталин не мог считать свои политические трудности решенными. Хоть он и разбил правых, полной гарантии против восстановления их сил не было. Зато, бросив партию в опасную авантюру внезапной коллективизации, можно было рассчитывать на большую солидарность всех колеблющихся. Воздействие коллективизации на левые элементы, и без того противостоящие взглядам Бухарина, могло быть только благоприятным для Сталина: оно разоружало левых, критиковавших сталинскую политику, и вытаскивало на свет старое партийное понятие солидарности перед лицом врага. Что касается только что побежденных правых, — не станут же они кренить корабль во время бури!

Партия всегда демонстрировала этот вид солидарности, когда была непопулярна в народе. В критический момент кронштадтского восстания все оппозиционеры — даже «Рабочая оппозиция» — сомкнулись с руководством.

Вот так заглохли последние требования о том, чтобы партийная воля была навязана крестьянам путем уговоров или хотя бы экономического давления. Чистое насилие, атака по всему фронту — вот каков был избранный метод. Без каких бы то ни было серьезных приготовлений или планирования экономической стороны вопроса партия была ввергнута в гражданскую войну на селе. Это был первый крупный кризис сталинского режима, и именно с этого момента начинается вся эпоха террора.

Внезапное нападение Сталина на крестьянство, со всеми его крайностями, возможно, и было удачным тактическим ходом в борьбе против правых. Но если рассматривать коллективизацию как серьезный политический шаг, то сразу видишь экономическое невежество, веру во всемогущество административных методов и отсутствие каких-либо приготовлений, доведенное почти до легкомыслия.

Не мешает заметить, что Сталин не имел никакого экономического опыта, обладал весьма слабыми экономическими познаниями. После революции большевики начали с того, что почти полностью разгромили в промышленности квалифицированный предпринимательский класс. Теперь, в деревне, прошла точно такая же ликвидация наиболее продуктивного, наиболее умелого крестьянства. Экономика, построенная на мифах, привела также к постепенному выкорчевыванию сколько-нибудь знающих экономистов из самой партии. «Сталин так разнес в 1929 году имевшиеся балансовые построения, что отбил охоту заниматься ими, как у ученых, так и у практических работников».^[61]

Большинство экономистов придерживалось той точки зрения, что широкие общественные капиталовложения, основанные на внутренних ресурсах, должны сочетаться с антиинфляционной политикой. Общественные капиталовложения, говорили они, увеличат личные накопления в сельском хозяйстве, но это не будет представлять опасности для режима, потому что общественный сектор будет развиваться еще быстрее. Сторонники Бухарина добавляли, что коллективизацию нельзя будет сделать ни привлекательной, ни даже просто практически приемлемой для крестьян до тех пор, пока не созреют и будут готовы более совершенные сельскохозяйственные методы обработки земли. Сталинская же схема — изымать все излишки у крестьян и платить ими за тракторы, которые только начнут приходить в деревню со временем — эта система быстро отняла какие бы то ни было стимулы у крестьянства. Колхозы насаждались на основе голода, исключительно силой. В своей злобе против коллективизации крестьянство разрушило огромную часть русского сельскохозяйственного богатства. А обещанные тракторы так и не пришли в нужном количестве. Более того, из-за отсутствия подготовки обслуживание тракторов было совершенно неудовлетворительным, и значительная их часть была погублена неумелым уходом.

Между тем, новая политика упорно проводилась в жизнь. 5 января 1930 года Центральный Комитет партии принял решение о переходе от первоначального плана коллективизации 20 % посевной площади за пятилетие к полной, сплошной коллективизации наиболее важных районов осенью 1930 года или, самое позднее, осенью 1931 года. В остальных районах коллективизацию предлагалось завершить осенью 1931 года или, в виде последнего срока, осенью 1932 года.^[62] После этого положение вышло из-под контроля, и за несколько недель партия оказалась на краю катастрофы. С января до марта 1930 года количество коллективизированных крестьянских дворов увеличилось с 4 до 14 миллионов. Более половины всех крестьянских хозяйств было коллективизировано за 5 месяцев. Против коллективизации крестьяне бросились в борьбу, вооруженные чем попало. Их «обычным средством... были обрез, колун, кинжал, финка».^[63] В то же время крестьяне предпочитали скорее резать скот, чем отдавать его в руки государства.

Калинин, Орджоникидзе и другие члены Политбюро выезжали в провинцию и по-видимому привозили правдивые отчеты о катастрофическом положении. Есть несколько сообщений о том, что Ворошилов в 1930 году возражал против стремительной коллективизации.^[64] Но говорили,^[65] что Сталин не потрудился получить утверждение Политбюро для своей программной статьи «Головокружение от успехов» в «Правде» от 2 марта 1930 года. Статья объявляла причиной всех бед эксцессы, творимые местными партийными работниками. По многим сообщениям, это было ударом для местных энтузиастов. 14 марта последовало осуждение «извращений» партийной линии по отношению к крестьянству — применение насильственных методов, говорилось в заявлении ЦК, было проявлением левого уклона, который мог только усилить правоуклонистские элементы в партии. Нашелся и козел отпущения — Бауман, сменивший Угланова на посту первого секретаря московского обкома партии.

Баумана обвинили в левацком загибе, сняли с поста и послали на низовую работу в Среднюю Азию.^[66]

Поражение было признано. Крестьяне разбежались из колхозов. Сталинская политика провалилась.

В любой другой политической системе это было бы самым подходящим моментом для выступления оппозиции. Было ведь ясно, что оппозиция права. И действительно, поддержка правых руководителей самопроизвольно началась в партийных организациях по всей стране. Среди народа в целом правые были, конечно, все еще сильнее других. Но Бухарин, Томский и Рыков не возглавили этот порыв, не воспользовались потенциальной поддержкой. Наоборот, они опубликовали заявление, что выступать «против партии», особенно при поддержке крестьянства, было немыслимо. Так поражение сталинской политики сопровождалось политической победой. Томского вывели из Политбюро в июле 1930 года, а Рыкова в декабре. С этого момента состав Политбюро стал чисто сталинским.

Лидеры правых считали сталинское руководство катастрофой и надеялись на его падение, однако своим ближайшим соратникам они советовали терпеливо ждать смены настроения в партии. Бухарин склонялся к тому, чтобы организовать всеобщую поддержку идеи изменений без какой бы то ни было прямой организационной борьбы в настоящее время. Более молодым оппозиционерам он, как говорят, советовал полагаться на массы, которые рано или поздно осознают фатальные последствия сталинской линии.^[67] Необходимо, дескать, терпение. Так Бухарин признал свое поражение в смутной надежде на какое-то улучшение в будущем.

Троцкисты выражали такую же надежду на перемены. «Капитулянт» Иван Смирнов в издававшемся Троцким за рубежом «Бюллетене оппозиции» теперь заявлял: «В связи с неспособностью нынешнего руководства выйти из экономического и политического тупика, в партии растет убеждение в необходимости смены руководства».^[68]

А Сталин, отступая, вовсе не отказался от своих планов коллективизации. Он теперь предложил провести их в жизнь в течение более продолжительного периода — теми же бесчеловечными мерами, но с чуть лучшей подготовкой. Повсюду на местах, перед лицом враждебного крестьянства, партия вела перегруппировку и готовилась к дальнейшим отчаянным шагам.

К концу 1932 года, применяя гораздо лучше подготовленное сочетание беспощадности и экономических мер, Сталину удалось почти полностью коллективизировать все крестьянство. Сопrotивление подавлялось теперь довольно простым способом. Если крестьянин производил только на свою семью и ничего не оставлял государству, то местные власти меняли это положение на обратное. Последние мешки с зерном вытаскивались из крестьянских амбаров и шли на экспорт, в то время как в деревне бушевал голод. Экспортировалось даже масло, а украинские дети умирали от отсутствия молока.^[69]

Сталина можно с полным правом обвинить в создании голода на селе. Урожай 1932 года был приблизительно на 12 % ниже среднего уровня. Но это еще совсем не уровень голода. Однако заготовки продуктов с населения были увеличены на 44 %. Результатом, как и следовало ожидать, был голод огромных масштабов. Возможно, это единственный в истории случай чисто искусственного голода.

Это также единственный крупный голод, самое существование которого игнорировалось или отрицалось властями. Голод в Советском Союзе удалось тогда в значительной мере скрыть от мирового общественного мнения.

По-видимому, советские официальные лица подтвердили существование голода только один раз, да и то случайно. В обвинении по делу сотрудников народного комиссариата земледелия — их тогда судили за саботаж, — сказано, что они использовали свое служебное положение для создания голода в стране.^[70] Кроме того, украинский президент Петровский сообщил западному корреспонденту, что умирали миллионы.^[71] Тридцать лет спустя занавес на короткое время приподнялся еще раз — теперь уже в советской литературе. Описывая те времена, в романе «Люди не ангелы» Иван Стаднюк подытоживает: «Первыми умирали от голода мужчины. Потом дети. Потом женщины».^[72]

Как всегда, когда власти не дают информации, не позволяют вести обследование и не допускают к архивам, определить потери от голода нелегко. Осторожное сопоставление всех возможных подсчетов показывает, что наиболее близка к действительности оценка в 5–6 миллионов смертей от голода и вызванных им болезней,^[73] из которых более 3 миллионов приходилось на Украину; тяжело пострадали также Казахстан, Северный Кавказ и Средняя Волга.^[74] Даже по официальным цифрам украинское население уменьшилось с 31 миллиона до 28 миллионов человек между 1926 и 1939 годами. По данным, которые ОГПУ посылало Сталину, только от голода умерло 3,3–3,5 миллионов человек.^[75] Еще более высокие цифры были даны одному американскому коммунисту Скрыпником и Балицким.^[76] Британская энциклопедия описывает только один случай голода (в Китае в 1877–78 годах), унесший еще больше жертв.

Некоторое представление о смертности новорожденных можно себе составить из того, что в 1941 году семилетних детей в советских школах было на один миллион меньше, чем

одиннадцатилетних. Вывод о повышенной смертности новорожденных подтверждается сравнением цифровых данных о народонаселении 1941 года с одной стороны в Казахстане, сильно пострадавшем от голода 1931 года, и с другой стороны в Молдавии, не входившей в 1931 году в состав СССР. В Казахстане семилетняя возрастная группа не достигает количественно и 40 процентов одиннадцатилетней, в то время как в Молдавии она превышает одиннадцатилетнюю группу приблизительно на 70 процентов.^[77]

Голод сочетался с террором. Повсюду процветал партийный произвол. Но даже и нормально, по законам, меры наказания были драконовскими: например, закон от 7 августа 1932 года об охране социалистической собственности предусматривал десятилетнее заключение за любую кражу зерна, даже незначительную. По районам и областям были разосланы нормы высылки людей.^[78] Играли роль и массовые расстрелы. Позже Сталин скажет Черчиллю, что пришлось расправиться с десятью миллионами «кулаков», из коих «громдное большинство» было «уничтожено», а остальные высланы в Сибирь.^[79] Вероятно, около 3 миллионов из них окончили свой путь в быстро расширявшейся системе исправительно-трудовых лагерей.

Коллективизация разрушила около 25 % всех производственных мощностей советского сельского хозяйства.^[80] По пятилетнему плану производство зерна в последний год пятилетки должно было превысить 100 миллионов тонн. Оно не достигло и 70 миллионов, а начальная цифра 100 миллионов тонн не была достигнута до самого начала войны. Начиная с 1933 года, советская статистика по производству зерна фальсифицировалась приблизительно на 30 %. В 1953 году выяснилось, что для этого использовался метод подсчета зерна на корню, а не количество фактически убранных зерна. Сельскохозяйственные мощности в 1938 году были все еще ниже, чем в 1929. Несмотря на то, что появилось много тракторов, их было отнюдь не достаточно для восполнения потерь в лошадях, половина всего поголовья которых в России была уничтожена в годы первого пятилетнего плана.^[81]

Вряд ли можно сомневаться, что главной целью было просто полное подавление крестьянства любой ценой. По свидетельству Виктора Кравченко, секретарь днепропетровского обкома Хатаевич в 1933 году сказал ему: «Жатва 1933 года была испытанием нашей силы и их терпения. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система теперь останется. Мы выиграли войну».^[82] Итак, массовый террор уже действовал в деревне в то время, и тысячи полицейских и партийных начальников получали беспощадную оперативную тренировку.

На другом фронте — на фронте ускоренной индустриализации — господствовала аналогичная организационная атмосфера. Огромные металлургические заводы воздвигались среди ветхих бараков, наполненных полуголодными рабочими. Но в этой области имелись экономические достижения. Речь идет не о том, что предсказывали планы или объявляли руководители пропаганды. Сама идея гладко спланированного развития была абсолютно неприменимой.

Даже в теории понятие выполнения плана уступило погоне за максимальными цифрами. Целью было «перевыполнение» и премию получал директор, который даст 120 % нормы. Но если он добивался такого выполнения, то где он брал сырье? Оно, очевидно, могло быть добыто лишь за счет других отраслей промышленности. Такой метод, строго говоря, вряд ли может быть назван плановой экономикой; скорее, это конкурентный рост без учета распределения ресурсов или необходимости производимых товаров. Эта система привела к огромным неравномерностям развития. Она имела результатом большой подъем производства, особенно в определенных отраслях, зато и потери были по меньшей мере так же велики, как в ранний, не контролируемый период капитализма, в его период «бури и натиска».

Вот пример. Была сделана попытка поднять выпуск меди с 40 тысяч до 150 тысяч тонн за один год. Это было не просто трудно, а совершенно невозможно. И руководители металлургической промышленности Серебровский и Шахмурадов воспротивились дутой цифре. Шахмурадов предложил снизить цифру до 100 тысяч тонн, и был немедленно уволен. А Серебровский затем принял официальную цифру в порядке партийной дисциплины, вполне

сознавая, что задание невыполнимо. Были затрачены невероятные усилия, однако выпуск меди так и не превысил 50 тысяч тонн и, согласно одному отчету, «понадобилось много времени, чтобы стабилизировать даже эту цифру на период пятилетнего плана».^[83]

Приняв за основу программу ускоренной индустриализации, партия к 1930 году просто не имела времени для подготовки необходимого технического и руководящего персонала и для обучения рабочих и крестьян. Отсюда все дальнейшее руководство велось на базе мифов и принуждения, а не на базе рациональных расчетов и сотрудничества. Новый пролетариат был отчужден еще более полно, чем старый.

В октябре 1930 года был издан первый декрет, запрещавший свободное передвижение рабочей силы. Через два месяца последовал еще один, запрещавший предприятиям нанимать людей, которые оставили свои прежние рабочие места без особого разрешения. В то же самое время пособие по безработице было отменено на основании того, что «безработицы больше нет». В январе 1931 года был принят первый закон, предусматривавший тюремное заключение за нарушение трудовой дисциплины — в то время только для железнодорожников. Февраль того же года принес обязательные трудовые книжки для всех промышленных и транспортных рабочих. В марте были введены меры наказания за халатность, после чего вышел декрет об ответственности рабочих за ущерб, причиненный ими инструментам или материалам. Для «ударных бригад» были введены усиленные продуктовые пайки, а в 1932 году все скудное продовольственное снабжение было поставлено под прямой контроль директоров предприятий — начала действовать система, похожая на натуральную оплату по результатам труда. В июле 1932 года утратила свою силу статья 37 кодекса законов о труде 1922 года, согласно которой перевод рабочего с одного предприятия на другое мог быть осуществлен только с его согласия. 7 августа 1932 года была введена смертная казнь за хищение государственного или общественного имущества — этот закон начал немедленно и широко применяться. С ноября 1932 года однодневное отсутствие на работе без разрешения — прогул — стало наказываться немедленным увольнением. И наконец, 27 декабря 1932 года были восстановлены внутренние паспорта, в свое время сурово осужденные Лениным как одна из тяжелейших ран, нанесенных царистской отсталостью и деспотизмом.

Система профессиональных союзов стала просто довеском государственной машины. Томский считал, что невозможно одновременно и управлять производством на коммерческой основе и выражать и защищать экономические интересы рабочих; он заявлял, что сначала надо поднять оплату, а затем мы можем ожидать подъема производительности. Эти положения Томского были публично опровергнуты на IX съезде профсоюзов в апреле 1932 года. Преемник Томского в руководстве профсоюзами Шверник выдвинул вместо этого как наиболее важную задачу профсоюзов массовое внедрение сдельной оплаты труда на основе норм, — т. е. жесткую оплату по результатам работы, которая стала на грядущие десятилетия средством выжимания пота из рабочих.

Тем не менее, рабочие все же не вымирали. Промышленность двигалась вперед. Система принуждения, вылившаяся здесь в менее отчаянные формы, способствовала развитию промышленности. Возможно, что другие методы могли привести по меньшей мере к таким же успехам при гораздо меньших затратах людских резервов. Тем не менее, были достигнуты ощутимые результаты, и партия могла считать, что ее политика оказалась успешной.

Сталин достиг и другой своей политической цели. В борьбе против народа не было места нейтралитету. И от любого члена партии можно было требовать теперь верности в военном смысле слова. Сталин мог настаивать на абсолютной солидарности и применять любые суровые меры наказания за слабость. Созданная атмосфера гражданской войны напоминала многие другие войны, которые начинали правители во все исторические эпохи для достижения внутренних целей — для заглушения критики, для устранения колеблющихся. Люди снова вынуждены были говорить себе: «Права она или не права, это моя партия». Оппозиционеры бездействовали. Меньшевик Абрамович вряд ли несправедлив, когда он говорит: «Голод не вызвал никакой реакции со стороны Троцкого, который находил время и место, чтобы писать об „ужасающих преследованиях“ его собственных сторонников в России или чтобы обвинять

Сталина в фальсификации его, Троцкого, биографии. „Пролетарский гуманист“ Бухарин и порывистый Рыков тоже молчали».^[84]

Бухарин, однако, начал понимать, что ускоренная социализация, проводимая, как и следовало ожидать, со всей беспощадностью, лишает правящую партию покрова гуманности. В частном разговоре Бухарин сказал, что во время революции он видел «сцены, которые я не пожелал бы увидеть моим *врагам*. И тем не менее даже 1919 год несравним с тем, что случилось между 1930 и 1932 годами. В 1919 году мы сражались за нашу жизнь. Мы казнили людей, но в это время мы рисковали и своими жизнями. В последующие периоды, однако, мы проводили массовое уничтожение абсолютно незащитных людей вместе с их женами и детьми».^[85]

Но Бухарина еще больше беспокоило воздействие всего этого на партию. Многие коммунисты были серьезно потрясены. Некоторые покончили самоубийством, другие сошли с ума. По мнению Бухарина, *самым*, худшим результатом террора и голода в стране были не страдания крестьянства, как бы ужасны они ни были. Самым скверным результатом были «глубокие изменения в психологии тех коммунистов, кто принимал участие в этой кампании и, не сойдя с ума, стал профессиональным бюрократом. Для таких террор стал после этого нормальным методом управления, а повиновение любому приказу свыше стало главной добродетелью». Бухарин говорил, о полной дегуманизации людей, работающих в советском аппарате.^[86]

И тем не менее, и Бухарин и его друзья молчали, ожидая момента, когда все поймут, что Сталин не подходит как руководитель государства и партии, и каким-то образом сместят его с поста. Они явно не понимали сути этой последней проблемы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОН ГОТОВИТСЯ

Первые шаги к террору нового типа, который охватил страну позднее, Сталин сделал как раз в ходе борьбы за победу в деревне.

В то время, как лидеры оппозиции застряли в зыбучих песках своих собственных предубеждений, менее значительные фигуры в партии были смелее и догадливей. В период 1930-33 годов имели место три выступления против Сталина. Первое, в 1930 году, было сделано под руководством его недавних последователей — Сырцова, которого Сталин только что провел в кандидаты Политбюро (на место Баумана) и сделал председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР, и Ломинадзе, также члена Центрального Комитета. В своей попытке ограничить власть Сталина они заручились некоторой поддержкой со стороны местных партийных секретарей (в их числе был комсомольский вождь Шацкий и первый секретарь закавказской партийной организации Картвелишвили).^[87] Сырцов и Ломинадзе возражали против единоначалия в партии и государстве и против опасной экономической политики. Они выпустили обращение, критиковавшее режим за экономический авантюризм, за удушение рабочей инициативы, за хамское обращение партии с людьми; говорили о «барско-феодалном отношении к нуждам и интересам рабочих и крестьян», называли успехи советского строительства «очковтирательством», а такие новые промышленные гиганты как Сталинградский тракторный завод «потемкинской деревней».^[88]

Сталин узнал о планах этой группы до того, как Сырцов и Ломинадзе закончили подготовку к выступлению. Оба были исключены из партии в декабре 1930 года. Ломинадзе покончил самоубийством в 1935 году; все остальные исчезли во время большого террора.^[89]

Теперь мы подходим к исключительно важному моменту в развитии террора — к так называемому делу Рютина. В последующие годы Рютина неоднократно именовали главным заговорщиком; и все главные оппозиционеры, один за другим, обвинялись в том, что они участвовали в «заговоре» Рютина.

В действительности произошло следующее.

Рютин и Слепков возглавили группу правых, занимавших не очень высокое положение в партийной иерархии. Группа не приняла политику бездействия, рекомендованную Бухариным, и к концу 1932 года составила знаменитую «Рютинскую платформу». Этот документ в 200 страниц участники широко распространили в руководящих кругах партии.

Все существенные пункты содержания «платформы» теперь известны из различных источников.^[90] Главная мысль документа была выражена так: «Правые оказались правы в области экономики, а Троцкий оказался прав в своей критике режима в партии».^[91] Авторы «платформы Рютина» обвиняли Бухарина, Рыкова и Томского в капитуляции. «Платформа» предлагала экономическое отступление, она требовала уменьшить капиталовложения в промышленность и освободить крестьян, разрешив им свободно выходить из колхозов. В качестве первого шага к восстановлению партийной демократии «платформа» требовала немедленного восстановления в партии всех исключенных, в том числе Троцкого.

Однако «платформа» примечательна не столько своим открытым провозглашением программы правых, сколько суровыми обвинениями по адресу лично Сталина. Из 200 страниц «платформы» 50 посвящены этой теме, и в них содержится решительное требование отстранить Сталина от руководства. В «платформе» Сталин изображался «своего рода злым гением русской революции, который, движимый интересами личного властолюбия и мстительности, привел революцию на край пропасти».^[92] Рютин видел, и гораздо яснее, чем старшие участники оппозиции, что никакой возможности контролировать Сталина не было. Вопрос стоял так: либо повиноваться, либо бунтовать.

Сталин изобразил дело так, будто «платформа» была призывом к его убийству. На процессе Бухарина-Рыкова в 1938 году говорилось о том, что в «рютинской платформе» был зафиксирован переход к тактике насильственного ниспровержения Советской власти... В суть

рютинской платформы вошли „дворцовый переворот“, террор...».^[93] Все это было, конечно, неправдой. Но характеристика «платформы», которую власти вложили в уста обвиняемых на процессе, показывает сталинский подход к делу Рютина: Сталин видел в «платформе» повод для того, чтобы начать обвинять оппозицию в тяжелых уголовных преступлениях.

Похоже, что Сталин надеялся на расстрел Рютина органами ОГПУ без вовлечения в дело политических властей. Однако ОГПУ передало вопрос сперва на рассмотрение Центральной Контрольной Комиссии (ЦКК). Это был орган, формально стоявший вне партийной иерархии, в котором могли независимо решаться дисциплинарные вопросы. Председателем ЦКК являлся обычно один из высших руководителей Политбюро, который на время выходил из его состава. После смерти Ленина пост председателя ЦКК занимал ряд сталинцев — Куйбышев, Орджоникидзе, Андреев, а в момент, о котором идет речь, — Рудзутак. Почувствовав, что дело Рютина было политическим делом, далеко выходящим за пределы простого дисциплинарного вопроса, Рудзутак, в свою очередь, передал дело на рассмотрение Политбюро. В этюде Николаевского «Как подготавливался Московский процесс. Из письма старого большевика» есть рассказ о том, как вопрос Рютина обсуждался на заседании Политбюро, причем «наиболее определенно против казни говорил Киров, которому и удалось увлечь за собою большинство членов Политбюро».^[94] Из другого источника о том же заседании известно, что, помимо Кирова, против Сталина выступили также Орджоникидзе, Куйбышев, Косиор, Калинин и Рудзутак, а Сталина поддержал один Каганович. Даже Молотов и Андреев колебались.^[95]

Осенью 1964 года в «Правде» была напечатана статья, из которой видно, что расхождения во мнениях в Политбюро не только существовали, но были именно такими, как описывают вышеприведенные источники. В статье рассказывается о том, как Сталин попытался репрессировать армянского коммуниста Назаретяна, но не смог этого сделать, так как в защиту Назаретяна выступил Орджоникидзе, и Сталин знал, «что против „дела“ Назаретяна в Политбюро выступают также Киров и Куйбышев».^[96] Это — весьма определенное признание того, что в Политбюро существовало что-то вроде блока умеренных, и, очевидно, что этот блок мог получить большинство в Политбюро. Таким образом, Сталин впервые столкнулся с сильной оппозицией со стороны своих собственных союзников.

Казнь Рютина должна была стать первой казнью старого большевика. (Правда, в 1929 году был казнен бывший эсер, Блюмкин, который стрелял в германского посла в 1918 году. Однако Блюмкина расстреляли за то, что он якобы был тайным эмиссаром Троцкого, и казнь, таким образом, имела как бы другой оттенок). Особенно неприемлемым было то, что такие меры предлагалось применять в прямом политическом диспуте (хотя, как говорят, ОГПУ уже состряпало историю о некоем заговоре Военной Академии, имевшем связь с «платформой»^[97]). Старая традиция преданности партии, при всех своих недостатках, включала не только подчинение внутривнутрипартийной оппозиции воле большинства; эта традиция, по крайней мере, защищала шкуру подавленного партийного меньшинства. Ленин был способен дружески работать с Зиновьевым и Каменевым, хотя в определенный момент объявлял их предателями! — когда они критиковали план вооруженного восстания в октябре 1917 года. Бухарин мог позднее признать свои разговоры в 1918 году об аресте Ленина и изменении правительства без того, чтобы потерять положение в партии. Теперь оказалось, что даже новое сталинское Политбюро не принимало автоматически его решений, если они противоречили этим глубоким партийным традициям,

Нет сомнения, что понесенное поражение терзало самолюбие Сталина. На каждом из больших процессов 1936, 1937 и 1938 годов обвиняемый признавались в соучастии в заговоре Рютина, который означал, как они говорили, первое объединение всех оппозиционеров на основе террора. Ровно через четыре года после разоблачения Рютина Сталин многозначительно заметил, что ОГПУ отстало на четыре года в разоблачении троцкистов. Четыре года, с сентября 1932 до сентября 1936, Сталин добивался возможности физически уничтожить своих партийных врагов, для чего нужно было сломить сопротивление многих.

Первый урок, который Сталин извлек из происшедшего, состоял в том, что он не мог так легко добиться согласия своих соратников на казнь членов партии по чисто политическим

причинам. Попытка истолковать платформу Рютина как программу убийств была чересчур нереальной. Настоящее политическое убийство могло бы, конечно, стать лучшей темой для обсуждения.

В то же время Сталин видел среди своих приближенных *таких* людей, чье сопротивление было нелегко сломить, и для отстранения которых было трудно подобрать какой-либо политический повод. В последующие два года идея устроить настоящее политическое убийство и заботы по поводу строптивых соратников сошлись у Сталина в единое логическое решение — *убийство* Кирова.

Вернемся, однако, к 1932 году. С 28 сентября по 2 октября проходил пленум ЦК по делу Рютина. Вся группа была исключена из партии «как дегенераты, ставшие врагами коммунизма и советской системы, как предатели партии и рабочего класса, которые под флагом духовного марксизма-ленинизма попытались создать буржуазно-кулацкую организацию для восстановления капитализма и особенно кулачества в СССР».^[98]

Многие из старых оппозиционеров, хотя и не поддержали Рютина, видели текст «платформы» задолго до пленума и не донесли о «платформе» властям. Теперь за эту «недисциплинированность» их ждали новые репрессии. Зиновьев и Каменев были снова исключены из партии за «недоносительство» и высланы на Урал. Иван Смирнов, который после своего восстановления в партии стал директором Горьковского автозавода, был вновь арестован 1 января 1933 года и приговорен к десятилетнему заключению в Суздальском «изоляторе». Смилга получил пять лет и вместе с Мрачковским был выслан в город Верхнеуральск.

12 января 1933 года пленум ЦК вынес резолюцию о всеобщей чистке партии. В том же году было «вычищено» восемьсот тысяч бывших членов партии, а в следующем 1934 году — еще триста сорок тысяч.

Сам метод партийной чистки вдохновлял и порождал доносчиков, подхалимов и бессовестных карьеристов. Местные комиссии по чистке в присутствии всех членов данной партийной организации проверяли каждого из них в отношении мельчайших деталей политического и персонального прошлого. Вмешательство аудитории всячески поощрялось. В теории это все было признаками партийной демократии и товарищеской искренности. На практике же это вызывало — и во все больших масштабах по мере того, как ухудшались условия — во-первых, раздувание действительных, хотя и мелких деталей из прошлого (вроде дальнего родства и знакомства с бывшими офицерами Белой армии), а затем просто выдумки или искажения действительности.

На уже упомянутом январском пленуме 1933 года был также «разоблачен» еще один заговор из нового цикла. Почетного старого большевика А. П. Смирнова, члена партии с 1896 года и бывшего члена Оргбюро, вместе с двумя другими старыми большевиками, Эйсмонт и Толмачевым (членами партии с 1907 и 1904 годов), обвинили в формировании антипартийной группы.

Есть сведения, что группа Смирнова имела широкие контакты со старыми большевиками-рабочими, главным образом, в профсоюзах — в Москве, Ленинграде и других городах. Участники группы поняли, что легальными методами сталинские клещи не разжать, и они в значительной степени ушли в подполье для того, чтобы организовать борьбу. Насколько известно, их программа содержала пересмотр несбалансированных промышленных программ, роспуск большинства колхозов, подчинение органов ОГПУ партийному контролю и независимость профсоюзов. Но прежде всего, они обсуждали отстранение Сталина. Как мы знаем из выступления В. С. Зайцева на всесоюзном совещании о мерах подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам 18–21 декабря 1962 года, «Вопрос разбирался и в ЦКК, где Эйсмонт прямо заявил: „Да, действительно, такие разговоры у нас были, они исходили от А. П. Смирнова“».^[99] Ни один из трех обвиняемых не был связан ни с троцкистами, ни с правой оппозицией. Но на том же совещании историков тот же Зайцев отметил, что с разоблачением группы Смирнова «по существу уже на январском (1933) Пленуме было положено начало расправы со старыми ленинскими кадрами» и что Сталин

именно при обсуждении этого вопроса заявил: «Ведь это враги только могут говорить, что уберу Сталина и ничего не будет».^[100]

И опять была сделана попытка расстрелять оппозиционеров — и опять эта попытка была блокирована. Оказалось, что Киров, Орджоникидзе и Куйбышев снова играли главную роль в сопротивлении смертной казни. Калинин и Косиор их поддержали; Андреев, Ворошилов и до некоторой степени Молотов заняли промежуточную позицию, и только Каганович вновь голосовал со Сталиным до конца.^[101]

Лидеры правых отказались иметь какое-либо дело с группой Смирнова. Даже в опубликованной резолюции по поводу этой группы сказано только, что Рыков, Томский и В. В. Шмидт «стояли в стороне от борьбы с антипартийными элементами и даже поддерживали связь со Смирновым и Эйсмонтom, чем, по сути дела, поощряли их в их антипартийной работе».^[102]

Бухарин, которого резолюция не обвиняла даже и в такой слабой степени, выступил на пленуме с речью, которая по своему совершенно неискреннему тону была типичной для тогдашних заявлений бывших оппозиционеров. Бухарин потребовал «суровой расправы с группировкой А. П. Смирно»-...

[Здесь явный пропуск в бумажной книге, хотя утраченных страниц нет. Видимо пропали 1–2 строки в наборе. В английском тексте книги этот фрагмент выглядит так:

At the plenum, Bukharin, not implicated even to this extent, made a speech typical of the extravagant and insincere tone which was now conventional in ex-oppositionist statements, demanding «the severe punishment of A. P. Smirnov's grouping»; and he spoke of his own earlier «Right-opportunist, absolutely wrong general political line,» of his «guilt before the Party, its leadership, before the Central Committee of the Party, before the working class and the country,» mentioning Tomsky and Rykov as his «former companions in the leadership of the Right opposition.»

Прим автора fb2-файла]

«... но неправильной общеполитической установке», о своей «вине перед партией, ее руководством, перед Центральным Комитетом партии, перед рабочим классом и страной», говорил о Томском, Рыкове, как о своих «бывших соратниках по руководству правой оппозицией».^[103]

Эйсмонт и Толмачев были исключены из партии, а Смирнов — из Центрального Комитета (впрочем, Смирнова исключили и из партии в декабре 1934 года, после убийства Кирова, за «двурушничество и продолжение борьбы против партии»^[104]). В течение последующей зимы Эйсмонт, Толмачев, Рютин, Угланов и другие были приговорены к разным срокам тюремного заключения.^[105]

Взгляды А. П. Смирнова и его сторонников весьма примечательны. Мы видим, что высокопоставленные партийные ветераны, никогда не входившие в какую-либо оппозицию, выступили теперь не просто за изменение политического курса, но особенно за устранение Сталина. Это увеличивает вероятность туманных сообщений о том, что подобные дискуссии имели место и годом позже, во время XVII съезда партии.^[106]

Группы Рютина и А. П. Смирнова вряд ли имели какие-либо шансы на успех. Их значение скорее в том, что было открытое сопротивление Сталину со стороны его ближайших соратников в Политбюро по поводу казни конспираторов.

Отвращение Кирова, Орджоникидзе и других к предложенным казням было, безусловно, искренним. Идея партийной солидарности никогда больше не проявлялась с такой исключительной силой.

Но здесь же выявляется удивительное «двоеверие» так называемых «умеренных» партийных деятелей. Эти люди беззаботно и даже весело убивали белых, они без особых сожалений обрекали на голод и истребляли крестьянство — но они же отчаянно сопротивлялись казням высших партийных сановников, ибо это значило «проливать кровь большевиков». Двойная мораль этих людей сравнима разве что с отношением чувствительного и образованного представителя древнего мира к рабам или французского аристократа XVIII века к низшим классам. Даже лучшие из старых большевиков вряд ли больше заботились о

судьбе беспартийных, чем было принято заботиться о судьбе рабов во времена Платона. Беспартийные, как в свое время рабы, были просто не люди.

Можно, конечно, симпатизировать тем верным партийцам, которые оказались жертвами чисток, в то же время воздерживаясь от симпатии к таким неприятным людям, как, например, обвиняемые по шахтинскому делу (см. Приложение Е). Однако таксе выборочное сочувствие нелегко понять — разве только с очень узкой и суровой партийной точки зрения. Верно скорее обратное: те репрессированные члены партии, которые в прошлом сами творили жестокости или потворствовали жестокостям по отношению к беспартийным, заслуживают отнюдь не большего, а лишь самого минимального сочувствия (с точки зрения обычной человечности) за их дальнейшие страдания.

Ведь аппарат подавления, который сделал их своими жертвами, существовал уже и до этого. Будущие жертвы не возражали, пока этот аппарат расправлялся с друг ими — они верили, что расправа идет с врагами партии. Если бы Бухарин возражал на Политбюро против шахтинского процесса, если бы Троцкий в ссылке осудил так называемый процесс меньшевиков — если бы они даже возражали не против несправедливости как таковой, а просто против пятен на репутации партии государства, — то оппозиционеры стояли бы на более твердой почве.

Иные из этих людей были способны подчас на хорошие поступки. Но романтизировать их за это опасно. Стоит вспомнить, что они сами, когда были у власти, на видели ничего особенного в убийстве политических противников, да еще в широких масштабах, только для того, чтобы укрепить власть своей партии и подавить сопротивление народа. Об этом открыто говорил на суде Бухарин.^[107] Более того, оппозиционеры не особенно протестовали против судебных процессов, где беспартийным выносились приговоры на основании явно фальсифицированных свидетельств. Лишь малая часть оппозиционеров выступала за что-либо, отдаленно напоминающее демократию, — даже внутри партии (примечательно, что такие люди, как, например, Сапронов, никогда не выводились на открытый суд).

Тем не менее, не следует впадать в другую крайность и отрицать какие бы то ни было достоинства в людях, чьи действия бывали сомнительными. Это означало бы руководствоваться стола же узкими критериями, какие установили для себя сталинисты. Скажем, гитлеровский министр пропаганды Геббельс был одной из самых неприятных личностей в Европе; и все же не будет ошибкой, если мы отдадим ему определенную дань уважения за его смелость и ясность ума в последние дни Третьего Рейха — особенно по сравнению с трусливыми и глупыми интригами большинства его коллег.

Мужество и ясность ума, разумеется, достойны уважения. Но если эти качества не стоят в списке моральных достоинств достаточно высоко, то у многих из советских оппозиционеров мы можем наблюдать кое-что и получше. Ведь те из них, кто не подписали признаний под следствием и были расстреляны без суда, продемонстрировали не просто высшую храбрость, но и лучшее ощущение моральных ценностей. Требования партийной и революционной верности играли для них определенную роль; но верность правде и идее более человеческого режима была превыше всего. И даже у тех, кто «признался», часто наблюдалась внутренняя борьба между партийными обычаями и изначальной тягой к справедливости — той тягой к справедливости, которая во многих случаях была причиной их вступления в партию.

Хотя оппозиционеры и не были людьми кристальными, о них все же можно сказать следующее. Как бы плохо ни вели они себя в жестокое время гражданской войны, это все же было не то, что хладнокровно планировать всеобщий террор, который надвигался. Попытка спасти Рютина, предпринятая людьми, которые только что несли голод и смерть Украине, выглядит одинаково абсурдной и с точки зрения сталинской, и с точки зрения гуманистической логики; однако, эта попытка не просто отражала желание сохранить сословные привилегии, но была также проявлением остаточных человеческих чувств.

Наконец, существует моральное различие между любой степенью сдержанности и полным ее отсутствием. Разумеется, участие в терроре против кого угодно приводит к полному разложению личности, как это случилось с Ежовым и другими; однако верно и обратное — что

сохранение более или менее гуманного подхода, даже в самых ограниченных масштабах, может помочь восстановлению человечности, когда исчезнут побудительные мотивы данного конкретного террора.

В течение последующих нескольких лет Сталин вырвал с корнем все остатки гуманизма. Никакая часть общества не была больше ограждена от произвола. Само по себе это обстоятельство иногда даже служило своеобразным утешением беспартийным. В литературе о тюрьмах и концентрационных лагерях мы часто находим сообщения о том, как злорадствовали обыкновенные заключенные, когда в одну

камеру или один барак с ними попадали известные следователи НКВД или партийные аппаратчики.

Действительно, главная беда террора была не в том, что он бил и по членам партии и по остальному населению, а в том, что страдания населения при терроре неизмеримо выросли. В деле Рютина главный пункт был не в том, чтобы сохранить неприкосновенность привилегированных членов партии, а в том, что это был пробный камень для Сталина: победить своих собственных соратников и подчинить Россию полностью своей единоличной воле или нет. При олигархии есть, по крайней мере, возможность, что те или иные члены правящей элиты будут придерживаться умеренных взглядов или хотя бы охлаждать пыл наиболее воинственных из своих жестоких коллег. А при единоличной диктатуре все зависит исключительно от воли одного человека. Бывали, конечно, сравнительно мягкие диктаторы. Но Сталин был не из их числа.

В начале 30-х годов Сталин держал в своих руках все нити государственной власти, но бремя власти сказалось и на его личной жизни. 5 ноября 1932 года его жена Надежда Аллилуева покончила с собой. Однако ни личная потеря, ни общественный кризис не сломили волю Сталина. Становилось все более ясным, что эта воля была решающим фактором в только что закончившейся ужасающей борьбе. Сталин холодно отверг все колебания. В своих «Портретах и памфлетах» Карл Радек писал о Сталине: «В 1932 году он дал железный отпор попыткам сдать правильно занятый фронт».^[108] Партийный работник того периода писал: «В описываемое мною время (1932 год) преданность Сталину основывалась главным образом на убеждении в том, что не было никого, достойного занять его место. Что любая смена руководства была бы исключительно опасна, что страна должна была двигаться взятым курсом, ибо попытка остановиться или отступить могла означать потерю всего».^[109] Даже один из троцкистов комментировал таким образом: «Если бы не этот..., все распалось бы к сегодняшнему дню на куски. Это он связывает все воедино...».^[110]

К началу 1933 года многие партийные круги, до того отнюдь не убежденные в возможности успеха, начали менять позиции и признавать, что Сталин фактически победил. В 1936 году Каменев был вынужден заметить на процессе: «Наша ставка на непреодолимость трудностей, сквозь которые шла страна, на кризисное состояние экономики, на крах экономической политики партийного руководства явно провалилась ко второй половине 1932 года».^[111] Сталинская «победа» вовсе не означала, что были созданы продуктивная промышленность или сельское хозяйство. Но партия, поставившая самое свое существование в зависимость от победы над крестьянством, сумела его сокрушить, и колхозная система была теперь прочно установлена.

К началу лета во всех областях жизни стало чувствоваться некое облегчение. В мае 1933 года было разослано закрытое письмо за подписями Сталина и Молотова, снижающее количество высылаемых крестьян до 12 тысяч дворов в год.^[112] В том же месяце из Сибири были возвращены Зиновьев и Каменев для очередного признания ошибок. «Правда» опубликовала статью Каменева, осуждающую его собственные ошибки и призывающую всех деятелей оппозиции прекратить какое бы то ни было сопротивление.^[113]

Очень сильно подействовала также победа фашизма в Германии. В свое время, в конце 20-х годов, Сталин сумел сыграть на весьма неопределенном чувстве опасности войны. Тогда он поймал Троцкого на том, что тот объявил, что даже в случае войны он будет противником руководства — это было превосходным поводом для обвинений в «предательстве». Однако

тогдашний маневр не потряс ни одного из серьезных деятелей. Теперь же Раковский и Сосновский, двое последних ссыльных деятелей оппозиции, окончательно примирились с режимом, мотивируя это примирение угрозой войны. До того Раковский пытался бежать из ссылки и был ранен; он говорил, что даже Ленина иногда тошнило при мысли о всесии партии, а со времени смерти Ленина сила партии возросла в десять раз. По самому важному пункту дискуссии, в своем заявлении от 30 апреля 1930 года, Раковский говорил, что коммунисты всегда опирались на революционную инициативу масс, а не на аппарат, добавляя, что «просвещенная бюрократия» заслуживает не больше доверия, чем просвещенный деспотизм XVII века. Однако теперь и он изменил свое мнение. Раковский вернулся из ссылки и его лично приветствовал Каганович.^[114] Атмосфера всеобщего примирения чувствовалась очень ясно.

Что касается Радека, то он уже задолго до того стал бесстыдным льстецом и угодником Сталина, заслужив отвращение менее продажных оппозиционеров. Он доставил Сталину большое удовольствие своей статьей, написанной в форме лекции, якобы для прочтения в 1967 году в 50-ю годовщину Октябрьской революции перед студентами школы Межпланетных сообщений. По Радеку, к этому времени

(которое уже сегодня позади) мировая революция, естественно, победила, и все взоры обращены к Сталину, как к выдающемуся революционному вождю. В 1934 году Радек по приказу свыше провел разделение между старыми участниками оппозиции, которые просто «не понимали», и Троцким, который «не представлял населения» в стране — явный примирительный подарок всем Зиновьевым и Бухариным.^[115]

(Между тем сам Троцкий в то время писал, что лозунг «долой Сталина» был неправильным и что «в текущий момент свержение бюрократии будет определено на руку реакционным силам»)^[116].

Если особые таланты Сталина были жизненно важны в период кризиса, то теперь он уже не был так необходим для продолжения существования партии. Но Сталина невозможно было отстранить от власти даже в то время, когда партия и режим находились в отчаянной борьбе за существование — а теперь это стало трудным по совершенно другой причине: Сталин был победителем, он выиграл против всех и вся. Его престиж был теперь выше, чем когда-либо.

Надежды ныне связывали не с тем, что Сталин будет отстранен от руководства, а с возможностью более умеренной линии Сталина. Многие полагали, что он поведет дело к примирению, поймет желание партии вкушать плоды победы в относительном спокойствии. Можно было ожидать, что он удержит общее руководство, но передаст многие бразды правления другим. «Пусть в бурю и ненастье один стоит у власти» — но когда опасность позади, есть склонность возвращаться к конституционным нормам.

Четверть века спустя Хрущев сообщил миру, что Сталин не бывал в деревне с 1928 года.^[117] Для него вся коллективизация была чем-то вроде кабинетной операции. Но те, кто проводил коллективизацию в жизнь, пережили гораздо более тяжелые времена. При всей беспощадности, с которой, скажем, Косиор и другие проводили сталинскую политику, они оставались людьми, и не было сомнений, что их нервы были напряжены до крайности. И руководители, и все партийные организации ощущали тяжелую усталость, подлинное истощение в результате борьбы. Однако теперь самое сильное напряжение было позади. Партийная машина была прочно в руках людей, продемонстрировавших свою преданность сталинской политике. Если бы Сталин хотел только этого — политической победы и воплощения своих планов — то цель можно было считать достигнутой. Теперь была необходима консолидация — и, возможно, смягчение.

Нужно было восстановить связь партии с народом и пойти на мировую с озлобленными элементами внутри самой партии.

Такого рода идеи, по-видимому, владели умами представителей нового сталинского руководства. Но на уме самого Сталина не было ничего похожего. Его целью оставалась, как теперь ясно видно, непререкаемая власть. Пока что он только ожесточил партию, но еще не поработил ее. Люди, которых он выдвинул к руководству, были уже достаточно грубы и

беспощадны, но еще не все они были порочны и раболопны. И даже эта с трудом достигнутая жестокость могла выветриться, если принять политику примирения, если допустить, чтобы люди думали о терроре не как о постоянной необходимости, а только как о временном выходе из положения.

Однако в тот момент все праздновали новое «объединение» партии. В январе 1934 года собрался XVII съезд партии, «съезд победителей». 1956 делегатов (из коих 1108 были расстреляны в последующие несколько лет),^[118] слушали восторженные речи ораторов.

Тон задал сам Сталин:

«Если на XV съезде приходилось еще доказывать правильность линии партии и вести борьбу с известными антиленинскими группировками, а на XVI съезде — добывать последних приверженцев этих группировок, то на этом съезде — и доказывать нечего, да пожалуй, — и бить некого».^[119]

На съезде разрешили выступить бывшим участникам оппозиции — Зиновьеву, Каменеву, Бухарину, Рыкову, Томскому, Преображенскому, Пятакову, Радеку и Ломинадзе. Историки обычно отмечают то обстоятельство, что съезд выслушал этих людей с уважением. Верно, во всяком случае, то, что в целом враждебность к ним со стороны делегатов была гораздо меньше, чем на предыдущем съезде. Речь Пятакова была встречена «продолжительными аплодисментами». Речи Зиновьева и Бухарина никто не прерывал, и они заслужили «аплодисменты». Радека и Каменева прерывали выкриками, однако в конце им обоим аплодировали. Рыкова и Томского прерывали, а в конце их выступлений аплодисментов не было. Но даже этих двоих выслушали относительно спокойно и вежливо. Все речи бывших участников оппозиции были выдержаны в ортодоксальном сталинском духе, они были полны комплиментов Генеральному секретарю и оскорблений по адресу его противников.

Каменев сказал, что первой волной антипартийной оппозиции был троцкизм, второй волной — движение правых. «И, наконец, — продолжал он, — третья уже не волна, а волнишка — идеология совершенно оголтелого кулачья, вернее, остатков кулачества... идеология рютинец... с этой идеологией бороться теоретическим путем, путем идейного разоблачения, было бы странно. Тут требовались другие, более материальные орудия воздействия, и они были применены и к самим членам этой группы, и к ее пособникам, и к ее укрывателям, и совершенно правильно и справедливо применены были и ко мне».^[120]

Мы уже говорили о том, насколько ошибочными были эти жалкие покаяния оппозиционеров, повторенные ими вновь на XVII съезде. Их главная трагедия была в том, что они не понимали Сталина. Если бы он был менее целеустремленным и более принципиальным, они могли бы рассчитывать на успех. Конечно, Зиновьев имел весьма малые шансы вернуться к власти. Но позиция правых, по крайней мере тактически, была не очень плохой. В самый кризисный момент в 1930 году, они не стали топить партийный корабль; и в результате кризис удалось преодолеть методами, которые можно в какой-то степени рассматривать как уступку правым. Их покаянные речи были приняты съездом гораздо лучше, чем в предшествующих случаях. А кроме того, повсеместно появились надежды, что худшее — позади, что ужасающее напряжение и невероятные страдания первой пятилетки и коллективизации отошли в прошлое. Второй пятилетний план в экономическом отношении выглядел несколько более умеренным.

Все эти обстоятельства были благоприятны для правых. Но эти же обстоятельства были весьма неблагоприятны для Сталина. Ведь налицо была тенденция к внутрипартийному примирению, к попыткам наведения новых мостов между партией и народом. Похоже, что именно таких взглядов откровенно и искренне придерживались Киров и некоторые другие.^[121]

Есть основания полагать, что в перерыве между заседаниями XVII съезда кое-кто из делегатов обсуждал в этом контексте вопрос о сталинском руководстве как таковом. Сравнительно недавно, в 1964 году, «Правда» писала, что уже в то время «все дальше отходя от ленинских норм партийной жизни, Сталин все более отрывался от масс, попирали принципы коллективного руководства, злоупотреблял своим положением», что «ненормальная обстановка, складывавшаяся в партии в связи с культом личности, вызывала тревогу у многих коммунистов. У некоторых делегатов съезда... назревала мысль о том, что пришло время

переместить Сталина с поста Генерального секретаря на другую работу. Это не могло не дойти до Сталина».^[122] А дальше автор статьи в «Правде» Л. Шаумян переходит без всякой логической связи, но с очевидным намеком, к описанию выступления «прекрасного ленинца С. М. Кирова», которого он называет «любимцем всей партии». Существование плана — или, во всяком случае, разговоров — относительно смещения Сталина подтверждается и в недавно вышедшей биографии Кирова.^[123]

Таким образом, «старые ленинские кадры», в том числе «замечательный ленинец» Киров, планировали ограничить власть Сталина; они намеревались ослабить диктатуру и содействовать примирению с оппозицией; Сталин же, узнав об этих планах, видел в них «решительное препятствие» своим намерениям расширить собственную власть. Политически в 1934 году дело выглядело так, что, хотя Сталин и не был побежден, но его стремление к неограниченной власти было до некоторой степени заблокировано. Это было верно, во всяком случае, в том, что касалось собственно политики.

Для победы над старыми оппозиционерами потребовались целые годы маневрирования. Новая группа, стоявшая теперь на пути Сталина, была не так уязвима, не так наивна. Допустить теперь стабилизацию, в то время как оппозиционеры были еще живы, и люди типа Кирова становились все популярнее в партии — такая политика выглядела опасной для Сталина. Рано или поздно ему пришлось бы столкнуться с появлением нового, более умеренного руководства.

Что же оставалось делать Сталину? С этими тенденциями можно было справиться только силой. Сталин давно приставил к террористической машине своих надежных механиков. Но было необходимо, чтобы высшие партийные органы разрешили ему пользоваться этой машиной террора, а они отказали. Создать ситуацию, в которой эти высшие органы можно будет запугать и склонить к террору — вот какая задача стояла перед Сталиным.

Пока, однако, ни одна из сторон не предпринимала решительных действий. Был избран Центральный Комитет, состоявший почти исключительно из ветеранов сталинской внутрипартийной борьбы, но включавший Пятакова, а в числе кандидатов — также Сокольников, Бухарина, Рыкова и Томского. Из 139 членов и кандидатов ЦК партии, избранных на XVII съезде, 98 человек, то есть 70 % или больше были арестованы и расстреляны (большинство в 1937–1938 гг.).^[124]

Состав избранных новым ЦК руководящих органов отразил то же странное равновесие. Новое Политбюро устраивало Сталина не больше, чем тот состав, который не позволил ему в 1932 году расправиться с Рютиным. Теперь, в частности, Киров был избран не только в Политбюро, но также в Секретариат, где он присоединился к Сталину, Кагановичу и еще одному зловещему сталинскому протеже Жданову.

Центральная Контрольная Комиссия (ЦКК), принявшая решение не в пользу Сталина в 1932 году, была ограничена в правах и потеряла последние остатки независимости; Каганович был поставлен во главе ЦКК. Однако прежний председатель ЦКК Рудзутак вернулся в Политбюро, хотя и не на самый высший уровень. Он был членом Политбюро перед тем, как занял пост председателя ЦКК. Теперь же он стал всего лишь кандидатом. Еще одним изменением состава Политбюро было избрание в его кандидаты Павла Постышева — «высокого и худого, как щепка, с потрясающим басом». Постышев, которого один источник описывает как «неглупого, но равнодушного к чувствам окружающих»,^[125] был последним и наиболее твердым сталинским эмиссаром в украинской кампании.

В годы, последовавшие за XVII съездом, важная роль предстояла не только вновь избранным органам партийного руководства. Все десять лет, от смерти Ленина до XVII съезда, пока в партии шла открытая политическая борьба, зловеще развивалась и, так сказать, техническая сторона деспотизма. Основанная в 1917 году тайная полиция стала крупным и высокоорганизованным формированием; она приобрела солидный опыт в незаконных арестах, репрессиях и насилии. Никто из оппозиционеров не возражал против существования тайной полиции; а Бухарин, например, — так тот даже расточал неумеренные восторги по поводу ее роли (см. приложение Д).

В 1934 году ОГПУ было распущено и заменено новым всесоюзным Наркоматом внутренних дел — НКВД. Во главе этого наркомата был поставлен узколицый ветеран террора Генрих Ягода. Первым заместителем Ягоды стал старый соратник и друг Сталина Я. Д. Агранов, в свое время руководивший жестокими допросами участников кронштадтского восстания.^[126]

В последующие годы деятельность этой новой организации развернулась весьма эффективно. Ее все более привилегированные и все более могущественные офицеры постепенно добивались того, что эмблема НКВД — щит и меч — стала повсеместно заменять даже серп и молот. Никто, в том числе члены Политбюро, не мог избежать внимания этой организации.

А сама организация должна была оставаться под контролем высшего партийного авторитета — Сталина.

В дополнение к чисто полицейской организации в тот период возникли и другие такого же рода. После того, как в январе 1933 года было объявлено о предстоящей чистке партии, была сформирована центральная комиссия по чистке (29 апреля), куда входили Ежов и М. Ф. Шкирятов.

В тот же период появился орган, во многих отношениях наиболее важный из всех — так называемый «особый сектор» Центрального Комитета партии,^[127] возглавлявшийся Поскребышевым. Фактически это был личный секретариат Сталина — орган, непосредственно выполнявший его волю. Этот секретариат иногда сравнивали с «личной Его Императорского Величества канцелярией», действовавшей при Николае I. Все наиболее щекотливые вопросы — например, убийство Троцкого — эффективно решались при помощи этого секретариата.^[128]

По-видимому, был организован также и особый комитет государственной безопасности, действовавший в тесной связи с личным секретариатом Сталина. Главными фигурами в этом комитете, вероятно, были Поскребышев, Шкирятов, Агранов (из ОГПУ) и Ежов — в то время заведующий отделом партийного учета ЦК партии.^[129] О ключевой роли Шкирятова говорит официальное описание его деятельности как «представителя Центральной Контрольной Комиссии в Политбюро и Оргбюро ЦК ВКП[б]».^[130]

20 июня 1933 года был установлен пост Генерального прокурора СССР. Главную роль в прокуратуре СССР уже тогда играл Андрей Вышинский, хотя он был лишь первым заместителем Генерального прокурора СССР. Были установлены соответствующие связи между прокуратурой и ОГПУ, «законность и правильность» чьей деятельности прокурор обязан был контролировать.

К тому времени был уже известен и еще один элемент сталинского государства — показательный суд. По иронии судьбы, первый такой суд, организованный Лениным с явной целью сокрушить партию социалистов-революционеров, состоялся в 1922 году под председательством Пятакова. Хотя на том суде важная роль принадлежала агентам-провокаторам и их фальсифицированным показаниям, все же настоящие социалисты-революционеры имели определенную свободу защиты. К тому же под давлением западных социалистических партий, к великому неудовольствию Ленина, пришлось отказаться от смертных казней.

Но вот в 1928 году состоялся первый показательный суд нового типа — так называемый шахтинский процесс, на котором председательствовал Вышинский. Этот процесс явился своеобразным испытательным полигоном для новой техники — для обвинений, основанных на так называемых «признаниях» подсудимых — т. е. ложных самоговорах, добытых террористическими методами. В последующие годы состоялись три сходных суда-спектакля — над так называемой «промпартией» в 1930 году, над меньшевиками в 1931 году и над инженерами фирмы Метрополитен-Виккерс в 1933 году. Ни один представитель оппозиции, даже находившийся за рубежом Троцкий, не протестовал публично против всех этих ужасающих фарсов (см. приложение Е).

Так создавалась определенная механика деспотизма — вне официальных политических органов и независимо от них. Потенциальный аппарат террора существовал уже повсеместно, и

состоял этот аппарат не из союзников Сталина, которые могли бы упираться, но из соучастников, на которых можно было положиться и против врагов и против друзей, как внутри, так и вне партии.

Тем временем официальное руководство продолжало оставаться у власти. Сталинский писатель Александр Фадеев говорил, что члены сталинского ЦК «связаны мужественной, принципиальной, железной и веселой богатырской дружбой».^[131] Половину из этих «богатырей» ожидали смерть или позор в ближайшие четыре года. Первой жертвой должен был стать Киров.

Очень немногое в послужном списке Кирова наводит на мысль, что он мог стать крупным вождем. Даже если бы Сталин внезапно умер, в Политбюро нашлись бы люди по крайней мере столь же влиятельные, к тому же более опытные, и они вряд ли охотно подчинились бы Кирову. По мнению Пятакова, в случае ухода Сталина власть могла бы перейти к Кагановичу. Даже предположив поражение всего сталинского крыла, невозможно прийти к определенному выводу, что Киров сумел бы справиться с более старыми партийцами из «умеренных». И тем не менее, с точки зрения Сталина именно Киров, по-видимому, представлял наиболее трудную и неотложную проблему, был своеобразным бельмом на глазу.

Киров был самым лучшим партийным оратором со времен Троцкого. После полной победы сталинистов он стал проявлять заботу о положении ленинградских рабочих, и это начинало создавать ему определенную личную популярность. А в самой партии популярность Кирова была подлинной и несомненной. Но наиболее существенным был тот факт, что Киров управлял определенным источником власти — ленинградской парторганизацией. Когда ленинградская делегация демонстративно продолжала аплодировать Кирову на XVII съезде партии, это могло напомнить Сталину о такой же поддержке, оказанной предыдущим поколением ленинградских партийцев Зиновьеву.

На протяжении всей своей карьеры Сталин рассматривал это сильное «удельное княжество» — ленинградскую организацию — как гнездо недовольства. Настороженное отношение Сталина к ленинградской парторганизации видно на многочисленных примерах — от отстранения Зиновьева в 1926 году, до истребления третьего поколения руководителей ленинградских коммунистов в 1950-м. Здесь верно только то, что в «Северной Пальмире», переставшей с 1918 года быть столицей государства, все еще существовало определенное отчуждение от остальной массы населения страны. Русское «окно в Европу» всегда было чем-то вроде прогрессивного форпоста. Жители этого города традиционно считали себя далеко впереди, иногда даже в опасном отдалении от остальной страны — в культуре вообще и западных искусствах в частности. В этом самом молодом из великих городов Европы — основанном, кстати, позже Нью-Йорка, Балтимора, Бостона и Филадельфии — Киров поистине выказывал признаки определенной независимости.

Сталину было не так легко напасть на Кирова за какой-нибудь уклонизм. Киров никогда не принадлежал ни к какой оппозиции, а напротив, твердо боролся с оппозицией различного толка. Но он был великодушен к побежденным. НКВД уже собрал факты о том, что многие некрупные члены оппозиции или люди с оппозиционным прошлым свободно работали в Ленинграде. На вопрос, как они допустили к работе таких людей, ленинградские руководители могли отвечать, что Киров распорядился об этом лично. Поощряя культурную жизнь города, Киров разрешил особенно многим бывшим участникам оппозиции занять посты в издательствах и тому подобных организациях. Киров работал в Ленинграде в относительном согласии с партийными ветеранами, которые, строго говоря, не были в оппозиции, но чьи взгляды были значительно правее партийной линии. Если бы Киров и члены Политбюро, разделявшие его точку зрения, пришли к власти, они вряд ли смогли бы управлять партией без обращения к старым оппозиционерам и без примирения по крайней мере с правыми. Можно было представить себе ситуацию, при которой Киров, Орджоникидзе и Куйбышев сидели бы в Политбюро вместе с Бухариным и Пятаковым, может быть, даже и Каменевым, осуществляя умеренную программу.

Между тем, Киров использовал свое положение в Ленинграде и для других действий, неприемлемых с точки зрения Москвы. Он расходился со сталинским крылом в Политбюро по многим вопросам, а в особенности по поводу продовольственного снабжения ленинградских рабочих. Киров бранил Микояна за дезорганизацию в этой области и однажды реквизировал без разрешения Москвы часть продовольственных запасов Ленинградского военного округа. Против этого протестовал Ворошилов, называя действия Кирова попыткой завоевать дешевую популярность. Киров горячо отвечал, что если ленинградский рабочий должен производить, то надо его кормить. Когда Микоян заявил, что ленинградские рабочие питаются лучше, чем в среднем по стране, Киров ответил, что это более чем оправдано повышением производительности труда и созданием материальных ценностей. Затем в конфликт вмешался Сталин, принял сторону Микояна, и Кирову оставалось только подавить свой клокочущий гнев.^[132]

Избрание Кирова в Секретариат было проведено с намерением перевести его в Москву, где он работал бы под присмотром Сталина. В августе 1934 года Сталин пригласил Кирова в Сочи, где проводил отпуск со Ждановым, Там они обсуждали предстоящий перевод Кирова в Москву и, в конце концов, Сталин получил согласие Кирова перебраться в Москву «в конце второй пятилетки» — т. е. в 1938 году. Но Сталин был убежден, что стоявшие перед ним политические вопросы должны были быть разрешены тем или иным способом в ближайшем будущем. Изложенное подтверждается многими источниками, в частности советской биографией Кирова, изданной в 1964 году, на которую мы уже ссылались.^[133]

Должно быть, именно около этого времени Сталин и принял самое поразительное в своей жизни решение. Решение состояло в том, что лучшим способом утвердить свое политическое превосходство, а заодно и способом справиться со своим старым товарищем — секретарем ЦК, членом Политбюро, первым секретарем ленинградского обкома — было убийство.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ДЕКАБРЬ, 1934

1 декабря 1934 года в пятом часу убийца Кирова, Леонид Николаев, проник в Смольный — в здание, где размещалось руководство ленинградской партийной организации. Дневной свет, скупой балующий ленинградцев в это время года, уже уступил место темноте. В Смольном, в этом бывшем «институте благородных девиц», откуда Ленин организовал «десять дней, которые потрясли мир», светились окна, давая возможность разглядеть колоннаду, сад перед фронтоном и пространство к востоку от здания, в сторону замерзшей Невы.

Вахтер наружной охраны проверил пропуск Николаева, который был в порядке, и пропустил его без всяких недоразумений. На внутреннем посту никого не было, и Николаев свободно ходил под богато украшенными сводами здания, пока, наконец, нашел коридор третьего этажа, куда выходили двери кабинета Сергея Кирова. У этих дверей убийца и стал терпеливо дожидаться.

Киров был занят составлением доклада о ноябрьском Пленуме ЦК, с которого только что возвратился. Вскоре он должен был сделать свой доклад активу ленинградской парторганизации, собравшемуся в конференц-зале на том же этаже. В 4 часа 30 минут^[134] Киров вышел из своего кабинета и пошел по направлению к кабинету второго секретаря ленинградского обкома, своего доверенного помощника Михаила Чудова.^[135] Он сделал всего несколько шагов, а потом Николаев вышел из-за угла, выстрелил ему в затылок^[136] из нагана и упал без чувств рядом с ним.^[137]

Услышав выстрел, в коридор выбежали партийные работники. Их удивило полное отсутствие охраны. Не было даже главного личного охранника Кирова Борисова, который, согласно инструкции, должен был всегда находиться рядом с первым секретарем обкома.

Это убийство можно с полным правом назвать преступлением века. В последующие четыре года сотни советских граждан, включая наиболее известных политических руководителей революции, были расстреляны, как непосредственно замешанные в убийстве Кирова; буквально миллионы других были уничтожены как соучастники некоего гигантского заговора, который якобы существовал за кулисами убийства Кирова. Фактически же смерть Кирова стала фундаментом всего исполинского здания террора и насилия — здания, выстроенного Сталиным для того, чтобы держать население СССР в абсолютном подчинении.

На Западе давно уже имеются сравнительно надежные свидетельские показания об этом убийстве. Однако до недавнего времени все эти показания не подтверждались, а наоборот — энергично оспаривались советскими источниками. Хотя в Советском Союзе и по сей день не появилось полного отчета об убийстве Кирова, но были сделаны ясные намеки, дано подтверждение или новое толкование ряда деталей и, наконец, прозвучали заявления, вполне совпадающие с имевшейся на Западе версией убийства.

Вначале официальная советская версия утверждала, что Николаев был последователем Зиновьева и что Зиновьев и Каменев были косвенными вдохновителями преступления. Потом, в 1936 году, этих двоих обвинили уже в прямом соучастии — в том, что они приказали убить Кирова. И наконец, в 1938 году советская точка зрения приняла ту форму, в какой она преподносилась до самого 1956 года: Зиновьев и Каменев, действуя в контакте с Троцким, дали приказ об убийстве. А Ягода, глава НКВД, помог убийце тем, что по инструкции руководителя правых Енукидзе приказал второму человеку в ленинградском НКВД, Запорожцу, устранить все препятствия на пути Николаева.

Эти изменения официальной линии, содержавшие элементы правды, были рассчитаны на то, чтобы замаскировать или нейтрализовать реальную версию. А эта подлинная версия начала циркулировать в кругах НКВД спустя несколько недель после преступления. Состояла версия в том, что Николаев был единоличным убийцей, и его действия направлял Сталин. Даже теперь в Советском Союзе об этом никогда не говорится прямо, хотя молодой советский историк Л. П. Петровский в своем письме в ЦК КПСС от 5 марта 1969 года как нечто само собой

разумеющееся включал имя Кирова в число жертв Сталина.^[138] Тем не менее, сомневаться не приходится: объяснение правильное. Мы теперь можем восстановить все детали.

Проблемы, стоявшие перед Сталиным в 1934 году, не давали возможности удовлетворительного для него политического решения. Но он видел один выход из положения. Выход был крайне необычный, но на этом примере ясно, что у Сталина не было никаких моральных или иных сдерживающих факторов. Убить Кирова означало убрать ближайшее препятствие; это позволяло в то же время создать атмосферу насилия; создать возможность обвинения противников Сталина в убийстве и стереть их с лица земли без тех споров, какие ему пришлось вести по поводу судьбы Рютина.

Не исключено, что на Сталина произвела впечатление и резня в нацистской Германии 30 июня 1934 года. Но он не пошел той же дорогой, что Гитлер. Твердый принцип нацистской партии — «воля вождя есть высший закон» — еще не имел эквивалента в партии коммунистической. Даже позже, когда Сталин практически мог уничтожать своих критиков по меньшей мере столь же свободно, как Гитлер, это всегда делалось либо в форме какого-нибудь суда с подобием мотивировок, либо выполнялось в полной тайне. Единственный случай, когда удар Сталина был нанесен в стиле гитлеровской «ночи длинных ножей», произошел в июне 1937 года, при уничтожении генералов.

Стоит заметить, что Гитлер, действительно, опасался Рема и отрядов СА как претендующих на власть. Он считал, что против таких конкурентов рискованно применять какой-либо другой метод уничтожения. Подобные аргументы можно приводить и по поводу уничтожения Сталиным высшего руководства Красной Армии. (Возможно, Сталин извлек еще один урок из гитлеровской чистки в июне 1934 года, хотя, конечно, нет оснований думать, будто Сталин сам не мог дойти до этого. Мы имеем в виду общую для Гитлера и Сталина тактику: уничтожая одну группу противников, привлекать к делу и обвинять в том же заговоре ряд других враждебных фигур, никак не связанных с первой группой.)

Во время процесса над Зиновьевым и другими говорилось, что убийство Кирова якобы планировалось обвиняемыми на лето 1934 года.^[139] Конечно, все это было неправдой, но дата сама по себе выглядит весьма вероятной, ибо приблизительно в это время, как мы уже говорили, Сталин фактически начал организацию убийства. В августе Сталин беседовал с Кировым о его будущем, а затем Киров уехал в Среднюю Азию и вернулся в Ленинград только первого октября.^[140] К этому времени подготовка его убийства зашла уже достаточно далеко,

Согласно одному надежному свидетельству, первоначальный план Сталина включал замену Филиппа Медведя на посту главы ленинградского НКВД загадочным другом самого Сталина Е. Г. Евдокимовым. Этот человек был одним из организаторов шахтинского дела и находился в довольно прохладных отношениях с остальным руководством НКВД. Однако замена Медведя Евдокимовым не удалась: этому воспрепятствовал Киров,^[141] считавший, что такие шаги не могут быть предприняты без ведома ленинградского обкома.

Сталин мог действовать только через Ягodu. Но обращаться к Наркому внутренних дел за содействием в убийстве члена Политбюро представлялось делом необычным и щекотливым, даже если не было иного выбора. Естественное объяснение такой возможности в том, что Ягода был, так сказать, «на крючке» у Сталина. Это полностью согласовывалось со сталинским стилем работы. Известны несколько случаев, когда Сталин обеспечивал себе поддержку чем-то вроде шантажа такого типа (например, поведение Ворошилова в 1928 году убедило Бухарина, что командарма шантажировали). Ходили слухи о том, что Сталин обнаружил нечто компрометирующее в дореволюционном прошлом Ягоды, вплоть до сотрудничества с царской охранкой. В кругах НКВД упорно говорили, что в 1930 году тогдашний заместитель Ягоды Трилиссер исследовал прошлое наркома и нашел, что Ягода полностью фальсифицировал свою дореволюционную биографию. Когда Трилиссер доложил об этом Сталину, тот просто оборвал его и выгнал. Но фактически Сталин был рад иметь такую информацию и держать у руководства тайной полицией человека, против которого он кое-что имел в запасе.^[142]

Так или иначе, Ягода «включился в работу». Он нашел подходящего человека в ленинградском НКВД. То был заместитель Медведя Запорожец. Разумеется, даже Запорожец не

принял бы такого приказа от Ягоды, ему нужны были прямые инструкции от Сталина. Вот прекрасный пример того, как для более молодого партийца идея партийной дисциплины уже выродилась к тому времени в нечто извращенное и неузнаваемое. Что касается Ягоды, то для него, конечно, могли играть роль и соображения честолюбия.

Когда сам Ягода попал на скамью подсудимых с так называемым «право-троцкистским блоком» в 1938 году, он показал, что получил инструкцию от Енукидзе содействовать убийству Кирова. Он сказал, что возражал, но Енукидзе настаивал. Если кто-то в советском политическом руководстве и был полностью неспособен настаивать на чем-либо, так это Енукидзе — фигура куда более слабая, чем сам Ягода. Если же мы попробуем подставить на место Енукидзе имя другого человека — который поистине мог настоять на своем, — то нам не придется долго искать это имя.

Ягода продолжал: «В силу этого, я вынужден был предложить Запорожцу, который занимал должность заместителя начальника Управления НКВД, не препятствовать совершению террористического акта над Кировым».^[143]

Однако во время перекрестного допроса Ягоды дело пошло, не так гладко. Не выдавая ничего конкретного, Ягода все же сумел намекнуть, что во всем ходе событий было немало сомнительных элементов. Так, например, на вопрос: «какими методами вы добивались согласия Левина на осуществление этих террористических актов?», бывший нарком внутренних дел ответил: «во всяком случае, не такими, какими он здесь рассказывал».^[144]

Когда же дело дошло до убийства Кирова, между Ягодой и Вышинским произошел следующий странный диалог:

Ягода: Я дал распоряжение...

Вышинский: Кому?

Ягода: В Ленинград Запорожцу. Это было немного не так.

Вышинский: Об этом будем после говорить. Сейчас мне нужно выяснить участие Рыкова и Бухарина в этом злодействе.

Ягода: Я дал распоряжение Запорожцу, когда был задержан Николаев...

Вышинский: Первый раз?

Ягода: Да. Запорожец пришел и доложил мне, что задержан человек...

Вышинский: У которого в портфеле?

Ягода: Были револьвер и дневник. И он его освободил.

Вышинский: А вы это одобрили?

Ягода: Я принял это к сведению.

Вышинский: А вы дали потом указания не чинить препятствий к тому, чтобы Сергей Миронович Киров был убит? Ягода: Да, дал... Не так. Вышинский: В несколько иной редакции? Ягода: Это не так, но это неважно.^[145]

В поисках подходящего «метода» Запорожец в Ленинграде натолкнулся в делах местного НКВД на рапорт о Николаеве — разочарованном и озлобленном молодом коммунисте. Согласно рапорту, Николаев сказал своему другу, что в знак протеста намеревался убить какого-нибудь видного партийного работника. Друг донес на Николаева. Через этого доносчика Запорожец вступил в контакт с Николаевым и сделал так, что Николаева снабдили револьвером. И наконец, Запорожец через все того же друга-доносчика убедил Николаева, что в качестве жертвы надо выбрать именно Кирова.^[146]

Согласно одному свидетельству, револьвер был украден у соседа Запорожца, бывшего члена ЦК Авдеева, принадлежавшего к зиновьевской группе. Но если так, то этот пункт выглядит совершенно не расследованным, хотя вскоре после убийства украденный револьвер был поставлен Авдееву в вину в связи с так называемыми «ошибками» Общества старых большевиков.^[147]

Следующей задачей Запорожца было дать убийце доступ к Кирову, которого строго охраняли. Но, как часто случается в жизни, план осуществлялся не гладко. Револьвер Николаеву передали, психологическую подготовку убийцы провели. Но попытки Николаева проникнуть в Смольный сперва не удавались. Он дважды был задержан чекистами (теперь об

этом рассказано) около Смольного. В первый раз, по словам Хрущева на XX съезде партии, за полтора месяца до убийства, т. е. примерно через две недели после возвращения Кирова из Казахстана — причем Николаева даже не обыскали.^[148] Во второй раз, всего за несколько дней до убийства, Николаев проник до наружной охраны Смольного. После этого охранник нашел у него «револьвер и маршрут Кирова» (по показаниям Ягоды на суде 1938 года)^[149] или «записную книжку и револьвер» (по показаниям секретаря Ягоды Буланова на том же процессе).^[150] Так или иначе, «у него было обнаружено оружие. Но по чьим-то указаниям оба раза он освобождался».^[151]

Тот факт, что Николаев все же предпринял третью и на сей раз успешную попытку, красноречиво свидетельствует о его выдержке.

Помимо указаний наружной охране пропустить Николаева без обыска, Запорожец распорядился «временно» снять посты внутренней охраны на каждом этаже. Он сумел также задержать личного телохранителя Кирова Борисова. И вот, после всех срывов, сталинский план удался: его соратник лежал мертвым в коридоре Смольного. Однако оставалось сделать еще многое.

Как только новость достигла Москвы, она была объявлена вместе с выражением глубокой скорби о покойном друге со стороны Сталина и Политбюро. В тот же вечер Сталин вместе с Ворошиловым, Молотовым и Ждановым^[152] выехали в Ленинград, чтобы провести расследование. Их сопровождали Ягода, Агранов и руководитель экономического отдела НКВД Миронов.

Сталин со свитой занял целый этаж в Смольном. И еще до начала расследования были предприняты определенные политические шаги.

В 1961 году делегат XXII партсъезда З.Т. Сердюк заявил, что «... уже в день убийства (разумеется, в тот момент еще не расследованного) по указанию Сталина из Ленинграда принимается закон об ускоренном, упрощенном и окончательном рассмотрении политических дел. После этого сразу же начинается волна арестов и судебных политических процессов. Как будто ждали такого повода, чтобы, обманув партию, пустить в ход антиленинские, антинародные методы борьбы за сохранение руководящего положения в партии и государстве».^[153]

Последняя фраза правильно суммирует и передает отношение к делу Сталина. Западные историки, поверившие, что убийство Кирова удивило Сталина, вывернули наизнанку весь ход событий. Так, например, Дейчер («Stalin», p. 355) утверждает, что «Сталин [...] вывел из этого заключение, что прошло время для полулиберальных концессий». На самом же деле, сталинское «заключение» предшествовало убийству и было причиной его, а не наоборот.

Трудно понять, как мог Сталин дать указание из Ленинграда в день убийства. Ведь он ехал поездом, а Ленинград отстоит от Москвы на 650 км. Он вряд ли мог прибыть в Ленинград раньше, чем на рассвете 2-го декабря — время указанное новейшим источником.^[154] Между тем, вышеупомянутый закон (постановление Президиума ЦИК СССР) действительно датирован 1 декабря. Ясно, что Сталин подготовил его перед отъездом, а после прибытия в Ленинград позвонил по телефону, распорядившись, чтобы постановление было подписано и доведено до сведения надлежащих органов.

Постановление это, исходящее от Сталина без консультации с Политбюро, стало своего рода хартией террора на последующие годы. В силу него «предлагалось»:

«1. Следственным властям — вести дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком;

2. Судебным органам — не задерживать исполнения приговоров о высшей мере наказания из-за ходатайств преступников о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза ССР не считает возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению;

3. Органам Наркомвнудела — приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания в отношении преступников названных выше категорий немедленно по вынесении судебных приговоров».^[155]

Политбюро, которому новое постановление было представлено в готовом виде, утвердило его лишь два дня спустя.^[156]

Здесь Сталин впервые применил новую политику, с помощью которой исключительные обстоятельства использовались для того, чтобы оправдать его личные неконституционные действия. При таких обстоятельствах любая попытка несогласия была исключительно трудной. Этим способом были разрушены даже те скудные гарантии, какие советский закон предоставлял «врагам советского государства». Уже 10 декабря были введены в действие новые статьи 466–470 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, отражавшие новое постановление. Есть сведения, что именно в этот период были организованы так называемые «особые» судебные органы, положение о которых разработал Каганович.^[157]

Сталин начал затем свое ленинградское следствие, которое, как нам теперь говорят, проводилось «в обстановке сложившегося к тому времени культа личности Сталина».^[158] Он сразу же натолкнулся на некоторые затруднения. Во-первых, Борисов, чья преданность Кирову была хорошо известна, стал что-то подозревать.^[159] С этим справились сразу же. Второго декабря «Запорожец организовал дело так, что когда Борисова везли в Смольный, автомобиль попал в катастрофу. Борисов был убит, и таким путем они освободились от опасного свидетеля» (показания Буланова на процессе 1938 года). Гораздо позже это было весьма интересно объяснено Хрущевым:

«Когда начальника личной охраны Кирова везли на допрос — а его должны были допрашивать Сталин, Молотов и Ворошилов — то по дороге, как рассказал потом шофер этой машины, была умышленно сделана авария теми, кто должен был доставить начальника охраны на допрос. Они объявили, что начальник охраны погиб в результате аварии, хотя на самом деле он оказался убитым сопровождающими его лицами.

Таким путем был убит человек, который охранял Кирова. Затем расстреляли тех, кто его убил. Это, видимо, не случайность, это продуманное преступление. Кто это мог сделать? Сейчас ведется тщательное изучение обстоятельств этого сложного дела.

Оказалось, что жив шофер, который вел машину, доставлявшую начальника охраны С. М. Кирова на допрос.

Он рассказал, что когда ехали на допрос, рядом с ним в кабине сидел работник НКВД. Машина была грузовая. (Конечно, очень странно, почему именно на грузовой машине везли этого человека на допрос, как будто в данном случае не нашлось другой машины для этого. Видимо, все было предусмотрено заранее, в деталях.) Два других работника НКВД были в кузове машины вместе с начальником охраны Кирова.

Шофер рассказал далее, что когда они ехали по улице, сидевший рядом с ним человек вдруг вырвал у него руль и направил машину прямо на дом. Шофер выхватил руль из его рук и выправил машину, и она лишь бортом ударилась о стену здания. Потом ему сказали, что во время этой аварии погиб начальник охраны Кирова.

Почему он погиб, а никто из сопровождавших его лиц не пострадал? Почему позднее оба эти работника НКВД, сопровождавшие начальника охраны Кирова, сами оказались расстрелянными? Значит, кому-то надо было сделать так, чтобы они были уничтожены, чтобы замести всякие следы».^[160]

Почему Сталин освободился от Борисова таким кружным путем? Похоже, что преданность Борисова Кирову была очень хорошо известна, и расстрелять его или «убрать» как соучастника Николаева — значило бы немедленно возбудить недоверие в ленинградской парторганизации. Лишь в 1938 году, во время суда над Бухариным, когда подобные соображения были уже недействительны, Борисов был объявлен соучастником преступления.^[161]

Здесь следует заметить, что хрущевская версия дела Кирова, будто бы проливающая новый свет на события, не содержала никаких фактов, противоречащих окончательной сталинской версии. Что касается, например, Борисова, то Буланов дал об этом показания в важнейших деталях на суде 1938 года; на том же суде оглашены почти все детали участия в убийстве Ягоды и Запорожца. Можно спросить: почему Хрущев излагал тот же самый материал — с несущественными дополнительными деталями — так, как будто делал великие разоблачения?

Напрашивается ясный ответ, что Хрущев имел в виду намекнуть на нечто более глубокое. Этот способ подхода к делу — с помощью намеков — упорно применялся в Советском Союзе, начиная с 1956 года.

В своем докладе на закрытом заседании XX съезда в феврале 1956 года Хрущев говорил:

«Необходимо заявить, что обстоятельства убийства Кирова до сегодняшнего дня содержат в себе много непонятного и таинственного и требуют самого тщательного расследования».^[162]

Это было сказано в ходе нападок на Сталина. Но ничего так и не было расследовано. На XXII съезде партии, в октябре 1961 года, Хрущев сказал — на сей раз публично:

«Надо еще приложить немало усилий, чтобы действительно узнать, кто виноват в его гибели. Чем глубже мы изучаем материалы, связанные со смертью Кирова, тем больше возникает вопросов... Сейчас ведется тщательное изучение обстоятельств этого сложного дела».^[163]

Той же осторожной линии придерживались и другие ораторы. А результатов «изучения» видно не было. Очередной намек появился в «Правде», в статье к 30-летию XVII съезда ВКП[б], опубликованной 7 февраля 1964 года. Заметив, что Киров был препятствием для честолюбивых устремлений Сталина, автор статьи добавлял:

«Но не прошло и года после окончания XVII съезда, как преступная рука оборвала жизнь Кирова. То было заранее обдуманное и тщательно подготовленное преступление, обстоятельства которого, как сообщил Н. С. Хрущев на XXII съезде КПСС, до конца еще не выяснены».

Даже не говоря конкретно об ответственности Сталина за убийство (такое определенное заявление все еще, по-видимому, застревает в советской глотке), поистине трудно выразиться яснее. Ведь если до сих пор все еще нужно найти действительного виновника, то очевидно, что все предыдущие обвиняемые — Зиновьев и Каменев, а потом и правые уклонисты, оказываются не при чем. Остается лишь один главный подозреваемый. И дочь Сталина, Светлана Аллилуева, уже находясь за рубежом, в 1963 году не случайно спрашивает: «Не лучше ли и не логичнее ли связать этот выстрел с именем Берия, а не с именем моего отца, как это теперь делают?».^[164] После всего, что стало к тому времени известным, люди, естественно, стали связывать убийство с именем Сталина. Оснований для этого было вполне достаточно. Аналогичное соучастие Сталина в убийстве крупного еврейского актера и режиссера Соломона

Михоэлса в Минске в 1948 году ныне, как кажется, точно установлено. Считавшееся в свое время несчастным случаем, оно было признано при Хрущеве операцией МГБ.^[165]

После ликвидации Борисова Сталин стал лицом к лицу с главной проблемой — Николаевым.

Разумеется, Леонид Николаев был марионеткой Сталина, Ягоды и Запорожца. Но он действовал также и по своим убеждениям. Естественно, все поколения комментаторов, как советских, так и оппозиционных, до самых последних дней подходили к личности Николаева самым недружелюбным образом. К тому же, его поступок, не принесший России никакой пользы, стал оправданием самой худшей тирании. По этой и другим причинам нелегко разобраться с полной ясностью, что же представлял собой этот 30-летний «тираноубийца».

Подобно многим революционерам, Николаев был в известном смысле неудачником. Подрастком он принимал участие в гражданской войне, а затем не смог найти себе места во все более бюрократизирующемся обществе.

Он — типичный представитель молодого и энергичного, но буйного и неподатливого поколения, которое было сломлено новым режимом в партии. В отличие от других, Николаев решил действовать.

Вступив в партию в 1920 году, Николаев, насколько известно, никогда не принадлежал ни к какой оппозиции. В 1925 году практически все голоса ленинградской партийной организации были отданы Зиновьеву. За него, несомненно, голосовал и Николаев, однако он никогда не подвергался репрессиям — значит, не был активен, не был и неприятен победителям.

С марта 1934 года Николаев не имел работы. Он ушел с последнего места работы потому, что протестовал против понижения в должности. Он считал, что его понизили в должности в

результате бюрократических интриг.^[166] За нарушение дисциплины его исключили из партии,^[167] но за два месяца до преступления восстановили, ибо он сделал заявление, что раскаивается.^[168]

Тем временем он много и мрачно размышлял о перерождении партии. Он воображал себя мстителем в старом героическом русском духе. Говорят, что когда Сталин сказал Николаеву, что «ведь он теперь — погибший человек», Николаев ответил: «Что ж, теперь многие гибнут. Зато в будущем мое имя будут поминать наряду с именами Желябова и Балмашева!».^[169] Он имел в виду знаменитых террористов «Народной воли» и партии социалистов-революционеров.

Сталин вел допрос лично. Свидетели говорят, что сперва он обратился к Николаеву исключительно мягко:^[170] «Почему вы убили такого прекрасного человека?».

Николаев твердо ответил: «Я стрелял не в него. Я стрелял в партию».^[171]

Действительно, как уже понял Запорожец, торопливо допросивший Николаева до приезда Сталина, убийца был не слабым неврастеником, потрясенным своим поступком и арестом, а представлял собой спокойного и бесстрашного фанатика.^[172] Николаев сразу догадался, как Запорожец его использовал. Он категорически отказался давать какие-либо показания об участии Зиновьева в преступлении. Но даже если бы можно было пытками довести Николаева до временного подчинения, то не могло быть и речи об открытом суде над ним.

Приказав Агранову всячески нажимать на «зиновьевскую» линию в деле, Сталин возвратился в Москву. Ему пришлось удовлетвориться другими мерами по нагнетанию атмосферы террора.

Гроб с телом Кирова поместили в Колонном зале Дома союзов в Москве, и высшие руководители страны стояли у гроба в почетном карауле. Советская пресса сообщала, что когда Сталин увидел тело, он не мог справиться со своими чувствами, вышел вперед и поцеловал труп в щеку. Было бы интересно поразмышлять о его чувствах в тот момент.

Есть некая ирония в том, что Зиновьев тоже выразил свое соболезнование по поводу смерти Кирова. «Правда» отвергла некролог Зиновьева, а на суде в 1936 году Вышинский говорил об этом в таких выражениях:

«Злодей, убийца оплакивает свою жертву! Видано ли такое? Что сказать, какие подобрать слова для описания всей низости и мерзости этого? Кошунство! Вероломство! Двуличие! Коварство!».^[173]

4 декабря было объявлено, что начальник ленинградского областного управления НКВД Медведь снят с поста и заменен Аграновым; что его и семерых его подчиненных будут судить за то, что они не сумели уберечь Кирова. Однако среди этих людей не было Запорожца. В то же время был обнародован длинный список «белогвардейцев», арестованных в связи с этим делом в Москве и Ленинграде. В течение нескольких дней над ними были проведены «судебные процессы» в соответствии с новым законом. Судья, сталинец И. О. Матулевич, председательствовал на выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР в Ленинграде. Он приговорил 37 «белогвардейцев» к смертной казни за «подготовку и организацию террористических актов против работников советской власти». В Москве военная коллегия под председательством еще более отъявленного типа В. В. Ульриха вынесла 33 смертных приговора за такие же «преступления».^[174]

13 декабря Ульрих отправился в Киев, чтобы председательствовать на суде и приговорить к смерти 28 украинцев. И их обвинили в «организации подготовки террористических актов против работников советской власти». Было сказано, что «при задержании у большинства обвиняемых изъяты револьверы и ручные гранаты».^[175]

Об этом украинском деле известно больше, чем о процессах над первыми жертвами в Ленинграде и Москве. Хотя во всех трех случаях говорилось, что большинство обвиняемых тайно прибыли из-за границы с террористическими целями, мы видим, что почти все казненные на Украине были хорошо известными писателями, культурными и общественными деятелями. За исключением одного младшего дипломата и одного поэта, который бывал в Германии, они все не покидали Украины в течение многих лет.^[176] В «Правде» 10 июня 1935 года появилась небольшая обвинительная статья по поводу одного из них — глухого поэта Влыско.

Эти официальные казни сопровождалось множеством других, проведенных с гораздо меньшими формальностями. В ленинградском управлении НКВД были этим весьма довольны по технической причине — место в тюрьме было на вес золота. Согласно надежному свидетельству, арестованные ждали очереди у лифта, их по одному свозили вниз, в подвал, и расстреливали с интервалом от двух до двух с половиной минут на протяжении всей ночи.^[177] Утром в подвале лежало 200 трупов. Тем не менее в тюремных камерах стало свободнее лишь на короткое время.

По всей стране прокатилась огромная волна арестов. Хватали тысячами — арестовывали всех тех, кто был на заметке в НКВД как политически подозрительный. Период относительного послабления внезапно пришел к концу.

Последнее крупное убийство и попытка к убийству имели место в августе 1918 года, когда социалисты-революционеры убили Урицкого и ранили Ленина. Тогда Свердлов издал истерический призыв к беспощадному массовому террору.

добавив, что без сомнения, убийцы окажутся наемниками англичан и французов. После событий 1918 года были расстреляны сотни заключенных заложников. И большевики (за исключением храброго Ольминского) не протестовали. Теперь, когда возникла аналогичная ситуация, как могли они протестовать против уничтожения нескольких групп «белогвардейцев» в Ленинграде и Москве?

Есть одно типичное различие между этими двумя волнами террора. Сталин делал вид, что жертвы его террора были прямо связаны с преступлениями, тогда как в ленинские времена откровенно признавалось, что расстрелянные были не более, чем классовыми заложниками.

На фоне этой оргии расстрелов советская пресса повела кампанию «бдительности». Одну из тех кампаний с призывами к беспощадности по отношению к скрытым врагам, которые время от времени вспыхивали на всем протяжении сталинщины. Была фактически создана атмосфера, в которой невозможен был никакой голос умеренности или просто трезвости. В 1933 году резко пошла на убыль «чистки» — собрания со взаимными обвинениями, на которых коммунисты боролись за свое пребывание в партии, а фактически за свои жизни. Эти панические, подхалимские взаимные обвинения начались теперь вновь. «Умеренная» линия по отношению к рядовым членам оппозиции превратилась в свою противоположность. Тысячи людей, еще недавно восстановленных в партии, исключались опять.

В декабре 1934 года Центральный Комитет разослал закрытое письмо по всем партийным организациям. Письмо было озаглавлено: «Уроки событий, связанных со злодейским убийством тов. Кирова». Содержание письма сводилось к призыву выявлять, исключать и арестовывать всех бывших членов оппозиции, еще оставшихся в партии. К концу месяца письмо было обсуждено во всех партийных организациях, и это обсуждение сопровождалось потоком огульных доносов.

Однако на этой ранней стадии террора еще делались некоторые различия в отношении применяемых наказаний. Дружба с разоблаченным «троцкистом» обычно влекла за собой строгий выговор, а не исключение из партии. Лишь несколькими годами позже столь мягкое наказание стало рассматриваться не просто как исключительный либерализм, но как ясное указание на соучастие самих судей в контрреволюционной деятельности.^[178]

На всем протяжении декабря 1934 года печать нападала на троцкистов, обнаруженных в различных районах страны, клеймила партийные организации за «гнилой либерализм» и призывала к бдительности. Начались массовые высылки в Сибирь и Арктику. За несколько месяцев было схвачено 30–40 тысяч ленинградцев.^[179]

Схвачены были все, кто мог иметь какое-либо отдаленное отношение к участникам убийства. Известна история одной женщины, работавшей библиотекарем в «Клубе коммунистической молодежи» в Ленинграде. Клуб этот был распущен в середине 20-х годов, но до роспуска Николаев был в какой-то степени связан с этим клубом. И вот арестовали не только бывшую библиотекарку, но также сестру, с которой она вместе жила, мужа этой сестры, секретаря ее партийной организации и всех тех, кто рекомендовал ее когда-либо на работу.^[180]

Газета «Вечерний Ленинград» рассказала о случае, каких в то время происходили десятки. Речь шла о писателе Александре Лебедежке, арестованном в Ленинграде в январе 1935 года и вскоре высланном. Через два с половиной года — т. е. в середине тридцать седьмого, — его приговорили без суда и следствия, решением тройки НКВД, к 20-ти годам изоляции. Лебедежка освобождены лишь после XX съезда партии, в 1956 году.^[181]

Между тем, Агранов продолжал работать над вскрытием «зиновьевских» связей. Он проследил связи между Николаевым и теми, кто руководил ленинградским комсомолом в зиновьевский период. Наиболее важным из них был И. И. Котолынов — в прошлом член ЦК комсомола. Он в свое время смело протестовал против сталинских «мальчиков», захвативших власть в молодежных организациях. О них Котолынов говорил так: «У них такие настроения — если ты не сталинец, будем на тебя давить, будем жать, будем тебя преследовать, чтобы ты не смел и рта отккрыть».^[182] Котолынов, действительно, был членом оппозиции — да еще имел массу завистников и недоброжелателей. В период чисток это было скверное сочетание.

Агранов установил, что Котолынов и другие местные комсомольские руководители встречались и вели дискуссии в 1934 году. Предметом дискуссий была история ленинградского комсомола, задуманная местным Институтом истории партии. Собрания были вполне открытыми, проводились под контролем партии, на них присутствовал и Николаев. Агранов превратил все это в «заговор». Были арестованы еще 9 человек, присутствовавших тогда на обсуждениях, в том числе еще один бывший член ЦК комсомола — Румянцев. Уже 6 декабря 1934 года эти люди или, по крайней мере, часть из них, находились под арестом.^[183] К ним были применены «жесткие» методы допроса.

Несмотря на это, большинство молодых оппозиционеров отказались капитулировать. Сам метод подобного обращения с членами партии был тогда нов, и у подсудимых не было еще того чувства безнадежности, которое позднее в таких же обстоятельствах играло решающую роль. Наоборот, все происходившее казалось им опасным и ужасающим безумием следователей, которое вот-вот прекратят. Тем не менее, к 12–13 декабря^[184] Агранов имел одно или два готовых признания. И этого было достаточно, чтобы связать бывших оппозиционно настроенных комсомольцев Ленинграда с Каменевым и Зиновьевым, которые раз или два встречались с их бывшими сторонниками при самых невинных обстоятельствах.^[185] В докладе Агранова Сталину дело было представлено так, что Каменев и Зиновьев отошли от их многочисленных обещаний «политически разоружиться» и что существовал некий заговор.

Когда доклад этот был представлен в Политбюро, где обсуждение прошло «в очень напряженном настроении»,^[186] большинство все еще держалось либерального курса, линии Кирова. Сталин охотно принял этот курс, но добавил, что требуется одно изменение: поскольку оппозиция, дескать, не разоружилась, партия в порядке самозащиты должна предпринять проверку всех бывших троцкистов и зиновьевцев. С некоторыми колебаниями Политбюро согласилось, а что касается самого убийства, то заниматься им предоставили следственным органам.^[187]

Еще в первой половине месяца были арестованы Г. Е. Евдокимов — бывший секретарь ЦК партии — и Бакаев, состоявший руководителем ленинградского НКВД при Зиновьеве. После этого Зиновьев составил письмо к Ягоде с выражением беспокойства по поводу арестов Евдокимова и Бакаева. Зиновьев просил вызвать его, чтобы установить, что он ни в какой степени не причастен к убийству. Однако Каменев отговорил Зиновьева от отправки этого письма.^[188]

16 декабря начальник оперативного отдела НКВД Паукер и личный помощник Ягоды Буланов арестовали Каменева. Одновременно начальник секретного политического отдела Молчанов и заместитель начальника оперативного отдела Волович схватили Зиновьева.^[189] (Все четыре сотрудника

НКВД — Паукер, Буланов, Молчанов и Волович — были впоследствии расстреляны как заговорщики. Паукер и Волович были, кроме того, объявлены немецкими шпионами.)

Есть общая деталь в этих двух арестах, свидетельствующая о том, что старые большевики, даже оппозиционно настроенные, все еще пользовались в партии своеобразным уважением: при арестах не было произведено обысков.^[190]

В первые 4–5 дней после убийства печать была заполнена так называемыми требованиями рабочих об отпущении. Печатались рассказы о жизни Кирова, описания почетного караула в Колонном зале и похорон, списки казненных «белогвардейских» террористов и т. п. Потом наступила любопытная пауза, длившаяся неделю или десять дней. А затем, 17 декабря, московский комитет партии опубликовал приветствие тов. Сталину, в котором утверждалось, что «на предательский выстрел контрреволюционных последышей зиновьевской антипартийной группы единым голосом отвечает вся партия, вся страна: „Да здравствует тот, кто повел нашу великую партию в бой со всеми врагами ленинизма!“». ^[191] Это было первым открытым признаком политических настроений на верхах после убийства.

Ленинградский обком партии, который только что, 16 декабря, «избрал» Андрея Жданова на место убитого Кирова, отправил аналогичное приветствие.

До сих пор НКВД не делал заявлений, прямо обвиняющих в убийстве кого-либо, кроме Николаева. Казненные «белогвардейцы» неоправданно обвинялись в терроризме. Следствие закончено было 20-го декабря, а 22-го декабря «Правда» опубликовала официальное заявление, что Киров убит «ленинградским центром». Во главе «центра» стоял якобы Котолынов, а кроме него членами организации были Николаев и шестеро других — обо всех было категорически сказано, что: «... все эти лица в разное время исключались из партии за принадлежность к бывшей антисоветской зиновьевской оппозиции, и большинство из них было восстановлено в правах членов партии после официального заявления о полной солидарности с политикой партии и советской власти». ^[192] На следующий день впервые был дан список арестованных зиновьевцев, причем разъяснялось, как будут вестись дела каждого из них.

Среди них были выдающиеся имена: Зиновьев и Каменев — в прошлом члены Политбюро; Евдокимов — в прошлом член Секретариата; еще трое членов и кандидатов ЦК — Залуцкий, входивший вместе с Молотовым и Шляпниковым в первый большевистский комитет в Петрограде после февральской революции, Куклин и Сафаров. ^[193]

На первых порах были выдвинуты частичные обвинения. По поводу семерых арестованных, в том числе Зиновьева, Каменева, Залуцкого и Сафарова, было сказано, что НКВД, не имея достаточных оснований для предания их суду, передаст их дела в особое совещание на предмет административной высылки. Другим, во главе с Бакаевым, предстояло дальнейшее расследование. Это был типично сталинский ход, направленный на то, чтобы постепенно приучить коллег по партии к мысли о виновности Зиновьева, и в то же время достаточно сложный и запутанный, чтобы затемнить истинные намерения Сталина.

Из пятнадцати человек, перечисленных в списке, десять предстали перед судом в первом процессе Зиновьева-Каменева, начавшемся уже в следующем месяце. С ними были еще девять подсудимых, ранее не названных. Пять имен из первого списка более нигде и никогда не появлялись. Имя Сафарова, впрочем, мелькнуло в январе 1935 года в качестве свидетеля на процессе, а на процессе Зиновьева в 1936 году он уже был назван соучастником преступления. ^[194] Его судьба оставалась, однако, неизвестной вплоть до недавних советских справок, в которых сказано, что он был исключен из партии в 1934 году, осужден и умер в 1942 году. Залуцкий тоже был исключен из партии в 1934 году, также обвинен в преступлениях и умер в 1937 году. ^[195] Возможно, оба они были в числе девяноста семи оппозиционеров, тайно присужденных в начале 1935 года к максимальному сроку, выносимому в то время особым совещанием — пяти годам исправительно-трудовых лагерей. ^[196] Правда, по окончании срока могло последовать новое и более жестокое наказание. В то же время были отправлены в Верхнеуральский изолятор: Шляпников и Медведев из бывшей «рабочей оппозиции», Сопронов из «демократических централистов», троцкист Смилга и другие. ^[197]

Отметим в скобках, что из девятнадцати обвиняемых на январском процессе 1935 года только четверо появились вновь в 1936 году на открытом процессе. Восемь из числа остальных были упомянуты в обвинительном заключении, причем о двух было сказано, что над ними

предстоит суд (никакого отчета о таком суде опубликовано не было). Об остальных семи просто никто больше не слышал. Это означает, что независимо от причины из каждых трех арестованных один, так сказать, «исчезал из поля зрения» между декабрем 1934 и январем 1935 года. Эта пропорция еще возросла между январем 1935 года и августом 1936 года. Это стоит отметить потому, что такое исчезновение может означать либо невозможность исторгнуть из человека нужные «признания», либо смерть под следствием. Это позволяет лучше понять в перспективе всю организацию так называемых «показательных судов с признаниями».

27 декабря было опубликовано формальное обвинение против группы Николаева. Было сказано, что эта группа, теперь уже в составе четырнадцати человек, действовала в августе, ведя наблюдение за квартирой Кирова и за Смольным для выяснения его обычных маршрутов. Были названы также «свидетели» — жена Николаева, его брат и другие. Заговорщики обвинялись в намерении убить Сталина, Молотова и Кагановича — так сказать, в дополнение к Кирову. Про Николаева еще говорилось, что он передавал антисоветские материалы какому-то не названному иностранному консулу. Позднее выяснилось, что имелся в виду латвийский консул Биссенек, хотя, как утверждали, НКВД сначала намеревался обвинить его финского коллегу^[198] (* Густав Герлинг (Gustav Herling), сам бывший з/к упоминает, что в его лагере сидел финн, арестованный в Ленинграде как связной, передававший секретные инструкции из Финляндии убийце Кирова.^[199] —сноска внизу страницы)

А уже казненные «белогвардейцы» были туманно внесены в дело путем упоминания в каких-то связях Николаева с «деникинцами». Группа Николаева обвинялась в том, что «ставила прямую ставку на вооруженную интервенцию иностранных государств».^[200]

Упоминались также «ряд документов», включая дневник Николаева и подготовленные им заявления. По-видимому, эти документы ясно показывали, что соучастников у Николаева не было. Невозможно было полностью замолчать документы на той стадии, поскольку их видело много всевозможных следователей и других сотрудников. Поэтому официальный отчет, упоминая о документах, говорит, что они были специально подготовленными фальшивками, предназначенными создать впечатление об отсутствии заговора и о существовании лишь протеста против «несправедливого отношения к живому человеку».

Полная версия обвинения по этому пункту гласит: «В целях сокрытия следов преступления и своих соучастников, а также в целях маскировки подлинных мотивов убийства т. Кирова, обвиняемый Николаев Л. заготовил ряд документов (дневник, заявления в адрес различных учреждений и т. п.), в которых старался изобразить свое преступление как акт личного отчаяния и неудовлетворенности, в силу якобы тяжелого своего материального положения и как протест против несправедливого отношения к живому человеку со стороны отдельных государственных лиц».^[201]

Были упомянуты три тома показаний, каждый по 200 страниц.^[202] Из всего этого можно было сделать вывод, что обвинение готовит открытый процесс. Но такого процесса не было. Суд под председательством вездесущего Ульриха заседал 28–29 декабря за закрытыми дверями.

Наиболее вероятно, что обвиняемые в соучастии в деле Николаева отказались давать признания, несмотря на суровые допросы.^[203] Ходили упорные слухи, что арестованные видели Котолынова во время допросов, избитого и в шрамах.^[204] Но и он и другие бывшие комсомольцы и зиновьевцы, насколько известно, сопротивлялись до конца. В опубликованном сообщении о суде говорилось, что заговорщики убили Кирова, чтобы «добиться таким путем изменения нынешней политики в духе так называемой зиновьевско-троцкистской платформы». В том же сообщении сказано, что Николаев и все другие были приговорены к смерти и казнены 29 декабря.^[205]

Во всяком случае предполагается, что они были казнены именно тогда. Но вполне возможно, что многих из них к моменту суда не было уже в живых. В частности, говорят, что Николаева казнили вскоре после того, как с ним говорил Сталин. С другой стороны, на суде над Зиновьевым в 1936 году Вышинский упомянул некоего Левина — одного из так называемых соучастников Николаева. Вышинский сказал про этого Левина, что он был расстрелян в 1935 году.^[206] Если это не оговорка, то это могло означать, что его держали в живых позже

официальной даты казни, имея в виду получить от него показания против других обвиняемых. (Есть свидетельство не очень, правда, определенное, что Котолынова тоже видели в феврале 1935 года в Нижегородской тюрьме в Ленинграде.)^[207]

Исход всего этого пока не мог полностью удовлетворить Сталина. Партия в целом все еще вряд ли была готова принять прямое обвинение Зиновьева и Каменева в убийстве без того, чтобы услышать показания убийцы, публично данные против них. Больше того, после первого шока, вызванного убийством Кирова, очень многие и в Политбюро и вне его продолжали вести кировскую линию на примирение и послабление.

Шли переговоры с руководителями оппозиции, находившимися в тюрьме. Предполагалось вынудить у них признание полной вины под предлогом соблюдения партийной дисциплины. Однако эти переговоры ни к чему не привели. С другой стороны, оппозиционеры стали понимать, что в их интересах сделать все, чтобы предотвратить новые возможные акты террора. Если бы террористические акты произошли, то на руководителей оппозиции и их последователей обрушились бы еще худшие репрессии. Поэтому в конце концов руководители оппозиции согласились принять на себя «моральную ответственность» за убийство Кирова — ответственность в том смысле, что убийца мог бы быть вдохновлен на преступление и их, руководителей оппозиции, политическими взглядами.

15-16 января Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Бакаев, Куклин и 14 других предстали перед судом в Ленинграде в качестве так называемого «московского центра». Опять Ульрих председательствовал, а Вышинский обвинял. Смысл обвинений сводился к тому, что, зная террористические склонности котолыновского «ленинградского центра», москвичи оказывали ленинградцам политическую поддержку.

Отчеты об этом суде не были, однако, опубликованы полностью. В печати появилось только сообщение на три четверти страницы с несколькими цитатами из показаний Зиновьева и других обвиняемых, признававших свою частичную вину. Говорилось, что вся группа была «разоблачена» Бакаевым, а также Сафаровым, которого на суде не было.^[208] Бакаев, которого допрашивали больше месяца, дал, вероятно, наиболее подробные показания.

Зиновьев, как сообщалось, заявил на суде: «В силу объективной ситуации прежняя деятельность бывшей оппозиции могла вести только к вырождению этих преступников».^[209]

Он принял на себя полную ответственность за тех, кого он ввел в заблуждение, и подытожил свои показания следующими словами: «Задача, которую я вижу перед собой в данный момент, — раскаться полностью, открыто и искренне перед судом рабочего класса во всем, что было, как я теперь понял, ошибкой и преступлением, и я обязан высказаться так, чтобы покончить с этой группой раз и навсегда».^[210]

Однако, приняв на себя общую моральную ответственность, обвиняемые отвергли приписываемые им более зловещие преступления. Евдокимов твердо отрицал какую бы то ни было причастность к убийству.^[211] Каменев выражал свое недоверие «свидетелю» Сафарову; он также определенно заявил, что не знал о существовании «московского центра», активным участником которого его теперь объявили. Однако Каменев добавил, что поскольку такой центр существовал, он готов принять на себя ответственность за него.^[212] Зиновьев также сказал, что многие из сидевших на скамье подсудимых ему не знакомы,^[213] и добавил, что он узнал о роли Котолынова только из обвинительного заключения по делу «ленинградского центра».^[214] Итак, несмотря на частичное признание ответственности участниками оппозиции, можно считать ясным, что их поведение Сталина не вполне удовлетворило и что открытый процесс не сыграл бы ему на руку.

16 января 1935 года Зиновьев был приговорен к 10 годам лишения свободы, Евдокимов и Бакаев к восьми, Каменев — к пяти. Остальные получили сроки от 5 до 10 лет. Длительность сроков, как выяснилось, не играла никакой роли, поскольку никто из обвиняемых, главных или второстепенных, никогда больше не появился на свободе.

Через два дня после процесса (18 января 1935 года) ЦК партии выпустил новое «закрытое письмо» о бдительности. Это было официальное указание всем партийным организациям «покончить с оппортунистическим благодушием»,^[215] причем весьма знаменательно, что

отсутствие бдительности обзывалось в этом письме «отрыжкой правого уклона». На местах разразилась новая волна арестов, захватившая десятки тысяч бывших участников оппозиции и всех других подозреваемых.

По кировскому делу властям предстояло еще расправиться с последней кучкой заключенных — с руководителями ленинградского НКВД, о предстоящем суде над которыми было объявлено еще 4 декабря 1934 года. 23 января 1935 года они в конце концов предстали перед судом, где председательствовал, как всегда, Ульрих. Вместо девяти человек, чьи имена были объявлены вначале, теперь было 12 подсудимых — и среди них Запорожец. Медведь и Запорожец обвинялись в том, что «располагая сведениями о готовящемся покушении на тов. С. М. Кирова, проявили не только невнимательное отношение, но и преступную халатность к основным требованиям охраны государственной безопасности, не приняв необходимых мер охраны».^[216]

Приговоры были исключительно легкими. Один сотрудник, Бальцевич, получил 10 лет за то, что в дополнение к основному обвинению вел себя как-то не так во время следствия. Медведь получил три года, остальные — 2 или 3. Сроки, как было сказано в приговоре, осужденные должны были отбывать в концлагере (концентрационном лагере). Это прилагательное — «концентрационный» — вскоре полностью перестали применять.

Приговоры поразили наблюдательных сотрудников НКВД своей явной непропорциональностью обвинениям. Естественной реакцией Сталина на преступную халатность охраны по отношению к настоящим убийцам — к убийцам, которые могли выбрать его следующей жертвой, — должна была бы быть примерная казнь всех провинившихся офицеров НКВД. Да и действительно, трудно было себе представить, каким образом они могли бы избежать обвинения в соучастии в преступлении. Но когда стало ясно, что приговоры Медведю и Запорожцу были вынесены чуть ли не как простая формальность, ситуация стала особенно странной и зловещей.

Как было позднее признано на процессе 1938 года, Ягода проявил исключительную и необыкновенную заботу об их судьбе. Его личный секретарь Буланов заявил, что «лично мне он поручил заботу о семье Запорожца, о семье Медведя, помню, что он отправил их для отбывания в лагерь не обычным путем, он их отправил не в вагоне для арестованных, а в специальном вагоне прямого назначения. Перед отправкой он вызвал к себе Запорожца и Медведя».^[217]

Невозможно, конечно, считать все это личной инициативой Ягоды. Обвиняемые находились под более высокой протекцией. Больше того, сотрудники НКВД узнали, что Паукер и Шанин (начальник транспортного управления НКВД) посылали пластинки и радиоприемники высланному Запорожцу — вопреки строгим сталинским правилам, по которым связь даже с ближайшим другом обрывалась немедленно, если друга арестовывали.^[218]

Эта дополнительная странность кировского дела, после всех других, убедила многих сотрудников, что Сталин одобрил, если не организовал убийство Кирова. Постепенно истинные обстоятельства дела просочились наружу через аппарат НКВД. Даже тогда об этих обстоятельствах говорили с исключительной осторожностью. По словам Орлова, и ему и Кривицкому было сказано: «Дело настолько опасное, что лучше о нем не слишком много знать».^[219]

Один заключенный из лагерей строительства Беломорканала вспоминает, что Медведь прибыл в штаб лагерного комплекса поездом, в специальном купе, и начальник строительства Раппопорт устроил его в собственном доме, пригласив по случаю гостей. Медведь был одет в форму НКВД без знаков отличия. В таком виде он был послан дальше, в Соловки.^[220]

Запорожец был отправлен в лагерь золотых приисков комбината Лензолото на Дальнем Востоке^[221] и скоро, как говорят, стал начальником управления дорожного строительства Колымского лагерного комплекса с другим сотрудником ленинградского НКВД — Фоминым в качестве заместителя.^[222] К ним Позднее присоединился, кажется, и Медведь,^[223] который в промежутке между Беломорканалом и Сибирью имел даже возможность посетить Москву.^[224]

Что же касается окончательной судьбы этих ссыльных сотрудников НКВД, то 20 лет спустя Хрущев заметил:

«После убийства Кирова руководящим работникам ленинградского НКВД были вынесены очень легкие приговоры, но в 1937 году их расстреляли.

Можно предполагать, что их расстреляли для того, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова».^[225]

Намек Хрущева, в общем, ясен, хотя сделан слишком грубо. Нет сомнения, что вообще Сталин предпочитал затыкать рты всем, кто знал его секреты. На процессе Зиновьева-Каменева 1936 года говорилось, будто обвиняемые планировали после захвата власти поставить Бакаева во главе НКВД с целью «замести следы» путем убийства всех сотрудников, знавших о заговоре, а также с целью дать возможность заговорщикам уничтожить своих собственных активистов и террористов.^[226] Поскольку весь этот заговор был просто выдуман Сталиным, с соответствующим образом подтасованными свидетельствами, это показывает, что Сталин считал естественным расстреливать сотрудников НКВД и всех других, кто знал слишком много.

Однако, с другой стороны, Сталин вряд ли мог ликвидировать всякого, кто знал или подозревал о его преступлениях. Было непрактичным казнить подчиненных Ягоды до тех пор — или почти до тех пор — пока Сталин не был готов уничтожить самого Ягуду. И даже когда оперативники секретной полиции уничтожали эшелон за эшелоном, сведения всякого рода успевали просачиваться. Если уж на то пошло, то несколько человек, знавших худшие сталинские секреты, — вроде Шкирятова, Поскребышева, Вышинского, Берии и Мехлиса — уцелели до 1953-55 годов, а Каганович жив и сейчас.

Верно, что в 1937 году в рядах колымского НКВД прошла гигантская чистка. Его начальник Берзин, большинство ведущих инженеров, а с ними Медведь и все другие бывшие сотрудники ленинградского НКВД были расстреляны. Необычное исключение составлял лишь Запорожец.^[227] Так что, хотя Сталин, быть может, и считал удобным затыкать рот опасным свидетелям, просто убивая их, это ни в коем случае не было естественным и необходимым ходом, как намекал Хрущев. Ибо что могли они сказать или сделать? Если бы стало известно, что они обронули хоть малейший намек из своей тайной информации, на них бы немедленно донесли. Возможно, невинный Медведь и мог согрешить. Но Запорожец, который действительно знал, имел все основания молчать.

Больше того, даже если бы эти люди могли сбежать на Запад, если бы они опубликовали свои разоблачения в британской, французской или американской прессе, это не имело бы большого значения. Действительно, ведь правда просочилась на Запад через многих оставшихся за границей сотрудников НКВД; тем не менее, убедила эта правда весьма немногих.

Во всяком случае, Запорожцем вскоре пришлось пожертвовать. Как только было решено разоблачить роль Ягоды в убийстве Кирова и рассказать все о соучастии НКВД в преступлении, пришло время принести в жертву всех замешанных. На процессе 1938 года роль Запорожца была описана ясно; и было объявлено, что он не появился в числе обвиняемых, поскольку его дело было выделено в особое производство. По-видимому, все это подтверждает, что к тому времени он был еще жив, однако если так, то в живых ему оставалось быть недолго.

С окончанием январского процесса 1935 года над руководителями ленинградского НКВД «дело Кирова» было на время свернуто. Старые участники зиновьевской оппозиции были уже все за решеткой. Ленинград был передан из-под независимого руководства в руки преданного сталинского сатрапа Жданова. Террор, выражавшийся главным образом в массовых высылках, но частично и в массовых казнях, обрушился на город и, в меньшей степени, на всю страну.

Тем не менее, Сталин все еще не мог полностью сокрушить своих противников или даже преодолеть сопротивление своих менее восторженных союзников. Окончательный удар не был еще нанесен. А между тем среди низовых партийных организаций снова назревало недовольство его действиями.

В комсомоле, например, еще в 1935 году наблюдалось удивительно сильное сопротивление сталинизму. Секретные архивы Смоленской области (они были захвачены немцами во время войны и позже попали на Запад) выявляют степень этого сопротивления. На комсомольской

дискуссии по поводу убийства Кирова один член организации говорил: «Когда убили Кирова, то разрешили свободную торговлю хлебом; когда убьют Сталина, то распустят все колхозы». Директор школы, комсомолец и пропагандист, объявил: «Ленин написал в своем завещании, что Сталин не мог работать руководителем партии». Другой учитель обвинил Сталина в том, что он превратил партию в жандармерию, надзирающую над народом. Есть рапорт о девятилетнем пионере, который кричал: «Долой советскую власть! Когда я вырасту, я убью Сталина». Об одиннадцатилетнем школьнике сказано, что он говорил: «При Ленине мы жили хорошо, а при Сталине мы живем плохо». А 16-летний студент якобы заявил: «Кирова они убили; пусть теперь убьют Сталина». Время от времени высказывались даже случайные симпатии к оппозиции. Рабочий-комсомолец говорил: «Достаточно уже клеветали на Зиновьева; он очень много сделал для революции». Комсомолец-пропагандист, отвечая на вопрос, отрицал какую бы то ни было причастность Зиновьева к делу Кирова и говорил о Зиновьеве, как об «уважаемом руководителе и культурном человеке». Один инструктор комсомола «выступил открыто в защиту взглядов Зиновьева».^[228]

Итак, чтобы достичь нужного Сталину положения в стране, предстояло сделать еще очень многое.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОРГАНИЗАТОР И ВДОХНОВИТЕЛЬ

События декабря 1934 и января 1935 годов, столь ужасающие, столь невероятные, наводят на вопрос об их организаторе. В конечном счете весь характер террора определялся личными и политическими побуждениями Сталина.

Если мы откладывали рассмотрение личности Сталина, пока не описали характера его действий, то это потому, что гораздо легче рассказывать о его делах (и о типе государства, которое он создал), чем обрисовать его как личность. Сталин был не из тех, чьи истинные намерения объявлялись открыто, и чьи подлинные мотивы имели бы логическое объяснение. С одной стороны, личные побуждения Сталина были основной пружиной террора; с другой — его способность скрывать свою истинную природу была той скалой, о которую разбилось сопротивление террору в партии и вне ее. Его противники не допускали и мысли, что он мог захотеть или выполнить то, что он фактически делал.

К 1934 году Сталину было 55 лет. До 37-летнего возраста он был не особенно выдающимся членом маленькой революционной партии, чьи перспективы прихода к власти даже Ленин считал сомнительными еще в 1916 году.

Когда пришла революция, Сталин был явно в тени своих многих блестящих современников. С тех пор он непрерывно вел политическое маневрирование. В результате, он по очереди нанес поражение каждому сопернику и вот уже 5 лет был неоспоримым главой государства и партии; незадолго до описываемых событий он подверг свои методы суровому испытанию коллективизацией и, вопреки всем прогнозам, победил. Однако этого было ему недостаточно.

Вопреки всем идеям Маркса, в Советском Союзе сталинской эпохи создалось положение, при котором экономические и общественные силы не определяли метода правления. Наоборот, центральным фактором были личные соображения правителя, которые выливались в действия, часто противоречившие естественным тенденциям этих сил. Идеалистическая концепция истории в этом смысле оказывалась неожиданно справедливой. Ибо Сталин создал механизм, способный справляться с общественными силами и побеждать их. Общество было перестроено по его формулам. Оно не сумело перестроить самого вождя.

Доктор Александр Вайсберг, физик, сам оказавшийся жертвой сталинского террора, высказал однажды следующее: марксистский подход к истории — и, можно сказать, любой социологический подход к политике, — действительны только «для систем, позволяющих применение статистических концепций»,^[229] так же, как и применение других точных наук. Если же общество организовано так, что воля одного человека или небольшой группы оказывается наиболее мощной из всех политических или общественных сил, то марксистские или любые социологические объяснения системы должны уступить место, по крайней мере в очень значительной степени, объяснениям психологического характера.

Итак, мы подошли к исследованию личных свойств Иосифа Сталина. Однако перед этим хорошо вспомнить слова из книги Артура Кестлера «Тьма в полдень» (никогда, к сожалению, не издававшейся в СССР, где она была бы особенно необходимой):

«Что происходило в мозгу „Номера 1“?.. Что творилось в этих округлых серых полушариях? Известно все об отдаленных спиральных туманностях, а об этих полушариях — ничего. Вероятно, поэтому история — больше гадание, чем наука. Возможно, позже, много позже, историю будут изучать с помощью статистических таблиц, дополненных анатомическими срезами. Учитель напишет на доске алгебраическую формулу, представляющую условие жизни масс определенной нации в определенный период: „Здесь, граждане, вы видите объективные факторы, обусловившие этот исторический процесс“. А потом направит указку на серый туманный ландшафт между второй и третьей лобными долями

мозга „Номера 1“: „Здесь вы видите субъективное отражение этих факторов. Во второй четверти 20-го века оно привело к триумфу тоталитарного принципа на востоке Европы“. А пока эта стадия не достигнута, политика остается скверным дилетантством, простым предрассудком и черной магией...»^[230]

Как пишет Милован Джилас,^[231] голова Сталина «не была отталкивающей: что-то было в ней народное, крестьянское, хозяйское», но его лицо было рябым, а зубы неровными.

В темно-карих глазах мелькали светло-коричневые искорки. Подвижность его левой руки и плеча была ограниченной — результат несчастного случая, происшедшего с ним в десятилетнем возрасте. Туловище Сталина было коротким и узким, а его руки чересчур длинными.

Ко времени второй мировой войны, когда его впервые увидели многие обозреватели, он отрастил довольно большой живот; волосы стали очень редкими; лицо было бледным с красноватыми щеками. Подобный облик был общим явлением в высших советских кругах, он даже получил ироническое название «кремлевский цвет лица» и был результатом постоянной ночной работы в кабинетах.

Подобно многим властолюбивым людям, Сталин был очень мал ростом, всего около 160 см. С помощью особых подкладок в обуви он делал себя выше на 2–3 см, а на парадах 1-го мая и 7-го ноября стоял на деревянной подставке, добавлявшей ему еще 5–8 см. В 1935 году, в разговоре с Федором и Лидией Дан, Бухарин сказал:

«Его даже огорчает невозможность убедить всех, в том числе себя самого, что он ростом выше окружающих. Это его несчастье; это, быть может, его наиболее человеческая черта, и, возможно, его единственная человеческая черта; однако его реакция на свое „несчастье“ не человеческа — это почти дьявольская реакция. Он не может не мстить за это другим, особенно тем, кто в чем-то лучше или одареннее его...»^[232]

Сомнительно, чтобы когда-нибудь возникла возможность проследить, что происходило в Гори, где родился и рос Сталин, в более или менее достоверных деталях. Во всяком случае, наиболее необходимый вид исследования — свободный опрос родственников и современников в том районе, — невозможен. Но даже если бы это и стало возможно в ближайшее время, теперь уже слишком поздно. Не имеется ведь даже ни одного определенного и общепризнанного психологического исследования о формировании характера Гитлера; а уж по имеющимся отрывочным и сомнительным свидетельствам о раннем детстве Сталина не стоит и пускаться в какую-либо попытку восстановления истины; правда, сегодня осталось не так много историков, пытающихся вывести главные черты характера взрослого человека из каких-то свидетельств о его раннем детстве, дошедших через третьи руки. Тем более, что в случае Сталина сомнительны даже основные факты. По одним свидетельствам, его отец был безнадежный пьяница; по

другим — не был. Биографам приходится выяснять такого рода вопросы, но от автора этих строк этого не требуется.

Отсутствие точных данных о детстве Сталина огорчает еще по одной причине. Если бы можно было точно указать условия, в которых из ребенка вырастает сталиноподобное существо, то стоило бы предпринять похвальную попытку создать всемирное законодательство, предупреждающее такие условия.

Даже рождение Сталина окутано легендами. Грузины, озабоченные репутацией своей страны, говорят о татарском или осетинском происхождении Сталина.^[233] В период его величия ходила история о том, что он был незаконным сыном грузинского князя и служанки.^[234] Фактически из раннего детства Сталина достоверно известно только одно — он был сыном деревенского сапожника (который относился к сыну то ли хорошо, то ли плохо — расхождения в свидетельствах существуют уже на этот счет). Отец скончался, когда Сталину было 11 лет, оставив воспитание сына на долю его работящей и сильной духом матери. В возрасте около 15 лет Сталин прервал обучение в начальном училище в Гори и поступил в духовную семинарию в Тифлисе, откуда его не то исключили, не то отчислили по состоянию здоровья, когда ему было около 20 лет.

Это случилось в 1899 году. К тому времени Сталин уже вступил в партийные круги, в которых ему предстояло провести весь остаток жизни; к 1901 году он оставил всякую иную деятельность, кроме деятельности профессионального революционера.

Ранний период пребывания Сталина в социал-демократических организациях Кавказа — все еще очень малоисследованная тема. Утверждения троцкистов, что он тогда не играл важной роли и был пассивен, явно тенденциозны. Еще меньше правды в обожествляющих Сталина рассказах периода 30-х и 40-х годов, где его описывали как «кавказского Ленина». Но, по-видимому, достоверно то, что в 1903 году он был избран членом Исполкома Закавказской федерации социал-демократической партии.

Вся ранняя история закавказских большевиков полностью затемнена трудами ряда историков, Главное состоит в том, что большевизм не сумел пустить корни в Грузии, и те, кто позже стали большевиками, были не более, чем случайными бунтарями в крупной и деятельной меньшевистской организации.^[235]

После провала революции 1905 года Ленину остро нужны были деньги для партийных фондов. Эти фонды Ленин стал пополнять за счет ограбления банков, и тогда Сталин сделался видным организатором налетов на банки на Кавказе, хотя сам он никогда не принимал прямого участия в грабежах. В то время подобные «экспроприации» широко осуждались в европейском и русском социал-демократическом движении, и Троцкий, в числе других, указывал на их деморализующий эффект. Это почувствовал до некоторой степени и Ленин, он попытался подчинить «боевые группы» строгому контролю и устранить из них полубандитские элементы. Что до Сталина, то у него колебаний на сей счет не было. Однако после прихода Сталина к власти упоминания об этой его деятельности на Кавказе полностью прекратились.

Каковы бы ни были тактические сомнения Ленина, беспощадность Сталина ему импонировала. И в 1912 году Сталин был кооптирован в Центральный Комитет партии. С тех пор, и в сибирской ссылке и в центральном руководстве, он оставался высокопоставленным, хотя и незаметным деятелем большевистского движения.

В последний период жизни Ленина его оценка «чудесного грузина»^[236] изменилась. Ленин говорил, что «в кушаньях этого повара слишком много будет перца». Троцкий рассказывает, и это выглядит достоверно, что Ленин восхищался Сталиным за «его твердость и прямоту», но в конце концов разглядел «его невежество... его очень узкий политический кругозор, его исключительную моральную черствость и неразборчивость в средствах».^[237] Понадобилась, однако, прямая ссора, чтобы Ленин на почве личного недовольства, а не политической ненадежности, потребовал смещения Сталина. Да и то не устранения его от власти, а только снятия с поста генерального секретаря, где «грубость» была, по мнению Ленина, неподходящей.

Говорят, будто примерно в тот же период Сталин говорил Каменеву и Дзержинскому: «Избрать жертву, разработать точный план, утолить жажду мести и потом отдыхать. Ничего нет слаще на свете».^[238]

Этот разговор Сталина с Каменевым и Дзержинским довольно часто цитируют, и приписываемое Сталину высказывание отвечает его собственному практике. Но все же не очень вероятно, что он стал бы говорить столь открыто перед своими возможными, в то время еще не настроенными соперниками. Ведь, как правило, его противники начинали понимать неумолимость Сталина слишком поздно.

Впрочем, сегодня уже нет необходимости изучать вопрос о сталинской неразборчивости в средствах или об исключительной мстительности его натуры.

Сталинский метод спора, до сих пор господствующий в Советском Союзе, можно проследить, начиная с его первых статей в 1905 году. Основными признаками этого метода служат выражения вроде «как известно» или «не случайно». Первое из них применяется вместо доказательства любой, самой противоречивой оценки; второе используется для того, чтобы установить связь между двумя событиями, когда нет никакого свидетельства или подобия такой связи. Читатель найдет много примеров таких и подобных выражений в текущих выступлениях советских деятелей.

Подобные фразы чрезвычайно иллюстративны и многозначительны. В авторитарном государстве трудно возражать на заявления, вроде: «как хорошо известно, троцкисты являются фашистскими агентами». А мысль о том, что ничто не случайно — кстати, эта формулировка свойственна параноикам, — дает возможность представлять любую ошибку и слабость как часть сознательного заговора.

Такой подход согласуется с рассказами о знаменитой сталинской подозрительности. Хрущев говорил:

«... Сталин был очень недоверчивым человеком, он был болезненно подозрителен; мы знаем это по работе с ним. Он мог посмотреть на кого-нибудь и сказать: почему ты сегодня не смотришь прямо? или почему ты сегодня отворачиваешься и избегаешь смотреть мне в глаза? Такая болезненная подозрительность создала в нем общее недоверие к выдающимся партийцам, которых он знал годами. Всюду и везде он видел врагов, лицемеров и шпионов».^[239]

Из-за своей подозрительности Сталин всегда оставался начеку. В политике, особенно в политике «острого стиля», это было отличным тактическим принципом.

Невозможно сказать, насколько Сталин действительно ценил принципы, им провозглашаемые. На закрытом заседании XX съезда КПСС в феврале 1956 года, после ряда ужасающих разоблачений сталинского террора, Хрущев сделал следующее заключение:

«Сталин был убежден, что это было необходимо для защиты интересов трудящихся против заговоров врагов и против нападения со стороны империалистического лагеря. Сталин смотрел на все это с точки зрения интересов рабочего класса, интересов трудящегося народа, интересов победы социализма и коммунизма. Мы не можем сказать, что его поступки были поступками безумного деспота. Он считал, что так нужно было поступать в интересах партии, трудящихся масс, во имя защиты революционных завоеваний. В этом-то и заключается трагедия!».^[240]

Многие, пожалуй, не согласятся с тем, что в этом вся трагедия. Но, возвращаясь к нашей теме, невозможно сказать, каковы были истинные мотивы Сталина. Тот факт, что он всегда высказывал точку зрения, приписываемую ему Хрущевым, еще не подтверждает его искренности. Думал ли он, что положение вещей, которое он создал и считал хорошим, было социализмом, которому он поверил в юности? Находил ли он режим подходящим для своих собственных целей и для русской действительности? Ответить точно невозможно.

Бывший советский специалист по ракетному делу профессор Токаев, с конца сороковых годов живущий на Западе, вспоминает о нескольких совещаниях высшего советского руководства в связи с проектами межконтинентальных ракет. Он приводит слова Сталина о том, что рассматриваемый проект позволит «легче разговаривать с великим лавочником Гарри Трумэном и поприжать его в меру необходимости». После этого, по словам Токаева, Сталин повернулся к нему и сделал «любопытное замечание»: «Как видите, мы живем в сумасшедшее время».^[241]

Ни о ком другом из советских руководителей не известно, чтобы он в личном разговоре выражал что-либо, кроме прямого и циничного желания сокрушить Запад. А философское замечание Сталина определенно идет глубже. Отражало ли оно истинные раздумья Сталина и его попытки самооправдания, было ли признаком той чувствительности Сталина к отношению окружающих, о которой так много сказано? Догадаться невозможно.

Когда в 1947 году Литвинов был снят с поста министра иностранных дел, он продолжал регулярно встречаться со своим старым другом Сурицем — одним из немногих старых советских дипломатов, переживших годы террора. Они часто обсуждали характер Сталина. Оба соглашались, что во многом он был великим человеком. Но его поведение невозможно было предугадать. Да и упрям был, отказываясь рассматривать факты, не соответствующие его желаниям. Оба полагали, что он только воображал, будто служит народу. Встречавшийся в то время с обоими Илья Эренбург в последней, шестой книге своих воспоминаний передает, что после одной из таких бесед Суриц сказал ему: «Беда даже не в том, что он (Сталин) не знает, как живет народ, он не хочет этого знать — народ для него понятие — и только».^[242]

Как бы то ни было, есть свидетельства, что Сталин, действительно, верил: уничтожение доходов с капитала есть единственный принцип социалистической морали, оправдывающий все

другие действия. Вероятно, справедлив вывод Джиласа: «В конечном счете, Сталин — чудовище, которое придерживалось абстрактных, абсолютных и в основе своей утопических идей — успех их на практике был равнозначен насилию, физическому и духовному истреблению».^[243]

За исключением бесценных, хотя и ограниченных сведений, содержащихся в книге дочери Сталина, личные черты этого человека останутся в большой степени загадкой.

Однако похоже, что человеческие моменты в его жизни, как бы мало их ни было, возникали в связи с его женами. Когда умерла первая жена Сталина, Екатерина Сванидзе, один из его друзей по семинарии, меньшевик Иремашвили, сопровождавший покойную со Сталиным на кладбище, вспоминает слова Сталина: «... Это существо смягчало мое каменное сердце. Она умерла, и с нею умерли мои последние теплые чувства к людям».^[244]

Вторая жена, Надежда Аллилуева, придерживалась старых революционных идей. Рассказывают, что она пришла в ужас, когда узнала о страданиях людей во время коллективизации. По-видимому, она получила большую часть информации от студентов на курсах, которые ей было позволено посещать, и эти студенты были арестованы немедленно, когда Сталин дознался об этом.

Самоубийство Аллилуевой 9 ноября 1932 года было результатом последней дикой ссоры с мужем, которого она обвинила в палачестве. Все ранние свидетельства сходятся в том, что Сталин терял самообладание и оскорблял ее в присутствии своих друзей (хотя это несколько смягчено в рассказах, дошедших затем до его дочери).^[245] Если Надежда, вслед за Екатериной, и задевала сердце Сталина, то все равно это сердце не было мягким ни в каком смысле, и человеческие черточки заметны в поведении Сталина лишь в сопоставлении, с его обычными манерами.

Аллилуева оставила письмо, которое «было не просто личное письмо; это было письмо отчасти политическое».^[246] Есть мнения, что это заставило его думать — не без оснований, конечно, — что у него есть всюду враги, отчего его подозрительность очень возросла. Так или иначе, смерть

Аллилуевой глубоко подействовала на Сталина. Он ощущал досаду весь остаток жизни, обвиняя в самоубийстве «врагов» (и даже Мишеля Арлена, чью книгу «Зеленая шляпа» Аллилуева читала в то время).^[247]

Брат Надежды, старый большевик Павел Аллилуев, был политическим комиссаром в бронетанковых частях. Его взяли под особое наблюдение. Позже он рассказал старому знакомому, что со времени смерти сестры его не допускали к Сталину, и кремлевский пропуск был у него отобран. Ему стало ясно, что, по мнению Ягоды и Паукера, он стал опасен для Сталина в том смысле, что мог отомстить за сестру. В 1937 году он был снят со своего поста и назначен на незначительную должность в советской торговой делегации в Париже.^[248] Вероятно, Павел Аллилуев умер в том же году естественной смертью, хотя позднее его жена получила 10 лет за то, что якобы его отравила.^[249]

Интересный добавочный свет на семейные отношения Сталина проливает история его сына Василия. Со своим старшим сыном от первой жены, Яковом, Сталин всегда был в плохих отношениях, время от времени подвергал его мелким преследованиям. Эти чувства между Сталиным и Яковом были взаимными. Но к Василию, сыну Надежды Аллилуевой, Сталин относился совсем по-иному. Все, кто встречался с этим молодым человеком, рассказывают о нем с презрением и отвращением. Он был тупым и злым человеком, полуграмотным пьяницей; профессор Токаев называет его «зверски избалованным школьником, впервые выпущенным во внешний мир».^[250] Несмотря на очень скверную успеваемость в Кашинской летной школе, где он имел особого инструктора, Василий Сталин был переведен в советские военно-воздушные силы без единой плохой отметки и к 29-ти годам был уже генерал-лейтенантом авиации. Все необузданные выходки сходили ему с рук. «Его тащили за уши наверх, не считаясь ни с его силами, ни со способностями, ни с недостатками, — думали угодить отцу».^[251]

Однако, в конце концов, Сталин отстранил сына от командования авиационным соединением за пьянство и непригодность к работе. И вообще похоже, что отец никогда прямо

не продвигал сына в его военной карьере. Скорее подчиненные Сталина не осмеливались делать ничего другого, кроме выдачи молодому человеку восторженных рекомендаций, несмотря на полное отсутствие профессионального умения.

Биографы Сталина много пишут о его тщеславии. Но, по крайней мере до последнего периода его жизни, это тщеславие не проявлялось в дворцовой помпезности. До второй мировой войны он одевался с традиционной большевистской скромностью в простой военный китель и темные брюки, заправленные в сапоги. Он жил без претензий в небольшом доме на территории Кремля, где прежде помещались царские слуги. Собственность и деньги как таковые не играли никакой роли в его жизни. В 30-х годах его официальная зарплата составляла около 1000 рублей в месяц — если сравнить по покупательной способности, то это гораздо меньше, чем сейчас получает английский рабочий низкой квалификации. Эти деньги получал один из его секретарей и распорядился небольшой суммой, внося коменданту Кремля скромную квартплату за Сталина, погашая партийные взносы, оплачивая проезд в отпуск и т. д. Сталин не обладал ничем, но имел право абсолютно на все — так же, как Далай Лама или Микадо в старые времена. Его дача в Барвихе и Приморская правительственная дача № 7 в Сочи были «государственной собственностью».^[252]

При всей этой личной простоте Сталин давно имел среди своих коллег репутацию завистливого соперника. Когда во время гражданской войны началось награждение орденом Красного Знамени, и этот орден получил Троцкий, Каменев предложил, чтобы Сталину тоже дали орден. Новый глава государства Калинин удивленно спросил: «за что?» Тут вмешался Бухарин: «Как вы не понимаете? Это ведь ленинская мысль. Сталин не может жить, если у него нет чего-либо, что есть у других. Он никогда этого не простит».^[253] На последних стадиях «культы личности» Сталин был поднят на недостижимую высоту поразительной лестью — как гений не только в политике, но также в стратегии, в науках, в литературном стиле, философии и вообще во всем. Его фотография смотрела с каждого забора, советские альпинисты доставляли бюсты Сталина на вершины каждой советской горы, он был объявлен, вместе с Марксом, Энгельсом и Лениным, четвертым политическим гением эпохи. История была, разумеется, соответствующим образом переписана, так что его роль в революции стала решающей. На XX съезде партии Хрущев рассказывал, как Сталин вписал в свою собственную «краткую биографию» следующий абзац:

«Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа и имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования».

Хрущев продолжал:

«В первоначальном тексте этой книги была следующая фраза: „Сталин — это Ленин сегодня“. Фраза показалась Сталину слишком слабой, и он изменил ее собственной рукой на следующую: „Сталин — достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии: Сталин — это Ленин сегодня“. Видите, как хорошо сказано, но не народом, а самим Сталиным.

... Я приведу еще одну вставку, сделанную Сталиным относительно военного гения Сталина: „Товарищ Сталин развил дальше передовую советскую военную науку. Товарищ Сталин разработал положение о постоянно действующих факторах, решающих судьбу войны, об активной обороне и законах контрнаступления и наступления, о взаимодействии родов войск и боевой техники в современных условиях войны, о роли больших масс танков и авиации в современной войне, об артиллерии, как самом могучем роде войск. На разных этапах войны сталинский гений находил правильные решения, полностью учитывающие особенности обстановки“.

Дальше Сталин пишет: „Сталинское военное искусство проявилось как в обороне, так и в наступлении. [...] С гениальной проницательностью разглядывал товарищ Сталин планы врага и отражал их. В сражениях, в которых товарищ Сталин руководил советскими войсками, воплощены выдающиеся образцы военного оперативного искусства“.^[254]

Можно утверждать, что дело было именно в шаткости сталинских претензий на руководство. Надо было, следовательно, возвеличить его заслуги и представить подъем Сталина к власти как закономерный. Ленину, чье руководство в партии было подлинным и общепризнанным, такие методы не требовались. Для Сталина же они были, по крайней мере частично, необходимым цементом, скрепляющим его власть. Проницательный советский дипломат 30-х годов писал: „Каждый, кто воображает, будто Сталин верит этим восхвалениям или упивается ими в эгоистическом желании получать розовый обман, досадно ошибается. Сталин этим не обманывается. Он считает это полезным для своей власти, Он также получает удовольствие, унижая этих интеллигентов...“.^[255]

Обсуждать характер Сталина и его убеждения — это не то же самое, что оценивать его способности. О последних имеются две точки зрения. Согласно одной из них, он был безошибочным гением, „корифеем науки“, вдохновенным руководителем человечества и т. д. Согласно другой точке зрения, он был посредственностью. Первая точка зрения, принятая (во время жизни Сталина) профессором Берналом, Хрущевым и другими, подверглась настолько разрушительной критике, что нам вряд ли стоит ее рассматривать.

Еще имеет влияние на умы и противоположный взгляд — что Сталин был ничтожеством, достигшим высшей власти благодаря везению и низкой хитрости. Правда, большинство из тех, кто придерживается этой теории, допускает, что Сталин был также и чудовищем. Но они не наделяют его многими другими активными качествами.

Меньшевик Суханов, историк по профессии, вскоре ставший жертвой Сталина, писал в 1917 году, что Сталин производит не больше впечатления, нежели серое пятно. Троцкий называл Сталина „наиболее выдающейся посредственностью нашей партии“.^[256] А гораздо позже, в 1956 году, Хрущев говорил: „Я вряд ли погрешу против истины, если скажу, что 99 процентов из присутствующих здесь слышали и знали очень мало о Сталине до 1924-го года“.^[257] Действительно, он производил мало впечатления на речистых политиканов, каких было немало в то время в партии. Так что некоторые основания для подобных суждений у Троцкого и его последователей были. Но, как выявили последующие события, суждения были поверхностны. Качества, которых не имел Сталин и которыми обладал Троцкий, были не главными для политического величия. И только Ленин среди всех большевистских руководителей распознал способности Сталина.

Еще не пришло время совершенно объективного взгляда на карьеру Сталина — взгляда на его технику деспотизма как на искусство. Тем не менее нельзя, вместе с побежденными соперниками Сталина и их интеллектуальными наследниками, сбрасывать со счетов его блестящее политическое умение, которое привело к таким огромным и ужасающим последствиям,

Сталин неплохо владел марксизмом и хотя приспособлял это растяжимое учение к своим надобностям не так искусно и эластично, как его соперники и предшественники, он все же делал это достаточно хорошо для своих целей. Отсутствие у Сталина настоящего теоретического ума отмечали многие, и это, по-видимому, его обижало.

В июле 1928 года Бухарин сказал Каменеву, что Сталина „снедает тщеславное желание стать известным теоретиком.“

Он считает, что ему не хватает только этого“. Старый знаток марксизма Рязанов однажды прервал Сталина, когда тот взялся теоретизировать: „Брось, Коба, не ставь себя в глупое положение. Каждый знает, что теория это не твоя область“. Тем не менее, важнейший теоретический отправной пункт Сталина, — как, рассказывая об этом, отмечает английский биограф Сталина И. Дейчер,^[258] — социализм в одной стране, каким бы грубым и немарксистским он ни выглядел, был сильной и привлекательной идеей,

Тот же И. Дейчер писал, однако, что у практиков сталинского типа интерес к философии и теории был очень ограничен и что полуинтеллигенция, из которой социализм набирал часть своих кадров среднего уровня, пользовалась марксизмом лишь как средством для экономии умственного труда. Но такой взгляд преувеличивает философскую неуклюжесть Сталина. Или скорее, пожалуй, переоценивает других большевистских философов вроде Ленина, с которыми

сравнивается Сталин. Единственное ленинское выступление в чисто философской области — „Материализм и эмпириокритицизм“ — наименее интересная из всех его работ. С другой стороны, сталинская краткая сводка марксизма, данная в главе 4 „Краткого курса истории ВКП[б]“, представляет собою хоть и скромное, но ясное и доходчивое изложение темы. Ведущий коммунистический теоретик Георг Лукач, который в некоторой степени отвернулся от сталинизма, недавно отметил: „Поскольку мы имеем дело с изложением, написанным в популярной форме для масс, нельзя обвинять Сталина в неумении свести весьма тонкие и сложные доводы классиков по этой теме к нескольким определениям, пронумерованным в схематической форме учебника“.^[259]

За исключением Зиновьева, Сталин был единственным „не интеллигентом“ в ленинском руководстве. Но его познания в наиболее существенных областях были немалыми. Джилас утверждает, что „хорошо знал Сталин только политическую историю, особенно русскую, и обладал исключительной памятью. Больше ему ничего и не нужно было для той роли, которую он хотел играть“.^[260]

В 1863 году Бисмарк напомнил прусскому парламенту, что „политика это не точная наука“. Для любого предыдущего поколения это было бы обыкновенным трюизмом, но, по-видимому, Бисмарк выразился столь определенно потому, что на тогдашнюю историческую науку наступал новый рационализм, и профессора социальных и политических наук требовали строгости. Среди русских коммунистов послереволюционного периода эта тенденция достигла полного развития. Они все претендовали на политическую ученость, они все применяли методы точнейшей политической науки, разработанной Марксом, этим Дарвиным общественных наук. Все обсуждалось только в теоретических терминах.

К несчастью, теории оказались неверными, и претензии на научную строгость были, по меньшей мере, преждевременными. Даже если бы их формулировки были ближе к приписываемой им определенности, то все равно сомнительно, насколько преуспели бы эти руководители в реальной политике: ведь профессора баллистики — не обязательно хорошие стрелки. Вышло так, что наделенный большей интуицией Сталин, хотя и не столь способный анализировать и планировать свои действия в теоретических терминах, имел более оперативное представление о реальности.

Как отмечает его дочь, Сталин „совершенно обрусел“.^[261] Он не изучал русского языка до 8- или 9-летнего возраста и всю жизнь говорил с акцентом. Но он говорил хорошо, и его лексика была нередко богатой и живой в грубом смысле слова. Не очень хорошо образованный, он, тем не менее, был начитан в русских классиках — особенно хорошо знал сатириков Щедрина и Гоголя. В молодости он даже прочел много иностранных авторов в русских переводах — в особенности Виктора Гюго, а также популярные работы по дарвинизму и общественно-экономическим темам. Жандармские донесения конца прошлого века свидетельствуют, что студенты тифлисской духовной семинарии читали „подрывную“ литературу такого сорта, и имя Сталина появляется в семинарском кондуите несколько раз в связи с обнаружением у него подобных книг из местной „дешевой библиотеки“. Это показывает, что в те годы Сталин занимался самообразованием.^[262]

Литературный стиль Сталина не отличался тонкостью, и этим он тоже заслужил насмешки своих противников. Джилас связывает грубость сталинского стиля с отсталостью революционной России. „В его трудах можно найти общие места, позаимствованные подчас у отцов церкви, что объясняется не столько его религиозным воспитанием, сколько примитивностью его мышления, свойственной вообще доктринерам-коммунистам“. Джилас отмечает также, что „его язык был бесцветен и однообразен, но его упрощенная логика и догматизм были убедительны для людей, неспособных критически мыслить“.^[263] Однако можно сказать и больше. Ясные и простые доводы привлекательны не только для

„простых“ умов. Бывший советский сановник пишет: „Именно отсутствие у него блеска, его простота заставляли нас верить тому, что он говорил“.^[264]

Многие описывают Сталина до странности угрюмым человеком, однако он умел быть и очаровательным; он обладал грубым юмором — весьма самоуверенным юмором, но не совсем

лишенным тонкости и глубины.^[265] Этим он отличался от Ленина и Троцкого, совершенно лишенных чувства юмора.

Сомнительно, конечно, чтобы он добился какого-либо успеха в более политически развитом обществе, но в тех политических условиях, в которых он работал, Сталин показал себя истинным мастером. Он далеко затмил всех своих соперников в тактике борьбы. По словам Бухарина, он был мастером „дозировки“ — он всегда давал нужную дозу в нужное время. Бухарин, по-видимому, считал это нелестным отзывом, что свидетельствует только о недостаточной политической умелости Бухарина. Фактически это, конечно, хороший комплимент по поводу одной из самых сильных черт Сталина.

Все свое положение Сталин завоевал окольными маневрами. Стоит заметить только, что с 1924 по 1934 год не было ни одного резкого государственного переворота того типа, каких было уже несколько в послесталинский период. Сталин умел напасть на человека, дискредитировать его, а потом как бы пойти на компромисс, тем самым ослабив противника, но еще не уничтожив его. Шаг за шагом позиции его противников подрывались, и они по одному устранялись от руководства.

Ленин видел эту особенность политической методологии Сталина. Когда Ленин хотел нанести поражение Сталину по грузинскому вопросу в последние дни своей активной жизни, он велел своему секретарю Фотиевой не показывать Каменеву записок, подготовленных для Троцкого. Иначе, по мнению Ленина, об этих записках узнал бы Сталин и „пошел бы на гнилой компромисс с целью обмана“.^[266] Интересно, что именно этим Сталин и занимался в течение нескольких месяцев после смерти Ленина, проявляя фальшивую умеренность, служившую успеху его замыслов.

Сталин никогда не предпринимал непоправимых шагов до тех пор, пока не был совершенно уверен в их успехе. Ввиду этого его противники часто сталкивались с дилеммой. Они никогда не знали, как далеко он пойдет. И часто обманывались, думая, что он будто бы подчинился воле большинства Политбюро, а следовательно, с ним можно работать. Даже когда он настойчиво требовал террористических решений в вопросах об участниках оппозиции, его противники могли предполагать, что это было частично влияние Кагановича и других и что Сталина можно отговорить от подчинения этому влиянию при помощи убедительных доводов. Примечательно: среди различных решений, предлагавшихся с 1930 года и дальше, почти не было проектов полного отстранения Сталина от власти, что было бы единственным средством спасти положение.

Так, небывалым в истории способом, Сталин вел свой „государственный переворот по чайной ложке“ и дошел до величайшей бойни, все еще производя впечатление некоей умеренности. Своей молчаливостью и спокойной манерой разговора он не только обманул многих иностранцев, но и внутри страны, даже в самые пиковые моменты террора, его не очень обвиняли во всех преступлениях.

Профессор Тибор Самуэли, в свое время вращавшийся в самых высших кругах сталинского Советского Союза и Венгрии Матиаса Ракоши, отмечает, что вообще Ракоши был более образованным и в каком-то смысле более интеллигентным человеком, чем Сталин. Но он делал весьма неосмотрительные заявления. Наиболее важный пример: в период процесса над Ласло Райком в 1949 году, Ракоши заявил в речи, что он проводил бессонные ночи, распутывая своими руками все нити заговора. Когда Райк был реабилитирован, эта речь стала смертельным оружием против Ракоши. Но и помимо этого, признание Ракоши показывало, что даже в те времена и народ и партия обвиняли лично его во всех злодеяниях, связанных с террором.^[267]

Сталин, никогда не говоривший и словом больше, чем было необходимо, и во сне не сделал бы такого грубого разоблачения. То, что большой террор считался в основном делом рук наркома внутренних дел Ежова, было триумфом Сталина. „Да не только я, очень многие считали, что зло исходит от маленького человека, которого звали „сталинским наркомом““. Народ окрестил те годы „ежовщиной““. Так пишет Илья Эренбург. Он рассказывает о встрече с Пастернаком в Лаврушенском переулке зимней снежной ночью. Пастернак „размахивал руками

среди сугробов: „Вот если бы кто-нибудь рассказал про все Сталину!“ Мейерхольд тоже говорил: „От Сталина скрывают“...“^[268]

На самом деле все было наоборот. Так, карикатурист Борис Ефимов пишет,^[269] что Мехлис по дружбе рассказывал его брату Михаилу Кольцову, как производились аресты.

„Мехлис показал ему несколько слов, написанных красным карандашом и адресованных Ежову и ему, Мехлису, с приказом арестовать всех упомянутых в показаниях лиц“. Это касалось, — как говорил Кольцов, — людей еще свободных и занимавшихся своей работой, но на самом деле уже осужденных на уничтожение „одним росчерком карандаша“. Ежову остались „чисто технические детали — оформить „дела“ и выписать ордера на арест“.

В общем, сталинские „достижения“ настолько необычны, что его вряд ли можно с пренебрежением назвать просто бесцветным, посредственным человеком, лишь с определенным талантом в области террора и интриг. Во многих отношениях Сталин вообще был очень сдержанным, скрытным человеком. Рассказывают, что в ранней юности, будучи побежден в споре, он не проявлял эмоций, а лишь саркастически улыбался. Бывший секретарь Сталина однажды весьма глубоко заметил: „Он в высокой степени обладал даром молчания и в этом отношении был уникален в стране, где все говорили слишком много“.^[270] Цели Сталина и даже его таланты были неясны большинству его соперников и коллег.

Поскольку Сталин не разъяснял и не излагал своих точек зрения и планов, многие думали, что он их вообще не имел — типичная ошибка болтливых интеллигентов. „Выражение его лица, — замечает один наблюдатель, — ничем не выдает его чувств“.^[271]

Константин Симонов пишет, что „у него было то, годами, тщательно, навсегда выработанное выражение лица, которое должно было быть в присутствии этих людей у товарища Сталина, как он уже давно мысленно, а иногда и вслух, в третьем лице, называл самого себя“.^[272] На заседаниях Политбюро он спокойно слушал; так же вел он себя в присутствии именитых гостей, покуривая свою данкилловскую трубку, бесцельно рисуя что-нибудь в блокноте. Его секретари Поскребышев и Двинский писали, что блокноты были покрыты фразами вроде „Ленин — учитель — друг“, но последний из иностранцев, видевший Сталина (это было в феврале 1953 года), заметил, что он рисовал волков.

Все более ранние описания сходятся в том, что одной из характерных черт Сталина была „леность“. „Первое качество Сталина — леность, поучал меня когда-то Бухарин“, — пишет Троцкий, отмечая, что „Сталин никогда серьезной работы не выполнял“, с большой систематичностью занимаясь, однако, интригами.^[273] То же самое можно сказать по-другому: Сталин уделял должное внимание мелким подробностям политического маневрирования. Он сам говорил: „Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого строится великое, — в этом один из важных заветов Ильича“.^[274] Стоит, право, вспомнить иронические слова бывшего германского главнокомандующего генерал-полковника барона Курта фон Хаммерштейна относительно его офицеров: „Я делю моих офицеров на четыре категории... Человек умный и прилежный годится на высокий штабной пост; тот, кто умен и ленив, подходит для самого высшего командования, ибо у него хорошие нервы, способные справиться с любой ситуацией; можно также использовать глупого и ленивого человека; но глупый и старательный человек опасен и должен быть немедленно смещен“. Характерная черта Сталина в политической борьбе — как раз его хладнокровие. Он обладал высокой целеустремленностью и значительным терпением, а также исключительной способностью оказывать и снимать давление в нужные моменты. Все это и позволило ему пройти через ряд критических ситуаций до полной победы.

Сталинское превосходство над соперниками заключалось, несомненно, в его сильной воле. Недаром Наполеон ставил то, что он сам называл „моральной стойкостью“ своих генералов, выше и гения и опыта. Во время югославо-советских переговоров в Москве в военные годы Милован Джилас сказал Сталину, что сербский политик Гаврилович был „лукавый человек“. На это Сталин заметил, как бы про себя: „Да, есть политики, считающие, что хитрость в политике — самое главное...“.^[275] Сталин обладал силой воли, доведенной до логической

крайности. Есть нечто нечеловеческое в почти полном отсутствии у него нормальных пределов силы воли.

Говорят, что Сталин постоянно читал Макиавелли, что вообще вполне разумно. В главе 15 макиавеллиевского „Государя“ он мог бы найти совет: правители ни в коем случае не должны творить злодеяний, ибо это может стоить им потери власти; однако, когда доходит до самого худшего, они не должны дрожать перед обвинениями в злодействе, если оно необходимо для защиты государства», в то же время делая все возможные усилия «избежать репутации злодеев». Или, например, в главе 18 Макиавелли рекомендует проявлять милосердие, верность слову и т. п. замечая в то же время, что государь, «а особенно новый государь должен часто действовать в духе, противоположном этим качествам».

Когда в феврале 1947 г. Сталин принял известного кинорежиссера Эйзенштейна и актера Н. К. Черкасова в связи с постановкой второй серии фильма «Иван Грозный», он дал свою собственную характеристику грозного царя. Он не осуждал его, как это обычно делается, за жестокость и беспощадный террор, а, наоборот, сказал своим собеседникам, что Иван был великим и мудрым правителем, он защитил страну от проникновения иностранных влияний и стремился к объединению России. Черкасов пишет, что «Иосиф Виссарионович отметил прогрессивную роль опричнины». Критика Ивана Грозного Сталиным сводилась к тому, что царь (опять цитирую Черкасова) «не сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных родов». По этому поводу Сталин не безуморадобавил: «Тут Ивану помешал Бог» — ибо после ликвидации одного боярского рода царь Иван каялся целый год, «тогда как ему нужно было бы действовать еще решительнее».^[276]

Сталин разбирался и в том, как подрывать политическую репутацию своих противников. В некоторых отношениях он мог поучиться у другого тоталитарного вождя, которым он до известной степени восхищался. Вот какой рецепт для произведения политических чисток дает Адольф Гитлер:

«Искусство руководства, проявляемое истинно великими, народными вождями во все века, состоит в концентрации внимания всего народа на одном-единственном противнике и в умении позаботиться о том, чтобы это внимание не дробилось на части... Гениальный вождь должен уметь представить различных противников так, будто они принадлежат к одной и той же категории; ибо слабые и колеблющиеся натуры могут легко начать сомневаться в своей правоте, если столкнутся с различными врагами... Всех различных по их внутренней природе врагов необходимо поэтому собрать вместе, с таким расчетом, чтобы массы ваших сторонников могли видеть только одного общего врага, против которого им следует бороться. Это укрепляет их веру в свою правоту и усиливает их ненависть по отношению к противнику».^[277]

Однако Сталин был глубже и сложнее Гитлера. Его взгляд на человечество был циничным, и когда он вслед за Гитлером стал практиковать антисемитизм, это была скорее политика, чем догма. Зачатки сталинского антисемитизма или, пожалуй правильнее, антисемитской демагогии, обнаруживаются еще в 1907 году, когда он вспоминал в «Записках делегата», печатавшихся в маленькой подпольной газете, выпускавшейся под его руководством в Баку: «По этому поводу кто-то из большевиков заметил шутя (кажется, тов. Алексинский), что меньшевики — еврейская фракция, большевики — истинно русская, стало быть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром».^[278]

В августе 1952 года по приказу Сталина была расстреляна группа еврейских писателей. Но обвинения против них были политического характера — им инкриминировали попытку создать обособленное государство в Крыму. Это обвинение имело даже некоторое подобие связи с реальностью: после войны еврейский антифашистский комитет однажды поднял вопрос о переселении евреев на Крымский полуостров. В так называемом «деле врачей-убийц» 1953 года большинство обвиняемых были евреи, но было несколько и не евреев. Еврейский элемент в «деле врачей» был подчеркнут публично, но опять же под покровом связи с «сионизмом». А во время антисемитской кампании, предшествовавшей «делу врачей», еврейских литераторов называли «космополитами» («Троцкий, Радек, Зиновьев, Каменев, критики-космополиты...

Какая-то врожденная склонность к предательству»—думает бюрократ в одном из рассказов Абрама Терца-Синявского^[279]).

Когда западные критики указывали на несомненный антисемитский элемент в «деле врачей», то находились люди, которые выступали в том духе, что ведь обвинение предъявлялось и не евреям, и что сионизм, вообще говоря, имеет в какой-то степени антисоветскую направленность. Ибо, как мы увидим, сталинские политические намерения никогда не объявлялись настолько ясно, чтобы их можно было разоблачить. Ни в одном частном случае нельзя было вполне определенно сказать, каким именно будет его отношение к делу.

Такое загадочное поведение сбивало с толку даже опытных и умных людей. Лион Фейхтвангер, страстный защитник евреев, никогда не верил в преследование евреев Сталиным. Так же и Ромэн Роллан, горячий поборник свободы творчества, был обманут Сталиным и не верил в отсутствие свободы творчества в советской литературе.

Такой завуалированный «антисемитизм» очень характерен для Сталина как *пример* использования с одной стороны предрассудков, а с другой стороны легковерия и сговорчивости людей.

В широком смысле, в мировоззрении, Сталин принимал теории физиолога Павлова (ненавидевшего советский режим). Более того, Сталин истолковывал Павлова *самым*, прямолинейным образом, считая его теории применимыми к человеческой личности. Академик Орбелли и другие высказывали точку зрения, что Павлов имел дело лишь с элементарными нервными процессами у животных, а у человека необходимо принимать во внимание сопротивление, которое он оказывает построению условных рефлексов. Эта точка зрения по наущению Сталина была подвергнута разносной критике в «Правде».^[280]

Однако медленные, холодно рассчитанные действия, характерные для всей карьеры Сталина, — своего рода эффект ледника, постепенно кратчайшим путем надвигающегося на горную долину, — все это лишь часть сталинского характера. Несколько раз, особенно в молодые годы, спокойствие Сталина нарушалось и уступало место выражению сильнейших эмоций.

При жизни Ленина, если Сталин обижался, он мрачнел и целыми днями не появлялся на собраниях.^[281] Ленин говорил, что Сталин часто действует, движимый раздражением или злобой, и что злоба вообще играет самую худшую роль в политике. Ленин отмечал также резкость Сталина, его тенденции решать все административными мерами. В дни смерти Ленина Сталин чуть не совершил политического самоубийства своей «капризностью», и ему понадобилась вся его ловкость, чтобы восстановить положение.^[282]

Последующий терроризм Сталина тоже не был целиком рационален. Сталин «практиковал грубое насилие не только по отношению ко всему, что противоречило его мнению, но также и по отношению к тому, что, по мнению его капризного и деспотического характера, казалось не соответствовало его взглядам».^[283] Бывший американский посол в Советском Союзе, Джордж Кеннан, отмечал: «Для его глубокого недоверчивого ума ни один политический вопрос не существовал без личных соображений».^[284] А дочь Сталина пишет, что «если он выбрасывал кого-либо давно знакомого ему из своего сердца, если он уже переводил в своей душе этого человека в разряд „врагов“, то невозможно было заводить с ним разговор об этом человеке».^[285]

Не может быть сомнения, что Сталин неумолимо реализовывал свои антипатии — иногда даже через много лет. Но, конечно, это было лишь частично мотивом убийств, совершавшихся по его приказам. Ибо убийства распространялись и на друзей его, и на врагов, и на людей, которых он почти не знал, равно как и на его личных соперников. Люди, когда-либо повредившие Сталину, не пережили террора. Но не пережили, конечно, и те, которых оскорблял он сам — вроде *Баумана*.

Тем не менее, хотя Хрущев и изображал Сталина капризным тираном, но это не обязательно несовместимо с известной логикой в поведении диктатора. Верно, конечно, что любой, против кого Сталин лично «имел зуб», почти автоматически включался в список смертников; но даже долгие годы ссор и интриг не могли привести к такому невероятному

количеству жертв. Чтобы произвести эффект террора, нужно было не только покончить со всеми теми, кто раздражал Сталина и стоял на его пути; списки жертв нужно было составлять не только по капризу, но и другими методами.

Если рассматривать сталинский террор со статистическими данными в руках, как массовое явление, а не с точки зрения отдельных личностей, то он предстает в более рациональном виде. Отсутствие направленности на какие-либо определенные категории жертв — *какмогло бы быть* у какого-нибудь Троцкого, — указывает на осмотрительную извилистость террора и не дает критикам выявить сколько-нибудь ясно его цели. Сталин, возможно, считал, что террористический эффект получается тогда, когда арестовывается и расстреливается определенная часть данной общественной группы. Тогда остальные приводятся к повиновению и подчиняются без жалоб. И с этой точки зрения не так уж важно, кто избран в качестве жертв — особенно если все или почти все ни в чем не виноваты.

Заканчивая последнюю, *шестую* книгу своих воспоминаний, Илья Эренбург все еще спрашивал себя, почему одни были расстреляны, а другие спаслись. «Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали? Почему погубил Н. И. Вавилова и пощадил П. Л. Капицу? Почему, убив всех помощников Литвинова, не расстрелял строптивного Максима Максимовича?».^[286]

Каковы бы, однако, ни были «статистические» объяснения, действие личных капризов Сталина тоже бросает полезный свет на его характер. Английский писатель Гэмфри Слэтер, обладавший большим политическим опытом, отмечал в 40-е годы: «Похоже, что Сталин одновременно требует и ненавидит подхалимаж абсолютного подчинения».^[287] Эта мысль подтверждается и развивается дальше в недавних сочинениях Константина Симонова, который был близко связан с высшим советским руководством. В романе Симонова «Солдатами не рождаются» есть такой эпизод: во время войны Сталин получает письмо от генерала Серпилина, ходатайствующего об освобождении своего товарища и перечисляющего заслуги этого человека в годы гражданской войны. Симонов пишет:

«Воспоминания Серпилина нисколько не тронули Сталина. Решительность письма — вот что заинтересовало его. Рядом с деспотическим требованием полного повиновения, которое было для него правилом, в его жестокой натуре, как обратная сторона того же правила, жила потребность встречаться с исключением. В нем по временам проявлялось нечто похожее на вспышки интереса *клюдям*, способным на риск, на высказывание мнений, идущих вразрез с его собственным, действительным или предполагаемым. Зная себя, он знал меру этого риска и тем более способен был оценить его. Иногда. Потому что гораздо чаще бывало наоборот, в этом и состоял риск».^[288]

Сталин дает Серпилину аудиенцию, и разговор проходит довольно хорошо:

«Серпилин, уходя, считал, что его судьба уже окончательно решилась в разговоре со Сталиным. Но на самом деле она до конца решилась не тогда, в разговоре, а сейчас, когда Сталин молча смотрел ему в спину. Он часто вот так окончательно решал судьбы людей, глядя им уже не в глаза, а в спину, когда уходили».^[289]

К известным категориям людей Сталин, видимо, применял другие мерки. Его бывшие грузинские соперники и друзья были в большинстве расстреляны — так же как и русские. Но в то время как Сталин не выказывал ничего кроме презрения к большинству своих жертв, он по-иному подошел к казни своего зятя, старого грузинского большевика Алексея Сванидзе, которого расстреляли в 1942 году по обвинению в том, что он был фашистским агентом.

Перед расстрелом Сванидзе сказали, что Сталин помилует его, если он попросит прощения. «Когда Сванидзе передали эти слова Сталина, — рассказал потом на XXII съезде Хрущев, — то он спросил: „О чем я должен просить? Ведь я никакого преступления не сделал“. Его расстреляли. После смерти Сванидзе Сталин сказал: „Смотри, какой гордый: умер, но не попросил прощения“».^[290]

Еще более исключительный пример — судьба другого грузина, С. И. Кавтарадзе. Он был председателем Совнаркома Грузии с 1921 по 1922 год, а затем Сталин свалил его вместе с

остальными членами грузинского руководства в ходе борьбы, которая шла перед смертью Ленина и сразу после нее. Кавтарадзе был исключен из партии как троцкист в 1927 году и был среди тех, кого не реабилитировали в последующие годы. Разумеется, его арестовали и вынесли ему приговор в годы террора. Его видели в лагерях Мариинска и Колымы в 1936 году. Он был полностью лишен каких-либо партийных иллюзий.^[291] В 1940 году он все еще был в лагере. Однажды его вызвал комендант, и Кавтарадзе поехал под конвоем в Москву. К его величайшему удивлению, вместо того, чтобы расстрелять, его прямо в тюремной одежде привезли в Кремль. Его принял Сталин, любезно приветствовал и спросил, где он был все это время. Кавтарадзе был немедленно реабилитирован и в 1941 году послан в министерство иностранных дел, где скоро стал заместителем министра. После войны он некоторое время был послом в Румынии.^[292]

Кавтарадзе был меньшевиком, и Сталин в целом был сравнительно мягок к тем бывшим меньшевикам, которые не принимали участия в дальнейшей партийной борьбе. Тем не менее, это ясный пример того, как Сталин мог сознательно потворствовать своим капризам.

То же мы видим на примере ведущих противников Сталина в послереволюционной Грузии. Расстреляв Мдивани, Сталин сделал примечательное исключение, сохранив жизнь Филиппу Махарадзе. Хотя Махарадзе публично осуждался за разные ошибки, особенно в деликатной области истории грузинской компартии,^[293] он оставался председателем Президиума Верховного совета Грузинской ССР до самой смерти в 1941 году, и умер в почете. То, что Махарадзе пережил террор, очень странно — если, конечно, не считать наказанием четырехлетнее непрерывное ожидание ареста и не видеть в этом особенно тонкого акта мести.

Один своеобразный пробел в списках жертв террора напоминает нам о том, что в характере Сталина, возможно, оставались черты некоего кавказского рыцарства. Он не возражал против убийства или заключения в тюрьму женщин — «жены» упоминаются как нормальная категория подлежащих казни. Но внутри самых высших партийных кругов наблюдалось любопытное выживание старых большевичек. Вдова Ленина Крупская, конечно, в некотором смысле случай особый, хотя она довольно сильно противостояла Сталину в 20-е годы и даже нанесла ему личное оскорбление. Но Сталин, конечно, мог своей властью, движимый обычной злобностью, легко доказать, что жена Ленина предала своего мужа.

Есть, однако, много других старых большевичек, переживших террор. Елена Стасова пережила самого Сталина. Спаслась Л. А. Фотиева, секретарь Ленина, которая должна была знать очень многое в самой чувствительной для Сталина области — о разладе Сталина с Лениным в последние месяцы жизни вождя революции. То же можно сказать о К. И. Николаевой — единственной, кроме Крупской, женщины в составе ЦК 1934 года, которая в числе немногих других была избрана в ЦК и в 1939 году (когда она к тому же числилась «зиновьевкой»). Еще один пример — Р. С. Землячка, избранная в ЦК в 1904 году. Жестокая террористка, Землячка была главным сподвижником Бела Куна в крымской резне 1920 года, против которой возражал сам Ленин. И она выжила, тогда как Кун отправился в камеру смертников. Александра Коллонтай — звезда «рабочей оппозиции» — была женой Дыбенко и жила со Шляпниковым. Сверх всего этого, когда Коллонтай приняла линию Сталина, она осталась послом в Швеции — должность, которая почти для всех была роковой. И все же она прожила сталинскую эпоху нетронутой, на том же посту.

Психологи могли бы сделать из этой черты Сталина кое-какие выводы. Во всяком случае, эта относительно человеческая черта, возможно, отзвук Кавказа, так же, как склонность к кровной мести. Но гораздо менее ясно, почему спаслась еще одна «категория»: бывшие большевистские депутаты Государственной Думы. Все они (включая Григория Петровского, который находился под прямой угрозой в 1939 году) благополучно пережили террор.

После всего рассказанного нам все еще приходится вглядываться во мрак исключительной скрытности Сталина. Бывший высокопоставленный советский работник, человек очень пронизательный, отмечает сталинское терпение и одновременно его капризность. Он пишет: «Эта редкая комбинация — главный ключ к его характеру».^[294] Несомненно, это здравая точка зрения, но и она не подводит нас близко к полному пониманию.

Сталин никогда не рассказывал, что у него на уме, даже в отношении политических целей. Но не приходится сомневаться, что в общем он знал, что собирается делать. Гораздо труднее, как мы видели, определить, до какой степени ясности доводил он свои замыслы даже для самого себя, насколько далеко смотрел он вперед во время каждого данного кризиса. В политике у Сталина было нечто менее определенное, чем плановое управление событиями. Скорее, это было чувство событий, ощущение их. И в этом он не превзойден никем из своих современников.

Однако и без уверенности в том, что у Сталина существовал сознательный план на долгий период, можно сказать, что жажда власти была его сильнейшей и наиболее очевидной движущей силой. В истории были люди вроде Кромвеля, чей путь к власти оказывался поистине случайным, кто и не планировал и не особенно желал такого результата. Сталин, совершенно определенно, не из таких.

В своем разговоре с Каменевым в июле 1928 года Бухарин сказал ясно: «Он может в любой момент изменить свои теории, если надо от кого-нибудь отделаться».^[295] Но с политической точки зрения в этом можно усмотреть последовательность. Во всех действиях Сталина можно найти единственное и главное стремление — укреплять свою собственную позицию. Для практических целей все остальное было подчиненным. И это привело его к абсолютной власти. Макиавелли писал, что хотя в деспотических государствах власть захватить довольно трудно, но, однажды захватив, ее сравнительно легко удерживать. Сталин захватил власть и удержал ее.

На протяжении четырех лет после убийства Кирова Сталин провел революцию, которая полностью преобразила партию и общество. Этот период, в гораздо большей степени, чем сама Октябрьская революция, определил отрыв России от ее прошлого. Это была также наиболее глубокая травма из тех, какие потрясли население страны в предшествующие бурные десятилетия, с самого 1905 года.

Несомненно, что такой радикальный поворот мог быть проведен только на странном фоне советского прошлого, на фоне необычных традиций Всесоюзной Коммунистической партии. И уже существовавшая к началу периода тоталитарная государственная машина была той точкой опоры, без которой нельзя было бы перевернуть мир. Но все же террористическая революция остается, как бы мы о ней не судили, прежде всего, личным достижением Сталина. Если характер Сталина и не поддается прямому исследованию, то мы, во всяком случае, увидим, как этот характер с достаточной точностью проявлялся в его действиях в последующие годы, да и во всем облике государства, которое он создал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПРИЗНАНИЯ

— В чем проявлялся его фашизм?

— Его фашизм проявился, когда он сказал, что в такой ситуации, как современная, мы должны прибегнуть к использованию всех возможных средств.

Обмен репликами между Вышинским и Зиновьевым на суде в августе 1936 года.

Шесть месяцев, последовавших за процессом Медведя-Запорожца, остаются одним из самых неясных периодов террора. Этот период начинается со смерти еще одного члена Политбюро при до сих пор не выясненных обстоятельствах и заканчивается еще одним судебным процессом, на котором даже существо обвинений не было объявлено публично — процессом Каменева и других. Однако общий характер периода ясен, и сейчас можно восстановить многие детали.

Когда схлынула после убийства Кирова волна террора, умеренная фракция в Политбюро продолжала настаивать на более мягкой политике. Действительно, можно было с равным успехом и доказывать, что убийство Кирова явилось признаком напряженности, с которой лучше всего справиться проведением более популярной политики, и выдвигать противоположные утверждения, — что убийство указывало на необходимость дальнейшего террора.

Среди всех членов Политбюро председатель Госплана Валериан Куйбышев был, как полагают, наиболее активным сторонником линии Кирова. Английский историк Л. Шапиро считает возможным, что он был против январского суда над Зиновьевым-Каменевым.^[296] Вне Политбюро влиятельными сторонниками более мягкой линии были Максим Горький и Надежда Крупская. Общество старых большевиков, которое на протяжении ряда лет было чем-то вроде партийной совести, резко протестовало против самой мысли о вынесении смертных приговоров участникам оппозиции. А среди ближайшего окружения Сталина той же точки зрения придерживался Абель Енукидзе, секретарь Центрального исполнительного комитета (ЦИК), руководивший, в числе других обязанностей, всей кремлевской администрацией.

Первой жертвой сталинских контрмер пал именно Енукидзе. Для начала его заставили выступить с небольшими, но многозначительными самообвинениями. 16 января 1935 года Енукидзе выступил в «Правде» со статьей на полстраницы; он писал о своих ошибках, допущенных в статьях для энциклопедии и других изданий и касающихся истоков грузинского большевистского движения. Ошибки состояли якобы в том, что Енукидзе преувеличивал собственную роль в большевистском движении Закавказья. Статья Енукидзе появилась в тот самый день, когда был вынесен приговор Зиновьеву и остальным — словно чтобы подчеркнуть связь между этими двумя событиями. Статья в «Правде» была началом быстрого падения Енукидзе.

Следующим сильным ударом по умеренным была смерть Куйбышева 26 января. Большинство подчиненных Куйбышеву по Госплану, включая его заместителя профессора Осадчего, были сняты с занимаемых постов за то, что возражали против плохо подготовленных ускоренных планов индустриализации в самом начале 30-х годов. Смерть Куйбышева была вначале подана как естественная, однако позже было заявлено, что он погиб в результате заведомо неправильного лечения по приказу Ягоды.

О смерти Куйбышева до сих пор трудно сказать что-либо определенное. Здравый смысл здесь не помогает. С точки зрения здравого смысла здесь возможны две версии. Согласно первой, смерть Куйбышева следует принять за естественную, поскольку нет абсолютно ясных свидетельств обратного. Ведь если Куйбышева лечили, то до этого он должен был хотя бы заболеть; в конце концов, люди смертны, и не следует обязательно пытаться подогнать каждую смерть под какой-то заранее подготовленный шаблон. Однако, по другой логической версии, Куйбышев был одним из трех членов Политбюро (другие двое были Орджоникидзе и Киров, открыто возражавших Сталину, один из них, Киров, был убит незадолго до смерти Куйбышева,

а другому предстояла недалекая смерть якобы от сердечного приступа. «Медицинское убийство» в условиях того времени не было таким уж невероятным событием; и, кроме того, как

раз в момент смерти Куйбышева Сталин ополчился на двух других сторонников умеренного течения — Горького и Енукидзе. Что же мог предпринять Сталин против члена Политбюро, наиболее для него опасного и наименее уязвимого? Была ли в распоряжении Сталина какая-либо мера против Куйбышева, кроме той, которую он так успешно применил к Кирову?

Читатель может подумать, что подозрения заводят нас слишком далеко. Однако подозрения в определенной степени оправданы, если принять во внимание следующее. Все остальные девять членов Политбюро (и десять бывших членов Политбюро), умерших в период с 1934 по 1940 год, были жертвами Сталина; все его сторонники, возражавшие ему по вопросу террора, исчезли; и, что самое важное, остальные соратники Сталина по Политбюро, умершие до 1938 года, были тоже им убиты, но такими методами, что приписать убийство Сталину было нелегко.

Последняя фотография Куйбышева — на заседании Совета народных комиссаров — была сделана 23 января.^[297] 26 января было объявлено о его смерти от сердечной болезни. Среди подписавших медицинский бюллетень были Каминский, Ходоровский и Левин; подписи всех троих появились позднее под медицинским заключением о столь же внезапной смерти Орджоникидзе якобы по той же причине — что, как теперь ясно, было фальшивкой.

У Куйбышева, насколько известно, было слабое сердце, и он лечился, начиная по крайней мере, с августа 1934 года. Его еще более ослабили острая ангина и последующая операция. Но в январе 1935 года он был в неплохом состоянии и еще работал за час или два до смерти.^[298]

Картина его *смерти*, данная на процессе Бухарина, была следующей. Куйбышев якобы страдал приступами стенокардии. Один из приступов случился с ним в кабинете, и ему позволили идти из Совнаркома домой без сопровождения, после чего он поднялся в свою квартиру на третий этаж. В квартире оказалась домработница, которая позвонила его секретарю и дежурному врачу, но когда они прибыли, Куйбышев был уже мертв.^[299]

На процессе говорилось, что смерть Куйбышева наступила от заведомо неправильного лечения и что врачи во всяком случае должны были настаивать на постельном режиме.^[300] Врачей (и секретаря Куйбышева Максимова) позднее обвинили в том, что они действовали по приказам Ягоды. В этом нет ничего невозможного: ведь совсем незадолго до того высокопоставленный офицер НКВД помог в убийстве Кирова, а Левин как-никак был врачом НКВД. Но одинаково возможно и то, что если Куйбышев не умер естественной смертью, то был убит не таким способом, который был объявлен на процессе; возможно, другой член Совета народных комиссаров вышел из соседнего кабинета со стаканом отнюдь не лекарства. Если так, то вероятно, что истинные факты были известны только очень немногим, ныне покойным, и добраться до них не могут теперь даже следователи в СССР.

Среди тех, кто активно возражал против преследований членов оппозиции на протяжении всего периода, наиболее сильной фигурой был Максим Горький. Больше того, главной целью Горького было содействовать примирению партии с интеллигенцией — чтобы наставить советский режим, с которым вначале он был не согласен, на путь социалистического гуманизма. Горький верил, что советский режим и социалистический гуманизм совместимы. Во имя этой цели Горький скомпрометировал себя возвращением из Италии в 1928 году и защитой режима против внешних критиков.

Есть свидетельства, что Горький лично пытался помирить Сталина с Каменевым и даже, казалось, преуспел в этом в начале 1934 года, организовав их личную дружескую встречу.^[301] Каменеву предоставили работу в издательстве «Академия».

Говорят, что сразу после убийства Кирова Горький был сильно возмущен, причем его гнев был направлен против «антипартийных убийц». Но вскоре он вернулся в вопросах общей политики на свои «либеральные» позиции. Негодование Сталина по поведению оппозиции Горького выразилось в том, что тут же появились, впервые после возвращения Горького в

страну, резко критические статьи о нем.^[302] Тем не менее, Горький продолжал свои усилия по примирению Сталина с оппозиционерами. То жеделалаи Крупская, главная союзница Каменева и Зиновьева в 1924 году.

В определенных пределах Крупская представляла моральную угрозу планам Сталина. Но, в отличие от Горького, она была членом партии и подчинялась той самой партийной дисциплине, которая заставила ее согласиться на сокрытие завещания мужа. Симпатии Крупской к зиновьевской оппозиции были общеизвестны в партии на протяжении нескольких лет. В результате, к моменту, о котором идет рассказ, она потеряла большую часть престижа, которым пользовалась в высоких кругах, хотя имя ее было все еще популярно в партийных массах. Неизвестно точно, какими методами Сталин привел Крупскую к молчанию. Известно лишь, что однажды Сталин обронил, что если Крупская не перестанет его критиковать, то партия объявит, что не она, а старая большевичка Елена Стасова была женой Ленина. «Да-да, — добавил Сталин строго, — партия все может».^[303]

Во всяком случае, Крупская могла сделать лишь очень немного. Было нетрудно изолировать ее от контактов с иностранцами, окружить сотрудниками НКВД и в то же время призвать к повиновению партийным приказам — опять-таки в отличие от Горького. Есть сведения, что на протяжении последних лет Крупская находилась под постоянным страхом убийства. Но Сталин — по его меркам, разумеется, — относился к Крупской сравнительно хорошо, он не выдвинул против нее ложных обвинений и (насколько известно) не отравил ее.

1 февраля 1935 года пленум ЦК избрал Микояна и Чубаря на посты в Политбюро, освободившиеся со смертью Кирова и Куйбышева. Жданов и Эйхе были избраны кандидатами в Политбюро. В той степени, в какой Микоян поддерживал экстремистскую линию Сталина в период террора (и в какой Жданов поддерживал ее среди кандидатов), эти выборы были победой Сталина. И все же он еще не был полностью готов опрокинуть «умеренных» в руководящих партийных органах.

Что касается ключевых организационных постов в партии и в террористической машине, дело выглядело иначе. Секретарем ЦК стал испытанный и безжалостный исполнитель Николай Ежов, а 28 февраля он был дополнительно назначен на важный пост председателя Центральной Контрольной Комиссии.^[304] Несколько днями позже другой видный молодой сталинец, ставленник Кагановича, Никита Хрущев был сделан первым секретарем московского обкома партии.^[305] К июню Андрей Вышинский стал Генеральным прокурором, а к 8 августа 1935 года пост заместителя Ежова по отделу кадров ЦК занимал Георгий Маленков.^[306]

Таким образом, к середине 1935 года Сталин лично подобрал людей, которые вскоре показали себя подлинными энтузиастами террора. Под контролем этих людей находились Ленинград и Москва. Сталин мог быть спокоен и насчет Закавказья, где правил Берия. Такие же люди работали в Центральной Контрольной Комиссии, в важнейших отделах секретариата ЦК и в генеральной прокуратуре;

а руководство НКВД, если и оказалось в дальнейшем неудовлетворительным для Сталина, то было, во всяком случае, полностью под его контролем.

Но в формальных органах партийной власти — в ЦК и Политбюро — Сталин еще не достиг такой же самой мертвой хватки. Во главе многих областных комитетов партии стояли люди, подчинявшиеся с неохотой. А руководство на Украине было того же типа, от которого Сталину пришлось отделаться в Ленинграде с помощью пули убийцы. Однако для атаки на эти старые кадры уже был установлен хороший трамплин.

В течение того же внешне спокойного периода шел медленный, но верный прогресс в контроле над мыслями и в чистке партии. Циркуляром от 7 марта 1935 года предписывалось изъятие из всех библиотек сочинений Троцкого, Зиновьева и Каменева. Еще один циркуляр, датированный 21 июня, дополнил этот список Преображенским и другими.^[307]

19 мая 1935 года Центральный Комитет разослал на места закрытое письмо, призывающее выявлять «врагов партии и рабочего класса», еще остававшихся в рядах самой партии.^[308] Особая резолюция ЦК от 27 июня (по-видимому, типичная) определяет взыскания членам комиссии по партийной чистке одной из западных областей за недостаточную бдительность.^[309]

Закрытым письмом от 13 мая 1935 года назначена еще одна «проверка».^[310] В результате, из проверенных 4100 членов партии тогдашнего Смоленского района Западной области было исключено 455 членов — после 712 устных выступлений на партийных собраниях и 200 письменных доносов.^[311] На одного партийца донесли, будто он признавал, что имеет у себя «платформу троцкистов». Другой член партии, профессор, дал в свое время хорошую характеристику троцкисту, а потом «не выражал своего отношения к контрреволюционному троцкизму». Группа рабочих-коммунистов написала донос на свое местное партийное руководство за то, что оно... не прислушивалось к доносам. На партийных собраниях типичными репликами были, например, такие: «Есть сведения, что Смоллов женат на дочери купца Ковалева и что парторг второй группы в институте — сын человека, которому был объявлен строгий выговор».^[312] К 1 августа, как отмечено в докладе, подписанном Ежовым и Маленковым, в весьма представительном районе Западной области 23 % всех партийных билетов было либо отнято, либо удерживалось партийными органами на период расследования.^[313]

Еще более поразительны были некоторые изменения и советских законах. Законом от 30 марта ношение холодного оружия — попросту ножа — было объявлено преступлением, влекущим лишение свободы до 5 лет. Закон от 20 июля 1934, позднее включенный в Уголовный кодекс (статья 58, пункты 1а, 1б, 1в и 1г), был еще более потрясающим поворотом, полностью показывающим стиль сталинской эпохи. Этим законом устанавливалась смертная казнь за бегство за границу как военного, так и гражданского лица; в случае бегства военнослужащего члены его семьи, знавшие о намерениях беглеца, подлежали заключению сроком до 10 лет; а «остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления, — подлежали „ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет“».^[314] То была поистине новинка!

В «Курсе советского уголовного права», изданном в 1955 году, эти меры все еще оправдываются. Авторы с одобрением говорят о «применении специальных мер к совершеннолетним членам семьи военнослужащего-изменника при перелете или побеге его за границу, в тех случаях, когда совершеннолетний член семьи ничем не способствовал готовящейся или совершенной измене и даже не знал о ней». Авторы книги оправдывают это следующим образом: «... политический смысл (этого закона) заключается в усилении общепреventивного действия уголовного закона для предупреждения такого тягчайшего злодеяния, как совершение военнослужащим перехода или перелета за границу, в результате которого сам виновный не может быть подвергнут наказанию».^[315]

Фактически перед нами грубое и открытое введение системы заложников — показатель того, в каком направлении шли мысли Сталина и в других случаях.^[316]

Еще более чудовищным, но столь же важным для общих планов Сталина было постановление от 7 апреля 1935 года, распространившее все виды наказания, включая смертную казнь, на детей с 12-летнего возраста.^[317]

Это постановление было замечено на Западе, что дало повод пропаганде, чрезвычайно неблагоприятной Советскому Союзу. Многие удивлялись, как это Сталин публично объявил подобный закон. Даже если он действительно намеревался расстрелять детей, то это можно было бы

сделать без огласки. Так, например, один старый сотрудник НКВД рассказывает, как за два-три года до того количество беспризорных было снижено путем повальных расстрелов.^[318]

Как выяснилось впоследствии, Сталин имел особые причины для объявления такого закона. С его изданием он мог грозить участникам оппозиции, что их дети будут уничтожены на вполне «законном» основании, как соучастники, если арестованные оппозиционеры не выполнят того, чего он от них требовал. Сам факт, что Сталин, публикуя закон, пошел на ухудшение репутации страны во всем мире, придавал этому шагу зловещую серьезность.

Трудно сказать, почему начальный возраст был установлен в 12 лет. Вероятно, члены оппозиции имели детей соответствующего возраста. Могло сыграть роль и то, что у Сталина был приблизительный прецедент, против которого оппозиция в свое время не возражала. Это —

казнь тринадцатилетнего цесаревича Алексея, уничтоженного вместе со своей царской семьей в екатеринбургском подвале 16 июля 1918 года.

А что касается момента издания закона, то, хотя Сталин и обладал великолепным предвидением в подобных маневрах, похоже, что в данном случае мы должны связать этот закон с событием, которое происходило как раз тогда.

Об этом событии почти ничего не опубликовано. Речь идет о попытке связать оппозицию с заговором, направленным на убийство Сталина. В истории об этом заговоре есть, по-видимому, какое-то зерно правды. Имеется несколько свидетельств о якобы покушении на Сталина в библиотеке Центрального Исполнительного Комитета — покушении, исполнительницей которого называют молодую графиню Орлову-Павлову. «До суда она не дожидка — ее расстреляли немедленно после ареста, чуть ли не по личному приказу Сталина».^[319] Около 40 человек было арестовано весной 1935 года.^[320] В их числе — кремлевские охранники и сотрудники НКВД, которые якобы служили связными в заговоре убийц.^[321] В последующий период вокруг этого дела шла глухая борьба.

Сталин снова намеревался привлечь к делу оппозицию. У Каменева был брат — художник Розенфельд, чья жена работала кремлевским врачом. По этой ничтожной родственной связи имя Каменева начало фигурировать в деле. Ежов, как представитель Центральной Контрольной Комиссии, требовал для него смертной казни. Но это требование встретило сопротивление. Особенно энергично протестовал Горький.

Другого ведущего сторонника умеренной линии уже удалось заставить замолчать. Секретарь ЦИК Енукидзе отвечал, как уже сказано, за всю администрацию Кремля. И было легко обвинить его в халатности — или даже соучастии — по поводу любого заговора внутри кремлевских стен. Более того, Енукидзе долгое время оказывал определенную протекцию некоторым скромным и не участвовавшим в политике уцелевшим представителям дореволюционных классов, конечно, с ведома Сталина. Теперь и эта защита обернулась против него. Наиболее вероятно, что он был снят со своих постов еще в марте — с обещанием ответственной должности на Кавказе. Это обещание не было выполнено.

Вместе с Енукидзе был снят его доверенный человек — комендант Кремля латыш Р. А. Петерсон. В свое время Петерсон командовал поездом Троцкого^[322] — знаменитой подвижной ставкой верховного главнокомандующего в годы гражданской войны. Убрав Петерсона из Кремля, его не сразу арестовали, а перевели на должность помощника командующего войсками Киевского военного округа, которую он занимал до 1937 года,^[323] и в том же 1937 году был ликвидирован. Позже (в 1938 году) его имя фигурировало в списке военных заговорщиков, которые якобы готовили переворот в Кремле; причем говорилось, что Петерсон был подобран для этой цели самим Енукидзе.^[324]

Авель Енукидзе был не единственным старым партийцем, выражавшим сомнения по поводу жестокости нападков на оппозицию. Во время дела Ленинградского комитета партии отдельные заслуженные члены партии, Общество старых большевиков и столь же почетное Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльно-поселенцев занимались сбором подписей во влиятельных кругах под петицией в Политбюро против казни участников оппозиции. Даже Сталин внес предложение не принимать этой меры в данном процессе.^[325] Теперь это рассматривалось как фракционная деятельность. 25 мая Центральный Комитет партии распустил Общество старых большевиков, а для его ликвидации назначил комиссию, в которую входил Шкирятов и которая состояла главным образом из молодых сталинцев, в том числе Маленкова.^[326]

Общество старых большевиков имело собственное издательство, которое публиковало мемуары членов Общества и некоторые теоретические книги. Было почти немисливо, чтобы новый режим не счел многое в этой литературе, особенно в мемуарах, «неподходящим». Как обычно, Сталин совместил политический ход с утолением своей личной мести.

В конце июля «Правда» начала публиковать отрывки из работы Берия «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Это сочинение было просто прославлением Сталина и публиковалось теперь как пример того, каким отныне должен быть

правильный подход к прошлому партии. Было сказано, что до того Енукидзе и Орахелашвили извращали исторические факты с враждебными намерениями. Говорилось, будто историки эти не оценивали должным образом заслуг Сталина — хотя в свое время их работы выглядели подборкой фактов в его пользу. Но уровень необходимой лести был теперь резко поднят.

19 мая 1962 года «Правда» писала о том, что падение Енукидзе было связано с желанием Сталина возвеличить свою собственную роль в истории кавказского революционного движения, и что ответственным за это был «известный фальсификатор истории нашей партии, провокатор и авантюрист Берия».^[327] Между тем, и Берия, и весь вопрос об этих мемуарах могли играть лишь второстепенную роль; подобное истолкование дела Енукидзе представляет собой слишком поверхностный взгляд на истинные мотивы Сталина. Тем не менее, желание скрывать и извращать прошлое определенно имело значение.

Публикация мемуаров старых большевиков теперь прекратилась. Косиору, например, который считал, что «следует помочь ветеранам», Петровский рассказал, как Сталин заявил однажды на Политбюро: «Пусть этим займутся будущие историки».^[328]

К началу июня Енукидзе был политически объявлен вне закона. Одним из главных пунктов повестки дня пленума ЦК, проведенного 5–7 июня, были обвинения Енукидзе в «политическом и бытовом разложении».^[329]

Доклад по этому вопросу, сделал Ежов, и бывший секретарь Центрального Исполнительного Комитета был исключен из ЦК и из партии. (На место Енукидзе был назначен Акулов, до того времени занимавший пост генерального прокурора. Именно в тот момент генеральным прокурором стал Вышинский.) Вскоре газеты опубликовали резкие нападки на Енукидзе от имени двух молодых сталинских секретарей ленинградской и московской партийных организаций — Жданова и Хрущева. Енукидзе обвиняли в том, что он «предстал адвокатом злейших врагов рабочего класса» (Хрущев) и «обнаружил себя гнилым обывателем, зарвавшимся, ожиревшим, потерявшим лицо коммуниста, меньшевистствующим вельможей» (Жданов).^[330]

Говоря о «злейших врагах рабочего класса», обвинители Енукидзе, вероятно, имели в виду пожилую женщину дворянского происхождения, служившую хранителем кремлевских антикварных ценностей^[331] и возведенную в ранг агента классового врага. Есть также свидетельства, как сказано выше, что девушка, якобы пытавшаяся убить Сталина, была графиней. Во всяком случае, связь между этими странными обвинениями по адресу Енукидзе и предполагавшимся кремлевским покушением неоспорима. В то время Енукидзе не судили, официально его, по-видимому, обвиняли только в халатности. Но уже в начале 1937 года он был под арестом.^[332]

Следующий удар был нанесен по Обществу бывших политкаторжан, которое было распущено 25 июня тем же способом, что и Общество старых большевиков. И опять ликвидацией дел Общества занялась комиссия, на сей раз во главе с Ежовым. Многие члены Общества политкаторжан — те, кто участвовал в кампании за милосердие — были либо сразу, либо по прошествии некоторого времени арестованы. Ветеран партии Лобов, особенно активный в протестах против внутрипартийного террора, умер, как передают, от сердечного припадка во время следствия.^[333]

Хотя старые революционеры и оказывали некоторое сопротивление Сталину, главный отход от сталинской линии и от него самого наблюдался в самом младшем молодом поколении коммунистов. Как уже говорилось, сотрудники НКВД в ходе расследований по убийству Кирова обнаружили, что среди руководителей молодежи раздавались бунтарские высказывания. Еще более угрожающим было то, что убийство Кирова вдохновило различные группы молодежи на разговоры о возможности убийства Сталина и даже на составление планов убийства. Правда, все эти разговоры и планы носили любительский характер, и силы заговорщиков не могли сравниться с полицейскими силами нового режима. Так или иначе, подобные группы молодежи неуклонно арестовывались и расстреливались. Но комсомол в целом тоже нуждался в основательной чистке. В конце июня была объявлена реорганизация комсомола с целью устранения из него врагов партии.^[334]

В целом, шаги Сталина, предпринятые им на протяжении последних шести месяцев, очевидно усилили его позицию. И тем не менее, все политические ходы не смогли, например, сломить сопротивление смертному приговору в отношении Каменева. Было ясно, что это могло быть достигнуто только сплошным террором, направленным против более умеренных сталинистов. А почва для этого еще не была как следует подготовлена. И Сталин на время отложил этот план.

Поэтому 27 июля Каменев был приговорен секретным судом к 10 годам заключения по статье 58-8 уголовного кодекса.^[335] Статья означала террористические действия против советских официальных лиц. Брат Каменева Розенфельд выступил тогда свидетелем обвинения.^[336] Фигурировали на этом процессе другие члены оппозиции или нет — сказать сейчас невозможно. Точно так же неизвестно, судили ли в то время других предполагаемых кремлевских заговорщиков или только их, так сказать, старшего соучастника. Судили их вместе с Каменевым или расправа последовала еще раньше? Опять трудный вопрос. Но известен один результат: всего было вынесено 42 приговора, из них два смертных.

Сильное давление, оказанное Сталиным в летние месяцы, до известной степени продвинуло планы будущего террора. Роспуск обществ, объединявших старых большевиков, кампания против «гнилого либерализма» Енукидзе, новый приговор Каменеву — все это для Сталина было продвижением к цели. Тем не менее, это было трудное продвижение, и еще невозможно было устроить открытый процесс над Каменевым или даже приговорить его закрытым судом к смерти. Очевидно, необходимы были более тщательные приготовления. Последующие месяцы прошли в консолидации достигнутого и в подготовке образца, по которому НКВД мог в дальнейшем расправляться с оппозицией.

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

С точки зрения террора период с июля 1935 по август 1936 года был по своим внешним проявлениям чем-то вроде идиллического антракта. Говорят, что народы, вообще не имеющие истории — самые счастливые. Если так, то указанный период был действительно хорошим. Ни одной смерти члена Политбюро, никаких судов над важными участниками оппозиции, не смещена ни одна ведущая политическая фигура. Да и урожаи зерна в стране были в это время неплохими.

В декабре 1935 года пленум ЦК принял длинную резолюцию о проверке партийных документов. Позднее эта резолюция послужила организационной основой террора. Но сама по себе она выглядела безобидной. Более того, она объявляла, что чистка партии, начатая в 1933 году, теперь окончена.

А тем временем Бухарин и Радек были заняты проектом новой конституции. Они были активными членами комиссии по составлению этого проекта, созданной в феврале 1935 года.^[337] Проект был готов к июню 1936, и Бухарин, в частности, полагал, что с изданием этого документа будет уже невозможно пренебрегать мнениями и нуждами народа.^[338]

Это и правда был образцовый документ, предоставляющий, например, гарантии против произвольного ареста (статья 127), неприкосновенность жилища и тайну переписки (статья 128), да и вообще свободу слова, печати, собраний и демонстраций (статья 125). Тот факт, что Бухарин, один из авторов проекта, всерьез думал о возможности применения новой конституции, показывает, что даже он воображал, будто наступило настоящее послабление.

Мнение Бухарина о коммунистах было в то время следующее: они все хорошие люди, готовые к любым жертвам. Сели они действуют предосудительно, то не потому, что они плохие, а потому, что плоха ситуация. Им следует понять, что страна не против них, и им нужно только изменить политику.

Бухарин вплотную подошел к той точке зрения, что большевизм нуждался в гуманизации, и он с надеждой смотрел на интеллектуалов — в особенности на академика Павлова и Горького

— ища у них поддержки. Павлов, великий физиолог, был резким противником коммунистов. Когда в середине 20-х годов имя Бухарина появилось в списке кандидатов в Академию наук, Павлов возражал против его кандидатуры, говоря, что этот человек «по колени в крови». Постепенно, однако, они стали друзьями, Передают даже, что Бухарин хотел ввести в проект новой конституции пункт о том, чтобы интеллигенция могла выдвигать своих кандидатов, будучи чем-то вроде «второй партии»^[339] — не для сопротивления режиму, а для конструктивной критики. Вот уж, действительно, туманный утопизм!

На деле Сталин просто изменил тактику. За спокойным фасадом шла неистовая деятельность. Были готовы все элементы, которые предстояло лишь собрать воедино, чтобы запустить большой террор. Прежде всего, Сталин обеспечил себе прямой контроль над тайной полицией и насадил другие органы, ответственные только перед ним и способные, при умелом тактическом руководстве, обходить официальную иерархию партии и государства. Затем, была уже установлена традиция подтасованных судов в политических целях, эта традиция не встречала в партии сильных возражений, поскольку обычай применять явную неправду для достижения определенных политических целей укрепился еще гораздо раньше. В-третьих, бывшие участники оппозиции смирились с тем, что под давлением особых обстоятельств, существующих в жизни коммунистов, они должны признавать ошибки, которых никогда не делали, если, по их мнению, это было в интересах партии. И, наконец, оперативники НКВД уже были приучены применять пытки, шантаж и фальсификацию — пусть пока, главным образом, к беспартийным.

Но если техническая сторона террора была подготовлена полностью, то этого нельзя было еще сказать о политической подготовке. Все еще было очень возможно, что если бы Сталин вновь поставил проблему террора, как он пытался ставить ее раньше, то натолкнулся бы на мощное сопротивление. И он выбрал другой метод. Дело должно было теперь готовиться в полной тайне — что не было трудно, поскольку обреченные зиновьевцы и троцкисты были уже под арестом. Секретное следствие должно было идти во время летних отпусков и, в частности, в отсутствие самого Сталина. О смертных приговорах не должно идти речи до тех пор, пока они не будут вынесены; и даже тогда следует намекнуть на то, что приговоры могут быть смягчены. Но на самом деле смертные приговоры должны быть приведены в исполнение безо всякого обсуждения.

В тот самый момент, летом 1935 года, когда Сталин отступил в вопросе о смертном приговоре Каменеву, он сделал первые шаги к достижению того же результата своим «новым методом». В числе многих арестованных в то время была группа студентов-комсомольцев из города Горького, которая обвинялась в попытке покушения на Сталина. Фактически эти молодые люди не шли дальше разговоров, но уже одно это предопределило их смертную казнь. Обычная судебная процедура должна была состояться в конце лета, но внезапно дело было приостановлено для «доследования» по распоряжению Секретариата ЦК.^[340]

НКВД выбрал именно эту группу потому, что имел способ связать их с Троцким, а следовательно, и построить на этом большой политический заговор. Связь с Троцким НКВД намеревался установить с помощью одного из своих людей — Валентина Ольберга.

Ольберг в прошлом был агентом иностранного отдела НКВД и работал в Берлине среди троцкистов как секретный информатор. В 1930 году он даже попытался получить пост секретаря Троцкого — это было одной из первых попыток НКВД проникнуть в ближайшее окружение изгнанного вождя. (Успех, как мы теперь знаем, был достигнут лишь в 1940 году.) С 1935 года Ольберг работал для секретного политического отдела НКВД, разоблачая троцкистские тенденции в Горьковском педагогическом институте, где и обучались члены вышеназванной группы. Назначение Ольберга в институт встретило сопротивление местных партийных работников — в частности, заведующего отделом пропаганды и агитации обкома партии Елина. По мнению Елина, у Ольберга не было достаточной квалификации; кроме того, он был иностранец — латыш. Возражения Елина, направленные в ЦК партии, содержали, кроме того, верную догадку, что документы Ольберга были поддельными. Однако Ежов лично заставил принять Ольберга.

К началу 1936 года НКВД стал успешно расширять рамки этого комсомольского заговора. Был арестован ряд профессоров и преподавателей института. А Ольбергу приказали в порядке партийной и полицейской дисциплины признаться и том, что он служил связным между этой группой и Троцким. Ольбергу объяснили, что это было просто требованием НКВД и что независимо от приговора суда он будет освобожден и направлен на ответственный пост на Дальнем Востоке. И агент подписывал все, что от него требовали.^[341] Коротко говоря, Ольберг «признался», что был послан Троцким для организации убийства Сталина; что с этой целью завербовал преподавателей и студентов института, которые должны были организовать покушение на Сталина во время своей поездки в Москву на Первомайский парад 1936 года.

Работа над делом Ольберга шла не прямо и потребовала времени. Например, Елина, который знал слишком много, казнили без суда,^[342] хотя имя его пришлось несколько раз упомянуть во время открытого процесса. В деле фигурировал брат Ольберга, П. Ольберг, и его показания оглашались на суде, хотя сам он не появлялся. Среди других обвиняемых был директор педагогического института Федотов. Он в чем-то «признался», однако был сочтен, видимо, недостаточно надежным, чтобы давать показания на публике, и до суда так и не дошел. Преподаватель химии Нелидов, который очень нужен был в этом деле как гипотетический изготовитель бомб, не был членом партии. Несмотря на дикое давление одного из наиболее страшных следователей, Кедрова-младшего, его не удалось сломить.

Тем не менее, к концу февраля 1936 года версия Ольберга была доработана до приемлемого вида,^[343] и НКВД определенно выбрал эту версию как базу для всего заговора оппозиции. Однако связи Ольберга были ведь только с Троцким. Необходимо было отыскать «троцкистско-зиновьевский центр» с какими-нибудь ниточками к Зиновьеву. Начальник секретного политического отдела НКВД Г. А. Молчанов собрал около сорока ведущих сотрудников наркомата на совещание. Он объявил, что раскрыт широкий заговор и что все они будут освобождены от текущих обязанностей, чтобы заняться расследованием по этому делу. Политбюро, — продолжал Молчанов, — считает свидетельства о заговоре абсолютно достоверными, и задача, таким образом, сводится к тому, чтобы выяснить детали. Не могло быть и речи о том, что кто-либо из арестованных невинен.^[344]

Сидевшие на совещании высшие сотрудники НКВД немедленно поняли, что все дело — не более, чем инсценировка, поскольку они ведь годы подряд занимались надзором над оппозиционерами и никакой такой деятельности не замечали. Более того, если бы подобный заговор действительно выплыл наружу, а они о нем не подозревали бы, то им по меньшей мере грозили бы строгие выговоры. Сам факт переключения ведущих сотрудников НКВД на расследование этого так называемого заговора показывает, насколько мало сам Сталин верил в существование какой бы то ни было конспирации. Иначе как мог бы он снять большинство опытных сотрудников с расследования других дел, считавшихся тоже реальными? А он просто переключил этих людей с работы над их обычными повседневными судебными фарсами, потому что ему нужен был огромный, самый главный судебный фарс.

В лице НКВД Сталин имел теперь мощное и проверенное орудие. Во главе НКВД стоял Ягода. Заместителем наркома по вопросам безопасности был закадычный друг Сталина Агранов. Этот человек окончил свои «особые поручения» в Ленинграде и передал город в руки ужасающего Заковского. Как говорили, Заковский хвастал, что если бы ему пришлось допрашивать Карла Маркса, то он быстренько добыл бы признание, что Карл Маркс был агентом Бисмарка.

Центральным ядром полицейской машины НКВД было Главное управление государственной безопасности. Оно состояло из ряда хорошо организованных отделов, разделенных по, так сказать, профессиям, и специализировалось во всех видах следствия, допросов и фальсификации. Почти все ведущие сотрудники управления работали в нем около десяти лет и имели дело со всеми крупными процессами конца 20-х и начала 30-х годов. (Помимо этого механизма тайной полиции, НКВД управлял также милицией, пограничной охраной, своими собственными внутренними войсками, пожарной охраной и исправительно-

трудовыми лагерями; Главное управление лагерей, ГУЛАГ, руководимое Матвеем Борманом, уже успело принять огромное количество жертв террора.)

Ягода, Агранов и Ежов, как представитель Центрального Комитета, играли главную роль в организации будущего процесса, а все основные совещания по этому вопросу вел лично Сталин. Первые трое осуществляли общее руководство, а технически ответственным за всю операцию был так называемый секретный политический отдел Главного управления государственной безопасности. Этому отделу были приданы сотрудники других отделов Главного управления, в том числе даже руководители отделов.

Секретный политический отдел, который берет начало еще со времен ЧК и всегда был ее ядром,^[345] оставался ключевым центром тайных полицейских операций. Этот отдел осуществлял руководство соответствующими местными органами по всей стране, отвечал за их работу и вел политическую борьбу против всех враждебных элементов. Как уже сказано, отделом руководил Г. А. Молчанов, совершенно беспринципный карьерист; его заместителем был некто Г. Люшков.

Ответственным за безопасность во всей промышленности был экономический отдел. Этот отдел занимался также и сельским хозяйством — но не транспортом, поскольку транспортный отдел существовал самостоятельно.

В советских условиях этот отдел имел такой же вес, как и секретный политический отдел. Именно экономический отдел провел такие судебные процессы, как, например, шахтинский, который, хотя и не был политическим, основывался все же на так называемых экономических преступлениях. Руководитель экономического отдела Л. Г. Миронов обладал совершенно исключительной памятью, что очень ему пригодилось при фабрикации и обработке деталей первых двух процессов. Руководя своим обширным отделом, Миронов в то же время действовал как помощник Ягоды по всем вопросам государственной безопасности. Люди, знавшие Миронова, говорят о нем как о добросовестном партийце, который был подавлен преследованиями старых большевиков.^[346] Предыдущие дела, которые он организовывал и которые, по-видимому, не оказывали на него подавляющего действия, включали промпартию и дело инженеров фирмы Метрополитен-Виккерс; что ж, при всей политической значительности этих дел их все же можно было рассматривать как «экономические». Предстоящий процесс над Зиновьевым не имел отношения к экономике. Тем не менее Миронову была поручена в подготовке процесса важная роль.

Охраной руководителей партии и важных объектов, а также расследованием «террористических актов» занимался оперативный отдел. Главной задачей отдела считалась в то время защита лично Сталина. Начальник отдела К. В. Паукер или его заместитель Волович почти не отходили от Сталина, кроме тех моментов, когда он был в своем хорошо охраняемом кабинете; третье по старшинству лицо в отделе, некто Черток, занимался организацией охраны Сталина во всех возможных его передвижениях и местах пребывания.

Паукер был чем-то вроде злобного фигляра. В свое время он работал парикмахером и служителем оперных артистов в Будапеште и имел склонность к комическому актерству. Попав в русский плен в 1916 году, он вскоре стал членом коммунистической группы, которая возникла среди пленных. Человек невежественный и необразованный, без всяких политических убеждений, он был завербован в ЧК (подобно многим другим иностранцам в те дни) и стал проводить обыски и аресты. Он опять стал затем личным служителем, только уже Менжинского, который ему доверял и в конце концов назначил его начальником кремлевской охраны и руководителем оперативного отдела. Паукер был в хороших отношениях и со Сталиным, который даже разрешал ему брить себя.^[347]

Административно-учетные функции во всей сети тайной полиции выполнял Спецотдел. Сюда, в Спецотдел, сходилась также вся информация относительно различных «антисоветских элементов». Во главе Спецотдела стоял М. И. Гай.

Шпионажем и террором за границей ведал иностранный отдел. Начальник отдела, А. А. Слуцкий, лицемерный интриган, играл важную роль в допросах главных действующих лиц. Его заместителями были Борис Берман и некто Шпигельглас.

Транспортный отдел во главе с А. М. Шаниным был единственным, не принимавшим активного участия в подготовке процесса. У транспортного отдела и так были полны руки всевозможными обвинительными делами, которые Каганович непрерывно возбуждал против железнодорожников.

Весь этот аппарат работал, впрочем, достаточно гибко. Между отделами существовала постоянная связь. В обычае была также передача менее важных материалов из одного отдела в другой в порядке реорганизации.

Таков был боевой порядок штурмовых колонн террора, которые Сталин бросал теперь в атаку на беззащитных арестантов Лубянской тюрьмы.

Силы НКВД поддерживала еще одна организация — прокуратура. До 1933 года прокуратура еще не была централизована во всесоюзном масштабе — зато потом она стала одной из наиболее централизованных организаций СССР. Все местные прокуратуры полностью одинаково подчинялись Генеральному прокурору в Москве, пост которого к тому времени уже занимал Вышинский. В 1936 году Вышинский выпустил книгу под названием «Судоустройство СССР». В этой книге он открыто изложил принцип своей деятельности, а именно, полное подчинение закона так называемым революционным требованиям. Согласно Вышинскому, любые расхождения между буквой закона и партийной политикой должны решаться только подчинением формальных указаний закона политике партии.^[348] Ближайшим помощником Вышинского был Рогинский — фанатик, который был способен оправдывать массовые ликвидации даже после того, как сам угодил в лагерь.

В готовящийся процесс был вовлечен председатель хлопкового синдиката Исаак Рейнгольд. Он был другом Сокольников и имел связи с Каменевым. Сильный 38-летний человек, Исаак Рейнгольд оказался крепким орешком для следователей. Один из худших представителей НКВД, Черток, допрашивал Рейнгольда три недели подряд, часто по 48 часов непрерывно, без сна и пищи. В присутствии Рейнгольда был подписан ордер на арест его семьи. В конце концов ему вручили смертный приговор и сказали, что этот приговор будет приведен в исполнение автоматически и немедленно, если он не даст показаний. Рейнгольд и после этого отказался, но сказал, что подпишет что угодно, если получит прямые указания партии. Ягода не принял этого условия, и допросы продолжались. А затем вмешался Ежов. Он лично приказал Рейнгольду от имени Центрального Комитета партии дать требуемые показания. И к началу лета от Рейнгольда были получены необходимые свидетельства против группы Зиновьева.

НКВД арестовал также Ричарда Пикеля, писателя и драматурга, участника гражданской войны. К моменту ареста он работал в Камерном театре в Москве и совершенно не занимался политикой. Но в свое время он возглавлял секретариат Зиновьева.

Пикель был личным другом многих высокопоставленных сотрудников НКВД. Некоторое время он сопротивлялся на следствии, но потом его друзья обещали Пикелю жизнь. Это подтвердил Пикелю и лично Ягода. Тогда писатель согласился дать показания, но только против Зиновьева и самого себя. Что касается других, то Пикель сформулировал следующее правило: он будет показывать только против тех, против кого уже есть показания других лиц или кто оговорил самого себя.^[349]

Как видим, признания арестованных, за исключением Ольберга, добывались с известными трудностями. Есть сообщения, что Сталину пришлось привезти около 300 бывших участников оппозиции из тюрем и изоляторов,^[350] чтобы НКВД мог испытывать их как будущих участников открытого процесса. К маю было добыто около 15 подходящих признаний, и число их продолжало увеличиваться.

Не было необходимости использовать полученные свидетельства во всех деталях (фактически круг обвиняемых на процессе был ограничен восемью политическими фигурами плюс еще восемь мелких «соучастников», в основном провокаторов). Главной целью этой предварительной работы было предъявить добытые показания главным обвиняемым, которых пока не трогали, с целью оказать на них решающее давление.

В середине мая Сталин провел совещание с участием многих ведущих сотрудников НКВД и приказал им добыть больше связей с Троцким. К вящему неудовольствию иностранного

отдела, Молчанов назвал еще двух агентов НКВД, которые работали в германской компартии и в Коминтерне, — Фриц-Давида и Бермана-Юрина.^[351] Оба были арестованы в конце мая^[352] и не имели другого выбора, кроме как подчиниться данным им служебным инструкциям. Они подписали заявление, что в свое время были приняты Троцким и получили от него приказ убить Сталина.

Еще двое — ученый Моисей Лурье и хирург Натан Лурье — своим поведением на суде возбудили подозрение даже у западных журналистов, что они были провокаторами. Есть свидетельства заключенных, сидевших вместе с ними, но осужденных по другим делам, что оба Лурье не особенно даже и скрывали это.^[353] Они фигурировали на процессе как троцкистские террористы. Их показания были солидной добавкой к массе материала, накопленной теперь против участников оппозиции.

ИТАК, «ЦЕНТР»

К июню 1936 года все было в порядке, сценарий полностью подготовлен. Не было лишь показаний главных обвиняемых.

Отбор главных жертв представлял определенные трудности. Зиновьевская сторона была более или менее ясна. Зиновьев, Каменев и Евдокимов были признанными руководителями фракции, и вместе с Бакаевым, олицетворявшим якобы главную связь с убийством Кирова, они образовали вполне удовлетворительную группу. Более того, они все прошли уже длинный ряд допросов, дали какие-то показания, привыкли к тому, что шел постоянный торг насчет показаний на протяжении ряда лет, так что можно было считать, что эти люди наполовину сдались. Однако распространить заговор на троцкистов, как желал Сталин, оказалось не так-то просто.

Сам Троцкий, находясь за границей, был недосыгаем, и большинство из его бывших сторонников, отрекшись от прежних взглядов, теперь работали на ответственных постах. Никто из них в последние несколько лет не был объектом серьезной критики. Сам по себе троцкизм, конечно, подвергался постоянным злобным нападкам, и различные мелкие троцкисты были арестованы или высланы после убийства Кирова. Но обвинительных кампаний против видных фигур троцкизма — таких кампаний, какая велась против Зиновьева и его сторонников в течение 18 месяцев — не было.

Как было указано позже, сфабрикованный «центр» не включал «ни одного из старых политических руководителей»

троцкистского направления.^[354] Трое отобранных для процесса ведущих троцкистов политически были совсем не на том уровне, что их зиновьевские коллеги. Тем не менее, И. Н. Смирнов, Мрачковский и Тер-Ваганян были люди с известной партийной репутацией. (Генеральный инспектор армии при Троцком — гигант и герой Муралов — был арестован 17 апреля и, без сомнения, предполагалось вывести на суд и его; но он держался до декабря, и его появление на суде пришлось отложить.)

Только Смирнов был членом Центрального Комитета, но зато солидным: он считался одним из наиболее прославленных старых большевиков. По партийному стажу и положению он пользовался огромным авторитетом среди коммунистов. С 17-летнего возраста, рабочим парнем, Смирнов начал принимать активное участие в революционном движении и много раз арестовывался.^[355] Он провел долгие годы в царских тюрьмах и северной ссылке. Он сражался на баррикадах 1905 года, а во время гражданской войны вел Пятую Красную армию на разгром Колчака. Несколько лет после революции Смирнов фактически управлял Сибирью и даже был там известен как «сибирский Ленин».

В 1922 году Смирнова прочили на пост ведущего секретаря ЦК, но этот пост получил Сталин.^[356] После высылки в 1927 году вместе с другими троцкистами Смирнов официально раскаялся, однако во время дела Рютина с одобрением отзывался о предложениях снять

Сталина с поста и потому с тех пор так и не выходил из тюрьмы. Понятно, что Сталин питал к Смирнову особую личную неприязнь.

Может быть именно эта неприязнь натолкнула Сталина на мысль включить Смирнова в «центр», хотя Смирнов физически не мог участвовать ни в чем подобном. Поскольку Смирнов находился в тюрьме в течение всего периода так называемого заговора, то даже Агранов, как говорили, пытался возражать, доказывая, что будет трудно придать обвинению против Смирнова какую-то видимость правдоподобия. Выслушав доводы Агранова, Сталин бросил на него угрюмый взгляд и сказал: «А вы не бойтесь, вот и все».^[357]

Обвиняемый Мрачковский тоже в прошлом воевал в Сибири. Позже, в 1927 году, он руководил подпольной троцкистской типографией и был арестован первым среди участников оппозиции. В обвинении он просто именовался «боевиком». Интеллигентный армянин Тер-Ваганян, по всем отзывам, честный и скромный, достойно прошел революцию и гражданскую войну, а затем стал работать в области идеологии и журналистики. С 1933 года он тоже пребывал в сибирской ссылке.

Для подкрепления троцкистской стороны «центра» в дело был вовлечен еще Дрейцер — в прошлом командир личной охраны Троцкого и ведущая фигура в троцкистских демонстрациях 1927 года. Обвинялся он не в том, что был членом «центра», а в организации террористических групп для убийств.

Первый опрос ведущих обвиняемых закончился полным провалом. 20 мая Смирнов коротко ответил: «Я это отрицаю; еще раз — я это отрицаю; я отрицаю».^[358] Допрос Мрачковского, по имеющимся свидетельствам, длился 90 часов без результата, хотя Сталин время от времени звонил и справлялся, как идут дела. Мрачковского водили к Молотову, который сделал ему какое-то компромиссное предложение. Но Мрачковский попросту плюнул ему в лицо.^[359]

Зиновьев тоже, как впоследствии было сказано на суде, «ожесточенно отрицал»^[360] свою причастность к делу. Бакаев, согласно тому же источнику, «настойчиво отрицал».^[361] В общем, все настоящие участники оппозиции отказались в чем-либо признаваться. Они указывали, что большую часть соответствующего периода провели либо в тюрьмах, либо в ссылке в отдаленных районах страны, а остальную часть периода — под строгим наблюдением НКВД. Тогда Молчанов дал понять следователям, что прежние указания относительно воздержания от незаконных методов следствия не следует принимать слишком серьезно.^[362] И есть сведения, что Евдокимов, который держался наиболее стойко и называл руководителей режима лицемерами и убийцами, подвергся особенно изощренным жестокостям.^[363]

Допрос Зиновьева и Каменева был поручен самым высокопоставленным сотрудникам — Агранову, Молчанову и Миронову. В это время у Зиновьева обострилась болезнь печени, и текущие допросы были отложены.^[364] Зиновьев еще раз написал в Политбюро, туманно принимая на себя «ответственность» за убийство Кирова. Это неопределенное признание было возвращено; от Зиновьева требовали «полного раскаяния, искреннего признания, что он руководил террористическим центром».^[365]

В отношении Каменева была сделана попытка добыть Признание обычными методами следствия. Допросы вел Миронов. Но Каменев сопротивлялся, несмотря на все усилия, разоблачил Рейнгольда на «очной ставке» и вообще держался твердо.

Миронов доложил Сталину, что Каменев отказывается давать показания. Позже Миронов рассказывал своему близкому другу, какой между ним и Сталиным произошел разговор:

— Так вы думаете, Каменев не признается? — спросил Сталин, хитро прищурившись.

— Не знаю, — ответил Миронов. — Он не поддается уговорам.

— Вы не знаете? — спросил Сталин, с подчеркнутым удивлением глядя на Миронова. — А вы знаете, сколько весит наше государство, со всеми его заводами, машинами, армией, со всем вооружением и флотом?

Миронов и все присутствующие посмотрели на Сталина с удивлением.

— Подумайте и ответьте мне, — требовал Сталин. Миронов улыбнулся, думая, что Сталин готовит какую-то шутку. Но Сталин шутить не собирался. Он смотрел на Миронова вполне серьезно.

— Я вас спрашиваю, сколько все весит? — настаивал он. Миронов смешался. Он ждал, все еще надеясь, что

Сталин превратит все в шутку, но Сталин продолжал смотреть на него в упор в ожидании ответа. Миронов пожал плечами и, подобно школьнику на экзамене, сказал неуверенным голосом: «Никто не может этого знать, Иосиф Виссарионович. Это в области астрономических цифр».

— Хорошо, а может один человек противостоять давлению такого астрономического веса? — спросил Сталин серьезно.

— Нет, — ответил Миронов.

— Ну так вот, не говорите мне больше, что Каменев или тот или иной заключенный способен выдержать это давление. Не являйтесь ко мне с докладом, — сказал Сталин Миронову, — до тех пор, пока у вас в портфеле не будет признания Каменева.^[366]

Каменев был после этого передан в руки некоего Чертока, человека самого низкопробного, грубого и злого. Но и он не добился от Каменева результатов, хотя постоянная бессонница, полуголодный рацион и постоянные угрозы, видимо, начали изматывать обвиняемого.^[367]

СМЕРТЬ ГОРЬКОГО

Сталин планировал казнь участников оппозиции независимо от возможной реакции в рядах партии. Ибо он уже подготовился к тому, чтобы справиться с этой реакцией (моим обычным сочетанием твердости и маневра. Единственной фигурой, на которую эти методы могли не оказать действия и которую при жизни трудно было привести к молчанию, был Максим Горький. Согласно компетентному свиідетельству, Горький «был до конца единственным, с кем Сталин хотя бы в известных пределах продолжал считаться. Возможно, будь он жив, августовский процесс все же не имел бы такого конца».^[368] Возможно. Но 31 мая Горький заболел, а 18 июня 1936 года умер.^[369]

Когда Горький выступал против Октябрьской революции в 1917 году, Сталин нападал на него более злобно, чем любой другой большевик. По поводу статьи Горького «Не могу молчать» Сталин заявил даже, совершенно необоснованно, что Горький и подобные ему типы молчали, когда помещики и капиталисты притесняли крестьян и пролетариат, что такие люди способны обвинить лишь революцию, но не контрреволюцию. Фактически, конечно, все сочинения Горького представляют собой сплошное обвинение правящих классов, и он с самого начала был связан с социал-демократами. Сталин писал тогда же, что революция готова отбросить любые «великие имена», включая имя Горького, если будет необходимо.

Взгляды самого Горького были отнюдь не лишены воинственности. Он раньше Сталина объявил, что «если враг не сдается, его уничтожают». Тем не менее, он защищал и Пильняка и Замятина во время кампании против этих писателей в 1930 году. Одно это должно было сильно обозлить Сталина, особенно в случае Пильняка. А после 1930 года, что для нас сейчас еще более важно, Горький энергично вмешался в политику, защищая линию на умиротворение, и был открытым противником всех предыдущих попыток уничтожить Каменева и Зиновьева.

Само существование Горького было фактором, подкреплявшим моральный дух Каменева и других. Они чувствовали некую поддержку в выпавших им на долю испытаниях. Эти люди могли быть уверены, что Горький поднимет голос против новых преследований, как только о преследованиях объявят публично. В какой-то степени такая уверенность, вероятно, должна была усиливать их сопротивление. Именно поэтому смерть Горького в тот самый момент имела значение морального удара и облегчала задачу Сталина.

Как и в случае Куйбышева, мы видим, что смерть наступила в момент, очень для Сталина удобный. Большинство смертей, наступивших в удобное для Сталина время, «случались», по очевидным причинам, именно когда было надо — ни раньше, ни позже.

Врачи, лечившие Горького, впоследствии были обвинены в том, что намеренно убили писателя по приказу Ягоды. Когда мы подойдем к процессу Бухарина 1938 года, на котором эти обвинения были выдвинуты, мы рассмотрим свидетельства против врачей. А пока следует заметить, что процесс, о подготовке которого идет сейчас речь, состоялся немедленно после того, как были получены необходимые признания; более того, похоже, что суд назначен по времени так, чтобы совпасть с отпусками некоторых членов Политбюро. Если бы Горький прожил еще несколько месяцев, он определенно представлял бы собой помеху сталинским планам. Бесконечные оттяжки с процессом были бы по меньшей мере опасны и могли дать время для сколачивания сопротивления процессу в Центральном Комитете. Провести суд и не казнить оппозиционеров — было для Сталина *самым худшим* решением: это противоречило всему грандиозному плану. А довести дело до конца независимо ни от чего, при живом Горьком — тоже риск. Мощный голос поддерживал и укреплял бы и без того беспокойные элементы в руководстве; и, хотя можно было, конечно, заставить писателя замолчать, это было бы отнюдь не легким делом.

Все эти соображения — чисто логического порядка и потому ничего не доказывают. Но Сталин был по-своему логичным человеком. Он отнюдь не питал отвращения к человекоубийству, а его уважение к литературе не было настолько велико, чтобы предотвратить расправу со многими знаменитыми писателями. Как мы увидим в дальнейшем, все свидетельства показывают, что Горький умер неестественной смертью.

ПЕРВАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ

Теперь Сталин уже мог предпринимать прямую попытку сломить Зиновьева и Каменева политическими средствами. Ежов передал им инструкции якобы от имени Политбюро: «разоружиться так, чтобы исключить любую возможность в дальнейшем еще раз поднять голову против партии». В случае несогласия грозил военный суд при закрытых дверях и казнь не только их, но всей оппозиции, включая тысячи человек в лагерях.

Зиновьев ответил отказом. Попытка нажать на Каменева также закончилась неудачей, хотя на этот раз Ежов прямо пригрозил, что если Каменев не сдастся, то будет расстрелян его сын.

После этого началась серия более жестоких допросов Зиновьева и Каменева. Ягода велел включить отопление в их камерах, хотя стояла жаркая погода. Физическое состояние Зиновьева было очень скверным, да и Каменев начал ослабевать под угрозами в отношении его сына, ордер на арест которого был подписан в его присутствии. В июле Зиновьев после допроса, длившегося всю ночь, попросил свидания с Каменевым. Совместно обсудив ситуацию, они согласились выйти на суд при условии, что Сталин подтвердит свое обещание не казнить ни их, ни их сторонников — в присутствии всего состава Политбюро.

Это условие было принято. Однако когда их привезли на так называемое заседание Политбюро, там присутствовали только Сталин, Ворошилов и Ежов. Сталин объяснил, что они трое образовали «комиссию», выделенную Политбюро для разбора дела.^[370]

Обращение Зиновьева и Каменева к Политбюро и трюк Сталина с воображаемой «комиссией» дают повод для некоторых интересных выводов. И обращение к Политбюро, и увертка Сталина свидетельствуют о том, что в Политбюро все еще были люди, на которых можно было положиться в выполнении данных гарантий. Любопытно, что даже позже, в период казни Рудзутака в 1938 году, не исключались попытки подобного обращения. В 1956 году мы слышали от Хрущева по поводу Рудзутака, что «его даже не вызывали на заседание Политбюро, потому что Сталин не хотел говорить с ним».^[371]

Потрясенные отсутствием остальных членов Политбюро, Зиновьев и Каменев, после некоторых споров, в конце концов приняли условия Сталина, гарантировавшие им жизнь, обещавшие жизнь их сторонникам и свободу семьям. (Есть свидетельство члена семьи Зиновьева,^[372] что причиной капитуляции было желание «спасти семьи», что, очевидно, верно и в отношении Каменева, ибо высказано им в последнем слове на процессе.)

После капитуляции Зиновьева и Каменева Сталин мог считать игру выигранной. Суд мог состояться. С политическими фигурами меньшего калибра можно было в крайнем случае расправиться, и, кроме того, для них не могло быть более сильного довода, чем согласие их бывших руководителей выйти на суд и принять сталинские обещания.

Оставалось связать воедино все нити и повести политическую подготовку к процессу полным ходом. 14 января 1936 года состоялось решение Центрального Комитета об обмене партийных документов, в ходе которого надлежало выявлять людей, недостойных носить звание члена партии. Теперь, 29 июля 1936 года, на места было разослано совершенно секретное письмо ЦК о том, что часть ныне арестованных сумела, несмотря на все предыдущие меры, сохранить партийные билеты. Все границы были теперь стерты между «шпионами, провокаторами, белогвардейцами, кулаками» и «троцкистами и зиновьевцами». Письмо призывало к усилению «революционной бдительности» и, цитируя слова Сталина на пленуме ЦК ВКП[б], жестко формулировало главную обязанность члена партии на предстоящий период: «неотъемлемое качество каждого большевика в настоящих условиях — умение распознать врага, как бы хорошо он ни маскировался».^[373]

По получении циркуляра на местах партийные власти начали новый тур лихорадочных доносов. Например, первый секретарь Козельского райкома партии писал в обком, донося не только на многих местных жителей, но также на тех людей, которых он встречал на предыдущих постах и теперь находил подозрительными. В каждом случае секретарь добавлял: «Возможно, что он до сих пор не разоблачен».^[374]

Это все было политической подготовкой партийных организаций по всей стране к предстоящей в связи с процессом Зиновьева кампании против врагов Генерального секретаря. Одним из результатов этой подготовки было то, что списки антисоветских элементов резко возросли, и массовая чистка готова была начаться.

20 июля было проведено небольшое, но важное организационное изменение: основан Народный комиссариат юстиции СССР.

Тем временем за тюремными стенами ломали волю оппозиционеров меньшего калибра, обреченных капитуляцией Зиновьева и Каменева. Сам Каменев начал давать показания 13 июля. Признания Мрачковского шли до 20 июля, а 21-го он получил очную ставку со Смирновым. Об этом имеются два немного разноречивых свидетельства Орлова и Кривицкого. Свидетельство Орлова, очевидно, основанное на официальной записи разговора, выглядит так, что два старых друга рассорились, ибо Смирнов считал капитуляцию Мрачковского слабостью.^[375] Свидетельство Кривицкого говорит, напротив, что они обнимались и плакали, и до конца очной ставки оставались друзьями. Во всяком случае, Мрачковский сделал несколько замечаний вроде следующего: «Иван Никитич, давай напишем, что они хотят от нас. Нужно». Смирнов не соглашался, говоря, что ему не в чем признаваться, т. к. он никогда не боролся ни против партии, ни против советской власти.^[376] На суде же он твердо назвал возведенные против него обвинения «вымыслом и клеветой».^[377] Давление на Смирнова было усилено арестом его бывшей жены Сафоновой, ныне привлеченной к делу в качестве соучастницы. Она подписала свидетельство против самой себя и против Смирнова под тем условием, что это был единственный путь сохранить им обоим жизнь. Затем, в августе, в кабинете чекиста Гая была устроена очная ставка между Смирновым и Сафоновой, где она плакала и просила его выйти на суд. Поскольку, дескать, Каменев и Зиновьев уже признались, ему лучше всего выйти вместе с ними на открытый суд и в этом случае не может быть и речи об их расстреле.^[378]

Есть сведения, что Смирнову также давалась очная ставка с Зиновьевым, который сказал, что подписывает признание, и уговаривал Смирнова сделать то же самое. Зиновьев сказал, что был уверен: его признания откроют ему путь к возвращению в партию. Сталин — которого он

называл его о старой партийной кличкой Коба — является, дескать, в данный момент центром партийной воли и пойдет на компромисс с оппозицией, поскольку практически не может действовать в дальней перспективе без «ленинской гвардии». Смирнов отвечал, что, напротив, Политбюро вполне очевидно хочет физического уничтожения оппозиции, иначе не было бы смысла во всем этом деле.^[379]

Следователь сказал Смирнову, что сопротивляться бесполезно, так как против него есть много свидетельств. Более того, страдать придется не только Смирнову, но и его семье — как пострадала семья убийцы Кирова, Николаева. Смирнов ничего не знал об аресте своей семьи и принял это просто как отвратительную угрозу со стороны следователя. Но вскоре, по дороге на допрос, он увидел свою дочь в другом конце коридора, причем ее держали двое охранников. Что случилось с дочерью Смирнова, так и неизвестно. Ее мать содержалась в женской командировке Кочмас-Вор-кутского лагеря, где она узнала от родственников, что ее дочь все еще в тюрьме. Впоследствии жену Смирнова отправили на кирпичный завод Воркута, где в марте-апреле 1938 года она была расстреляна в числе других 1300 «нежелательных».^[380]

Под таким давлением Смирнов уступил, однако согласился дать лишь частичные показания. Такого частичного признания не принимали ни у кого, но времени оставалось мало, а Сталин хотел любой ценой вывести Смирнова на суд. Смирнов даже сумел отвести Сафонову из числа обвиняемых, и она фигурировала только как «свидетельница» — что, конечно, еще не давало гарантии от гибели. Подобные уступки, сделанные Смирнову, не давали покоя Сталину, и Ягода и Молчанов были позднее обвинены в том, что они прикрывали Смирнова.^[381]

К 5 августа Смирнов дал уже свои основные показания.

10 августа начал признания и Евдокимов. На следующий день, 11-го, Центральный Исполнительный Комитет дал распоряжение о проведении процесса. Обвинительное заключение было составлено 14-го августа. В тот же самый день Тер-Ваганян, который туманно признал существование троцкистско-зиновьевского «центра» еще 16 июля, сделал полное признание.

Получение последних признаний было облегчено, а предыдущие признания были подкреплены опубликованием

11 августа постановления, которое (отменяя в какой-то степени постановление от 1 декабря 1934 года) восстановило практику открытых процессов, вновь разрешило участие адвокатов в суде и установило, что осужденные в течение трех дней после приговора могут подавать просьбы о помиловании, и цель постановления была совершенно ясна: укрепить надежды обвиняемых на возможность помилования; одновременно оно внушало эту же мысль партийцам, настроенным против процесса. А в числе таких партийцев были даже некоторые следователи. Есть основания полагать, например, что следователь Тер-Ваганяна Борис Берман поверил тому, что смертных приговоров не будет, и поэтому искренне посоветовал Тер-Ваганяну капитулировать, ибо, по мнению Бермана, это был самый верный курс.^[382]

Наконец, нужно было принять меры к тому, чтобы с публикацией обвинительного заключения 15 августа представить все дело самой партии в наиболее выгодном свете. Ведь подготовительная работа шла в глубокой тайне. На Политбюро не было никакого предварительного обсуждения. «Процесс явился полным сюрпризом не только для рядовых партийных работников, но и для членов ЦК и, во всяком случае, для части членов Политбюро».^[383]

Если кто в руководстве и возражал против процесса, у Сталина был наготове простой ответ: дело находится в руках прокуратуры и суда. Это ведь органы, занимающиеся соблюдением законности. И пусть действует юстиция. Декрет от 11 августа прекрасно подкреплял такую точку зрения.

Поскольку показания уже имелись, было очень трудно организовать какое-либо сопротивление процессу. Но Сталин все-таки сыграл наверняка, обрушив новость на страну, на партию и на само Политбюро в тот момент, когда он сам был в отпуске и многие другие члены высшего руководства разъехались по стране. Говорят, например, что Молотов и Калинин уехали в отпуск, не подозревая о предстоявшей бойне.^[384]

Сомнительно, чтобы это было верно по отношению к Молотову. Правда, его вражда с Мрачковским сама по себе не указывает на соучастие Молотова в планировании убийства всех обвиняемых. Оно, конечно, могло быть и так, но теперь мы имеем поразительное свидетельство того, что как раз в то время Сталин был недоволен Молотовым.

Когда было опубликовано обвинительное заключение, оно вызвало сенсацию в Москве из-за того, что в списке намеченных жертв заговора не было одного из высших советских вождей — Молотова. Были названы Сталин, Орджоникидзе, Ворошилов, Каганович, Косиор, Постышев и Жданов (трое последних — в качестве будущих жертв местных террористических организаций на Украине и в Ленинграде), а вот председателя Совнаркома убивать, видимо, не собирались. В ходе процесса признания обвиняемых касались того же самого списка, и упомянутые имена были названы в обвинительной речи Вышинского. В советских условиях это могло означать — и без всякого сомнения означало, — что Молотов был не в фаворе. Высокопоставленный сотрудник НКВД Александр Орлов, позже перешедший на Запад, рассказал, что Сталин собственноручно вычеркнул Молотова из текста предварительных показаний обвиняемых (куда, конечно, имя Молотова было включено), и тут же Ягода приказал следователям не упоминать Молотова в качестве жертвы.^[385] Это свидетельство правдоподобно. Без особого личного указания Сталина имя Молотова не было бы пропущено таким очевидным образом.

Есть некоторые основания полагать, что Молотов не хотел быть замешанным в уничтожении старых большевиков. И этот эпизод делает более правдоподобными прежние сведения о том, что при обсуждении судьбы Рютина в 1932 году Молотов не полностью поддерживал Сталина в его попытке применить крайние меры. Нужно также отметить, что во всех неофициальных свидетельствах о том периоде Ворошилов часто появляется как член ЦК, участвовавший вместе со Сталиным в переговорах с будущими обвиняемыми, в то время как Молотов почти совсем не упоминается.

Таким образом, с мая 1936 года и до конца процесса в августе Молотов находился под страхом ликвидации. Есть сведения, что он уехал в отпуск под неусыпным надзором НКВД.^[386]

Однако через несколько недель после зиновьевского процесса Молотов, по-видимому, сумел вернуть себе расположение Сталина. Его имя было включено в список жертв якобы намечавшегося террора на процессах 1937-38 годов — хотя это даже выглядело странным: ведь последующие группы заговорщиков якобы состояли издавна в сговоре с Зиновьевым и Каменевым, планировали свой террор с ними, а Зиновьев и Каменев необъяснимым образом пропускали в своих показаниях имя Молотова.

Следует думать, что давление Сталина привело Молотова к полному повиновению. С тех пор нет никаких сведений о чем-либо другом с его стороны, кроме безоговорочного соучастия в терроре. Почему Сталин сохранил Молотова — можно только гадать. Возможно, потому, что Молотов был (или стал после удаления Орджоникидзе) единственным старым большевиком с известной репутацией во всей сталинской правящей группе.

Как бы то ни было, ни Молотов, ни кто-либо другой уже не мог вмешаться в ход процесса, хотя они могли надеяться, что суд закончится лишь приговорами к тюремному заключению.

СУД НАЧИНАЕТСЯ

19 августа в 12 часов 10 минут в Октябрьском зале Дома Союзов в Москве открылось судебное заседание военной коллегии Верховного суда СССР. Предыдущие показательные процессы шли в огромном Колонном зале того же здания, но сейчас был избран более скромный по размерам Октябрьский. Когда-то это был один из бальных залов Дворянского собрания — просторное помещение с высоким потолком, с коринфскими колоннами у светло-голубых стен, декорированное в русском стиле XIX века. В зале хватало места приблизительно для 150 с небольшим советских граждан и 30 с лишним иностранных журналистов и

дипломатов. Присутствие иностранцев было очень важно для всего спектакля. Единодушная отрицательная реакция иностранцев могла приостановить последующие представления такого рода. Увы, слишком многие из этих привилегированных гостей позволили себя обмануть, поверили невероятному заговору и фантастическим его подробностям. Советские же зрители все были подобраны НКВД и являлись главным образом сотрудниками и руководящими работниками этого наркомата. Есть свидетельства, что аудитория была специально проинструктирована — она должна была проявлять волнение по сигналу, если вдруг возникла бы необходимость покрыть шумом зала нежелательное высказывание кого-либо из обвиняемых. Руководители партии и правительства не присутствовали. Не было также родственников обвиняемых.^[387]

Комендант суда, одетый в форму со знаками различия НКВД, провозгласил: «Встать, суд идет!» Все встали, и судьи заняли свои места. Председательствовал Ульрих — толстяк со свисающими, как у старого пса, щеками и маленькими свинными глазками. Голова его с заостренной макушкой была наголо выбрита и его жирный затылок нависал над воротником кителя. Голос Ульриха был мягким и масляным. Он имел большой опыт в политических процессах.

Справа от Ульриха сидел другой ветеран подобных процессов, Матулевич. Этот председательствовал в декабре 1934 года на суде над ленинградскими так называемыми «белогвардейцами», которые все были уничтожены. Слева от председателя сидела личность, интересовавшая гостей с Запада, — бесцветный, худощавый диввоенюрист И. Т. Ни-китченко. Десять лет спустя он появился в международном трибунале в Нюрнберге, где вместе с виднейшими судьями Великобритании, Америки и Франции председательствовал на процессе над главными военными преступниками. В Нюрнберге Никитченко представлял юридическую систему, настолько отличную от остальных, представленных в Трибунале, что само его присутствие могло показаться издевательством над судебной процедурой.^[388]

Однако важное обстоятельство отличало советскую юстицию от тех остальных, с которыми Никитченко предстояло позже встретиться в Нюрнберге. Обстоятельство состояло в том, что приговоры в Советском Союзе составлялись заранее и отнюдь не судебными органами. На закрытом заседании XX съезда КПСС Хрущев сказал буквально следующее: «НКВД стал применять преступный метод заготовления списков лиц, дела которых подпадали под юрисдикцию коллегии Военных Трибуналов. При этом приговоры заготавливались заранее. Ежов обычно посылал эти списки лично Сталину, который утверждал предложенную меру наказания».^[389] Шелепин на XXII съезде сообщил, что «Каганович до окончания судебных заседаний по различным *делам*, лично редактировал проекты приговоров и произвольно вносил в них угодные ему изменения, вроде того, что против его персоны якобы готовились террористические акты».^[390] Молотов же, по словам Сулова, когда списки осужденных проходили через его руки, изменял приговоры, увеличивая при этом «во многих случаях» меру наказания. Так, в одном примере, данном Суловым, он, простой пометкой «ВМН» (высшая мера наказания) на полях списка, изменил на расстрел приговор к тюремному заключению одной из жен «врагов народа».^[391] В процессе, который теперь предстояло провести Никитченко и его коллегам, приговоры без сомнения были частью подготовленного сценария, и эти приговоры были навязаны самим Генеральным секретарем. Как, впрочем, подтверждает и произведенное в 1968 году чехословацкое расследование фальсификации процесса Сланско-го; согласно этому расследованию «индивидуальные приговоры заранее устанавливались в политическом секретариате».^[392]

Три крупных, здоровенных бойца НКВД с винтовками и примкнутыми штыками ввели подсудимых и разместили их за низким деревянным барьером вдоль правой стены зала. Потом эти трое вооруженных людей замерли в позе часовых. В последние дни перед процессом обвиняемые немного прибавили в весе и им была дана возможность выспаться. Все же они выглядели бледными и измотанными.

Перед *самым* судом Ягода и Ежов провели совещание с Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Бакаевым, Мрач-ковским и Тер-Ваганяном. Ежов повторил сталинское

обещание, что им будет сохранена жизнь и тут же предупредил, что любая индивидуальная попытка «предательства» будет рассматриваться как заговор всей группы в целом.^[393]

Теперь эти главные обвиняемые сидели в тревоге, попеременно с агентами-провокаторами, равномерно распределенными среди них и отделявшими их друг от друга. Практика добавления второразрядных мошенников (или якобы мошенников) к группе важных политических фигур и одновременный суд над теми и этими, составляющими якобы одну общую группу, — техника не новая. Из истории французской революции мы знаем, что в процессе над Дантоном и умеренными 13–14 жерминаля сам Дантон и четверо его ближайших сторонников были смешаны с мелкими ворами и шпионами, причем каждый из главных обвиняемых был тщательно связан с другими общим обвинением.

Теперь советская печать делала совершенно то же. Газеты вели злобную обвинительную кампанию против подсудимых, в то же время публикуя материалы, так сказать, противоположного свойства — например, почти ежедневно давая фотографии знаменитых летчиков, совсем так же, как поколением позже давались фотографии космонавтов. На снимках фигурировали Чкалов с командой, пролетевшие на новом советском самолете вдоль границ страны и обратно; фигурировал Владимир Коккинаки, поставивший несколько рекордов высоты. Летчиков фотографировали со Сталиным и другими, фотографировали во время приемов в Политбюро, во время награждения орденами и просто поодиночке. Таким путем симулировалась атмосфера молодости и прогресса, победа молодого сталинского поколения, а в то же время создавалось впечатление, что рассеивались темные силы, представленные на суде старыми большевиками.

У левой стены зала, как раз напротив обреченных представителей антисталинизма, сидел за небольшим столом Вышинский, человек с аккуратной прической, седыми, тщательно подстриженными усиками, в безупречно сшитом темном костюме, крахмальном воротничке и галстуке.

Ульрих выполнил все формальности по идентификации обвиняемых, спросил их по поводу возможных отводов составу суда и по поводу желаний обвиняемых иметь защитников. На два последних вопроса ответом было единодушное «нет». Затем секретарь суда огласил обвинительное заключение. Оно основывалось на материалах январского процесса 1935 года, на котором, как говорилось, Зиновьев и его коллеги скрыли свою прямую ответственность за убийство Кирова. После этого якобы вскрылись обстоятельства, показывающие, что зиновьевцы и троцкисты, которые занимались террористической деятельностью еще раньше, сформировали общий блок уже к концу 1932 года. К блоку будто бы присоединилась также группа Ломинадзе. Через особых агентов они получали инструкции Троцкого.

Согласно этим инструкциям, обвиняемые якобы организовали террористические группы, готовившие «ряд практических мероприятий» для убийства Сталина, Ворошилова, Кагановича, Кирова, Орджоникидзе, Жданова, Косиора, Постышева и других,^[394] одна из этих террористических групп сумела, дескать, убить Кирова. Никакой другой программы, кроме убийства, у этих людей якобы не было.

Согласно обвинительному заключению, Троцкий посылал письменные инструкции Дрейцеру, который передавал их Мрачковскому. Инструкции требовали убийства Сталина и Ворошилова. Пятеро младших обвиняемых, вместе с Гольцманом, были лично посланы Троцким или его сыном Седовым для помощи в этих террористических актах. Ольберг, к тому же, имел связи с гестапо. Все обвиняемые полностью признали себя виновными, за исключением И. Н. Смирнова, чья полная виновность была, однако, подтверждена показаниями других обвиняемых. Сам он сделал лишь частичное признание — в том, что принадлежал к «объединенному центру» и что был лично связан с Троцким до времени своего ареста в 1933 году. Смирнов также показал, что в 1932 году получил инструкции Троцкого об организации террора. Однако он отрицал свое участие в террористической деятельности.

Обвинительное заключение заканчивалось перечислением имен людей, которые подлежали суду отдельно: «Дела Гертника, Гринберга, Ю. Гавена, Карева, Кузьмичева, Константа, Маторина, Павла Ольберга, Радина, Сафионовой, Файвилло-вича, Д. Шмидта и Эстермана

выделены в особое производство в связи с тем, что следствие по этим делам еще продолжается».^[395] О Маторине, личном секретаре Зиновьева, в ходе суда было сказано еще раз, что он находится под следствием и будет судим позже «в связи с другим делом».^[396] Но ни один из названных людей никогда больше не появился перед открытым судом и в большинстве случаев мы ничего не знаем об их судьбах.

После чтения обвинительного заключения обвиняемые признали себя виновными полностью — за исключением Смирнова и Гольцмана. Смирнов признал свою принадлежность к «центру» и получение инструкций о терроре от Троцкого, но отрицал участие в подготовке или исполнении террористических актов. Гольцман тоже, хотя и признал, что передавал инструкции о терроре от Троцкого, отрицал свое участие в терроре. После 15-минутного перерыва Мрачковский был вызван первым для дачи показаний. Отвечая на вопросы Вышинского, Мрачковский рассказал о формировании «центра» и о подготовке террора по инструкциям, полученным от Троцкого и его сына Седова. Эти инструкции якобы частично передавались через Смирнова, а частично были получены в письме Троцкого, написанном невидимыми чернилами и посланном через Дрейцера. Была создана троцкистская группа под руководством Смирнова, куда входил сам Мрачковский, Тер-Ваганян и бывшая жена Смирнова Сафонова. К ним примыкали Дрейцер и ряд заговорщиков меньшего масштаба.^[397]

Когда Мрачковский обвинял Смирнова в прямой террористической деятельности, Смирнов несколько раз отрицал правильность этих показаний, и между ним и Вышинским вспыхивали горячие споры. Для подкрепления показаний Мрачковского был привлечен Зиновьев. Он поднялся и заявил, что убийство Кирова было совместным предприятием, участие в котором принимали как зиновьевцы, так и троцкисты, включая Смирнова. То же самое подтвердил и Каменев. Таким путем уже в самом начале процесса была обозначена некая общая террористическая сеть. Для полноты картины Мрачковский также сообщил об участии Ломинадзе (покончившего самоубийством за год до процесса)^[398] и о существовании группы убийц в Красной Армии во главе с комдивом Дмитрием Шмидтом. Это последнее обвинение, как выяснилось, было вставлено в показания Мрачковского с дальним прицелом и весьма многозначительно.

После Мрачковского допрашивали Евдокимова, который заявил, что в январе 1935 года он обманул суд. Он объяснил затем, как он сам, а также Бакаев, Зиновьев и Каменев организовали убийство Кирова. План, оказывается, состоял в том, чтобы убить Сталина в тот же самый момент: «... Бакаев предупредил Николаева и его соучастников, что они должны были ждать сигнала Зиновьева, — сказал Евдокимов, — и стрелять одновременно с выстрелами в Москве и Киеве».^[399] В обвинительном заключении цитировались показания Мрачковского, данные им на предварительном следствии, о том, что «Сталина предполагалось убить первым», и, во всяком случае, Кирова не собирались будто бы отправить на тот свет раньше Генерального секретаря. Евдокимов в своих показаниях впервые упомянул имя старого большевика Григория Сокольников, в прошлом кандидата в члены Политбюро и в то время все еще кандидата в члены Центрального Комитета.

В ходе допроса Евдокимова Смирнов, против которого опять давались показания, снова отрицал их правильность.

На вечернем заседании показания давал Дрейцер. Он «вспомнил» свои связи с сыном Троцкого Седовым и показал, что он организовал две другие террористические группы для убийства соответственно Сталина и Ворошилова. По поводу Смирнова — «заместителя Троцкого в СССР» — Дрейцер злобно заметил: «Никто не мог действовать по собственной инициативе, без дирижера мы не составляли бы оркестра. Я удивлен заявлениями Смирнова, который, по его словам, одновременно и знал и не знал, и говорил и не говорил, и действовал и не действовал. Это неправда».^[400] Смирнов вновь отрицал верность этих показаний и заявил, что он никогда не обсуждал вопросы террора с Дрейцером. Опять был вызван Зиновьев, чтобы подтвердить роль Смирнова, — и он сделал это длинно и обстоятельно.

Следующим был Рейнгольд. Он расширил границы заговора, показав о переговорах с Рыковым, Бухариным и Томским, а также упомянул еще о двух террористических группах,

возглавляемых «правыми» — Слепковым и Эйсмонт. Рейнгольд сообщил также о плане Зиновьева и Каменева поставить после прихода к власти на пост главы НКВД Бакаева с тем, чтобы тот уничтожил всех сотрудников НКВД, которые «могли держать в руках нити заговора», а также «всех прямых исполнителей террористических актов».^[401] Эти показания насчет убийства исполнителей террора, как мы уже упоминали, интересны тем, что показывают, в каком направлении работал ум Сталина.

Последовавший за Рейнгольдом Бакаев «признался» в организации убийства Кирова и планировании убийства Сталина:

Вышинский: Вы приняли ряд практических мер по выполнению этих инструкций, а именно по организации нескольких покушений на жизнь тов. Сталина, которые провалились не по вашей вине?

Бакаев; Да, это так.^[402]

Однако Бакаев сделал оговорку того типа, какие отмечались и на последующих процессах; он заявил, что о других заговорах, ныне приписываемых обвиняемым, он узнал впервые при чтении обвинительного заключения.^[403] Он сделал также несколько менее значительных оговорок, сказав, например, что не ездил в Ленинград для встречи с Владимиром Левиным (одним из участников «группы» Николаева) и не обсуждал с ним вопросов террора.^[404] Эти незначительные отрицания не шли, конечно, ни в какое сравнение с основными признаниями. Тем не менее, их можно, вероятно, рассматривать как слабые, жалкие попытки дать понять, что показания эти нельзя считать правдивыми.

Настала очередь Пикеля. Он сообщил, что согласился принять участие в покушении на жизнь Сталина. Он упомянул о трагедии 1933 года, когда секретарь Зиновьева Богдан покончил самоубийством в знак протеста против чисток партии. В уста Пикеля была вложена новая интерпретация этого события. Действительно, сказал Пикель, Богдан «оставил записку о том, что якобы был жертвой партийной чистки»,^[405] но фактически имел приказ Бакаева либо устроить покушение на Сталина, либо покончить с собой. Даже эта невероятная сказка не возбудила недоверия ряда лиц, сидевших в ложе прессы.

Пикель некоторое время находился на Шпильбергене: как член Союза писателей он имел назначение работать там при советских угольных концессиях. На суде это было представлено как его попытка быть в отъезде, чтобы избежать разоблачения.^[406] Таким образом, если человек был в отъезде, это означало, что он террорист, пытающийся избежать разоблачения, а если (как сделал Пикель) он приезжал обратно, то он был террористом, возобновившим работу, — в данном случае дальнейшие попытки устроить покушение на жизнь Кагановича, Ворошилова и других.

На следующее утро, 20 августа, давал показания Каменев. Сперва он говорил с определенным достоинством, но когда начался перекрестный допрос, это достоинство стало исчезать. Он сделал почти полное признание, отрицая лишь намерение заговорщиков якобы скрыть следы своих преступлений физическим уничтожением сотрудников НКВД и всех, кто мог знать о заговоре. По поводу отрицания

Смирновым своей вины Каменев сказал: «Это смешные увертки, создающие только комическое впечатление».^[407]

В показаниях Рейнгольда Сокольников был назван как полноправный член «центра».^[408] Каменев, однако, изложил это несколько по другому.

Каменев:... Среди руководителей заговора можно назвать еще одно лицо, фактически одного из руководителей, который, однако, в связи с особыми планами, существовавшими у нас в отношении его работы, не привлекался к практическим делам. Я имею в виду Сокольникова.

Вышинский: Который был членом «центра», но чья роль хранилась в строгом секрете?

Каменев: Да. Понимая, что мы могли быть разоблачены, мы назначили небольшую группу для продолжения нашей террористической деятельности. Для этой цели мы и выделили Сокольникова. Нам казалось, что со стороны троцкистов такую роль могли успешно выполнить Серебряков и Радек.^[409]

Каменев также еще более расширил рамки заговора, включив в него бывшую «рабочую оппозицию» Шляпникова.

Что касается роли «правых», то Каменев сказал следующее: «В 1932, 1933 и 1934 годах я лично поддерживал связи с Томским и Бухариным и выяснял их политические взгляды. Они нам симпатизировали. Когда я спросил Томского об умонастроениях Рыкова, тот ответил: „Рыков думает то же, что и я“. В ответ на мой вопрос о том, что думает Бухарин, он сказал: „Бухарин думает то же самое, что и я, но придерживается несколько другой тактики: он не согласен с партийной линией, однако держится тактики настойчивого проникновения в партию и завоевания личного доверия у руководства“».^[410]

Это не было еще полным обвинением — во всяком случае теоретически, — но вряд ли могло означать что-либо другое, кроме намерения Сталина посадить Бухарина и его последователей на скамью подсудимых.

Потом в зале появился «свидетель», профессор Яковлев. Он подтвердил ранее данные обвиняемыми показания. Яковлев заявил, что Каменев поставил его руководить террористической группой в Академии наук.^[411]

Теперь настала очередь Зиновьева давать свои основные показания. Он выглядел запуганным. В прошлом красноречивый оратор, Зиновьев еле двигал губами. Лицо его было серым и отечным, он говорил с астматической одышкой. Его признание вины было полным, он сказал не только о своем руководстве зиновьевской террористической группой, но также и о сотрудничестве с М. Лурье, якобы подосланным Троцким. Зиновьев недвусмысленно говорил о виновности Томского, а также назвал ветерана ленинского ЦК Смильгу, который при захвате власти большевиками стоял во главе Балтийского флота. Заявив о своей постоянной связи со Смирновым,^[412] Зиновьев добавил следующее:

«... В этой ситуации я имел встречи со Смирновым, который здесь обвинял меня в том, что я часто говорю неправду. Да, я часто говорил неправду. Я начал лгать в тот момент, когда стал бороться против большевистской партии. Постольку, поскольку Смирнов стал на путь антипартийной борьбы, он тоже говорит неправду. Но мне кажется, что разница между нами состоит в том, что я твердо и безусловно решил говорить в этот последний момент правду, в то время как он, по-видимому, принял другое решение».^[413]

Затем появилась — в качестве свидетельницы — бывшая жена Смирнова Сафонова. Она заявила, что Смирнов передавал инструкции Троцкого о терроре и энергично их поддерживал. Смирнов твердо отрицал эти показания, но другие обвиняемые немедленно подтвердили слова Сафоновой. Затем состоялся следующий обмен репликами между Вышинским и Смирновым:

Вышинский: В каких отношениях вы были с Сафоновой?

Смирнов: В хороших.

Вышинский: А более того?

Смирнов: Мы состояли в близких отношениях. *Вышинский:* Вы были мужем и женой?

Смирнов: Да.

Вышинский: Между вами не было личной неприязни?

Смирнов: Нет.^[414]

Следующее заседание началось с допроса Смирнова. Он продолжал давать лишь частичные показания. Да, передавал идеи Троцкого и Седова относительно террора, но не разделял этих идей; никакой другой противозаконной деятельностью не занимался. Вот отрывок из стенограммы процесса:

Смирнов: Я признаю, что принадлежал к подпольной троцкистской организации, присоединился к блоку и центру этого блока, виделся с Седовым в 1931 году в Берлине, выслушивал его соображения о терроре и передал эти соображения в Москву. Я признаю, что получал инструкции Троцкого о терроре от Гавена и, хотя я не был с ним согласен, передавал их зиновьевцам через Тер-Ваганяна.^[415]

Вышинский(иронически): Когда вы покинули «центр»? *Смирнов:* У меня не было намерения покидать; не было что покидать.

Вышинский: Центр существовал? *Смирнов:* Какой «центр»?...*Вышинский:* Мрачковский, центр был? *Мрачковский:* Да. *Вышинский:* Зиновьев, центр был? *Зиновьев:* Был.

Вышинский: Евдокимов, центр был? *Евдокимов:* Да.

Вышинский: Бакаев, центр был? *Бакаев:* Да.

Вышинский: Ну что, Смирнов, будете и теперь продолжать настаивать, что центра не было?^[416]

Смирнов снова сказал, что никаких собраний такого «центра» никогда не было, и опять три других члена этого «центра» были вызваны, чтобы его опровергнуть. После показаний других о том, что он возглавлял троцкистскую часть заговора, Смирнов повернулся к ним и сардонически сказал: «Вам нужен вождь? Ладно, берите меня!»^[417]

Даже Вышинский комментировал эту реплику замечанием, что она была сделана «в несколько шутливой форме».^[418]

Смирнову было очень трудно продолжать свою линию частичных признаний, но в целом он преуспел в одном: он основательно спутал все карты. Когда противоречия в его показаниях становились для него особенно трудными, он просто не отвечал на вопросы.

Следующий обвиняемый, Ольберг, сообщил, что долго был членом немецкой троцкистской организации, встречался с Седовым и с помощью фальшивого гондурасского паспорта приехал в Советский Союз. Он не объяснил, каким образом со своей туристской визой в центрально-американском паспорте он получил работу в горьковском педагогическом институте; но именно там он, оказывается, готовил террористический акт, который должен был быть осуществлен в Москве 1 мая 1936 года. Согласно показаниям Ольберга, его план убийства Сталина провалился потому, что он был арестован. Ольберг был одним из тех обвиняемых, относительно которых даже тогда было замечено, что они давали показания почти что в бойкой манере. Ту же ошибку допустили затем Фриц-Давид и оба Лурье. Ряд наблюдателей сразу же пришли к выводу, что эти люди были провокаторами.

После Ольберга Берман-Юрин заявил, что Троцкий лично послал его застрелить Сталина на конгрессе Коминтерна. Берман-Юрин дал очень подробный отчет о встрече с Троцким и его свитой в Копенгагене в ноябре 1932 года. Этот отчет состряпали в НКВД следующим образом.

Советский шпион Джек Собл, чья карьера закончилась только в 1957 году с его арестом в Нью-Йорке, проник в окружение Троцкого в 1931 году. Последняя встреча этого Собла с Троцким произошла в Копенгагене в декабре 1932 года, когда Троцкий приезжал в Данию для прочтения лекций. После этого Собл потерял доверие Троцкого. Однако его отчет о передвижениях Троцкого в Копенгагене был передан в НКВД, там отредактирован и положен в основу показаний Бермана-Юрина.^[419]

Берман-Юрин закончил свои показания, сказав, что не сумел достать билет на XIII пленум Коминтерна и поэтому не смог застрелить на этом пленуме Сталина.

С момента публикации обвинительного заключения советская пресса настойчиво требовала смертной казни обвиняемых. Печатались резолюции, принятые на собраниях во всех концах страны. Рабочие киевского завода «Красное знамя» и сталинградского тракторного имени Дзержинского, члены казахстанских колхозов и ленинградской партийной организации — все требовали расстрела обвиняемых, изо дня в день нагнетая напряжение. А утром 21 августа «Правда» опубликовала нечто новое. В этом номере «Правды» были все те же десятки резолюций, были верноподданнические стишки рифмоплета Демьяна Бедного под заголовком «Пощады нет!» Но, помимо этого, в газете были опубликованы заявления Раковского, Рыкова и Пятакова, продемонстрировавшие еще одну сторону партийной дисциплины. Эти трое тоже требовали смертной казни. Заявление Раковского называлось «Не должно быть никакой пощады!» Рыков настаивал, чтобы Зиновьеву не было оказано милосердия. Об общем тоне всех заявлений можно судить по тексту, подписанному Пятаковым, который гласил:

«Не хватает слов, чтобы полностью выразить свое негодование и омерзение. Это люди, потерявшие последние черты человеческого облика. Их надо уничтожать, уничтожать как падаль, заражающую чистый, бодрый воздух советской страны, падаль опасную, могущую

причинить смерть нашим вождям и уже причинившую смерть одному из самых лучших людей нашей страны — такому чудесному товарищу и руководителю, как С. М. Киров.... *

Многие из нас, и я в том числе, своим ротозейством, благодушием, невнимательным отношением к окружающим, сами того не замечая, облегчали этим бандитам делать свое черное дело.

Хорошо, что органы НКВД разоблачили эту банду. Хорошо, что ее можно уничтожить — честь и слава работникам НКВД!». ^[420]

Под этим нарастающим давлением обвиняемые продолжали свои показания. К 21 августа, последнему дню судебного следствия, осталась лишь одна видная фигура — Тер-Ваганян. Кроме него, было лишь трое «убийц» и так называемый эмиссар Троцкого Гольцман.

Этот Гольцман, действительно бывший троцкист невысокого ранга, был личным другом Смирнова. Его показания оказались в высшей степени неудовлетворительными для обвинения по двум причинам.

Во-первых, Гольцман, несомненно по примеру Смирнова, изменил позицию с полного отрицания того, что ему приписывало обвинительное заключение, к отрицанию своего участия в терроризме. Он теперь твердо заявил, что хотя он передавал точку зрения Троцкого, но, подобно Смирнову, «не разделял» взглядов Троцкого о необходимости террора. Вышинский сумел лишь добиться от Гольцмана признания, что он оставался членом троцкистской организации, после чего прокурор заявил, что это — то же самое.

Второе обстоятельство было иного характера. Гольцман показал, что встречался со старшим сыном Троцкого Львом Седовым в Копенгагене. Было условлено, что в этом городе он должен был остановиться в отеле «Бристоль» и там встретиться с Седовым. Гольцман заявил, что поехал в гостиницу прямо с вокзала и встретил Седова в вестибюле.

Как только показания Гольцмана были опубликованы, Троцкий объявил их фальшивыми и опубликовал требование, чтобы суд спросил Гольцмана, по какому паспорту и под каким именем он приехал в Данию — это ведь могло быть сразу проверено с помощью датских иммиграционных властей. К такому обороту дела обвинение не было подготовлено, и суд, естественно, не обратил на это никакого внимания. Но вскоре после окончания процесса орган датской социал-демократической партии указал, что отель «Бристоль» в Копенгагене был снесен в 1917 году. ^[421] Советской пропаганде было очень трудно обойти этот пункт, и в конце концов была выдвинута запоздалая теория, что Гольцман встречался с Седовым в кафе «Бристоль», которое якобы находилось вблизи гостиницы под другим названием, где Гольцман остановился. Эта версия не совпадала с показаниями на процессе. В довершение всего было опубликовано убедительное свидетельство, что Лев Седов в те самые дни (в 1932 году), когда, согласно показаниям Гольцмана, ему следовало быть в Копенгагене, держал экзамены в высшей технической школе в Берлине. ^[422]

Существует версия, что ошибка с гостиницей «Бристоль» родилась следующим образом. Ежов решил, что эта воображаемая встреча должна была состояться в гостинице, и попросил Молчанова дать название гостиницы. Молчанов обратился в иностранный отдел НКВД. Чтобы скрыть суть дела, он потребовал названия нескольких гостиниц в Осло и в Копенгагене, якобы для того, чтобы разместить там группу важных советских делегатов. Секретарь Молчанова бегло записал список названий, который ему продиктовали по телефону, и затем, перепечатаывая список, по ошибке дал названия гостиниц в Осло под рубрикой «Копенгаген». ^[423]

За Гольцманом были вызваны двое Лурье. Их родство неопределенно — они не были братьями. Работали они вместе. Натан Лурье, по профессии хирург, дал показания, что заграничные троцкисты прислали его для организации покушения на Ворошилова. Он якобы работал над этим с сентября 1932 до весны 1933 года вместе с двумя соучастниками, и они «часто ходили на улицу Фрунзе и прилегающие улицы, вооруженные револьверами» ^[424]

Дальше произошел следующий диалог:

Председательствующий: Итак, вы совершили бы террористический акт, если бы представился благоприятный момент? Почему вам это не удалось?

Лурье: Мы видели автомобиль Ворошилова, движущийся вдоль улицы Фрунзе. Он шел слишком быстро. Было безнадежно стрелять по такому быстро движущемуся автомобилю. Мы решили, что это будет бесполезно.^[425]

После этого Н. Лурье был якобы послан в Челябинск, где старался встретить Кагановича и Орджоникидзе во время их посещения этого города. План, весьма простой, выглядел следующим образом. Моисей Лурье велел Натану Лурье «использовать возможный визит товарища Орджоникидзе на Челябинский тракторный завод, чтобы совершить по отношению к нему террористический акт».^[426] Н. Лурье «постарался встретить» обоих вождей, но «он не сумел выполнить свое намерение».^[427]

Этот малообещающий убийца был затем переведен в Ленинград, где его связали с «террористической группой Зейделя» (одна из смешанных террористических групп, упомянутых в ходе процесса: Зейдель был историком). Здесь инструкции Н. Лурье предусматривали уже убийство Жданова. Он планировал это сделать во время демонстрации 1 мая. Ульрих установил в деталях тип пистолета (браунинг среднего размера), но поскольку Лурье не использовал этого воображаемого оружия, данный пункт вообще потерял значение. Вот типичные вопрос и ответ на суде:

Председательствующий: Почему вам не удалось покушение на жизнь Жданова?

Лурье: Мы шли слишком далеко от трибуны.^[428]

Итак, обвиняемый участвовал в «попытках покушения» на четырех руководящих деятелей, но ни в одном случае не были предприняты сколько-нибудь явные действия. В сопоставлении с успешными действиями убийцы Кирова это выглядело странно.

Показания Моисея Лурье были того же типа. Он тоже имел инструкции от Троцкого, переданные якобы через оппозиционных немецких коммунистических лидеров Рут Фишер и Маслова, он тоже встречался с Зиновьевым. Он готовил своего однофамильца к различным покушениям.

Следующим был назван Тер-Ваганян. Он вовлек в дело новую группу — грузинских уклонистов, которые, «как хорошо известно», были террористами с самого 1928 года. Повидимому, речь шла о Мдивани и его сторонниках, но Тер-Ваганян назвал только одну фамилию — Окуджава. Тер-Ваганян также сообщил, что вел переговоры со своим близким другом Ломинадзе и с историками-троцкистами Зейделем и Фридлиндом.

Тер-Ваганян показывал и против Смирнова, который вновь попросил занести в протокол непризнание им своей вины, хотя в конце концов допустил, что одна из оспариваемых им встреч «могла иметь место».

Последний из обвиняемых, Фриц-Давид, дал показания о том, что был послан Троцким и Седовым с целью попытаться осуществить «два конкретных плана убийства Сталина». Оба эти плана провалились — один потому, что Сталин не присутствовал на заседании исполкома Коминтерна, где должно было произойти убийство, а другой потому, что на конгрессе Коминтерна Давид не смог подойти достаточно близко. Седов будто бы пришел в ярость (неудивительно!), когда узнал об этих задержках. Ни один из террористов, якобы посланных в СССР с такими трудностями и с такими расходами, не сумел причинить даже малейшего неудобства, не говоря уже об убийстве, кому-либо из сталинского руководства. Несмотря на это, Вышинский заметил, что «троцкисты действовали более целеустремленно и энергично, чем зиновьевцы!»^[429]

В конце вечернего заседания 21 августа был снова допрошен Дрейцер — для того, чтобы вовлечь в заговор комкора Витовта Путна (см. главу VII). Комкор Путна «для вида порвал с троцкистами», но фактически переправлял инструкции от Троцкого к Дрейцеру для дальнейшей передачи Смирнову. Тут Смирнов снова вмешался и отрицал, что Путна был троцкистом, но Пикель, Рейнгольд и Бакаев подтвердили это.

В конце дня Вышинский сделал следующее заявление:

«На предшествующих заседаниях некоторые обвиняемые (Каменев, Зиновьев и Рейнгольд) упоминали в своих показаниях Томского, Бухарина, Рыкова, Угланова, Радека, Пятакова,^[430] Серебрякова и Сокольников, как принимавших в той или иной степени участие в преступной

контрреволюционной деятельности, за которую судят обвиняемых по настоящему делу. Я считаю необходимым сообщить суду, что вчера я распорядился начать следствие по заявлениям подсудимых в отношении Томского, Рыкова, Бухарина, Угланова, Радека и Пятакова и что по результатам этого расследования генеральная прокуратура предпримет необходимые законные действия. В отношении Серебрякова и Сокольниковых следственные органы уже имеют *материалы*, обвиняющие этих лиц в контрреволюционных преступлениях, и в связи с этим против Сокольниковых и Серебрякова возбуждены уголовные дела».^[431]

22 августа это заявление было опубликовано в печати вместе с быстро появившимся требованием рабочих «Динамо», чтобы обвинения были «безжалостно расследованы».

Прочитав заявление Вышинского, Томский немедленно покончил самоубийством на своей даче в Болшево. Центральный Комитет партии, кандидатом в члены которого был Томский, на следующий день осудил этот акт, приписывая его тому, что против Томского были *выдвинуты* обвинения (что вполне правильно).

Утреннее заседание 22 августа было отведено для обвинительной речи Вышинского. Прежде всего он подвел теоретическую базу под процессы, под весь террор:

«Три года назад тов. Сталин не только предвидел неизбежное сопротивление элементов, враждебных делу социализма, но также предсказал возможность оживления троцкистских контрреволюционных групп. Настоящий судебный процесс полностью и со всей ясностью подтвердил великую мудрость этого предсказания».^[432]

После нападок на Троцкого, Вышинский долго рассказывал суду историю различных показаний и обещаний Зиновьева и Каменева. Затем он приписал особую важность убийству Кирова: «Эти бешеные псы капитализма стремились разорвать лучших из лучших людей нашей Советской страны. Они убили революционера, который был нам особенно дорог, превосходного и удивительного человека, ясного и веселого, как постоянная улыбка на его губах, ясного и веселого, как сама наша жизнь. Они убили нашего Кирова; они ранили нас возле самого сердца. Они думали, что сумеют посеять смятение и ужас в наших рядах».^[433]

Некоторое время Вышинский говорил затем о «вилияниях» Смирнова (и, между прочим, осудил Гольцмана за «принятие той же позиции, что и Смирнов»); Смирнов, сказал обвинитель, «упрямо отрицал, что он принимал какое-либо участие в террористической деятельности троцкистско-зи-новьевского центра».^[434] Однако, сказал Вышинский, его вина установлена показаниями других. Одну трудность прокурор обошел следующим образом: «Я знаю, что в свою защиту Смирнов скажет, что он вышел из „центра“. Смирнов скажет: „Я ничего не делал, я был в тюрьме“. Наивное утверждение! Смирнов находился в тюрьме с 1 января 1933 года, но мы знаем, что, находясь в тюрьме, Смирнов организовал контакты с троцкистами, поскольку обнаружен код, с помощью которого Смирнов, пребывая в тюрьме, общался со своими друзьями на воле. Это подтверждает, что связь существовала, и Смирнов не может этого отрицать».^[435]

Фактически же по этому пункту не было приведено никакого свидетельства и не было даже сделано попытки подтвердить это каким-либо образом.

Опять-таки мимоходом Вышинский расправился с одной неприятной идеей, которая, очевидно, набирала в то время популярность:

«Проводить сравнения с периодом террора народовольцев поистине бессовестно. Преисполненный уважения к памяти тех, кто во времена Народной воли честно и искренне боролся против царского самодержавия, за свободу, — правда, своими особыми, но всегда безупречными методами, — я категорически отвергаю эту кощунственную параллель».^[436]

Вышинский закончил речь восклицанием: «Я требую, чтобы эти бешеные псы были расстреляны — все до одного!»

На вечернем заседании 22 августа и на двух заседаниях 23 августа заслушивались последние слова обвиняемых.

Они говорили в том же порядке, в каком их допрашивали. Мрачковский начал с рассказа о своем происхождении — рабочий, сын и внук рабочих, революционер, сын и внук революционеров, впервые арестованный в возрасте 13 лет.

«А здесь, — продолжал он в горьком и ироническом тоне, — я стою перед вами как контрреволюционер!» Судьи и прокурор смотрели настороженно, но все шло хорошо. На момент Мрачковским овладело отчаяние. Он схватился за барьер скамьи подсудимых, пересилил себя^[437] и стал объяснять, что упомянул о своем прошлом только для того, чтобы каждый «помнил, что не только генерал, не только князь или дворянин может стать контрреволюционером; рабочие или люди рабочего происхождения вроде меня, тоже могут становиться контрреволюционерами».^[438] Закончил Мрачковский тем, что он — предатель и его следует расстрелять.

Большинство остальных в последнем слове возводили на себя обвинения; обвиняемые называли сами себя подонками, не заслуживающими снисхождения. Прозвучала нечаянно и опасная нота, когда Евдокимов заявил — вряд ли без нарочитой двусмысленности — «кто же поверит единому нашему слову?»^[439]

Каменев, закончив свое последнее слово и сев на место, встал вновь и сказал, что хотел бы адресовать несколько слов своим двум детям, к которым не может иначе обратиться. Один из них был летчиком, другой маленьким мальчиком. Каменев заявил, что он хотел бы сказать им следующее: «Каков бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад. Идите вперед. Вместе с советским народом следуйте за Сталиным». Потом он сел опять и закрыл лицо руками. Все присутствующие были потрясены, и даже судьи, как говорят, утратили на миг каменное выражение своих лиц.^[440]

Зиновьев дал удовлетворительное определение всей недопустимости сопротивления Сталину: «Мой искаженный большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришел к фашизму. Троцкизм — это разновидность фашизма, а зиновьевизм — это разновидность троцкизма...»^[441] А закончил тем, что хуже любого наказания была для него мысль о том, что «мое имя будет связано с именами тех, кто сидел рядом со мной. Справа от меня Ольберг, слева — Натан Лурье...»^[442] В одном важном отношении это замечание несовместимо со всей идеей процесса: перед лицом выслушанных показаний Зиновьев был ведь не лучше, чем те двое, которых он назвал.

Смирнов снова отрицал свое прямое участие в какой-либо террористической деятельности. Однако он осудил Троцкого, хотя и в сравнительно мягких выражениях, как врага, «стоящего по ту сторону баррикады».^[443]

Когда закончил последнее слово Фриц-Давид, суд удалился на совещание. В совещательной комнате уже лежал приговор, подготовленный Ягодой. Но должно было пройти положенное время, и для объявления приговора суд вышел глубокой ночью, в 2. 30. Все обвиняемые были безоговорочно признаны виновными. Все были приговорены к смерти.

Когда Ульрих закончил чтение приговора, один из двух Лурье истерически взвизгнул: «Да здравствует дело Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина!». После этого приговоренных вывели, посадили в закрытые машины и отвезли на Лубянку.

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ

Как только суд кончился, стал ясен односторонний характер соглашения, заключенного Зиновьевым и Каменевым со Сталиным. Выполнив обязательство со своей стороны, Зиновьев и Каменев не располагали никакими средствами, чтобы заставить Сталина исполнить свое обещание.

По новому закону приговоренные имели 72 часа для подачи просьб о помиловании. Несколько таких просьб, вероятно, поступили и были отклонены, однако Смирнов, по крайней мере, насколько известно, о помиловании не просил. Так или иначе, но объявление о казни было сделано всего через 24 часа после приговора.

Позже просочились некоторые сведения о том, как именно проходили казни. Разумеется, эти сведения основываются на сплетнях и слухах, циркулировавших внутри НКВД — других источников в тех обстоятельствах быть не могло.

Зиновьев был нездоров и его лихорадило. Ему сказали, что его переводят в другую камеру. Но когда он увидел охранников, он немедленно понял, в чем дело. Все рассказы об этом сходятся на том, что он потерял всякое самообладание, выкрикивал высоким голосом отчаянный призыв к Сталину выполнить данное ему слово. Было впечатление, что он в истерике, но это может быть и не совсем так, поскольку голос его всегда повышался, когда он был возбужден; возможно, он пытался произнести последнюю речь. К тому же, он все еще страдал болезнью сердца и печени, так что его первый срыв вполне понятен. Говорят, что лейтенант НКВД, пришедший за Зиновьевым, опасаясь продолжения этой сцены на всем пути по коридору и в подвал, загнал Зиновьева в соседнюю камеру и там его расстрелял. Говорят, что этот лейтенант позже получил награду за присутствие духа.^[444]

Когда на казнь вызвали из камеры Каменева, он не жаловался и выглядел ошеломленным. Зато в истерику впал казнивший его лейтенант НКВД, который пнул ногой падающее тело и снова выстрелил в него. Смирнов шел спокойно и смело. Передают, что он сказал: «Мы заслуживаем этого за наше недостойное поведение на суде».^[445]

Существует также рассказ,^[446] услышанный от сотрудника НКВД, находящегося под арестом, что Зиновьев и Каменев не были казнены в течение пяти дней после того, как было объявлено об исполнении приговора. Причина была якобы в том, что их показывали живыми и здоровыми тем будущим обвиняемым, которые были уже под арестом, желая намекнуть, что приговоры были вынесены просто для публики. Приговоренные будут, говорилось новым подследственным, вести исследовательскую работу в каком-нибудь «изоляторе» в тюрьмах. В этом, однако, нет ничего невозможного, и есть даже некоторые официальные свидетельства, пусть и сомнительные, что объявленные приговоры не всегда приводились в исполнение тогда, когда об этом сообщалось. Верно и то, что будущие обвиняемые не стали бы так легко принимать на веру обещания Сталина сохранить им жизнь на последующих процессах, если эти обещания были однажды нарушены, и с этой точки зрения сохранение жизни Зиновьеву и Каменеву на несколько дней выглядит вполне резонно. Но все же, в отсутствие более весомых подтверждений, приведенный выше рассказ вряд ли можно принять за правду. Стоит лишь отметить один любопытный факт: в последнем издании собрания сочинений *Ленина* в примечании о Тер-Ваганяне отсутствует дата его смерти.^[447]

О семьях приговоренных на этом процессе, помимо семьи Смирнова, можно сказать немного. Сын Евдокимова был расстрелян; дети Каменева отправлены в лагерь;^[448] жена Ольберга Бетти тоже попала в лагерь. Еще в тюрьме, очень больная и исхудавшая, она сделала попытку покончить самоубийством, бросившись через перила лестницы. В конце концов ее вернули в Германию вместе с коммунистами, переданными Сталиным в руки гестапо в 1940 году.^[449]

Приговоренных казнили в то время, когда многие партийные руководители были в отпусках. Сам Сталин находился на Кавказе. В Москве оставался только необходимый кворум формального управительного органа — Центрального Исполнительного Комитета, — который рассматривал просьбы о помиловании, имея общую инструкцию отклонять их, если не последует противоположного распоряжения Политбюро. Оставался в Москве и Ежов — наблюдать, чтобы ничто не помешало процессу.^[450] Ничто и не помешало.

СТЕПЕНЬ ПРАВДОПОДОБИЯ

В целом процесс был для Сталина успехом. Ни коммунисты, ни народные массы не могли открыто возражать против сталинской версии. А внешний мир, чьим представителям Сталин

разрешил присутствовать на процессе, не склонен был, по крайней мере, отрицать все целиком, с самого начала как фальшивку. Имелись, конечно, очень значительные сомнения относительно признаний. Но даже если они и были добыты недопустимыми методами, это само по себе не доказывало, что показания были неверными. Фактически, эти самые признания обвиняемых были единственным моментом, который трудно было примирить с полной невиновностью подсудимых. Таким образом, метод признаний до известной степени политически себя оправдал.

Теперь, когда мы знаем и ложность обвинений и кое-что о том, как весь процесс был подготовлен, мы способны судить о нем холодно и трезво. Но в то время и для партии и для всего мира дело выглядело иначе. Тогда это было ужасающее событие, разыгравшееся на глазах публики.

Обвинения были рассмотрены во всех подробностях. Одни — например, некоторые британские юристы, *западные* журналисты и т. д. — находили их убедительными, другие — невероятными. Как часто бывает, это был тот случай, когда предполагаемые факты принимались или отвергались в соответствии с заранее сложившимися убеждениями отдельных лиц. Большинство либо считало, что старые революционеры не могли совершить таких преступлений, либо что социалистическое государство не могло выдвигать фальшивых обвинений. Ни та, ни другая позиция не могут считаться по-настоящему логичными. Ни в коем случае нельзя было абсолютно исключить, что оппозиция могла планировать убийство политических руководителей. Конечно, есть различные основания думать, что это было не в характере обвиняемых и противоречило их прежним точкам зрения, но это уж, конечно, аргументы гораздо более слабые.

Некоторые западные комментаторы, применяя к ситуации критерии здравого смысла, доказывали, что для участников оппозиции удаление Сталина было единственным логическим путем для сохранения собственных жизней и обеспечения лучшего, с их точки зрения, будущего для партии и государства. Так-то так, но история дает много примеров, когда здравый смысл неприменим.

Одно совершенно ясно: до самой казни Зиновьева, Каменева и остальных оппозиция никак не ожидала, что Сталин действительно убьет старых вождей. Все маневры участников оппозиции до этого момента сводились к тому, чтобы оставаться живыми, если возможно — в рядах партии, до того времени, пока сталинские ошибки и эксцессы не изменят настроений в партии в лучшую для них сторону и не дадут им новых шансов. А после первых казней уже ни один участник оппозиции какого-либо ранга не был в состоянии предпринять попытку убийства Сталина — независимо от своего мнения о разумности этой меры. Возможность освободиться от Генерального секретаря имели теперь только те люди, которые работали в его непосредственном окружении.

Мы не знаем, конечно, точных обстоятельств смерти Сталина в марте 1953 года. Но его смерть определенно последовала в тот момент, когда он готовил новую резню среди руководства, и может быть в это время окружавшие его люди были достаточно умны, чтобы не ждать своей судьбы как овцы. 24 мая 1964 года албанский руководитель Энвер Ходжа заявил в своей речи, что советские руководители «это заговорщики, которые имели наглость открыто сказать нам — как сделал Микоян, что они сговорились убить Сталина» (Передано Албанским телеграфным агентством 27 мая 1964 года.) Таким образом, вполне определенно одно: отчаянные и беспощадные люди, которые, по-видимому, извлекли уроки из событий 30-х годов, могли планировать, а может быть даже и выполнить наиболее логически оправданное убийство из всех возможных. С другой стороны, не следует придавать слишком большого значения тому факту, что Василий Сталин не раз говорил окружающим, будто «отца убили соперники».^[451]

Не подлежит сомнению, что сам Сталин реально опасался покушения на свою жизнь. В 30-х годах он очень внимательно наблюдал за руководителями оппозиции, так что должен был знать, что эти люди вряд ли могли организовать подобную попытку. Но на низших ступенях партийной иерархии ему виделись тысячи и тысячи потенциальных врагов. Вообще-то индивидуальный террор противоречил основным марксистским принципам. Зиновьев как будто

даже делал ставку на это обстоятельство. Рейнгольд однажды заявил: «Зиновьев мне сказал, главное при допросе — это настойчиво отклонять какую-либо связь с организацией. Если будут обвинять в террористической деятельности, вы должны горячо отрицать это, возражая, что террор несовместим со взглядами большевиков-марксистов».^[452] Убийца Кирова Николаев был, конечно, простаком; но все же он, будучи коммунистом, стрелял в партийного руководителя, вполне понимая, что делает. Не следовало надеяться на то, что все остальные воздержатся от индивидуального террора ввиду марксистских принципов. Отчаяние может привести к чему угодно: привело же оно, например, к тому, что болгарская коммунистическая партия организовала взрыв бомбы в Софийском соборе в 1925 году. Правда, в то время коммунисты отрицали свою ответственность за взрыв и говорили, что это подстроено их врагами. На процессе в Лейпциге после поджога Рейхстага Георгий Димитров говорил: «Этот инцидент не был организован болгарской коммунистической партией... Этот провокационный акт, взрыв Софийского собора, фактически был организован болгарской полицией». Однако в своей речи в 1948 году Димитров признал организацию взрыва и критиковал «отчаянные действия руководителей партийной боевой организации, что нашло свое высшее выражение в попытке взорвать Софийский собор».^[453]

Выборочные убийства дезертиров из рядов НКВД и других политических врагов на Западе стали обычной практикой советских властей. А сам Сталин — тоже старый коммунист — организовал убийство Кирова. В таких обстоятельствах можно согласиться, что сама мысль об убийствах со стороны Зиновьева и Каменева была возможна и что Рейнгольд мог быть прав, рассказывая на суде следующее:

«В 1932 году на квартире Каменева, в присутствии большого числа членов объединенного троцкистско-зиновьевского центра, Зиновьев следующим образом оправдал необходимость обратиться к террору: хотя террор несовместим с марксизмом, но в настоящий момент эти соображения должны быть отставлены...»^[454]

Более того, некоторые мысли, включенные следователями в показания Зиновьева и Каменева, выглядели оправданными. Вполне разумно было предполагать, что если бы Сталина убили, то в результате последующей борьбы за власть «начались бы переговоры с нами». Как сказал Каменев, «даже при Сталине мы с помощью нашей двурушнической политики получили прощение за наши ошибки и были приняты обратно в ряды партии».^[455] И было резонно думать, что они могли предвидеть впоследствии и реабилитацию Троцкого.

Однако в поддержку изложенных выше точек зрения невозможно сослаться на какие-либо твердые факты. Рассматривая дело с единственно возможной, фактической точки зрения, мы приходим к выводу, что внешние приметы «заговора» покоились на абсурдных и противоречивых предпосылках. Как и в последующих процессах, «заговор» был состряпан весьма неряшливо. В легко обнаруживающихся несоответствиях вряд ли виноваты Молчанов и Ягода — скорее всего, сам Сталин, который, например, лично настаивал на включении в число обвиняемых Смирнова.

Но несмотря на все несоответствия и неправдоподобные обстоятельства, «Правда» от 4 сентября 1937 года смогла преподнести на видном месте заявление «английского юриста Притта», взятое из лондонской газеты «Ньюс Кроникл», относительно полной правильности и достоверности судебного процесса. И это было лишь одно заявление из многих подобного рода.

А ведь Зиновьев и Каменев были либо в ссылке, либо в тюрьме большую часть периода деятельности «заговорщиков». Мрачковский находился в ссылке в Казахстане. Смирнов был в тюремной камере с 1 января 1933 года. Вышинский говорил о том, как «даже лишенные свободы обвиняемые» ухитрились принимать участие в заговоре. Но ни одно свидетельство не было приведено в поддержку существования такой связи между находившимися в тюрьме или ссылке и на свободе. Можно было думать, что даже такие наблюдатели, как Притт, найдут странными некоторые вещи: скажем, что конспираторы, направляемые и руководимые из-за границы, будут получать инструкции через соучастника заговора, находящегося в тюрьме где-то в отдаленном районе страны. Почему бы, в самом деле, зарубежные руководители заговора

должны были посылать инструкции через лиц, сидевших долгое время в тюрьме? У них ведь были и другие пути — множество других путей, как намекали свидетели на процессе.

Еще одно поразительное обстоятельство — пропорция между запланированными покушениями и реально выполненными. Были будто бы два отдельных плана убить Сталина на заседании Коминтерна, был план застрелить Ворошилова, убить Кагановича и Орджоникидзе; существовало якобы множество планов, доведенных до стадии принципиальной разработки.

На процессе не были упомянуты предыдущие суды, связанные с убийством Кирова. Не было сказано ни слова о действиях сотрудников НКВД в Ленинграде. Не затронут был вопрос и о так называемом участии латвийского консула.

Суду не было представлено никаких документальных свидетельств (кроме гондурасского паспорта Ольберга). Неспособность обвинения представить хоть какие-либо документы должна была особенно поразить наблюдателей как неправдоподобная странность. Ведь при арестах большевиков-подпольщиков царская полиция постоянно обнаруживала документы — трудно вообще представить себе, как могло без документов действовать какое бы то ни было подполье. Когда Февральская революция 1917 года сделала доступными полицейские архивы, в них были найдены сотни секретных партийных документов, включая письма, написанные лично Лениным. А ведь большевики-подпольщики тех времен были по крайней мере столь же опытными конспираторами, как люди, ныне арестованные Сталиным: в действительности, как саркастически заметил один сотрудник НКВД, это были те же самые конспираторы.

Далее, важные «заговорщики» и свидетели просто не появились на суде. Сокольников, ясное дело, был бы значительным и важным свидетелем. Но его не вызвали. Точно так же не были вызваны ни Бухарин, ни Томский, ни Рыков — ни кто-либо из других лиц, названных на процессе соучастниками заговора. Среди зиновьевцев, привлекавшихся по прошлым делам и так и не появившихся на этом суде, были Гертик (якобы один из главных связных с «ленинградским центром», будто бы убившим Кирова^[456]), Карев (получивший якобы личные инструкции Зиновьева и Бакаева о подготовке убийства Кирова ленинградской группой^[457]), еще один «связной» Файвилович^[458] или Куклин, который, как было сказано, был полноправным членом «центра».^[459]

Однако вопросы документальных свидетельств, логики и т. д. не были решающими. Престиж «социалистического государства» стоял высоко. Существовал очень узкий выбор: либо принять суд за достоверный, либо назвать Сталина вульгарным убийцей, а его режим — тиранией, основанной на лжи. Придти к правильному выводу и выбрать его из этих двух было можно, но подтвердить этот выбор достаточно веско было еще нельзя. Да и мало кто на Западе хотел слышать такие вещи — все оглядывались на более очевидную угрозу фашизма.

В самом Советском Союзе положение вещей было другим. Возможно, мало кто доверял показаниям на процессе. Но находилось еще меньше людей, осмеливавшихся хотя бы намекнуть о своих сомнениях.

* * *

Через неделю после расстрела Зиновьева и остальных приговоренных к смерти, Сталин приказал Ягоде отобрать и расстрелять пять тысяч участников оппозиции, находившихся в лагерях.^[460] В то же самое время у политзаключенных в лагерях были отняты все остатки привилегий. В марте 1937 года некоторые права политзаключенных были временно восстановлены. Но спустя несколько месяцев последовал приказ о новых массовых казнях. Большинство оставшихся на Воркуте троцкистов были привезены в Москву и расстреляны. В числе их был младший сын Троцкого Сергей Седов. В марте 1938 года возле лагеря были казнены Сократ Геворкян и 20 других бывших «левых». С того времени и до конца 1938 года каждую неделю заключенных воркутинского лагеря расстреливали группами по 40 человек или около того, причем расстрелы бывали и дважды в неделю. Жизнь сохраняли лишь детям, не достигшим 12 лет.^[461]

Имеются также свидетельства о голодной забастовке участников оппозиции, когда их собирались разлучать. Забастовка имела результатом большое количество смертей, и в конце концов все ее участники бесследно исчезли.^[462]

ГЛАВА ПЯТАЯ. ЧТО ОЗНАЧАЛИ ПРИЗНАНИЯ

Врет, как очевидец!

Русская поговорка

С того момента, как Мрачковский стал публично признаваться в ужасающих преступлениях — с 13 часов 45 минут 19 августа 1936 года, — началась цепь событий, поразивших весь мир.

Мрачковский, старый большевик и член партии с 1905 года, был рабочим и потомственным революционером. Он даже родился в тюрьме, где в 1888 году его мать отбывала срок за революционную деятельность. Его отец, тоже рабочий и тоже революционер, стал большевиком, как только была создана эта партия. Рабочим был и дед Мрачковского. Он принадлежал к одной из первых марксистских группировок — Южнороссийскому союзу рабочих.

Сам Мрачковский выдвинулся после того, как возглавил восстание на Урале. Он воевал в Сибири во время гражданской войны и был несколько раз ранен. Впоследствии он стал одним из самых смелых последователей Троцкого и был арестован, когда в 1927 году организовал подпольную троцкистскую типографию, оказавшуюся недолговечной. Он был воплощением революционного мужества, рожденный и воспитанный в борьбе.

Теперь он стоял и послушно признавался в том, что был активным участником заговора с целью убийства членов советского руководства. В последующие несколько дней его примеру последовало еще с полдюжины старых большевиков, включая деятелей, известных всему миру. В последнем слове на суде они бичевали себя за «презренное предательство» (Каменев), называли себя «отбросами своей страны» (Пикель), «не только убийцами, но фашистскими убийцами» (Гольцман). Некоторые прямо заявили, что их преступления слишком отвратительны, чтобы просить о милосердии:

Мрачковский назвал себя «предателем, которого следует расстрелять».^[463]

На протяжении двух последующих лет эта сцена повторялась еще дважды, вызывая замешательство комментаторов, как дружелюбно, так и враждебно настроенных. Впечатление, будто все единодушно сдались, вообще-то говоря, не соответствует действительности. Двое из осужденных в 1936 году (Смирнов и Гольцман) всячески уклонялись от признания своей вины, но это прошло незамеченным на фоне самоуничтожения многих других, в том числе двух крупнейших деятелей — Зиновьева и Каменева.

Точно так же не были замечены мелкие задержки и заминки последующих процессов. В первый день процесса 1938 года Крестинский отказался от своих предыдущих показаний и вновь признал их после того, как провел ночь в руках следователей. Бухарин отказался признать некоторые главные обвинения — например, план убийства Ленина. Радек признал себя коварным лжецом и указал при этом, что судебное дело базируется исключительно на его собственных показаниях.

Но эти отдельные моменты тонут в общей картине. Дело выглядело так: сознались все. Старые большевики публично признались в постыдных планах и действиях.

Все это представляется невероятным и просто не укладывается в голове. Были ли эти признания подлинными? Как они были получены? Что все это означало? Говорят, что в России этим признаниям верили так же мало, как за границей, «или даже меньше», а рядовой советский гражданин, который не сидел в тюрьме, был так же озадачен, как и иностранцы.^[464]

Как это ни странно, не только Вышинский, но и люди на Западе поговаривали о том, что обвиняемые сознались под тяжестью улик, что у них «не было выбора». Даже если отвлечься от того, что против них не было *никаких улик, за исключением их собственных признаний и признаний других*, происшедшее расходится с общеизвестным опытом. Люди, особенно те, кого обвиняют в преступлениях, наказуемых смертной казнью, всегда стремятся не признавать себя виновными, даже если против них собрано много доказательств. В прошлом коммунисты часто

отрицали даже очевидные факты. Но как бы то ни было, странными кажутся не только признания. Еще удивительнее покаяние, полное согласие с тем, *начем* настаивало обвинение, то есть с тем, что действия, в которых сознавались осужденные, представляли собой ужасные преступления.

Если бы Зиновьев и Каменев действительно пришли к заключению, что убийство Сталина разрешит все трудности в Советском Союзе, то это означало бы: опытные политики приняли определенное политическое решение, которое с их точки зрения было подходящим в данных обстоятельствах. Приняв решение, они не стыдились бы его и, подобно террористам «Народной воли», признав факты, стали бы защищать свои планы и действия. Полное принятие точки зрения обвинителей — главная причина того, что все дело кажется совершенно неправдоподобным.

ПАРТИЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Проблема сделанных на суде признаний имеет две стороны. Мы должны принять во внимание технические средства, физическое и психологическое давление, с помощью которых можно было добиться публичных признаний. Этот вопрос касается как беспартийных, так и жертв среди членов партии.

Но когда мы говорим о капитуляции и самоунижении старых революционеров, здесь появляются новые элементы. Эта капитуляция была не единичным и исключительным фактом в их карьере, а скорее кульминационным пунктом целой серии случаев, когда им приходилось подчиняться партии, причем они сами знали, что такое подчинение «объективно» было ложью. Подобная точка зрения — ключ к пониманию победы Сталина, и она выводит нас далеко за рамки судебных процессов. Она объясняет, почему попытки эффективно воспрепятствовать действиям Сталина, неоднократно предпринимавшиеся партийцами, настроенными против его правления, заканчивались катастрофическими провалами.

В условиях советской действительности, где группировки давно согласились с принципом однопартийного государства и с практикой удушения всякой новой и независимой политической инициативы полицейскими методами, ответственность за спасение страны и народа от Сталина лежала исключительно на его противниках внутри партии.

Они отреклись от своей ответственности. В силу внутренней природы партии, они пришли к подчинению партийному руководству, несмотря на то, что состав съездов и комитетов, выдвинувших это руководство, был подтасован. Они не видели никаких политических возможностей вне партии. Даже после исключения они думали только об одном — о возвращении в партию любой ценой.

Оппозиционеры, за исключением Троцкого, допустили фундаментальную тактическую ошибку. Они постоянно каялись в политических грехах, признавали, что в конечном счете Сталин прав, считая, что можно пойти на все — «ползая в грязи», подвергаться любым унижениям, лишь бы оставаться в рядах партии или вернуться в нее. Они полагали, что, когда политика Сталина потерпит поражение, власть перейдет к ним — ведь кто-то должен будет возглавить партию.

Эта политика была хитрой и в то же время малодушной. Постоянные саморазоблачения и унижения проникли в сознание рядовых членов оппозиции и подмочили репутацию руководства — по всей вероятности, бесповоротно. Но основной просчет касался другого, еще более важного пункта.

Члены будущего правительства, которое готово противопоставить себя существующей власти, должны, по крайней мере, оставаться в живых. Верно, что некоторые оппозиционеры, например Каменев, понимали стремление Сталина подавить их любой ценой. Но они не верили, что Сталин сможет возглавлять партию, как ни в чем не бывало, после казни ветеранов революции; они считали это политически невозможным. Они недооценивали не его жестокость,

а его решимость, хитрость и полную беспринципность. Когда Сталин кончил свое дело, в живых не осталось ни одного члена бывшего Политбюро, за исключением Григория Петровского, который молчаливо согласился работать администратором в музее.

Взгляд на историю, которого придерживались оппозиционеры, мешал им понять, что пролетарская партия может быть превращена в аппарат личной диктатуры путем интриг или какими-то другими методами. Никто еще до этого не создавал государства, покоящегося на твердых основах, но находящегося в полном противоречии с естественными потребностями экономики и со стремлениями народа. Им и в голову не приходило, что это может быть сделано, и еще меньше — что к этому будет стремиться старый большевик. Они не понимали ненасытного стремления к власти как части психики Сталина и того факта, что он с простотой, присущей гению, готов был пойти на действия, противоречащие «законам истории», и сделать то, чего никто не делал раньше.

А если это так, то значит, они не понимали и его методов. Они представляли себе, хотя и смутно, что современное марксистское государство может быть подорвано интригами и махинациями внутри политических органов. Но им и в голову не приходило, что их противник прибегнет к методам обычного преступника, не остановится перед убийствами и «пришьет» другим вину за свои собственные преступления. Один из рядовых оппозиционеров сказал (о Рыкове):

«Два десятилетия находиться со Сталиным в нелегальной партии, в решающие дни проводить вместе с ним революцию, десять лет заседать после революции за одним столом в Политбюро и после этого не знать Сталина, — это уж действительно предел!».^[465]

Два предварительных условия сделали террор возможным: во-первых, личные побуждения и способности его главного инициатора — Сталина, во-вторых, общая политическая обстановка, в которой он действовал. Мы проследили изменения, произошедшие в партии после гражданской войны, и горькие последствия Кронштадта. Окончательное прекращение полемики и суровые испытания «второй гражданской войны» против крестьянства, последовавшие за этим, обострили положение до крайности. Новые удары, обрушившиеся на партию, стимулировали развитие таких качеств, как безжалостность и воля. В то же время представление о партии как объекте поклонения для каждого, кто был ее членом, как о «братском содружестве избранных» укрепились еще больше.

Руководство Сталина было, таким образом, подлинным или, во всяком случае, единственным представителем «партии» — как для противников, так и для сторонников. Несмотря на то, что Ленин всегда был готов пойти на раскол, если считал, что большинство партии придерживается неверных взглядов, оппозиционеры оказались скованными абстрактной преданностью. Так же, как большинство немецких генералов пребывало в полном бессилии, дав обет верности человеку, который, не раздумывая, нарушил бы свое слово, так и правые уклонисты были раздавлены в результате аналогичной интеллектуальной и моральной неразберихи.

В 1935 году Бухарина, который незадолго до того обличал «безумное честолюбие» Сталина, спросили — почему же, в таком случае, оппозиционеры ему подчинились? Бухарин ответил «довольно возбужденным тоном»:

— Вы не понимаете, это совсем не так. Мы доверяем не ему, а человеку, которому доверилась партия. Так уж случилось, что он стал как бы символом партии...^[466]

Веру Бухарина в партию — в это олицетворение и движущую силу истории — можно было наблюдать и в 1936 году, за год до его ареста. Он заметил тогда меньшевику Николаевскому:

— Нам трудно жить. И вы, например, не смогли к этому привыкнуть. Для некоторых из нас, с опытом истекших десятилетий, это часто невозможно. Но человека спасает вера в то, что развитие постоянно идет вперед. Это напоминает поток, бегущий к морю. Если высунешь голову, то тебя вообще выбросит (здесь Бухарин сделал движение двумя пальцами, напоминающее ножницы). Потоку приходится пробивать себе дорогу через очень трудные места. Но он движется вперед, в том направлении, в котором должен течь. В нем люди растут, становятся сильнее и строят новое общество.^[467]

Такая точка зрения — свидетельство безграничной, слепой веры, свидетельство вполне доктринерского взгляда в будущее. Сталин на тех же основаниях считал, что его личное правление необходимо стране. Моральное различие между двумя точками зрения не очень отчетливо. Общая этическая установка была яснее всего сформулирована Троцким в 1924 году:

«... Никто из нас не хочет и не может быть правым против своей партии. Партия в последнем счете всегда права... Правым можно быть только с партией и через партию, ибо других путей для реализации правоты история не создала. У англичан есть историческая поговорка: права или не права, но это моя страна. С гораздо большим историческим правом мы можем сказать: права или не права в отдельных частных конкретных вопросах, в отдельные моменты, но это моя партия... И если партия выносит решение, которое тот или другой из нас считает решением несправедливым, то он говорит: справедливо или несправедливо, но это моя партия, и я несу последствия ее решения до конца».^[468]

Как мы увидим ниже, это высказывание чрезвычайно важно. Оно объясняет восхождение Сталина к власти, а еще больше — полную неспособность коммунистов выступить против него, даже когда подлинный характер его методов и целей выявился полностью.

Замечания, сделанные Пятаковым в разговоре с другом, бывшим меньшевиком Вольским, в 1928 году, проливают свет на отношение старого оппозиционера к партии, уже сталинизированной к тому времени. Они говорят нам больше, чем официальные заявления, поскольку были сделаны сгоряча и наедине. Пятаков только что перед этим капитулировал, подав заявление в ЦКК о восстановлении в партии.^[469] Встретив в Париже друга-меньшевика, он упрекнул его в недостатке смелости.

Вольский ответил, что капитуляция Пятакова через два месяца после его исключения из партии в 1927 году и отказ от взглядов, которых он придерживался до исключения, — истинный пример неискренности и трусости.

Пятаков ответил длинной и взволнованной тирадой. Ленин, сказал он, был к концу жизни усталым и больным человеком. Настоящий Ленин — это человек, создавший «новую теорию», согласно которой пролетариат и его партия смогли сначала осуществить пролетарскую революцию, а «уже потом создавать необходимую базу для социализма». Что такое Октябрьская революция, что такое коммунистическая партия, если не чудо? Ибо «чудо есть результат проявленной воли», а «большевизм есть партия, несущая идею претворения в жизнь того, что считается невозможным». Ни один меньшевик не мог понять, что значит быть членом такой партии.^[470]

«Чудо» Пятакова — это описание того, чего, по его мнению, партия стремилась добиться. Пятаков пытается подойти к вопросу с марксистской точки зрения: чудо заключается в том, что стремление партии противоречит «общественным законам», провозглашенным Марксом: социализм должен возникнуть в результате захвата власти партией, представляющей значительное большинство пролетариата в развитой промышленной стране. Вместо этого получается, что коммунистическая партия пыталась создать в Советском Союзе, с помощью только силы воли и организации, промышленность и пролетариат, которые в принципе должны ей предшествовать! Не экономика определяет политику, а наоборот — политика экономику.

Согласно Ленину, добавил Пятаков, коммунистическая партия «копируется на насилие и не связана никакими законами». Центральная идея — не принуждение само по себе, а отсутствие каких бы то ни было связанных с человеческой волей нравственных и политических ограничений. Такая партия может сделать чудеса и добиться того, чего не может добиться никакой другой человеческий коллектив. Настоящий коммунист, то есть человек, который был воспитан в партии и достаточно глубоко проникся ее духом, сам становится чудотворцем.

За этим последовали важные выводы: ради такой партии настоящий большевик охотно выбросит из головы идеи, в которые он верил годами. Настоящий большевик это тот, кто растворил свое личное в коллективе, в партии — настолько, что, сделав необходимое усилие, он порвет со своими взглядами и убеждениями и сможет честно согласиться с партией. Это испытание настоящего большевика. Для него «нет жизни вне партии, вне согласия с нею», и он будет готов верить, что черное есть белое, а белое — черное, если партия этого потребует. Для

того чтобы стать частью этой великой партии, он вольется в нее, откажется от всего личного. В нем не останется ни одной частицы, которая не принадлежала бы партии, не была бы ее частью.^[471]

Эта идея о том, что вся мораль и вся правда заключены в партии, помогает понять очень многое, когда мы вспомним об унижениях, которые Пятакову и другим пришлось во имя партии перенести. Подобный отход от объективных критериев был широко распространен, хотя он коснулся не всех членов старой партии. К концу 20-х годов многие разуверились в том, что рабочие, не говоря уж о крестьянах, могут играть какую-то роль в такой стране, как Россия. В 1930 году один иностранный коммунист обнаружил у ленинградских студентов такой взгляд: они считали совершенно естественным, что массы — всего-навсего орудие при фашизме или коммунизме. Моральное различие заключается лишь в намерениях руководства того или иного режима.^[472] Один троцкист заметил, что о Сталине можно сказать много положительного: «Троцкий, несомненно, сделал бы это с большим успехом и меньшей жестокостью, и мы, более образованные люди, чем окружение Сталина, находились бы теперь на самом верху. Но надо уметь подняться над этими честолюбивыми стремлениями...»^[473]

Даже те, кто не дошел до такого самопожертвования, как Пятаков, не чувствовали в себе больше духовных сил, чтобы сделать рывок вперед и начать все сначала. «Все эти люди устали. Чем выше они взбирались по иерархической лестнице, тем больше уставали. Я нигде не видел таких изможденных людей, как в высших кругах советского руководства,

среди старой большевистской гвардии. Это был не только результат переутомления, нервного напряжения, мрачных предчувствий. На них сказывалось прошлое — годы подполья, тюрьмы и ссылки, годы голода и гражданской войны; а кроме того, правила игры, которые требовали максимального напряжения в каждый данный момент. Они, действительно, были „мертвецами на отдыхе“, как назвал их Ленин. Ничто уже не могло их напугать, ничто не могло удивить. Они отдали все, что имели. История выжала из них все до последней капли, сожгла все до последней калории. Но они все еще продолжали тлеть огнем холодной преданности, как фосфоресцирующие трупы».^[474]

Даже неустрашимый Буду Мдивани заявил: «Ясно, что я принадлежу к оппозиции. Но если дело дойдет до окончательного разрыва... нет, я предпочту вернуться в партию, которую сам помогал создавать. У меня нет больше сил, чтобы создавать новую».^[475] Психологический барьер был слишком высок, чтобы начать все сначала. Они подчинились, сдались.

В этой преданности партии есть элемент фантастики. После 1917 года партия была обескровлена исключением тысяч оппозиционеров. К концу 1930 года из членов первоначального руководства в Политбюро остался только Сталин. Власть находилась в руках тех, кого он выдвинул из числа новых людей. Состав самой партии изменился, она была разбавлена широкими приемами 20-х годов. Основная масса рядовых партийцев регулярно и безотказно голосовала за секретарей, которые назначались по указке сталинского Секретариата.

Оппозиция, казалось бы, могла заявить, что контроль Сталина над партией и утверждение о том, что он представляет всю партию, зиждется лишь на умелой подтасовке состава партийных съездов. Других оснований претендовать на роль законного наследника у него нет. Но оппозиционеры в свое время тоже пользовались подобными методами и никогда эти методы не критиковали — до тех пор, пока более искусный политик не побил их тем же оружием.

В 1923 году Сталин уже мог разбить таким способом утверждения своих противников. Полемизируя с Сапроновым, он указывал, что призывы к демократии, как это ни странно, исходят от таких людей, «как Белобородов, „демократизм“ которого до сих пор остался в памяти у ростовских рабочих; Розенгольц, от „демократизма“ которого не поздоровилось нашим водникам и железнодорожникам; Пятаков, от „демократизма“ которого не кричал, а выль весь Донбасс...»^[476]

А в 1924 году Шляпников иронически заметил, что поскольку Троцкий и его сторонники поддержали меры, принятые против «рабочей оппозиции» на X съезде партии, их утверждения, будто они ратуют за партийную демократию — лицемерие.^[477] Каменев весьма красноречиво осудил партийную демократию, выступая против Троцкого:

«Сегодня говорят: демократия в партии, завтра скажут; демократия в профсоюзах. Послезавтра беспартийные рабочие могут сказать: дайте нам такую же демократию.

... А разве крестьянское море не может сказать нам: дайте демократию!».^[478]

Но год спустя, на XIV съезде партии он говорил: «Мы против того, чтобы Секретариат, фактически объединяя и политику и организацию стоял над политическим органом».^[479] Но было уже слишком поздно. Сталинцам было что на это ответить. В стенограмме того же XIV съезда есть слова Микояна: «Когда есть большинство у Зиновьева, он — за железную дисциплину, за подчинение. Когда у него нет этого большинства, хотя бы на минуту, он — против».^[480]

Когда Сталин сделал следующий шаг и арестовал в 1927 году создателей подпольной троцкистской типографии во главе с Мрачковским, он без труда отверг обвинения оппозиции:

«Говорят, что история нашей партии не знает таких примеров. Это неправда. А группа Мясникова? А группа „Рабочей правды“? Кому неизвестно, что члены этих групп арестовывались при прямой поддержке со стороны Зиновьева, Троцкого и Каменева?».^[481]

Правда зачастую приносится в жертву и при других политических системах, но это происходит лишь от случая к случаю. Дело всплывает наружу, накладывая пятно на репутацию виноватого. В партиях не тоталитарного типа это никогда не становится открытым и всеобъемлющим принципом. Коммунисты же прибегают к этому сознательно и систематически.

Ведь именно Троцкий, как это ни странно, полемизируя в 1925 году с Истменом, писал в «Большевике», что никакого «завещания» Владимир Ильич не оставлял.^[482] Когда Сталин в декабре 1926 года на VII пленуме ИККИ обрушился на Каменева за то, что тот направил поздравительную телеграмму Великому князю Михаилу Александровичу во время Февральской революции 1917 года, Каменев этот факт отрицал и указал, что сам Ленин, в интересах партии, сознательно говорил иногда ложь.^[483] На XIV съезде в 1925 году Крупская, от лица потерпевшей поражение фракции, призвала к «объективной истине». Ей ответил Бухарин: «Мы не можем допустить такой „философии демократизма“ со стороны тов. Надежды Константиновны Крупской, которая говорит: истина — это есть соответствие действительности — каждый прочтает, каждый вникнет, каждый за себя отвечает. А партия где? Как в загадочной картинке — пропала?».^[484]

С первых дней существования партии повелась и другая традиция: лучший метод победить в политическом споре — это любым способом очернить противника. Ленин однажды заметил Анжелике Балабановой: «Все, что делается в интересах пролетариата, — честно». Выдающийся итальянский социалист Серрати, хотя он и сочувствовал коммунистам, пытался помешать им расколоть социалистическую партию, к чему коммунисты стремились в их собственных целях. Анжелика Балабанова, работавшая в то время секретарем Коминтерна, выступила против нападков на Серрати. Когда Серрати умер, Зиновьев разъяснил Балабановой ленинскую тактику: «Мы боролись с ним и оклеветали его, потому что он был выдающимся деятелем. Если бы мы не прибегли к этой тактике, то невозможно было бы оттолкнуть от него массы».^[485] Понятно после этого, почему оппозиционерам предложили смешать с грязью их собственные мотивы и взгляды. Это было вполне естественно.

На XV съезде партии в декабре 1927 года Каменев заявил, что требовать от оппозиции отречения от своих взглядов было бы бессмысленно. Он разъяснил, в чем заключалась дилемма. Оппозиционеры должны были либо стать на путь создания второй партии, путь «гибельный для революции», ибо «это путь вырождения политического и классового», либо «целиком и полностью подчиниться партии». Он и Зиновьев выбрали второе, приняв тот взгляд, что «ленинская политика может восторжествовать только в нашей партии и только через нее, а не вне партии, не вопреки ей». Они подчинятся, но Каменев просил, чтобы им позволили не отречься от своих взглядов, которых они придерживались всего за несколько недель перед этим, потому что это требование, по его словам, «никогда в нашей партии не выставлялось»,^[486] хотя в 1924 году, имея в виду оппозицию Троцкого, именно Зиновьев

говорил, что «самое умное и достойное большевика... сказать: я ошибся, а партия была права».^[487]

Сталин не принял покаяние Зиновьева и Каменева. Они оказались в ловушке. Взять обратно свои слова было уже невозможно. В конце концов они приняли условия победителя и 18 декабря отрелись от своих взглядов, как от «неправильных и антиленинских».^[488]

В 1932 году Зиновьев и Каменев были снова осуждены, исключены из партии и сосланы. В 1933 году они были восстановлены в партии, но ценой еще больших унижений. Зиновьев писал в Центральный Комитет: «Прошу вас верить, что я говорю правду и только правду. Прошу восстановить меня в партии и дать мне возможность работать для общего дела- Даю слово революционера, что буду *самым* преданным членом партии и сделаю все, что в моих силах, чтобы хоть как-то искупить свою вину перед партией и Центральным Комитетом».^[489] Вскоре ему разрешили написать статью в «Правду», осуждающую оппозицию и превозносящую победы Сталина.^[490]

Зиновьеву пришлось пресмыкаться, но с точки зрения партийной этики его поведение было правильным. Он был уверен, что можно перенести любые унижения, лишь бы остаться в рядах партии, где в будущем он сможет сыграть видную роль. Этот расчет оказался неверным.

Следует, между прочим, отметить, что капитуляция некоторых более ранних «троцкистов» не носила такого унижительного характера, как покаяние Зиновьева. Муралов, например, никогда не делал заявлений, порочащих оппозицию. «Капитуляция» Ивана Смирнова была выдержана в сравнительно нейтральных выражениях, и когда после этого Смирнов повстречал в Берлине сына Троцкого Л. Седова, они дружески беседовали. Троцкий признавал также, что покаяние Серебрякова было «более достойным, чем многих других».

Оппозиция между тем продолжала разлагаться в результате бесконечных извинений, обманов и надувательств. Вот что писал Б. Николаевский, внимательно наблюдавший за этим процессом: «Надо признать, что с точки зрения политической этики поведение огромного большинства оппозиционеров действительно стоит далеко не на нужной высоте. Конечно, условия, которые существуют у нас в партии, невыносимы. Быть лояльным, полностью выполнять те требования, которые к нам ко всем предъявляются, нет никакой возможности: пришлось бы превратиться в доносчика и бегать в ЦКК с докладами о каждой оппозиционной фразе, которую более или менее случайно услышал, о всяком оппозиционном документе, который попал на глаза. Партия, которая такие требования предъявляет к своим членам, конечно, не имеет основания ждать, что на нее будут смотреть как на свободный союз добровольно для определенных целей объединившихся единомышленников. Лгать нам приходится всем, без этого не проживешь. Но есть определенные грани, за которые и в лганье переходить нельзя, а оппозиционеры, особенно лидеры оппозиционеров эти грани, к сожалению, очень часто переходили.

... Подача прошения о помиловании теперь стала считаться вещью самой обычной: это — моя партия и в отношении нее совершенно не применимы те правила, которые были выработаны в царские времена, — таков аргумент, который приходится встречать на каждом шагу. Но в то же время эту „мою партию“, оказывается, можно на каждом шагу обманывать, ибо она с идейными противниками борется методами не убеждения, а принуждения. В результате сложилась особая этика, допускавшая принятие любых условий, подписание любых обязательств, — с заранее обдуманном намерением их не выполнить...».^[491]

Этот взгляд оказал огромное деморализующее влияние. Граница между изменой и компромиссом стала очень расплывчатой. И в то же время сталинисты утверждали, что оппозиции нельзя доверять именно потому, что она придерживается взгляда, согласно которому лгать — простительно.

В 1934 году Зиновьев и Каменев были исключены из партии в третий раз, подозреваемые в подстрекательстве Николаева к убийству Кирова, а в январе 1935 года, как мы уже видели, они снова признались в политических грехах. На этот раз их слова уже звучат как полупризнание вины в уголовном преступлении.

Постепенная сдача ими позиций не была добровольной, в том смысле, что они предпочли бы ее избежать. Но они капитулировали, считая это неизбежным шагом в политических и моральных условиях однопартийной системы, которую они одобряли. Они отказались подряд от всех своих возражений — против фальсификации, против демократической процедуры, против неискренности и лавирования, против ареста. Они встали на этот путь для того, чтобы остаться в партии или добиться восстановления. Мы знаем от очевидца, что правый уклонист Слепков, после того, как его выпустили из изолятора, выдал имена более 150 своих единомышленников, объясняя это так: «Надо разоружаться. Надо стать на колени перед партией».^[492]

Что касается видных коммунистов, осужденных на крупных показательных процессах 1936, 1937 и 1938 годов, то нет никаких сомнений, что в своем рациональном, вернее, рационализированном слое их поведение выражало идею «служения партии». Эта тема очень ярко и убедительно разработана Артуром Кестлером в книге «Тьма в полдень». Ее часто выдвигают в качестве главного объяснения публичных признаний вины, хотя сам Кестлер отнюдь на это не претендует. Наоборот, он говорит: «Некоторые, как например, Заячья Губа, молчали, подавленные физическим страхом; некоторые надеялись спасти свои головы; другие — по крайней мере спасти своих жен или сыновей от когтей Глеткина. Лучшие из них молчали для того, чтобы сослужить последнюю службу партии, став козлами отпущения. И кроме того, на совести у каждого из лучших была своя Арлова».^[493]

Итак, оппозиционеры чувствовали, что утратили право судить Сталина — этот последний вывод Кестлера подтверждается различными источниками. Один заключенный некоммунист замечает: «Почти каждый сторонник режима, прежде, чем пасть жертвой этого режима, был вовлечен в действие, противоречащее его политической совести».^[494] Он соглашается с Кестлером в главном:

«Верно, что методы допросов, особенно когда они применяются на протяжении месяцев и даже лет, могут сломить самую сильную волю. Но решающий фактор состоит в том, что большинство убежденных коммунистов должно любой ценой сохранить веру в Советскую власть. Отказаться от этого было бы выше их сил. Для того, чтобы отказаться от давно сформированных, укоренившихся убеждений, нужна огромная моральная сила — даже если эти убеждения оказываются несостоятельными».^[495]

Все, что рассказывает Кестлер,^[496] отлично подтверждается фактами. Например, эпизод о том, как пытались сломить волю главного героя «Тьмы в полдень» Рубашова,^[497] и в целях психического воздействия мимо его камеры проволокли на казнь еле живого, измученного пытками заключенного, подтвержден официальными показаниями.^[498] Рубашов, если вкратце подытожить его дело, сдался потому, что считал, будто прошлые действия лишают его права судить Сталина. К этому прибавилось еще чувство преданности партии и ее взгляду на историю.

Основная мысль его признания сводится к следующему: «Я знаю, продолжал Рубашов, что мое заблуждение, если провести его в жизнь, создало бы смертельную опасность для Революции. В критический, переломный момент истории всякая оппозиция несет в себе зародыш раскола в партии, а значит — гражданской войны. Гуманная слабость и либеральная демократия, когда массы еще недостаточно созрели, — самоубийство для Революции. Мои оппозиционные взгляды и были как раз основаны на стремлении к этим понятиям, которые внешне кажутся такими привлекательными, а на деле смертельно опасны: к либеральной реформе диктатуры, расширению демократии, ликвидации террора, ослаблению жесткой партийной организации. Я признаю, что в нынешней ситуации эти требования объективно вредны и потому по сути своей контрреволюционны».^[499]

Здесь мы сталкиваемся с крайним проявлением того же чувства — полного слияния с партией, — которое звучит и в неофициальных высказываниях Бухарина перед арестом, и в излияниях Пятакова в 1928 году. В своем последнем слове на суде Бухарин сказал:

«Я около 3 месяцев запирался. Потом я стал давать показания. Почему? Причина этому заключалась в том, что в тюрьме я переоценил все свое прошлое. Ибо, когда спрашиваешь себя: если ты умрешь, во имя чего ты умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной яркостью абсолютно черная пустота. Нет ничего, во имя чего нужно было бы умирать, если бы захотел умереть, не раскаявшись... И когда спрашиваешь себя: ну, хорошо, ты не умрешь; если ты каким-нибудь чудом останешься жить, то опять-таки для чего? Изолированный от всех, враг народа, в положении нечеловеческом, в полной изоляции от всего, что составляет суть жизни...»^[500]

Кестлер, как уже было отмечено, не выдвигает свой анализ событий в качестве теории, объясняющей признания на суде. Он лишь приводит один из возможных вариантов, и из более поздних свидетельств ясно, что в некоторых случаях именно это или нечто подобное имело место.

Но не все члены партии рассуждали подобным образом. Рютин и его сообщники были, несомненно, готовы свергнуть Сталина. То же можно сказать и о признаниях на суде, из Ивана Смирнова удалось «выдавить» лишь частичное и ироническое признание. Он пошел на это только потому, что в противном случае его бы тайно расстреляли, и его имя было бы смешано с грязью теми, кто уже решил сознаться, а также потому, что ему пообещали пощадить жену и всю семью.^[501] В то же время его присутствие на суде могло в какой-то степени умерить клеветнические измышления прокурора. И все же Смирнов, как говорят, перед смертью заметил, что сам он и другие обвиняемые вели себя постыдно.^[502]

С восторгами Пятакова по поводу счастья состоять в «чудо-партии» резко расходятся и слова Тер-Ваганяна, сказанные следователю на допросе: «Но для того, чтобы подписать показания, которые от меня требуют, я прежде всего должен быть уверен в том, что они необходимы в интересах партии и революции...»

... Вы предлагаете, чтобы я не думал и слепо полагался на Центральный Комитет, потому что Центральный Комитет видит яснее, чем я. Но беда в том, что в силу своей природы я не могу перестать думать. А начав думать, я прихожу к неизбежному выводу, что утверждения, будто старые большевики превратились в банду убийц, нанесут неисчислимый вред не только нашей стране и партии, но и делу социализма во всем мире...

Если новая программа Центрального Комитета считает необходимым дискредитировать большевизм и его основателей, то я несогласен с этой программой, я не считаю себя больше связанным партийной дисциплиной. Кроме того, я исключен из партии, и уже по этой причине не считаю себя обязанным подчиняться партийной дисциплине».^[503]

В конце концов Тер-Ваганяна убедили в том, что сопротивление бессмысленно. Ведь Зиновьев и Каменев — деятели, стоявшие гораздо выше его, — были готовы «дискредитировать большевизм». К тому же следователь Борис Берман, с которым Тер-Ваганян подружился, посоветовал ему спасти свою, жизнь раскаянием, и Тер-Ваганян сдался. Берман говорил ему, что надеется, что через несколько лет осужденный будет реабилитирован и займет важный пост в партии. Тер-Ваганян на это ответил: «У меня нет ни малейшего желания получить высокий пост. Если моя партия, ради которой я жил и за которую готов был умереть в любую минуту, заставила меня подписать это, тогда я не хочу быть членом этой партии. Сегодня я завидую самому непросвещенному беспартийному».^[504]

И все же Тер-Ваганян сдался. Можно с полным основанием предположить, что аналогичные взгляды и еще большая одержимость ими определили поведение и тех людей, которых сломить не удалось. Куклин, как сообщают, сказал в тюрьме, что с партией и революцией «все кончено» и что нужно будет начать все сначала.^[505]

Тезис о том, что общепартийное мышление, идея партийной дисциплины являются главным объяснением публичных признаний на процессах, вызывает и еще одно возражение. Такая логика, если она существовала, была с формальной точки зрения применима как в момент ареста, так и впоследствии. Однако почти каждый из осужденных и в начале сопротивлялся — одни дольше, другие короче. Почему идея партийной дисциплины показалась

убедительной Муралову в декабре 1936 года, если на протяжении восьми предшествующих месяцев он не считал ее убедительной? Почему три месяца сопротивлялся Бухарин?

Как мы знаем, Бухарин ответил на это на суде: он был изолирован, исключен из партии, разоблачен — жить незачем. Он начал пересматривать свои взгляды, и переоценка привела его к капитуляции. У Богуславского весь этот процесс занял всего восемь дней, в течение которых он, по его словам, благодаря аресту восстановил свое душевное равновесие и смог привести в порядок свои мысли идеи, которые он теперь считал во многом, если не насквозь, преступными,^[506] — что сводится к тому же, что и бухаринское заявление.

Значит, честные коммунисты не автоматически подчинялись, когда им приказывали: «Партии нужны ваши показания». Они делали это только после допросов и тюремного заключения, причем длительность заключения была различной. Некоторых вообще невозможно было убедить. Даже признания самого Бухарина (он считается главным последователем этой линии) не полностью соответствовали желаниям обвинителей. Выступая, он говорил так, что лживость обвинений была ясна любому здравомыслящему человеку.

Когда Каганович, один из самых рьяных сторонников репрессий, сам потерял власть, то он не стал предлагать — судите меня, назовите меня шпионом, террористом и диверсантом, расстреляйте меня под выкрики разъяренной толпы, чтобы сохранить в чистоте знамя партии. Напротив — он позвонил Хрущеву и, как сам Хрущев рассказал на XXII съезде партии, умолял его: «Товарищ Хрущев, я тебя знаю много лет. Прошу не допустить того, чтобы со мной поступили так, как расправлялись с людьми при Сталине».^[507] Это — серьезное нарушение долга по отношению к партии!

Таким образом, нельзя отрицать: во многих случаях представление о том, что «партии это нужно», входило в число рациональных и психологических предпосылок капитуляции. Но одного такого представления было недостаточно — требовался еще нажим и другого порядка.

Оппозиционеры, конечно, не ожидали, что с ними обойдутся по справедливости и будут вести политические дискуссии. Достаточно вспомнить Томского — он покончил жизнь самоубийством в тот день, когда узнал, что против него выдвинуто обвинение, и он был не единственным. Политические дискуссии о партийном долге, преданности и т. д. следует в некоторых случаях рассматривать как элемент более широкой системы физического и морального давления. В случае с Каменевым, например, где дискуссии об интересах партии сочетались с изматывающими допросами, жарой, недостатком пищи, угрозами семье и обещаниями жизни, вообще очень трудно решить, какой элемент сыграл самую важную роль.

Итак, мы сделали попытку разобраться в умонастроении оппозиционеров, которые покалялись на суде. Но здесь нужны две важные оговорки. Во-первых, как мы видели, не все коммунисты разделяли взгляды Зиновьева и Каменева, Бухарина и Пятакова о единстве партии и готовности пойти на унижение. От таких людей зачастую было невозможно добиться публичного признания вины. С другой стороны, это публично сделали некоторые некоммунисты: врачи на процессе 1938 года, большинство руководителей польского подполья в 1945 году, болгарские протестантские пасторы в 1949 году.

Мотивы, изложенные выше, сыграли важнейшую роль в подчинении партии Сталину. Но если говорить о самих судебных процессах, о характере сделанных на них признаний, то они не могут быть достаточно объяснены только этими мотивами. В некоторых наиболее важных случаях мотивы эти способствовали получению нужных показаний в ходе следствия. Они были предрасполагающим фактором. Но и этот и другие «предрасполагающие факторы» были полностью реализованы в спектакле, разыгранном в Октябрьском зале Дома союзов, только с помощью технических приемов НКВД,

ПЫТКИ

Когда речь заходила о том, как удалось добиться признаний, первой мыслью враждебно настроенных критиков была — пытки. Да и сам Хрущев сказал ведь в 1956 году: «Как могло получиться, что люди признавались в преступлениях, которых они вовсе не совершали? Только одним путем — применением физических методов воздействия, пыток, которые заставляли арестованного терять сознание, способность мыслить, заставляли его забывать свое человеческое достоинство. Так получались эти „признания“».^[508]

Карательные органы, несомненно, применяли пытки с самых первых дней существования советской власти. Есть много сообщений о жестокости тайной полиции, относящихся к началу 30-х годов: в Ростове заключенных били по животу мешком, наполненным песком, что нередко приводило к смерти. В случаях смертельного исхода врач удостоверял, что подследственный умер от злокачественной опухоли.^[509] Другой метод ведения допроса назывался стойкой. Заключенного заставляли подняться на цыпочки, стать к стене и стоять так в течение нескольких часов. Утверждают, что одного или двух дней достаточно, чтобы сломить едва ли не всякое сопротивление.^[510]

К другим, «импровизированным» методам пыток относится «ласточка», когда заключенному связывают ноги и руки за спиной и в таком состоянии подвешивают.^[511] Одна из заключенных женщин рассказывает, что ей прищемляли пальцы дверью.^[512] Избиение было делом обычным. Следователи передавали заключенных в руки рослых, мускулистых парней, которых заключенные называли «боксерами».^[513] Так обращались не только с крестьянами или «социально-опасными элементами»: один полковник, впоследствии восстановленный в партии, рассказывает, что его сильно избили в НКВД в 1935 году.^[514] Есть много сообщений об избиении женщин.^[515] Провинциальные следователи, как правило, отличались большей жестокостью. Аккордеонисту из ансамбля Красной Армии, которого допрашивали в Хабаровске, сломали обе ноги.^[516] В Баку специализировались в вырывании ногтей, в Ашхабаде били по половым органам.^[517]

В большинстве тюрем применение физических пыток было, так сказать, «неофициальным». В некоторых сообщениях фигурируют иглы и щипцы, а в Лефортово, как сообщают Кравченко и другие, использовались более специализированные и изощренные инструменты.^[518] В целом следователи пытались создать впечатление импровизации: некоторым при допросах наступали на пальцы рук или ног, других избивали отломанной ножкой стула, и это не считалось «пытками» в прямом смысле слова. Но, как заметил один весьма опытный заключенный, такое разграничение было абсурдным: после подобных «импровизаций» у человека часто были сломаны ребра, шла кровь вместо мочи, повреждался позвоночник. Некоторые вообще не могли ходить.^[519]

Хрущев в своем докладе на закрытом заседании XX съезда упоминает о длительных пытках, которым подверглись Косиор и Чубарь. Затем он подробно рассказывает о другом деле, выбрав, как ни странно, дело Кедрова. Он цитирует письмо Кедрова, которое, будь оно написано кем-нибудь другим, — прозвучало бы бесконечно волнующе: «Я обращаюсь к вам за помощью из мрачной камеры лефортовской тюрьмы. Пусть этот крик отчаяния достигнет вашего слуха... прошу вас, помогите прекратить кошмар этих допросов... Я твердо убежден, что при наличии спокойного объективного разбирательства моего дела, без грубой брани, без гневных окриков и без страшных пыток — было бы легко доказать необоснованность всех этих обвинений».^[520]

Сам Кедров, будучи представителем ЧК в Архангельской области во время гражданской войны, прославился исключительной жестокостью. Его сын (разделивший судьбу отца) был раньше одним из самых свирепых следователей НКВД, которому удалось добиться ложных показаний на процессах Зиновьева и Пятакова. Едва ли Кедров-отец ничего об этом не знал. Какое бы сочувствие мы к нему ни испытывали, мы с неизмеримо большим состраданием относимся к массе невинных и незащитных людей, переживших те же пытки. Эти люди не были старыми большевиками, и на их мольбы о помощи не ссылаются в Советском Союзе.

К физическим пыткам прибегали довольно часто, но до

1937 года они применялись вопреки правилам. Затем неожиданно они превратились в обычный метод допроса — во всяком случае, в большинстве дел на более низком уровне. По-видимому, только в конце 1936 года в Белоруссии были выпущены первые официальные, хотя и секретные инструкции о применении пыток.^[521] В начале следующего года НКВД получил официальную санкцию Центрального Комитета, то есть Сталина. Но только 20 января 1939 года это было подтверждено особым циркуляром (шифрованной телеграммой), направленным секретарям обкомов, крайкомов и ЦК республиканских партий, а также руководителям соответствующих органов НКВД. Вот как процитировал эту телеграмму в своей секретной речи Хрущев: «ЦК ВКП[б] поясняет, что применение методов физического воздействия в практике НКВД, начиная с 1937 года, было разрешено

ЦК ВКП[б]... Известно, что все буржуазные разведки применяют методы физического воздействия против представителей социалистического пролетариата и притом применяют эти методы в самой отвратительной форме. Возникает вопрос — почему социалистические органы государственной безопасности должны быть более гуманны по отношению к оголтелым агентам буржуазии и заклятым врагам рабочего класса и колхозников? ЦК ВКП[б] считает, что методы физического воздействия должны, как исключение, и впредь применяться по отношению к известным и отъявленным врагам народа и рассматриваться в этом случае как допустимый и правильный метод».^[522]

А вот что рассказывает об этих методах советский генерал Горбатов: «... Я случайно узнал, что фамилия моего изверга-следователя Столбунский. Не знаю, где он сейчас. Если жив, то я хотел бы, чтобы он мог прочитать эти строки и почувствовать мое презрение к нему. Думаю, впрочем, что он это и тогда хорошо знал... До сих пор в моих ушах звучит зловеще шипящий голос Столбунского, твердившего, когда меня, обессиленного и окровавленного, уносили: „Подпишешь, подпишешь!“

Выдержал я эту муку во втором круге допросов... Но когда началась третья серия допросов, как хотелось мне поскорее умереть!»^[523]

Горбатов добавляет, что все заключенные его камеры в 1938 году сознались в воображаемых преступлениях: «Одни пошли на это после физического воздействия, а другие потому, что были запуганы рассказами о всяких ужасах».^[524] Для большинства угрозы возобновления физического воздействия было достаточно, чтобы предупредить возможность отречения от вырванных под пытками «признаний».

Над человеком, ослабевшим после пыток, иногда начинали просто измываться. Некоторые методы срабатывали мгновенно. Например, один офицер вытерпел все побои, но он «раскололся», когда следователь окунул его головой в наполненную до краев плевательницу. Другой осужденный не выдержал после того, как следователь помочился ему на голову,^[525] это — согласно многочисленным сообщениям — стало традиционной практикой допросов. И все же, несмотря на слова Хрущева, пытки — недостаточное объяснение признаний, сделанных оппозиционерами. Важно лишь отметить, что в тот период пытки применялись в широких масштабах и имели колоссальное воздействие. Но критики были правы, говоря, что одни только пытки не могли привести к публичному самоунижению целого ряда врагов Сталина, когда их здоровье было восстановлено для появления в зале суда и когда они получили возможность высказаться.

Мы увидим, что на закрытых процессах некоторые из обвиняемых отказались от признаний, сделанных под пытками. Другие же «в отношении которых применялись незаконные методы ведения следствия», как указывает, в мягких выражениях, заместитель Генерального прокурора СССР Н. В. Жогин, уже на предварительном следствии настаивали на том, чтобы в протоколах допросов были зафиксированы их заявления относительно допущенных нарушений социалистической законности.^[526]

КОНВЕЙЕР

Основным методом НКВД, с помощью которого можно было сломить осужденного и получить нужные показания, был так называемый «конвейер» — непрерывный допрос, продолжавшийся часами и днями, который вели сменные бригады следователей. Как многие другие явления сталинского периода, этот изобретательный метод обладал тем преимуществом, что его нелегко было осудить, сославшись на какой-либо определенный принцип. Ясно, что он сводился, по прошествии известного времени, к недопустимому давлению на человека и затем перерастал в настоящую физическую пытку. Но когда? На это нельзя дать точного ответа.

Уже после двенадцати часов допроса жертве становилось не по себе. Через день — мучительно трудно. Через два или три дня наступало физическое отравление от усталости. Это было так же мучительно, каклюбаяпытка.^[527] Говорят, что некоторые заключенные могли выдержать пытки, такие случаи известны, но почти никто не слышал, чтобы не сработал «конвейер», если он длился достаточно долго. В среднем, за неделю можно было сломить почти каждого.^[528] Евгения Гинзбург пишет в своей книге «Крутой маршрут», что провела семь дней без сна и пищи, причем последний день — стоя, после чего потеряла сознание. За этим последовал пятидневный допрос более мягкого типа, во время которого ей позволяли отдохнуть три часа в камере, но заснуть не давали.^[529]

Крестинский ясно сказал в заявлении на процессе, что его первый допрос продолжался неделю,^[530] хотя этот момент как-то прошел мимо наблюдателей. А что касается маршала Блюхера, «здоровье этого мужественного человека было подорвано непрерывно продолжавшимся допросом».^[531] Он умер менее чем через три недели после ареста, а сам допрос, очевидно, продолжался еще меньше.

В этом методе нет ничего нового. Его применяли еще к колдуньям в Шотландии. Философ Кампанелла, который в XVI веке устоял перед всеми пытками во время допросов, не выдержал бессонницы. Начинаются галлюцинации. Кажется, что вокруг, жужжа, летают мухи. Дым застилает глаза и т. д.

По свидетельству Ф. Бека и В. Година были допросы, продолжавшиеся без перерыва 11 дней, причем четыре последних дня подследственный должен был стоять. Заключенные, которые даже не дотягивали до 11 дней, падали в обморок каждые двадцать минут. Их обливали водой или били по лицу, чтобы привести в чувство.^[532] Рассказывают, что одному доктору в Бутырках пришлось простоять без сна, с очень небольшими перерывами, целую неделю. После этого пытка прекратилась: было якобы выпущено постановление о том, чтобы ограничить длительность этого приема одной неделей.^[533] Другой бывший узник тюрем НКВД, Александр Вайсберг, сообщает, что просидеть 14 часов на табуретке более мучительно, чем стоять у стены: в паху появляется опухоль, боль становится невыносимой. У стены можно по крайней мере перемещать вес с одной ноги на другую.^[534] Особенно тяжело Вайсбергу пришлось, когда в системе «конвейера» он обнаружил «техническое усовершенствование»: из табуретки вынули сидение, так что сидеть стало еще невыносимее.^[535]

Мы находим очень мало сообщений о заключенных, которые смогли противостоять «конвейеру». Один из них — 55-летний анархист Эйзенберг, который, как только его назвали контрреволюционером, вообще отказался отвечать на вопросы. Избиения не дали никаких результатов, и после этого он выдержал на «конвейере» 31 день(!), побив все рекорды. Медицинское обследование показало, что он был человеком очень крепкого здоровья и что нечувствительность к боли была аномалией его организма. Впоследствии, как полагают, он попал в сумашедший дом.^[536]

Сам А. Вайсберг выдержал только семь дней, да и то с небольшим перерывом, и покался. Затем, отдохнув день, отказался от своих показаний. Допрос начался снова. На этот раз он сдался на четвертый день, но сказал следователям, что откажется от всех показаний, как только придет в себя. Третий этап на «конвейере» закончился на пятый день, но Вайсберг не сознался больше ни в чем, хотя к этому времени в руках у следователей уже было два «документа».^[537]

Значит, в системе «конвейера» был дефект. Хотя он срабатывал безотказно почти всегда, и на это уходило всего 2–3 дня, он не обладал существенным преимуществом перед пытками (часто сочеталось и то и другое), потому что от показаний, данных на «конвейере», потом отказывались.

ДОЛГИЙ ЦИКЛ

Система допроса, которая сломала многих заключенных до такой степени, что они повторяли свои показания на публичном процессе, функционировала несколько по-другому. Она была рассчитана на более постепенное, но более полное подавление воли к сопротивлению. При обработке интеллигентов и политических деятелей на это уходило много времени, иногда (с перерывами) до двух с половиной лет. Однако полагают, что в среднем процесс продолжался около 4 или 5 месяцев.^[538]

В течение всего этого периода заключенному не давали отоспаться; его держали в камере, где было слишком жарко или (что случалось чаще) слишком холодно. Питание было недостаточным, но всегда аппетитно приготовленным. Испанский генерал-коммунист Эль Кампесино рассказывает в книге «Слушайте, товарищи», что дважды в день получал по 100 г черного хлеба и немного супа — «вкусного и великолепно приготовленного».^[539] В результате началась цинга, но так, очевидно, и было задумано.

Физическое истощение увеличивает подверженность психическим расстройствам — это хорошо известное явление, которое часто наблюдалось во время последней мировой войны, например, у моряков в спасательных шлюпках, подолгу находившихся в открытом море. Даже люди огромной выдержки, способные перенести любую ситуацию, часто теряли после этого самообладание. Обычно допрос проходил по ночам, когда заключенный еще не оправился ото сна; часто его будили всего лишь через 15 минут после того, как он засыпал. Ярко освещенная комната, куда его

приводили для допросов, сбивала с толку. Постоянный упор делался на то, что заключенный абсолютно бессилён что-либо сделать. Часто казалось, что следователи могут продолжать допрос бесконечно. Борьба казалась обреченной на поражение. Постоянное повторение стереотипных вопросов также приводило к смятению и изнеможению, заключенный путался в словах, пытаясь что-то припомнить, и в интерпретации фактов. Он ни на секунду не мог побыть наедине.

Переживший это в 1945 году поляк Стыпулковский рассказывает в книге «Приглашение в Москву»: «... Холод, голод, яркий свет и главное — бессонница. Сам по себе холод не так ужасен. Но когда жертва уже ослабела от голода и бессонницы, то постоянно дрожит при температуре 6 или

7 градусов выше нуля. Ночью у меня было только одно одеяло... Через две или три недели я был в полубессознательном состоянии. После 50–60 допросов, плюс холод, голод и почти полное отсутствие сна, человек становится автоматом — глаза воспалены, ноги распухли, руки дрожат.

В этом состоянии он нередко сам начинает думать, что виновен».^[540]

Стыпулковский подсчитал, что большинство людей, сидевших вместе с ним, достигло этого состояния между сороковым и семидесятым допросом.

Соображения международного характера заставили судить вождей польского подполья, не дожидаясь, пока Стыпулковский (единственный из обвиняемых) будет готов к признаниям. За исключением появившейся в 1956 году в Будапеште краткой статьи Пала Юстуса, одного из обвиняемых по делу Райка, свидетельства людей, полностью признавших во всем, что от них требовали, появились только в последнее время. Это свидетельства Артура Лондона^[541] и еще более показательные — Еугена Лебля, осужденных к пожизненному заключению по делу Сланского в Чехословакии в 1952 году.

Лебль^[542] рассказывает о пытках, которым подвергались другие подследственные, о побоях, о раздавливании половых органов, о содержании в ледяной воде, о заворачивании головы в мокрую парусину, сжимающуюся при высыхании и причиняющую невыносимую боль. Но (в противоположность Лондону) его не пытали, и он подтверждает, что пытка не годится как метод подготовки к показательному процессу, в ходе которой необходимо сломить самый костяк личности. Он рассказывает, что его заставляли стоять на ногах по восемнадцать часов в сутки, причем шестнадцать из них шел допрос. В течение шести часов отдыха он мог спать, но тюремщик должен был каждые десять минут стучать в дверь, заставляя его вскакивать, становиться в положение «смирно» и рапортовать: «подследственный четырнадцать семьдесят три рапортует: в камере один подследственный, все в полном порядке». Это значит, что его «будили раз тридцать-сорок в ночь». Если он не поднимался на стук, тюремщик будил его толчком ноги. После двух или трех недель такой обработки его ноги опухли и малейшее прикосновение к любой точке тела вызывало боль; даже мытье превратилось в пытку. Он утверждает, что самую страшную боль он чувствовал в ногах, когда ложился. Шесть или семь раз его водили, как ему давали понять, на расстрел: это сначала не пугало его, но следовавшая затем реакция была ужасна. Как и многие другие обвиняемые сталинских процессов в восточной Европе, он убежден, что ему давали наркотики. Если это так, то это позднейшее изобретение; в рассказах об обработке подследственных в ОГПУ-НКВД довоенного периода наркотики не упоминаются. (Лебль отмечает, между прочим, что врач был даже беспощаднее следователя). В конце концов он почувствовал, что больше не в силах отказаться от признания. После того, как он сделал это, ему разрешили читать книги, стали кормить досыта и дали выспаться, но он потерял (как он пишет) свое прежнее «я»: «Я был, как казалось, совершенно нормальным человеком, но я больше не был человеком».

Советские психологи и физиологи неизменно повторяют, что их труды базируются на учении Павлова. «Ассоциативный стимул» Павлова, при котором внешний раздражитель вызывает автоматическую реакцию, соответствует тому, как поступали с заключенными: людей низводили до состояния, когда спасение ассоциировалось только с одной ответной реакцией — принятием того, что им говорили. Для достижения этого необходимо добиться существенной деградации человеческой личности. Реакция животного — по крайней мере, в ситуациях, которые ему знакомы (а только в таких животное и может ориентироваться), — в принципе безусловна и неразборчива. Более высокое положение человека как раз и состоит в его способности различать и делать выбор. Другими словами, если говорить о человеке, то безусловной реакции на внешний раздражитель можно ожидать только от психопата. Но человек, низведенный до данного состояния, — еще не животное. Ему нужно, чтобы мотивировка поступков хотя бы внешне казалась разумной. Что касается коммунистов, то у них обоснование было всегда наготове — принцип партийности.

Существовали, однако, и другие формы давления.

ЗАЛОЖНИКИ

Нет никаких сомнений в том, что угрозы семье — иными словами, использование заложников — было одним из самых сильнодействующих средств сталинского террора. Семьи видных партийных и государственных деятелей, от которых хотели добиться показаний, находились в руках НКВД — судя по всему, это было общей практикой.

У Бухарина, Рыкова и Крестинского были дети, которых они очень любили. У некоторых других, кого судили отдельно, например у Карахана, детей не было. Несколько осужденных в своем заключительном слове упоминали о детях — например, Каменев и Розенгольц.

Инженерам, которые были арестованы еще в 1930 году, угрожали расправиться с женами и детьми.^[543] Указом от 7 апреля 1935 года наказания для взрослого населения распространились и на детей с двенадцати лет. Указ превратился в страшную угрозу для оппозиционеров, у

которых были дети. Если Сталин мог открыто провозгласить такую зверскую меру, то он не остановился бы перед тем, чтобы тайно предать смерти детей осужденных, когда считал нужным. В этом подсудимые могли не сомневаться. Бывший сотрудник НКВД Орлов^[544] вспоминает, что по приказу Ежова копия этого указа должна была обязательно лежать на столе следователя. Чтобы усилить страх за семью, иногда прибегали и к такому приему: во время допроса на столе следователя лежали личные вещи членов семьи.^[545]

Использование родственников в качестве заложников, заключение их в тюрьму или даже уничтожение было новым явлением в истории России. При царе революционеры могли об этом не беспокоиться. Поистине, Сталин не признавал границ ни в чем.

Выдвигались догадки о том, что в показательных процессах было нечто специфически русское. Много, например, говорилось о привычке к самобичеванию в стиле Достоевского. Бухарин отрицал, что «славянская душа» имеет какое-либо отношение к данным на суде показаниям. Сам он был более интеллектуальным и более западным человеком, чем многие другие из большевистских вождей. Во всяком случае, ссылки на национальную психологию выглядят весьма туманно и сами по себе неубедительны. Но неудивительно, что, столкнувшись с невероятным феноменом этих показаний, люди в то время пытались дать им и невероятное объяснение.

Конечно, русская культура имеет свои особенности, накладывающие отпечаток на всех тех, кто воспитан в условиях этой культуры. До некоторой степени мы должны учитывать традицию самопожертвования (хотя в русской традиции много примеров самого дерзкого и открытого неповиновения власти — например, Никита Пустосвят, пытавшейся плюнуть в лицо царю). Четверо из пяти арестованных членов Политбюро, которые не появились на публичном процессе — Рудзутак, Эйхе, Косиор и Чубарь — были нерусскими. Все без исключения грузины тоже осуждены при закрытых дверях. Один из них — Алеша Сванидзе, которого обещали выпустить, если он попросит прощения. Но Сванидзе отказался.^[546]

Другой мощной движущей силой был инстинкт самосохранения. Связанный с этим парадокс привел в замешательство наблюдателей на Западе и некоторых смущает еще и сейчас. Создавалось впечатление, что, сознавшись в преступлениях, наказуемых смертной казнью, пройдя через долгую и часто унижительную следственно-судебную процедуру, осужденные активно стремились к смертному приговору! Некоторые из них сами заявляли, что заслужили его. На самом деле все было наоборот. Отказ признать себя виновным был самым верным способом пойти на расстрел. В этом случае осужденный вообще не попадал на открытое судебное заседание, а наиболее вероятно погибал во время предварительного следствия, или его, как Рудзутака, расстреливали после 20-минутного закрытого суда.

Сталинские показательные процессы имели такую логику, какой не встретишь больше нигде. Чтобы избежать смерти, осужденный должен был признать все, дать своим действиям наихудшее толкование. Это был его единственный шанс. Но даже полное признание своей вины могло спасти жизнь только в редких случаях. Иногда, правда, оно жизнь и спасало, — на некоторое время, как в случае Радека, Сокольников и Раковского. Более того, на процессе в августе 1936 года осужденным была обещана жизнь, и у них были достаточные основания надеяться, что обещание будет исполнено. Очевидно, то же обещание было дано Пятакову

и другим на втором процессе. Тогда оно уже не было столь эффективным, но оставалось единственной надеждой. Внешне Пятаков был в несколько особом положении. Ведь Зиновьев и Каменев долго сопротивлялись руководству Сталина и давно уже были исключены из партийной элиты. Пятаков же сослужил Сталину огромную службу, и диктатор сам назначил его членом последнего Центрального Комитета. Кроме того, Пятаков находился под сильной защитой Орджоникидзе. А человеку всегда свойственно надеяться.

Партия и старая оппозиция были полностью опозорены и уже не могли оправиться. Даже такой человек, как Сокольников, вероятно, полагал, что его слова уже не могут повлиять на исход дела. Единственно, о чем он думал, это — как спасти свою семью. Тем большее восхищение вызывает личное мужество таких людей, как Угланов и Преображенский. Они настаивали на правде и, несмотря на давление со всех сторон, «умерли молча».

Осужденный находился под таким колоссальным нажимом, что число людей, которые не сдались (или если сдались, то их все же не рискнули выпустить в суд), вызывает изумление. Отказавшиеся признать свою вину были людьми особой породы. Вот как Кестлер описывает своего друга Вайсберга:

«Что давало ему силы выстоять, когда другие уже сдались? Особое сочетание тех черт характера, какие необходимы, чтобы выжить в данной ситуации. Огромная выносливость, физическая и духовная — свойство „Ваньки-встаньки“, — позволяющая быстро восстанавливать физические и духовные силы. Исключительное присутствие духа... Это тип человека несколько „толстокожего“, добродушного и лишённого чувствительности, человека открытого и не склонного к самоанализу — в книге Вайсберга нет размышлений, нет и следа религиозного или мистического опыта, который неизбежно становится частью одиночного заключения. Безответственный оптимизм и самодовольное благодушие в жутких ситуациях. Установка „со мной этого не может случиться“, которая представляет собою самый надёжный источник мужества. Неистощимое чувство юмора и, наконец, неутомимость и напористость в споре, способность продолжать его часы, дни, недели... У следователей (как, подчас, и у его друзей) просто ум заходил за разум».^[547]

Сходные черты характера и темперамента можно наблюдать и у других осуждённых, которые не признали своей вины. В 1938 году в Первоуральске начальник местного отделения НКВД Паршин допрашивал главного инженера строительства Новотрубного завода, который до этого находился в тюрьме 13 месяцев. Он был похож на «скелет, покрытый лохмотьями, синяками и кровью». Его обвинили в том, что он покрывает печи деревянными крышами, которые могут легко загореться. Инженер настаивал на том, что крыши должны делаться из железа, но правительственный указ, подписанный Орджоникидзе, предписывал делать их из дерева из-за нехватки железа. На все другие вопросы он упорно отвечал то же самое.^[548] В работах исследователей и в воспоминаниях бывших заключённых можно найти несколько аналогичных случаев, но все они трактуются как случаи исключительные. Критик Иванов-Разумник говорит, что за все годы, проведенные им в тюрьмах Москвы и Ленинграда, лишь 12 человек из тысячи с лишним, сидевших с ним в разное время в одной камере, отказались признать свою вину.^[549]

Важно отметить, что оппозиционеры, которые отреклись от бухаринского взгляда на партийную дисциплину в начале 30-х годов, не появились в суде. Сталину, очевидно, хотелось увидеть на скамье подсудимых Рютина, но он не смог этого добиться. То же самое можно сказать об Угланове, Сырцове, Смирнове и других, которые пытались организовать сопротивление, в то время как правые лидеры призывали к терпению. Очевидно, одной из причин было отсутствие у этих людей «партийного фетишизма», который испытывали Бухарин, Зиновьев и многие другие осуждённые, выступившие с публичными признаниями. Мы очень мало знаем о том, как вели себя под арестом такие оппозиционеры-коммунисты. Но ясно, что многих не удалось окончательно сломить ни убеждением, ни применением силы (хотя во время допроса многие, конечно, сознавались).

Большинство источников указывает на то, что для публичных показательных процессов было отобрано несколько сот кандидатов, но только человек 70 предстали на суде. Из тех, кого на процессе Зиновьева упомянули как «соучастников», 16 человек появились в суде, трое покончили с собой, а семерых судили позже. Но сорок три остальных вообще не были допущены до суда и, таким образом, не сделали публичных признаний. Среди них были такие видные деятели, как Угланов — до того кандидат в члены Политбюро и секретарь Центрального Комитета, — а также представители авангарда старых большевиков Шляпников и Смилга.^[550]

Материалы предварительного следствия, зачитанные на процессе Зиновьева, якобы представляли собой 38 отдельных папок (по одному досье на каждого заключённого). Но перед судом предстали только 16 человек. Полагают, что двадцать два остальных были осуждены тайно (хотя некоторые, в частности Гавен и Слепков, вероятно, находились в «резерве»).

На процессе Пятакова досье были пронумерованы от одного до тридцати шести, но девятнадцать номеров из этого списка отсутствовали. Главные обвиняемые шли под первыми номерами: Пятаков — папка 1, Радек — папка 5, Сокольников — 8, Дробнис — 13. Номера папок Серебрякова и Моралова неизвестны. Но если даже включить в список их имена, нескольких папок все же недостает. Можно предположить, что эти папки существовали и относились к высокопоставленным обвиняемым, которых, однако, не удалось «подготовить» к открытому процессу.

Многие советские издания, посвященные периоду революции, вскользь упоминают в биографических справках о некоторых членах оппозиции. Эта информация стала доступна совсем недавно (в хрущевский период) и она очень скудна.^[551] Следует обратить внимание на то, что в изданиях этих против некоторых фамилий стоит слово «осужден», указывающее на тайные процессы, о существовании которых до сих пор ничего не было известно. Среди этих людей — Угланов, чье имя фигурировало на всех трех процессах. Он был исключен из партии в 1936 году, «осужден» и умер в 1940. Смилга тоже «осужден», умер в 1938, Сосновский, Сапронов, Шацкий и Преображенский «осуждены» и умерли в 1937. В. М. Смирнов исключен из партии и «осужден» в 1936, умер в 1937 году. Сафаров (которого в 1940 году еще видели на Воркуте^[552]) «осужден» — умер в 1942 году. Все эти ведущие оппозиционеры были открыто заклеяны, но не допущены до публичного процесса. Напрашивается естественный вывод: этим людям не доверяли и потому не рискнули выпустить их на суд.

Есть и другие, помимо вышеуказанных, о которых не сказано, что они были «осуждены», но дата их смерти дается впервые. Среди них Медведев (главный помощник Шляпникова по «Рабочей оппозиции») — 1937; Рязанов — 1938; Сырцов — 1933; Василий Шмидт — исключен из партии за правый уклон в 1937 году, умер в 1940 году; А. П. Смирнов — 1938.

ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ

Естественно возникает не только вопрос, почему осужденные признавали свою вину, но и другой вопрос, главный: почему обвинение добивалось этого?

На открытых процессах, как указал со скамьи подсудимых Радек, никаких доказательств не было. Судебный процесс, на котором нет доказательств против осужденных и к тому же сами осужденные отвергают обвинения, выглядел бы весьма неубедительным по любым критериям. Если подсудимый невиновен и подлинные доказательства отсутствуют, то его надо заставить сознаться. В данных обстоятельствах это логично; трудно представить человека виновным, если он сам этого не признает.

Подобный процесс легче инсценировать, когда есть уверенность, что никто из особо «трудных» подсудимых не нарушит сценария и не станет нести отсебятины. Применение этого метода вообще и особенно на публичном процессе Зиновьева и других вполне можно понять. Сталин хотел не просто ликвидировать своих старых противников, но уничтожить их морально и политически. Объявить о тайной экзекуции Зиновьева было бы гораздо труднее. Так же трудно было бы публично осудить его без доказательств, по обвинениям, которые осужденный мог бы яростно и эффективно опровергнуть.

Признание вины, пусть и весьма неубедительное, может произвести впечатление даже на скептиков. Закрадываются сомнения по принципу «нет дыма без огня» и т. д. Обвиняемый, который смиренно кается и признает правоту своих противников, уже в некоторой степени политически дискредитирован — пусть даже его признание не вызывает доверия. Дискредитировать его, дав возможность публично обороняться, гораздо труднее. Даже если признание не вызывает доверия, оно выливается в яркую демонстрацию власти государства над своими противниками.

Все тоталитарные идеологии склоняются к тому, что подсудимый должен сознаться, хотя бы под нажимом: это повышает дисциплину и дает остальным членам партии назидательный

пример. (Были случаи, когда осужденным, которые не давали в суде должных показаний, признания приписывались посмертно — так сказать, для порядка. Это произошло, например, с болгаринном Костовым в 1949 году).

Таковы рациональные объяснения. Но ведь принцип признания обвиняемого применялся во всех случаях, одаже по отношению к обычным жертвам, с которыми расправились тайно. Главные усилия громадной полицейской организации были направлены по всей стране на получение этих признаний. Мы читаем, например, о применении системы «конвейера» с участием сменных бригад следователей в случаях, не имевших существенного значения. О них даже не сообщалось. Все это выглядит не просто как дикая жестокость, но как безумие, как иступленное желание соблюсти никому не нужную формальность. Обвиняемых можно было бы спокойно расстрелять или осудить и без всего этого вздора.

Но странно-искаженный легализм оставался в силе до конца. Тысячи, миллионы людей можно было сослать просто по подозрению. И вместе с тем сто тысяч работников тайной полиции и других официальных лиц тратили месяцы на допросы и охрану заключенных, которые в это время даже не работали на государство.^[553]

В тюрьмах говорили, что это объясняется в первую очередь лицемерным желанием «сохранить фасад». Говорили также, что, не будь этих так называемых признаний, гораздо труднее было бы изыскивать новые обвинения.

Ясно и то, что данная система, требующая показаний только одного типа, легче поддавалась унификации. Стереотипный допрос можно было без труда распространить вниз по инстанциям. Использовать более тщательные методы фабрикации материалов было бы сложнее. Когда показания касались конкретных вещественных доказательств, следователи часто попадали впросак. Члены украинской группы социалистов-революционеров сознались — по требованию неопытного следователя, — что у них был тайный склад оружия. Первый «заговорщик» признался, что передал склад другому человеку. Второй, под пытками, сказал, что передал его кому-то третьему. Образовалась цепь из одиннадцати человек, пока, наконец, после обсуждения в камере было решено, что последний из обвиняемых должен сослаться на какого-то человека, который уже умер. Обвиняемый мог вспомнить только своего бывшего учителя географии, совершенно аполитичного человека, который незадолго до этого умер; он опасался, что следователь не поверит этой версии. Товарищи пытались убедить его, говоря, что единственное желание следователя — это разделаться со складом оружия. Признание состоялось, и следователь был так доволен, что распорядился как следует накормить заключенного и дать ему табак.^[554]

Поскольку на публичных процессах был установлен принцип признания обвиняемого, отход от этого принципа в более мелких делах мог рассматриваться в практике НКВД как косвенное неодобрение процесса. Принцип провозглашал, что признание — «королева доказательств». Те, кому удавалось его достичь, считались оперативными, хорошими работниками. А срок жизни неудачливых сотрудников НКВД был невысоким...

Во всем этом проглядывает решимость вообще уничтожить понятие правды, навязать всем принятие официальной лжи. Даже если совершенно отвлечься от рациональных мотивов «выколачивания» признаний, можно почувствовать чуть ли не мистическое тяготение именно к этому методу. Дзержинский еще в 1918 году заметил, говоря о врагах советского правительства: «Если преступнику предъявить доказательства, он сознается почти всегда. А какой аргумент может иметь больший вес, чем признание самого преступника?»^[555]

Вышинский был ведущим теоретиком этой системы. На одном этом признании, по мнению Вышинского, мог основываться судебный приговор. Он рекомендовал прокурорам и следователям добиваться того, чтобы осужденный писал показания своим почерком, так как этим создается видимость «добровольности». Вышинский утверждал: «лучше иметь полупризнание, записанное собственноручно обвиняемым, чем полное признание, записанное следователем», создавая «видимость добровольной дачи этих показаний (* Один бывший заключенный рассказывает: несколько дней его запугивали и избивали, принуждая подписать показания, которых он не читал. Следователь проявлял особую ярость по поводу «упрямства»

своего подследственного, В конце концов человек потерял способность говорить и двигать руками, после чего следователь вложил перо в его пальцы и таким образом учинил подпись.^[556])».^[557] Стало быть, члены свиты Сталина сознавали в какой-то степени, что признания обвиняемых поверить трудно. Получить их было всегда желательно, ибо можно не сомневаться в том, что в основном идея принадлежала самому Сталину. Вышинский не стал бы соваться со своими взглядами в дело, которое непосредственно касалось Сталина. Не такой он был человек.

В результате такой идейной установки тысячи и тысячи людей обрекались на духовные и физические муки, длившиеся недели и месяцы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. У ПОСЛЕДНЕГО БАРЬЕРА

*Единство цели превратилось у него в двойственность поступков.
Карл Маркс об Иване III*

ОСЕННИЕ МАНЕВРЫ

Процесс «троцкистско-зиновьевского центра» и особенно казни после этого процесса глубоко потрясли «офицерский корпус партии», тот слой, который, по словам Бориса Николаевского, «еще недавно считал себя имеющим монопольное в стране право заниматься политикой».^[558] Все, что произошло, — суд, расстрелы — было организовано без ведома партийных кадров, без консультации с ними. Мертвых не воскресить, и опаснейший прецедент был, таким образом, успешно установлен.

Между тем уже шли приготовления ко второму процессу. 17 апреля 1936 года был арестован Н. И. Муралов, бывший генеральный инспектор Красной армии. В прошлом он работал в Западной Сибири. 5 и 6 августа 1936 года^[559] были схвачены двое бывших троцкистов, работавших в том же районе, М. С. Богуславский и Ю. Н. Дробнис. Оба были видными старыми революционерами, хотя и не из крупнейших.

Дробнис был в молодости сапожником. Активной революционной деятельностью занимался с 15 лет, шесть лет провел в царской тюрьме, был трижды приговорен к смерти. В последний раз из этих трех, когда его, раненого, взяли в плен белые во время гражданской войны и должны были расстрелять. Дробнису удалось бежать благодаря чистой случайности. В дальнейшем он дошел в партии до поста секретаря ЦК на Украине.

Муралов, человек богатырского сложения, происходил из бедной трудовой семьи. В 1899 году он стал участником рабочих кружков, а в 1905 — членом партии.^[560] Во время гражданской войны Муралов отличился исключительными подвигами.

Богуславский тоже был ветераном — и большевистского подполья, и гражданской войны.

По-видимому тогда же, в начале августа, были арестованы и два гораздо более крупных работника — Сокольников и Серебряков. Вскоре начались их допросы. Первым, уже в августе, стал давать показания Сокольников, хотя в то время его показания еще были неопределенными.^[561] А 21 августа, на процессе Зиновьева-Каменева и других, Вышинский заявил, что дальнейшее расследование начато в отношении Бухарина, Рыкова, Пятакова, Радека и Угланова. «Расследовать» должны были и дело Томского, однако он предпочел избежать этого, покончив самоубийством.

К 27 августа, через два дня после казни всех осужденных на процессе Зиновьева-Каменева, большинство членов Политбюро вернулись в Москву из отпусков. В Москве собрались Калинин, Ворошилов, Чубарь, Каганович, Орджоникидзе, Андреев, Косиор и Постышев.^[562] В последний день августа вернулся из отпуска и Молотов.^[563] Не было лишь Микояна и... самого Сталина, который продолжал отдыхать в Сочи, где намеревался пробыть еще несколько недель. Однако Ежов, безотлучно находившийся в Москве, несомненно был в постоянном контакте с ним.

В течение следующей недели партийное руководство обсуждало дела новых обвиняемых. Наблюдалось, по-видимому, отвращение к происшедшему, потому что дальнейшим репрессиям партийные руководители воспротивились. Ставить под вопрос виновность Зиновьева и Каменева или сам ход только что закончившегося процесса было теперь невозможно, ибо Зиновьев, Каменев и другие, после их публичных признаний, выглядели подлинными предателями. Но с Бухариным и Рыковым дело обстояло иначе. Помимо всего прочего, они были настолько популярны в стране и в партии, насколько Зиновьев и Каменев никогда не были. Очевидно также, что на всех сильно подействовало самоубийство Томского.

10 сентября 1936 года, в маленькой заметке на второй странице, «Правда» оповестила, что следствие по обвинению Рыкова и Бухарина прекращено за отсутствием каких-либо свидетельств об их преступной деятельности. Как предполагает Николаевский, это отступление было сделано под давлением некоторых членов Политбюро.^[564]

Политически это внезапное снятие вины с Бухарина и Рыкова понятно и объяснимо. С юридической же точки зрения оно совершенно фантастично. Ведь обвиняемые на только что закончившемся процессе «троцкистско-зиновьевского центра» были приговорены к смерти на основании собственных показаний, данных ими против самих себя.

Их показания против Рыкова и Бухарина были совершенно того же рода — ни более, ни менее достоверными. Можно было полагать, что уже одно это покажет западным наблюдателям всю беспочвенность процесса. (Замечательно еще и то, что хотя дела Рыкова и Бухарина были прекращены, ничего подобного не было сделано в отношении к покончившему самоубийством Томскому. В Советском Союзе существовал закон о наказании за доведение кого-либо до самоубийства моральными или физическими преследованиями. И этот закон в данном случае не был применен).

Вряд ли можно полагать, что большинство членов Политбюро было теперь против террора. Ворошилов, Каганович и, возможно, Андреев были к тому времени уже соучастниками. Молотов тоже должен был извлечь урок из недавней полосы сталинского к нему нерасположения. Во всяком случае, к 21 сентября эта полоса в отношении Молотова явно закончилась, ибо в сценарии следующего процесса он фигурировал уже в качестве жертвы будто бы готовившихся убийств.^[565]

Возвращение Молотова в число фаворитов трудно объяснить чем-либо иным, кроме его полного перехода на сторону Сталина в сентябрьских дискуссиях о терроре.

Тем не менее оппозиция была сильна, и Сталин отступил в вопросе двух бывших «правых» — Бухарина и Рыкова. Надо заметить, что Сталин и сам до того еще не принял окончательного решения их арестовать. Сталин, возможно, хотел провести лишь предварительную рекогносцировку, хотел поставить вопрос о Бухарине на повестку дня, действуя в своем обычном изворотливом стиле. Речь, стало быть, не шла о решительном голосовании в верховном партийном органе. И в отсутствие Сталина его престиж, таким образом, не был прямо затронут.

Однако хотя Сталин и получил всю необходимую поддержку в Политбюро, последующие события показали, что в Центральном Комитете дело обстояло иначе.

Мы не знаем, собирался ли Центральный Комитет в то время. А. Авторханов (Уралов), в то время студент института Красной Профессуры, а затем партийный работник, дает косвенные свидетельства о пленуме ЦК, продолжавшемся четыре дня в начале сентября 1936 года. На четвертый день пленума, если верить Авторханову, обсуждался вопрос Бухарина. Ежов выступил с предложением судить Бухарина и других, причем сказал, что это предложение было в основном уже принято Политбюро. Бухарин будто бы выступил в свою защиту.^[566]

Эти свидетельства о неопубликованном пленуме, приводимые Авторхановым, много раз ставились под сомнение специалистами по истории КПСС, поскольку на этот пленум нет никаких официальных ссылок.^[567] Сомневающиеся полагают, что Авторханов относит к 1936 году то сопротивление отдельных членов Политбюро, которое, как известно, было оказано Сталину в феврале 1937 года. С другой стороны, в «Деле Бухарина» есть ссылка на «один из осенних пленумов Центрального Комитета партии»,^[568] причем из контекста явствует, что эти пленумы должны были состояться после марта 1936 года, но до февраля 1937 года. Ссылка на «пленумы» во множественном числе дает намек на еще один возможный пленум, в ноябре 1936 года, о котором несколько ниже.

Есть и еще одно соображение. Хотя Бухарин и Рыков и были оправданы, Пятаков и Сокольников (а также Радек, Серебряков и Угланов) оправданы не были. На XX съезде партии в 1956 году Хрущев сказал, что «большинство членов ЦК и кандидатов, избранных на XVII съезде и арестованных в 1937-38 годах, были вышвырнуты из партии а результате незаконного

и грубого злоупотребления положениями партийного устава, так как вопрос об их исключении никогда не рассматривался пленумом ЦК».^[569]

Здесь содержится намек, что аресты Пятакова и Сокольникова, единственных из членов и кандидатов ЦК, арестованных, насколько известно, в 1936 году, — были узаконены, хотя бы и задним числом. Похоже, что в условиях, существовавших осенью 1936 года, Сталин еще не мог исключать из партии членов ЦК без пленума, — действительно он не решался на это в отношении Бухарина и Рыкова, кандидатов в члены ЦК, даже через полгода, в феврале 1937. Это ведь было совсем другое, чем следствие против людей вроде Каменева и Зиновьева, уже сидевших в тюрьме, уже давно исключенных из партии. Во всяком случае, тогда это еще казалось другим.

в руках были материалы для продолжения террора. Он имел, кроме того, подходящий набор для следующего процесса: Серебрякова с Сокольниковым, а теперь и Радека... арестованного 22 сентября, и Пятакова, которого схватили, по-видимому, около того же времени. К моменту их ареста Сокольников, как уже упомянуто, начал давать показания. Но провал первой попытки с Бухариным и Рыковым, хоть эта попытка и не была рассчитана на немедленный полный успех, очевидно терзал Сталина. Было ясно, что он собирался расправиться с сопротивлением в Политбюро и в Центральном Комитете и что для этого потребуются новое мощное усилие, новая кампания. В своем черноморском уединении Сталин обдумывал следующий ход. А советская пресса занята была совсем другими темами: демократией, триумфом советской авиации, обильным урожаем, массовой поддержкой борьбы испанских республиканцев.

Подобно генералу, который переносит направление главного удара в зависимости от силы оказываемого сопротивления, Сталин переключил свою атаку на Ягodu.

Временная реабилитация Бухарина и Рыкова была объявлена без единого их допроса. Тем не менее, вряд ли можно сомневаться, что политическое решение об их реабилитации сопровождалось, по крайней мере формально, рапортом НКВД о сомнительности выдвинутых против них обвинений. Если так, то неясно, в какой последовательности это все произошло: то ли Ягода, по согласию с умеренными членами Политбюро, дал оправдательный документ на двух подозреваемых, и этот документ был затем использован для политического решения, то ли политическое решение было принято раньше, а Ягода затем выполнил все необходимые формальности.

Отношение Ягоды к событиям того времени остается до сих пор несколько загадочным. Ясно лишь то, что он участвовал в подготовке процесса 1936 года с самого начала — хотя, возможно, исключался из состава наиболее важных совещаний, непосредственно предшествовавших процессу. Б. И. Николаевский утверждает, якобы Ягода «настаивает на постановке вопроса о процессе перед Политбюро»^[570] Очень возможно, что он сам был обманут заверениями Сталина, будто Зиновьев и Каменев не будут расстреляны.^[571]

В дальнейшем Ягodu обвиняли в том, что он «прикрывал И. Н. Смирнова, — но обвинение это имело свое побуждение и причину, поскольку оно было предъявлено, чтобы объяснить неудовлетворительное поведение Смирнова на суде в 1936 году».^[572]

Возможно, тем не менее, что Ягода как-то пытался смягчить судьбу участников оппозиции.^[573] Как видно из стенограммы процесса, Ягodu в дальнейшем обвиняли также и в том, что он „дал указание, чтобы Угланов держался, не выходя из таких рамок, в своих показаниях“.^[574] Есть также сообщения о том, что внутри самого НКВД было некоторое сопротивление террору, что следователи ставили вопросы в такой форме, чтобы предостеречь и даже защитить обвиняемых.^[575] Но наиболее вероятно, что сопротивление Ягоды террору выявилось *после* расстрела участников первого процесса. И это сопротивление могло выявиться в дискуссиях о судьбе Бухарина и Рыкова.

Можно быть уверенным, что Ежов (сменивший Ягodu на посту Наркома внутренних дел) энергично противился оправданию Рыкова и Бухарина. С этим решением он согласился крайне неохотно. Он считал реабилитацию Бухарина и Рыкова временной, жалел о ней и откровенно

заявлял, что „сумеет исправить“ эту ошибку;^[576] вместе с Аграновым он почти тотчас же начал обвинять Ягоду в слабости.

Сталин никогда не шел напролом, если ощущал сильное сопротивление. Сколько раз он внешне покорно принимал поражения в двадцатые годы, в ходе внутривнутрипартийной борьбы! Сколько раз делал вид, что уступает — и продолжал маневры, направленные на подрыв оппозиции. Вот и теперь Бухарин и Рыков были на время оставлены в покое. Первый продолжал оставаться главным редактором „Известий“, и оба все еще были кандидатами в члены ЦК.

Было ясно, что многие партийные руководители надеялись: с предстоящим делом Пятакова террор, достигнув своего апогея, пойдет на убыль. Но Сталин не так-то просто отказывался от достижения своих целей. Если он не мог собрать достаточно голосов в высших партийных органах, то использовал другие методы. И он продолжал свою линию чем-то вроде переворота, усилившего террор до самых устрашающих пределов. Он добился назначения Ежова Народным комиссаром внутренних дел»

25 сентября Сталин и Жданов послали из Сочи следующую телеграмму Кагановичу, Молотову «и другим членам Политбюро»: «Мы считаем абсолютно необходимым и срочным, чтобы тов. Ежов был бы назначен на пост Народного комиссара внутренних дел. Ягода определенно показал себя явно неспособным разоблачить троцкистско-зиноевский блок. ОГПУ отстает на четыре года в этом деле. Это замечено всеми партийными работниками и большинством представителей НКВД».^[577]

Упоминание об «отставании на четыре года» было знаменательно и зловеще. Прошло четыре года — почти день в день — с тех пор, как сентябрьский пленум 1932 года провалил попытку казнить Рютина.

Никто, конечно, не допускал и на секунду, что удаление Ягоды объяснялось лишь его «неспособностью». В партии немедленно заметили, что «снятие Ягоды из НКВД указывает на то, что тут не только недовольство его недостаточно активной работой в НКВД. Очевидно, здесь политическое недоверие ему, Ягоде...».^[578]

Ежов и до того времени много занимался делами Наркомвнудела. Так что теперешнее назначение его Наркомом внутренних дел не давало оснований членам Политбюро для каких-либо конкретных возражений, даже если бы Орджоникидзе, Чубарь или Косиор хотели бы возражать. Хотя тон, каким было предложено это назначение, и его намерения были очевидны, представлялось весьма трудным оспаривать такую, в общем, практическую меру.

На следующий день Молотов выполнил инструкцию. Перестановка была использована для того, чтобы вывести Рыкова из состава правительства. На следующий день газеты объявили о его освобождении от должности без обычного добавления о переводе на другую работу; на пост Наркома связи, освободившийся со снятием Рыкова, назначили Ягоду; а Ежов возглавил НКВД.

29 сентября и 21 октября 1936 года ЦК распространил по партийным организациям один за другим два циркуляра. Они с одной стороны требовали прекратить необоснованные исключения из партии, а с другой стороны намекали на необходимость проводить больше «обоснованных» исключений. За этими циркулярами последовали статьи в газетах, критикующие ряд местных руководителей за те или иные ошибки, связанные с исключениями из партии.

30 сентября 1936 года Ягода сдал дела Ежову. В тот же день заместителем Наркома внутренних дел был назначен М. Берман, а второй бывший заместитель Ягоды Прокофьев переведен на должность заместителя Наркома водного транспорта. 17 октября еще более зловещий персонаж, толстоликий Фриновский, был также назначен заместителем Наркома внутренних дел. Ни Берман, ни Фриновский не служили до того в самом центральном аппарате НКВД.

Первый возглавлял лагерную администрацию — ГУЛаг, в то время как второй командовал пограничными войсками.

Других перемещений в руководстве НКВД пока что сделано не было. В аппарате этого наркомата некоторое время оставался даже личный помощник Ягоды Буланов. Сохранили свои

посты Молчанов и другие начальники отделов, хотя Ежов привел с собой собственных ставленников из аппарата ЦК, которые должны были до определенного времени «помогать» прежним начальникам и понемногу выживать их.

После этого все силы были вновь брошены на подготовку процесса.

Предварительный сценарий этого процесса объявлял Пятакова и его соучастников просто запасным центром, который хотя и был создан, но не действовал активно. Таким путем делу был придан менее серьезный вид, чем предыдущему. Дело выглядело таким, по которому не ожидалось смертные приговоры. Без сомнения, именно таким методом Сталин добился согласия партийного руководства на доведение дела Пятакова до конца. Можно было надеяться, что этот конец будет более или менее мягким завершением волны преследований.

Но после того, как НКВД несколько недель держался этой линии, все внезапно изменилось. На очередном совещании следователей Молчанов в присутствии Ежова объявил, что следствие должно теперь проводиться в новом направлении. От обвиняемых нужно добиваться признаний, что они готовились к захвату власти и с этой целью действовали вместе с немецкими фашистами.^[579]

С тех пор, как Карл Радек принес покаяние в своей оппозиционной деятельности еще в двадцатые годы, Сталин не мог на него пожаловаться. Радек предавал оппозицию при каждом удобном случае и превозносил Сталина в небывалых выражениях. Он был единственным человеком, который действительно сжег за собой все мосты после выхода из оппозиции; и тем не менее его никогда не принимали всерьез как политика и не ставился даже вопрос о наделении его какой-либо партийной властью.

И поэтому до сих пор не ясно, какие причины побудили Сталина привлечь именно Радека к выдуманному заговору Пятакова. Возможно, дело просто в том, что, пока не было возможности арестовать «правых», т. е. Бухарина, Рыкова и других высокопоставленных руководителей, список звучных имен для очередного процесса казался Сталину недостаточным. А Радек был по крайней мере весьма известным человеком.

Есть сведения, что Сталин беседовал с будущим обвиняемым Сокольниковым и обещал сохранить ему жизнь. Не совсем ясно, почему Сокольников поверил этому обещанию. По всей вероятности, разговор состоялся до казни Зиновьева и других участников первого процесса. Но дело выглядит так, что Сокольников даже после их казни был убежден в том, что обещание останется в силе. Впрочем, особого выбора у Сокольникова не было. Его семья состояла из молодой жены и сына от предыдущего брака, которому едва перевалило за двадцать.^[580]

Немедленно после ареста Радека ему дали очную ставку с Сокольниковым.^[581] Вначале это ни к чему не привело. Тогда Кедров и его подручные применили к Радеку следственный «конвейер».^[582] Первое время он упрямо сопротивлялся и этому.

Причины того, почему Сталин обрек на смерть Пятакова, ясно выявляют ход мыслей самого Сталина. В свое время Пятаков действительно принадлежал к оппозиции и был в ней видным человеком. Но он оставил оппозицию в 1928 году и с тех пор работал вполне лояльно. Троцкисты считали его дезертиром. Сын Троцкого, Седов, случайно встретивший Пятакова в Берлине на Унтер ден Линден, бросил ему в лицо публичное оскорбление.^[583] Пятакову не нравилось сталинское руководство, но он его честно принял. И в случае Пятакова не стоял вопрос о каком-либо его желании овладеть верховным руководством, как можно было думать о Зиновьеве или Каменеве или Бухарине.

Деятельность Пятакова была исключительно ценной для сталинского правительства. По уму и энергии он не знал соперников во всем руководстве и свои недюжинные усилия полностью направлял на выполнение сталинских планов индустриализации.

Что же можно было выдвинуть против Пятакова?

Он был лоялен к сталинскому руководству, но принял бы и любое другое, если бы Сталина свергли; иными словами, Пятаков поддерживал Сталина с оговорками. Он был одним из главных критиков Сталина в двадцатые годы. Тогда он ясно давал понять, что жалеет о возвышении Сталина. Кроме того, каковы бы ни были намерения Пятакова, он обладал всеми качествами руководителя. Ленин назвал его в числе шести наиболее выдающихся работников

партии (всех их, кроме себя самого, Сталин уничтожил). В планах «левых коммунистов», относящихся к 1918 году, Пятаков даже фигурировал как возможный глава правительства вместо Ленина.

Орджоникидзе, как Народный комиссар тяжелой промышленности, полностью зависел от талантов Пятакова и был достаточно благороден, чтобы это открыто признавать. Пятаков был мозгом и главной движущей силой пятилетки, он создавал промышленную базу наперекор всем трудностям, возникавшим из самой сталинской системы. Пятаков работал, невзирая на потерю ценных специалистов в результате нелепых политических преследований, невзирая на невыполнимость пропагандных цифр роста, вопреки подозрительности и неумению администраторов.

28 октября 1936 года было торжественно отмечено пятидесятилетие Орджоникидзе. Его превозносили в печати и на собраниях. «Правда» и «Известия» публиковали сердечные поздравления от правительственных органов, от групп товарищей из всех отраслей хозяйства. Наиболее теплые приветствия были адресованы наркому руководителями тяжелой промышленности. Среди них отсутствовало одно имя — имя только что арестованного Пятакова.

Есть сообщение, что после ареста Пятакова, но еще до того, как об этом аресте было официально объявлено, один директор научно-исследовательского института, знавший об аресте, поспешил с нападками на Пятакова в присутствии Орджоникидзе. Орджоникидзе прервал его, сказав: «Легко нападать на человека, которого здесь нет и который поэтому не может защититься. Подождите, пока Юрий Леонидович вернется».^[584]

Орджоникидзе всячески старался спасти Пятакова. Он дружески посетил его в тюрьме и обещал сделать все возможное, чтобы помочь.^[585]

Главными заложниками Сталина против Пятакова были его жена и ребенок, в то время десяти лет отроду. Пятаков практически разошелся с женой, но они оставались в хороших отношениях. Жену быстро сломили, и она согласилась показывать против Пятакова для того, чтобы спасти ребенка. Другим заложником был ближайший друг и секретарь Пятакова Москалев, у которого тоже была жена и маленькая дочь. Он, понятно, о них думал, но все же согласился давать показания против Пятакова только после того, как настоял на встрече с Аграновым и сказал Агранову, что будет давать показания исключительно в порядке партийной дисциплины.^[586]

«ВРЕДИТЕЛИ» В СИБИРИ

Одна тема, уже вполне укоренившаяся в советской мифологии, не была затронута на процессе Зиновьева, Тема о вредительстве. Было бы трудно действительно обвинять людей, которые либо сидели по тюрьмам, либо были отрезаны от крупной работы, во вредительских актах: ведь убийство может организовать любой, а вредительство должно вестись работниками промышленности, инженерами и, во всяком случае, людьми, имеющими доступ к соответствующему оборудованию.

Теперь же процесс готовился над людьми, почти сплошь занимавшими до ареста посты народных комиссаров, заместителей народных комиссаров, руководителей промышленных комплексов, инженеров и т. д. И чтобы продемонстрировать непрерывность традиций, их особо тщательно связывали с вредителями прошлых периодов.

Понятие вредительства как оружия в политической борьбе вообще нелепо, Само слово содержит намек на действие какого-то деревенского мужика или вообще малограмотную личность, портящую машину. Единственное исключение в сторону реальности мы находим в действиях подпольных групп сопротивления на оккупированных территориях во время войн, где вредительство принимается большинством населения с полной симпатией. В этих обстоятельствах, с одной стороны, вредительство становится возможным в относительно

широких масштабах; а с другой стороны, оно является — или, по крайней мере, выглядит — подлинным вкладом в поражение врага. Однако в мирное время маленький, узкий заговор не может достичь какого-либо политического результата путем вредительства. В любом случае заговорщики, действующие с целью смены политического руководства средствами террора, вряд ли станут расплывать свои силы или подвергаться дополнительному риску разоблачения ради местных или ничего не решающих действий такого типа. Ни одна реальная конспиративная группа в прошлом никогда этого *неделала*. Но нелогичность обвинений никогда не была соображением, способным остановить Сталина; и на протяжении последующих лет вредительство стало поводом к массовому террору на всех уровнях.

Официальное определение вредительства было теперь расширено, и наказания за него установлены более жестокие. «29 ноября 1936 года Вышинский распорядился в месячный срок истребовать и изучить все уголовные дела о крупных пожарах, авариях, выпуске недоброкачественной продукции с целью выявления контрреволюционной вредительской подоплеки этих дел и привлечения виновных к более строгой ответственности».^[587]

Более чем в трех тысячах километрах от Москвы, в Кузбассе, — новом промышленном районе в бассейне реки Оби, — работал ряд восстановленных троцкистов. Они занимали посты, соответствующие их анкетам и условиям восстановления. В Кузбассе возводились огромные заводы — трудом рабочих, в значительной части ссыльных, живших в такой страшной нищете, какая не снилась ни одной промышленной революции прошлого века на капиталистическом западе. В то же время, работая под невероятным давлением, под постоянным требованием результатов любой ценой, местное руководство было вынуждено сквозь пальцы смотреть на технику безопасности. Тяжелые катастрофы происходили постоянно.

23 сентября 1936 года на шахте «Центральная» в Кемерово произошел взрыв. Директор шахты Носков и несколько его подчиненных были немедленно арестованы. А 30 сентября был арестован начальник Носкова Норкин, который с 1932 года возглавлял строительство кемеровского промышленного комбината.^[588] Для НКВД это была наиболее удобная нить, поскольку Норкин был в постоянном контакте с Дробнисом, а через него с Мураловым. Так было «раскрыто» целое «троцкистское гнездо» в Западной Сибири, действовавшее якобы, помимо всего прочего, под руководством заместителя Народного комиссара тяжелой промышленности Пятакова. Чтобы еще облегчить свою задачу, НКВД приказал своему представителю в кемеровском промышленном районе Шестову принять на себя роль провокатора.^[589]

Таким путем стало возможным привить широкой публике мысль о широко распространенном вредительстве еще до того, как Пятаков и остальные были выведены на суд. С 19 до 22 ноября 1936 года в Новосибирске происходил большой судебный процесс, где Военная Коллегия Верховного Суда под председательством Ульриха предъявила обвинения в организации катастроф на шахтах и предприятиях Новосибирска и Кемерово директору шахты «Центральная» Носкову и восьми другим специалистам, в том числе немецкому инженеру Штиглингу. Дополнительно было выдвинуто еще и такое обвинение: вредители-де пытались убить Молотова. Через Дробниса и Шестова (которые фигурировали в качестве «свидетелей») обвиняемым приписали связь с Мураловым и Пятаковым.

Любопытно, что на этом процессе не только прозвучали показания, но даже были предъявлены документы о том, что обвиняемые якобы имели антисоветскую подпольную типографию. Типография, по-видимому, действительно существовала. В подвале, где, как было объявлено, она действовала, следы типографии можно было отыскать даже три года спустя. Однако вся история с типографией была от начала до конца сфабрикована НКВД. Подвал был оборудован соответствующим образом руками заключенных, работавших под охраной и ожидавших казни. Что касается тысяч листовок, будто бы распространявшихся обвиняемыми, то было ясно, что никакого распространения не было; ведь любой человек, захваченный с такой листовкой в руках, был бы немедленно арестован, а в Кемерово никто никогда не слышал о подобных арестах. В известной книге Кравченко приводятся слова одного жителя Кемерово по

этому поводу: «Выходит, заговорщики печатали листовки только для того, чтобы самим читать их на сон грядущий».^[590]

Из всех обвиняемых к смерти не был приговорен только немецкий инженер Штиглинг. Много позже в гестаповской тюрьме в Люблине он заявил, что его тогдашние показания в Кемерово были сплошь фальшивыми и дал понять, что НКВД исторг у него эти показания, шантажируя Штиглинга некоторыми эпизодами из его частной жизни.^[591]

В 1939 году на тот пост в Кемерово, который в свое время занимал Норкин, был назначен В. Кравченко. В его книге «Я выбрал свободу» вскрывается подоплека новосибирского процесса. Несостоятельность обвинений видна хотя бы в том, что, хотя «вредители» были расстреляны, катастрофы продолжались, Кравченко замечает, что если бы инженеры действительно хотели причинить ущерб, то они могли взорвать любое предприятие целиком, разнести его на мелкие кусочки. Более того, в архивах сохранилось немало отчетов казенных руководителей, в свое время посланных ими в Главное управление угольной промышленности Наркомтяжпрома с предупреждениями о невыносимых условиях на предприятиях, условиях, которые не могли не вести к катастрофам.^[592]

Катастрофа на шахте «Центральная» была не единственным случаем, где «бдительные» следователи раскрыли вредительство. 29 октября в Кемерово прибыла комиссия специалистов для расследования причин двух взрывов и других катастроф, имевших место в феврале, марте и апреле 1936 года на различных предприятиях треста по строительству кемеровского комбината. Подобная же группа начала работать над серией пожаров в шахтах близлежащего Прокопьевска — шестьдесят таких пожаров было зарегистрировано до конца 1935 года.^[593] Эксперты обнаружили в этом вредительство. Представленные ими материалы были вполне достаточными, чтобы обвинить западносибирских специалистов.

Хотя эта западносибирская группа обеспечила не меньше семи участников будущего процесса Пятакова, где всего подсудимых было семнадцать, НКВД подготовил еще две группы «вредителей». Одну якобы возглавлял Ратайчак — начальник Главного управления химической промышленности в наркомате Пятакова. Его имя впервые назвал директор горловского комбината азотных удобрений Пушкин, арестованный 22 октября 1936 года в связи с взрывом на комбинате, имевшим место 11 ноября 1935 года. Пушкин немедленно дал все нужные НКВД показания, в том числе на своего руководителя Ратайчака.^[594] Эта группа «вредителей» была еще пополнена провокатором НКВД Граше,^[595] который работал в иностранном отделе Главхимпрома у Ратайчака; тем самым была «установлена связь» с японской разведкой и другими зловещими зарубежными силами.

Третья и последняя группа «вредителей» была еще более важной — она, якобы, выводила из строя железные дороги. В качестве руководителей группы фигурировали трое: заместитель Наркома путей сообщения, старый большевик и изменивший взгляды троцкист Яков Лившиц, заместитель начальника службы движения НКПС Князев, ранее работавший начальником Южно-Уральской дороги, и заместитель начальника службы движения Пермской дороги Турок.

Князев стал давать показания в середине декабря, т. е. позже, чем все другие главные обвиняемые, и, видимо, вся железнодорожная тема была внесена в обвинение позднее других. Железнодорожные вопросы касались, в частности, Серебрякова, поскольку он возглавлял этот наркомат в двадцатые годы; с ним имел связь и Богуславский, которого сделали ответственным за повреждения железнодорожных путей в Западной Сибири.

Обвинение во вредительстве было весьма серьезным. Но, по иронии судьбы, именно такое обвинение было легко преподнести Центральному Комитету под знаком возможного милосердия. Дело в том, что главный «вредитель» на так называемом процессе промпартии профессор Л. Рамзин был не только амнистирован через два года после приговора и покаяния, но был восстановлен в должности, вернул себе расположение правительства и даже получил орден.

Сам процесс в январе 1937 года включал, как отражение этого, один любопытный эпизод. На процессе упоминался инженер Бояршинов, в свое время осужденный в связи с шахтинским процессом, а затем освобожденный и восстановленный. Утверждалось, что Бояршинов стал

«честным советским инженером» и что заговорщики убили его, т. к. он разоблачал применявшиеся ими неправильные методы работы.

Сталин вновь появился в Москве после отдыха 4 ноября 1936 года, на приеме в честь монгольской делегации. С ним было несколько членов Политбюро, включая Микояна и, конечно, Ежова. А на параде 7 ноября все члены Политбюро, как водится, стояли на трибуне Мавзолея.

Лозунги к тогдашней XIX годовщине Октябрьской революции содержали яростные нападки на троцкистско-зиновьевских агентов. Однако в этих лозунгах не было ничего относительно правых уклонистов, что, по-видимому, указывало на еще неполную определенность положения.

Однако сразу затем Сталин сделал первый выпад уже не против бывшего участника оппозиции, как бывало раньше, а против своего верного соратника. Это, вероятно, было началом перехода от уничтожения остатков оппозиции к повальному террору в рядах партийного руководства. Свой выпад Сталин сделал против Павла Постышева, второго секретаря ЦК компартии Украины и кандидата в члены Политбюро.

Постышев работал в Киеве с 1923 года. В 1924 году он стал секретарем Киевского горкома партии, с 1926 по 1930 годы состоял членом Политбюро ЦК компартии Украины, а затем получил перевод в Москву и стал секретарем ЦК. В январе 1933 года Постышева вновь послали на Украину для укрепления партийного аппарата в тогдашней трудной борьбе против крестьянства и украинского национализма, Хотя Косиор и его группа тогда не были смещены, Постышев получил столько же власти и авторитета, сколько имел его теоретически вышестоящий руководитель. В дополнение к должности второго секретаря ЦК КП Украины Постышев был еще назначен первым секретарем Киевского обкома партии.

В течение всего последующего периода вошло в обычай подчеркивать особое старшинство Постышева на Украине.

Скажем, когда направлялись какие-либо поздравления Советскому правительству или Центральному Комитету ВКП[б] или даже Украинскому правительству — во всех таких случаях документы направлялись одному высокому адресату. Но когда дело касалось Центрального Комитета компартии Украины, то ставились имена обоих — Косиора и Постышева.

Например, 6 января 1937 года в «Правде» был опубликован рапорт Наркомата местной промышленности УССР. В Москву, в Центральный Комитет, этот рапорт пошел на имя одного Сталина, а в ЦК КП Украины он был адресован обоим — Косиору и Постышеву. Все это было немного позже осуждено как культ личности, сложившийся в результате попустительства со стороны Постышева и его окружения; «враги, нащупав слабую струнку руководителей, всячески ее использовали».^[596]

Постышев был несколько моложе окружавших его вождей и несколько приятнее выглядел. У него было овальное лицо с высокой зачесанной назад шевелюрой и аккуратно подстриженными усиками. Он был, разумеется, безупречным сталинцем, но лично честным и сравнительно популярным. У него была репутация справедливого человека (в пределах системы, конечно). Как говорят, он в свое время был среди тех, кто сопротивлялся расстрелу Рютина, но искупил этот грех последующей работой в Киеве. Если бы такой человек попал в оппозицию к Сталину, то он представлял бы собой, подобно Кирову, реальную угрозу.

Будучи противником террора, Постышев по-своему толковал циркуляры Центрального Комитета об исключениях из партии. Он исключал провокаторов и клеветников, оставляя в партии их жертвы. Так, он исключил из киевской партийной организации доносчицу Николаенко, которая причиняла людям тяжелые неприятности в течение целого года.^[597] Совершенно ясно, что это исключение полностью противоречило духу террора и особенно решениям Центрального Комитета от 29 сентября и 21 октября 1936 года. Возможно даже, что решения эти были направлены против Постышева. По мере того, как развивалась ежовщина, именно доносы подобных типов давали НКВД возможность хватать руководителей партийных организаций. Несколько позже утверждалось, что в Киеве троцкисты сумели проникнуть на

руководящие должности.^[598] Таким образом, поведение Постышева было довольно ясно обозначено как направленное против системы — еще до того, как на него обрушился удар. В ноябре 1936 года, в поисках повода, Сталин поднял дело провокаторши Николаенко. Центральный Комитет ВКП[б] рассмотрел апелляцию Николаенко против исключения из партии и выразил ей доверие.^[599]

Где-то около этого времени и мог состояться один из необъявленных пленумов ЦК, если такие пленумы вообще имели место. Во всяком случае, 23 ноября 1936 года в Москве находились все члены Политбюро, включая периферийных. Вместе со «знатными людьми», съехавшимися со всей страны, они участвовали в утверждении новой Конституции.

Выше в этой главе мы ссылались на утверждение Авторханова, что на этом пленуме не участвовал Орджоникидзе. Теперь мы знаем, уже из советского источника,^[600] что в начале ноября у Орджоникидзе был приступ грудной жабы, и это придает дополнительный вес рассказу Авторханова. К тому же, в своих показаниях на процессе над Бухариным и другими, подсудимый Иванов сослался на некий пленум ЦК, имевший место в декабре или ноябре 1936 года.^[601]

Есть доводы в пользу того, что пленум так или иначе должен был быть созван по формальным основаниям. Ведь после предыдущего пленума, состоявшегося в июне 1936 года, прошло так называемое «всенародное обсуждение» проекта новой Конституции. В ходе обсуждения были предложены различные поправки и многие из них были приняты и включены в окончательный текст, утвержденный в ноябре съездом Советов. Логически рассуждая, можно предположить, что этот окончательный текст должен был быть предварительно утвержден пленумом ЦК. Однако, конечно, такой довод не вполне убедителен.

Принятие новой Конституции прошло в обстановке торжественных речей, оваций и широкой пропагандной кампании в прессе. Кульминационным пунктом всего этого была речь Сталина 25 ноября. В этой речи Сталин обстоятельно разбирал вопрос о гарантиях демократии, о свободе личности и о подчинении всей деятельности государства воле народа.

Состоялся в то время пленум или не состоялся, но Политбюро заседало наверняка. Поскольку большинство обвиняемых еще не признались, позиция Сталина могла быть до известной степени уязвимой. С другой стороны

Это может рассматриваться как признак некоего соглашения на верхах относительно будущего процесса, — возможно, вопреки отдельным руководителям. Похоже, во всяком случае, что Орджоникидзе получил от Сталина обещание не трогать заложников по делу Пятакова и сохранить жизнь ему самому. Затем Орджоникидзе навестил Пятакова в тюрьме и, по-видимому, уговорил его принять полное участие в процессе, так как ничего больше сделать было нельзя.^[602] И Пятаков сдался. К 4 декабря он начал давать показания. В тот же день дал свое первое свидетельство и Радек. Он решил сдать на том же условии, что и Сокольников, — под личную гарантию Сталина. Некоторое время Сталин отказывался его принимать, но в конце концов, как говорят, самолично посетил Лубянскую тюрьму и имел долгий разговор с Карлом Радеком в присутствии Ежова. После этого Радек стал лучшим помощником следствия и даже участвовал в переработке плана, а лучше сказать сценария процесса.^[603] Сдался Муралов — он держался твердо, но под влиянием Радека стал «признаваться» на другой же день. В это самое время стал давать показания и Норкин. *К январю* следственное дело легли сотни страниц показаний, полученных от всех будущих подсудимых.

Но еще до того, 20 декабря 1936 года, Сталин дал торжественный обед для узкого круга руководителей НКВД в связи с годовщиной основания органов безопасности. Присутствовали Ежов, Фриновский, Паукер и другие. Вскоре о том, что произошло на обеде, стало известно многим сотрудникам НКВД. Когда все основательно напились, Паукер на потеху Сталину стал изображать, как вел себя Зиновьев, когда его тащили на казнь. Два офицера НКВД исполняли роль надзирателей, а Паукер играл Зиновьева. Он упирался, повисал на руках у офицеров, стонал и гримасничал, затем упал на колени и, хватая офицеров за сапоги, выкрикивал: «Ради Бога, товарищи, позовите Иосифа Виссарионовича!».

Сталин громко хохотал, и Паукер повторил представление. На этот раз Сталин смеялся еще сильнее. Тогда Паукер ввел новый элемент, изображая, как Зиновьев в последний момент поднял руки и обратился с молитвой к еврейскому Богу: «Услышь, Израиль, наш Бог есть Бог единый!». Тут Сталин совершенно задохнулся от смеха и дал знак Паукеру прекратить представление,^[604]

Сталинимел все основания быть довольным. Ведь органы безопасности почти закончили подготовку второго судебного спектакля. И он отдал приказ действовать в направлении, которое было заблокировано прошлой осенью. А именно вовлечь в «заговор» Бухарина и Рыкова.

16 января 1937 года имя Бухарина как главного редактора в последний раз появилось в «Известиях». Примерно в это же время Радеку было велено назвать в показаниях Бухарина как соучастника, и после некоторого колебания он это сделал. Теперь стало возможно провести в жизнь план наступления на «правых». В самый первый день процесса над Пятаковым и другими, 23 января, была упомянута группа «заговорщиков» во главе с Бухариным, Рыковым и Томским. К тому времени Сталин был уже полностью готов подавить любое сопротивление своих более умеренных сторонников.

Вмешательству в область полномочий Постышева, начавшемуся в связи с делом Николаенко, был придан формальный характер в датированной 13 января 1937 года (но не опубликованной) резолюции ЦК ВКП[б], осудившей неудовлетворительную работу киевской партийной организации и ошибки украинского ЦК в целом.

О характере обвинений, выдвинутых против Постышева, можно судить по резолюции, принятой на февральско-мартовском пленуме 1937 г., в которой говорится о «фактах вопиющей запущенности партийно-политической работы в Азово-Черноморском крайкоме, Киевском обкоме и ЦК КП[б]У» (см. «КПСС в резолюциях», 7-е изд., т. II, стр. 835) и «примерах неправильного руководства, вскрытых в Киевском обкоме и Азово-Черноморском крае...» (Там же, стр. 836). Те же обвинения были повторены в мае 1937 г. на XIII съезде КП[б]У.^[605]

Постышев выразил свое несогласие с резолюцией 13 января. После этого в Киев был немедленно послан Каганович, чтобы выправить положение. Как секретарь ЦК ВКП[б], он срочно созвал пленум Киевского обкома партии.^[606] 16 января 1937 года Каганович добился снятия Постышева с поста первого секретаря киевского обкома, причем было сказано, что обязанности Постышева как второго секретаря ЦК КП[б]У были слишком многообразны, чтобы совмещать эту работу с должностью секретаря партийной организации в Киеве. Объяснение было явно лживым: действительно, когда в 1938 году первым секретарем ЦК украинской компартии стал Хрущев, он возглавлял и киевскую партийную организацию без всяких видимых трудностей.

Этот эпизод с Постышевым был не более, чем типичным первым шагом Сталина против намеченной жертвы. А тем временем заканчивались последние приготовления к очередному показательному процессу — над Пятаковым и другими.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

23 января 1937 года среди пышных колонн Октябрьского зала Дома Союзов началась еще одна отвратительная инсценировка. Стоял трескучий мороз, в зале было темновато и мрачно. Вскоре после полудня суд в составе Ульриха, Матулевича и диввоенюриста Рычкова, заменившего Иону Никитченко, занял свои места. Вышинский сидел там же, где во время процесса Зиновьева-Каменева, — за столом слева. Бойцы НКВД были в зимней форме — длинных шинелях и шлемах с наушниками.

Подсудимые были теперь другого сорта, чем те, которых судили в этом же зале и расстреляли в прошлом августе. Ведь в то время удар обрушился, в числе прочих, на подлинных соперников Сталина — на Зиновьева, Каменева. Нынешние обвиняемые не могли бросить никакого вызова руководству. Но сами по себе они были фигурами внушительными.

Пятаков никогда не входил в Политбюро, но, как мы видели, долгое время был выдающейся и уважаемой фигурой в партии. Сокольников, в прошлом кандидат в члены Политбюро, был одним из серьезнейших и уважаемых политиков. Серебряков, в недавнем прошлом секретарь ЦК, отнюдь не являлся мелкой сошкой. А Радек, по крайней мере, был хорошо известен широкой публике.

Цели нового процесса не были такими ясными и очевидными, как цели предыдущего. Причины же его довольно просты. Во-первых, месть. Большинство бывших ведущих троцкистов было теперь уничтожено, но месть, по идее Сталина, должна была совмещаться мерами предосторожности и превентивными действиями на будущее. Даже если, по обычным человеческим представлениям, непосредственного повода к процессу и не было, то окончательная чистка представлялась нужной Сталину, всегда верившему, что только мертвые не кусаются и что лучше жить в безопасности, чем в тревоге,

Кроме того, Сталин временно не мог поживиться более крупной добычей — Бухариным и «правыми». Процесс, таким

образом, был лишь бледной копией того, о котором он мечтал. Но в то же время Сталин упорно работал в намеченном направлении. И процесс Пятакова давал ему в руки козырь — последовательность. Этот процесс должен был быть использован — и фактически был использован — для «вскрытия заговора» бухаринцев.

По рассмотрении всех этих мотивов остается одна небольшая загадка: почему к делу не был привлечен Угланов? Ведь еще 21 августа 1936 года было сказано, что по его делу ведется следствие. Его имя не появилось вместе с Бухариным и Рыковым, «реабилитированными» в сентябре. И вот теперь его не было на суде. Сталину было бы в высшей степени выгодно привлечь к суду в январе 1937 года такого видного «правого», как Угланов, чтобы перекинуть своего рода мост к Бухарину и другим. Даже если предположить, что Ягода покрывал Угланова, то после снятия Ягоды у Ежова было достаточно времени, чтобы подготовить Угланова к процессу, открывшемуся 23 января 1937 года. Единственное объяснение тайны заключается в том, что Угланов не сдался, что он не согласился говорить.

Обвиняемые на январском процессе были обозначены просто как «антисоветский троцкистский центр». Среди них не было представителей никакой другой группы или фракции — в отличие от процесса 1936 года над «троцкистско-зиновьевским террористическим центром» или последующего суда над «антисоветским право-троцкистским блоком». Однако на предыдущем процессе Зиновьева-Каменева троцкистская сторона дела выглядела очень неубедительно. Теперь Радека заставили дать следующие показания:

«Если возьмете состав старого центра, то со стороны троцкистов там не было ни одного из старых политических руководителей. Были — Смирнов, который является больше организатором, чем политическим руководителем, Мрачковский — солдат и боевик, и Тер-Ваганян — пропагандист».^[607]

Поскольку под рукой не было настоящих троцкистов, как в свое время были подлинные зиновьевцы, а позже истинные правые, пришлось удовольствоваться более или менее известными бывшими троцкистами.

Обвиняемые на процессе Пятакова отличались от их предшественников и в других отношениях. Тогда, в 1936 году, говорилось о «центре», состоявшем из семи человек, окруженном различными «заговорщиками». На сей раз «центр», как было сказано, состоял из четырех человек —

Пятакова, Радека, Серебрякова и Сокольникова. Радек и Сокольников обвинялись в менее серьезных преступлениях, чем другие двое. Обвинение против Пятакова и Серебрякова гласило, что они организовали три главные вредительские группы (в числе десятков других, тоже будто бы ими организованных): железнодорожную подрывную организацию, возглавляемую Лившицем; «западносибирский антисоветский троцкистский центр» в Новосибирске, состоявший из Муралова, Богуславского и Дробниса и руководивший действиями различных промышленных вредителей в этом районе; и группу из трех вредителей в химической промышленности, непосредственно подчиненную Пятакову. Впрочем, согласно

обвинительному заключению, специализация заговорщиков была не очень четкой: например, железнодорожный вредитель Князев был также японским шпионом, а вредители на сибирских шахтах выступали и в качестве организаторов покушений на всех членов Политбюро, посещавших данные промышленные районы.

Как мы уже видели, «заговорщики второго ранга» на этом процессе были гораздо более внушительными фигурами, чем их жалкие эквиваленты на прошлом, зиновьевско-каменевском процессе. Все вместе взятые, они составляли крупную и совсем неподдельную группу старых большевиков, поддерживавших Троцкого во внутрипартийной борьбе после смерти Ленина.

Обвинительное заключение на процессе Пятакова тоже резко отличалось от соответствующего документа, зачитанного в том же зале в августе 1936 года. Тогда это было просто обвинение в терроризме. И в показаниях и в речи Вышинского тогда отмечалось, что обвиняемые не имели никакой политической линии, а стремились только к захвату власти и к устранению Сталина. Но такие цели могли быть довольно популярны и в народе,^[608] и поэтому вскоре после казни осужденных в 1936 году газеты начали писать о том, что Зиновьев на самом деле имел политическую программу — он собирался реставрировать капитализм, но, естественно, старался это скрыть.^[609] На февральско-мартовском пленуме ЦК в своем заключительном слове 3 марта 1937 года Сталин говорил следующее:

«На судебном процессе 1936 года, если вспомните, Каменев и Зиновьев решительно отрицали наличие у них какой-либо политической платформы. У них была полная возможность развернуть на судебном процессе свою политическую платформу. Однако они этого не сделали, заявив, что у них нет никакой политической платформы. Не может быть сомнения, что оба они лгали, отрицая наличие у них платформы».^[610]

Теперь эта тема была ярко выражена в обвинительном заключении. Обвиняемые были якобы намерены отвергнуть индустриализацию и коллективизацию страны, они якобы рассчитывали на поддержку немецкого и японского правительств. Они будто бы обещали сделать территориальные уступки Германии, дать доступ в страну германскому капиталу, а в случае войны с Германией проводить вредительство в промышленности и на фронте. Это все, дескать, было согласовано во время встречи Троцкого и Рудольфа Гесса.

Троцкий якобы намекнул также на желательность поражения в войне, ибо будто бы писал Радеку следующее: «Надо признать, что вопрос о власти реальнее всего встанет перед блоком только в результате поражения СССР в войне. К этому блок должен энергично готовиться...».^[611]

В ходе судебных заседаний говорилось также о шпионаже в пользу Германии и Японии. Кроме того, так же как и в деле Зиновьева, фигурирует ряд террористических групп, якобы организованных «в Москве, Ленинграде, Киеве, Ростове, Сочи, Новосибирске и других городах».^[612] Была будто бы предпринята попытка покушения на Молотова путем организации автомобильной катастрофы в Прокопьевске в 1934 году. Однако практическая деятельность этих групп не была, по обвинительному заключению, ограничена подготовкой покушений. В дополнение к этому они еще занимались организацией всевозможных аварий в промышленности и вообще вредительством.

Поскольку идея террора против руководителей могла быть популярна и не вызывать ненависти к обвиняемым, обвинительное заключение содержало ряд пунктов, специально рассчитанных на то, чтобы настроить общественное мнение против подсудимых. Например, цитировалось показание Князева: «Особенно резко ставился японской разведкой вопрос о применении бактериологических средств в момент войны, с целью заражения острозаразными бактериями подаваемых под войска эшелонов, а также пунктов питания и санобработки войск».^[613]

Хотя такие обвинения налагали на обвиняемых ответственность за очень неприятные действия, они имели тот недостаток, что выглядели менее убедительными, чем обвинения прошлого, 1936-го года. Хотя суд над Зиновьевым и другими был полон очевидных фальшивок, там, по крайней мере, можно было говорить о некоем подобии действительного дела, хотя и приукрашенного НКВД. По меньшей мере не выглядело диким то обстоятельство, что

оппозиционеры могли убить Кирова; еще менее странным выглядело их желание убить Сталина. Обвинения же на этом процессе выглядели исключительно неправдоподобными с любой точки зрения. Вредительство со стороны Пятакова и его помощников — это звучало совершенно неубедительно. Более того, это было практически несовместимо с обвинениями в терроризме. Как мы уже говорили, заговор с целью свергнуть правительство средствами террора вряд ли стал бы распылять энергию своих участников или рисковать разоблачением, создавая сеть вредителей на шахтах и железных дорогах — якобы для того, чтобы ослабить экономику и посеять недоверие к правительству.

Однако если не в политическом, то в экономическом отношении можно отыскать известный здравый смысл в подборе Сталиным жертв для этого процесса. Дело в том, что ведь катастрофы и ошибки действительно происходили, и нужны были виноватые, козлы отпущения. Можно было доказывать, что работники типа Лившица были расстреляны для предостережения нерадивых начальников против дальнейших аварий. Но даже такой своеобразный «здравый смысл» имеет свои пределы. Расстреливать лучших организаторов хозяйства с тем, чтобы второразрядные организаторы сделали от страха лучше, чем они были до сих пор, — политика сомнительная. Правда, в конце концов в Советском Союзе нашлись кадры компетентных администраторов, способных работать под угрозой ликвидации в любой момент. Однако нет сомнения, что руководители, работая в таких обстоятельствах, не могли полностью развернуть свои способности, и страна до сих пор лишена талантливых руководителей, работающих в полную силу.

Конечно, тема вредительства была уже не новой. Обвинять во вредительстве — то была старая традиция, идущая от Шахтинского процесса — и, действительно, в показаниях подчеркивается, что прошлое поколение вредителей было как-то связано с новым. Использовалась также техника, применявшаяся на Шахтинском процессе и на суде над инженерами фирмы «Метрополитен-Виккерс». А именно, в показаниях содержалось огромное количество путаных технических подробностей. В результате суд над нынешними семнадцатью обвиняемыми занял семь дней — против пяти дней, которые понадобились для процесса над шестнадцатью обвиняемыми по делу Зиновьева-Каменева.

На январском процессе 1937 года обвиняемые появлялись в более логичном порядке, чем в прошлый раз. Сперва четверо руководителей, потом семеро западно-сибирских «террористов и вредителей», после них трое железнодорожников и, наконец, еще тройка, действовавшая в химической промышленности.

Первым был Пятаков. Вид у него был все еще интеллигентный и порядочный, но он явно постарел, был худ и бледен.

Его показания оставались в определенных пределах. Принимая на себя ответственность за формирование террористических и вредительских групп, за планирование террористических и диверсионных актов, предполагавшихся на будущее, Пятаков в то же время не признавался ни в каком участии в актах насилия и особенно отрицал прямую связь с заговорщиками. После значительных «разоблачений» по поводу политических связей якобы существовавшего заговора он перешел к показаниям об организации вредительства. Но его «вредительские акты» были все время такого типа: «На Украине в основном работал Логинов и группа связанных с ним лиц в области коксовой промышленности. Их работа состояла в основном в вводе в эксплуатацию неготовых коксовых печей и потом во всяческой задержке строительства очень ценных и очень важных частей коксохимической промышленности. Вводили печи без использования всех тех, очень ценных продуктов, которые получают при коксовании; тем самым огромные богатства обесценивались».^[614] «... Марьясин проводил вредительскую работу по следующим направлениям. Прежде всего направлял средства на ненужное накопление материалов, оборудования и прочего. Я думаю, что к началу 1936 года там находилось в омертвленном состоянии материалов миллионов на 50... За последнее время вредительство приобрело новые формы. Несмотря на то, что завод с 2-3-летним опозданием начал переходить к эксплуатационному периоду, Марьясин создал невыносимые условия работы, создал склоку, одним словом, всячески затруднял эксплуатационную работу».^[615] «Прежде всего был составлен

совершенно неправильный план развития военно-химической промышленности...».^[616] «... несмотря на то, что наша страна изобилует солью, и сырья для соды сколько угодно, и производство соды известно хорошо, в стране дефицит соды. Задерживалось строительство новых содовых заводов».^[617]

Иначе говоря, Пятаков признавал совершенно очевидные действия, проистекавшие от халатности или плохого планирования — и, действительно, его подчиненные могли допускать такие ошибки.

Зато определенные обвинения он полностью отрицал:

Вышинский: Обвиняемый Пятаков, Вы согласны с тем, что сказал Шестов?

Пятаков: Шестов, возможно, и говорил с кем-нибудь, но только не со мной. Он говорил, что некто с карандашом в руках подсчитывал стоимость руды. Такого разговора со мной не было.^[618]

Еще эпизод в том же духе:

Вышинский: Теперь вы припоминаете разговор с Ратайчаком о шпионаже?

Пятаков: Нет, я это отрицаю. *Вышинский:* А с Логиновым? *Пятаков:* Это я тоже отрицаю.

Вышинский: Но эти члены вашей организации были связаны с иностранными разведками?

Пятаков: Что касается факта существования таких связей, я этого не отрицаю; но что я знал, что были установлены...^[619]

Пятаков фразы не договорил. Неясно, принял ли он такую линию поведения на процессе самостоятельно (как за пять месяцев до него сделал И. Н. Смирнов на процессе Зиновьева-Каменева) или ему было разрешено избегать ответственности за наиболее острые обвинения, чтобы дать ему (и Орджоникидзе) подумать, что его преступления не поведут к смертной казни.

Даже в том, что касалось его отношений с Троцким, Пятаков сделал определенные туманные оговорки, как бы для того, чтобы посеять недоверие к своим показаниям. Вот, например:

Вышинский: В разговоре с Троцким в декабре 1935 года он изложил вам свои установки. Вы их восприняли как директиву или просто как ни к чему не обязывающий разговор?

Пятаков: Конечно, как директиву.

Вышинский: Следовательно, можно считать, что вы согласились с этими установками?

Пятаков: Можно считать, что я их выполнил. *Вышинский:* И выполнили их.

Пятаков: Не «и выполнил их», а «выполнил их», *Вышинский:* Здесь нет никакой разницы.

Пятаков: Для меня разница есть. *Вышинский:* В чем?

Пятаков: Что касается действий, особенно уголовно наказуемых действий, разницы нет никакой.^[620]

Упомянутая в приведенном отрывке из стенограммы встреча Пятакова с Троцким была центральным пунктом всего обвинения. На этой встрече Троцкий якобы изложил полную программу для заговорщиков — ей отведено шесть полных страниц в английском издании судебного отчета и соответственно три в сокращенном русском издании.^[621] Но трудность состояла в том, что Троцкий был в Норвегии, а Пятаков никогда не ездил дальше Берлина, где в декабре 1935 года выполнял поручение советского правительства. Его сколько-нибудь длительное отсутствие во время работы в Берлине было бы, разумеется, замечено, поэтому его показания на процессе о встрече с Троцким гласили примерно следующее. В Берлинском зоопарке он встретил агента Троцкого, который подготовил ему полет в Норвегию. Утром 12 декабря Пятаков якобы взлетел на самолете с аэродрома Темпельгоф с фальшивым немецким паспортом, приземлился на аэродроме в Осло в 3 часа пополудни, добрался на машине до дома Троцкого и там вел конспиративные переговоры (в которых Троцкий впервые открыл ему, что встречал фашистского руководителя Гесса и договорился с ним о сотрудничестве во время войны и мира).

Эта история была немедленно разоблачена как фальшивка. Сталин, лично настоявший на прямом вовлечении Троцкого в заговор, — от чего и попала в сценарий процесса встреча Троцкого с Пятаковым,^[622] — вновь столкнулся с трудностями фабрикация правдоподобного события, происшедшего за границей. 25 января 1937 года норвежская газета «Афтенпостен»

опубликовала сообщение, что ни один гражданский самолет не приземлялся на аэродроме Хеллер в Осло на протяжении всего декабря 1935 года. 29 января норвежская социал-демократическая газета «Арбейдербладет» после дальнейшего расследования установила, что вообще никакой самолет не приземлялся на этом аэродроме между сентябрем 1935 и маем 1936 года.

В свою очередь Троцкий теперь опубликовал требование, чтобы Пятакова спросили обо всех деталях этого якобы имевшего место полета, включая имя, на которое был выписан ему фальшивый паспорт, ибо по этому имени можно было легко сделать проверку въезда в Норвегию. Троцкий бросил и более серьезный вызов Сталину: он написал, что Сталин может потребовать у норвежского правительства высылки Троцкого из страны, если факт прилета к нему Пятакова будет юридически установлен норвежским судом.

Эту грубую фальсификацию было решительно нечем прикрыть. В руководящих партийных кругах скоро заговорили о норвежских разоблачениях.

Бывший посол СССР в Болгарии Ф. Ф. Раскольников, в нашумевшем в свое время заявлении, обвиняет Сталина между прочим в том, что он отлично знал, что Пятаков не летал в Осло.^[623]

В конце процесса, 27 января, Вышинский сделал исключительно слабую попытку противопоставить хоть что-нибудь неблагоприятной норвежской истории:

Вышинский: Больше у меня вопросов нет. Ходатайство к суду: Я интересовался этим обстоятельством и просил Народный комиссариат иностранных дел обеспечить меня справкой, ибо я хотел проверить показания Пятакова и с этой стороны. Я получил официальную справку, которую прошу приобщить к делу. *(Читает.)*

«Консульский отдел Народного комиссариата иностранных дел настоящим доводит до сведения прокурора СССР, что, согласно полученной полпредством СССР в Норвегии официальной справке, аэродром в Хеллере, около Осло, принимает круглый год, согласно международных правил, аэропланы других стран, и что прилет и отлет аэропланов возможны и в зимние месяцы». (Пятакову.) Это было в декабре?

Пятаков: Так точно.^[624]

Таким образом, еще одно советское учреждение «удостоверило» не факт, а просто техническую возможность полета Пятакова. Можно было думать, что один этот ужасающий провал дискредитирует в глазах иностранцев весь процесс. Но любой, кто на это надеялся, вскоре мог обнаружить, что расчеты Сталина на политическую наивность и доверчивость других имели более прочный фундамент, чем казалось.

Утром 24 января на суде устроил яркое представление Радек, который, как уже упомянуто, принимал участие в составлении сценария процесса. В то время как другие обвиняемые говорили вяло и угрюмо, он вложил в показания подлинные чувства. Радек развернул в своем выступлении историю троцкизма после 1927 года и сложные связи между обвиняемыми на процессе и расстрелянными зиновьевцами. Он затем перечислил целый ряд новых террористических групп, возвел обвинение на Бухарина, говорил о «бонапартистском» режиме, который Троцкий намеревался установить под фашистским контролем, и добавил, что Троцкий был готов пожертвовать Украиной и Дальний Восток агрессорам.

Радек дал подходящее объяснение запоздалым троцкистским призывам к партийной демократии: «Люди начинают спорить о демократии только когда они расходятся по принципиальным вопросам. Когда люди соглашаются друг с другом, они не чувствуют нужды в широкой демократии, это ясно без слов».^[625]

Несмотря на свою готовность сотрудничать с обвинением, Радек сделал несколько нелогичных выпадов против обвинительного заключения, хотя и в туманной манере. Он восклицал, например: «Просто — „за здорово живешь“, для прекрасных глаз Троцкого — страна должна возвращаться к капитализму!».^[626] Фактически это означало, что обвинение в желании реставрировать капитализм только для того, чтобы привести Троцкого к власти, было по меньшей мере странным. Особенно если обвинение это касалось, по словам самого Радека, «таких людей, как Яков Лившиц или Серебряков, у которых за плечами

десятилетия революционной работы»,^[627] чей духовный строй должен был быть полностью подорван, если они могли «опуститься до вредительства» и «действовать по инструкциям классового врага».

В целом, Радек был наиболее полезным для суда и убедительным обвиняемым. Тем не менее, когда он закончил основную часть своих показаний, Вышинский стал его заирать и получил несколько острых отповедей вроде «Вы глубокий знаток человеческих душ, но я тем не менее изложу мои мысли собственными словами».^[628] Или еще:

Вышинский: Вы это приняли? И вы вели этот разговор?

Радек: Вы это *узнали* от меня, значит я и вел разговор.^[629]

В конце концов Вышинский напомнил Радеку, что тот не только не донес о заговоре, но также отказывался давать показания в течение трех месяцев, и сказал: «Не ставит ли это под сомнение то, что вы сказали относительно ваших колебаний и дурных предчувствий?».

Радек пришел в раздражение и выпалил то, что было слабейшим пунктом всего дела:

«Да, если вы игнорируете тот факт, что узнали о программке и об инструкциях Троцкого только от меня, — тогда, конечно, это бросает сомнение на то, что я сказал».^[630]

В ходе показаний Радека ему было велено заявить, что в 1935 году «Виталий Путна встречался со мной, передав одну просьбу Тухачевского».^[631]

Так и записано по меньшей мере в английском издании стенографического отчета о процессе, хотя комкора Путна звали не Виталий, а Витовт. Но это был уже второй намек на участие комкора в некоей преступной деятельности. Однако гораздо более поразительным было упоминание имени Тухачевского, хотя и в невинном контексте. Москва загудела, восприняв это как первый удар грома над головой знаменитого маршала.

Впрочем, на вечернем заседании Радек снова был вызван и в ходе длительного диалога с Вышинским отвел какие-либо возможные подозрения от Тухачевского. Тем не менее, само упоминание этого имени прозвучало угрозой и было таковой воспринято.

В тот же день был вызван для допроса Сокольников. Он мало что имел добавить, разве только назвал несколько новых террористических групп. Из его слов следовало, что он имел весьма отдаленную связь с террором и вредительством, и тут, в отличие от допроса Пятакова, Вышинский не донимал его вопросами с целью установить обратное. Главным, так сказать, вкладом Сокольникова было его замечание относительно предыдущего поколения вредителей:

Сокольников: ... Указывалось на то, чтобы найти бывшие вредительские организации среди специалистов.

Вышинский: Среди бывших вредителей периода Промпартии, Шахтинского процесса?^[632] Какая же по отношению к ним была принята линия?

Сокольников; Троцкистская линия, позволяющая вредительским группам блока устанавливать контакт с теми, бывшими группами.^[633]

Последовавший за Сокольниковым Серебряков «разоблачил» ряд руководителей железных дорог и сообщил, что организация железнодорожного транспорта до назначения Кагановича наркомом в 1935 году была равнозначна намеренному вредительству. В остальном он лишь добавил сведения еще о некоторых террористических группах — сведения, пополнившие и без того уже большой запас.

25 и 26 января проходил допрос «сибиряков». Их показания, с одной стороны, концентрировались на связях между ними и Пятаковым, т. е. «Московским центром»; а с другой стороны — на подробностях задуманных ими катастроф и взрывов.

Дробнис начал показания с обычных примеров ошибочного планирования в промышленности:

«Одна из вредительских задач в плане — это распыление средств по второстепенным мероприятиям. Второе — это торможение строительства в таком направлении, чтобы важные объекты не ввести в эксплуатацию в сроки, указанные правительством.

Вышинский: Главным образом по предприятиям оборонного значения?

Дробнис: Да. Далее частью перепроектировки, задержка расчетов с проектирующими организациями, из-за чего проекты получались очень поздно. Это, само собой понятно, задерживало темпы и ход строительства.

В действующих предприятиях по коксо-химическому заводу сознательно был допущен ряд недоделок, которые очень серьезно отражались на работе завода, понижали качество продукции, давали кокс очень высокой влажности и зольности...».^[634]

«... Кемеровская районная электростанция была приведена в такое состояние, что если было бы необходимо для вредительских целей, если бы последовал приказ, можно было бы затопить угольную шахту. К тому же поставлялся уголь, технически непригодный для электростанции, и это вело к взрывам. Все это делалось намеренно».^[635]

Потом Дробнис перешел к случаю на шахте «Центральная». И после угроз и давления со стороны Вышинского закончил признанием, что заговорщики надеялись погубить взрывами как можно больше человеческих жизней. Хотя во время катастрофы Дробнис уже находился в тюрьме, он принял на себя ответственность.

Агент НКВД Шестов подтвердил показания Сокольников и других «вредителей». Он сделал многозначительное предупреждение всем инженерам в стране:

«... хотя Овсяников и не был членом нашей организации, он представлял собой такого руководителя, который все передоверил инженерам и ничего не делал сам; его легко было обратить в троцкизм».^[636]

Если верить признаниям Шестова, то установленная им система проходки в Прокопьевске имела результатом не менее шестидесяти подземных пожаров к концу 1935 года.^[637]

Шестов объявил, что невыносимая жизнь рабочих была следствием не правительственной, а троцкистской политики:

«Была дана директива вымотать нервы у рабочих. Прежде чем рабочий дойдет до места работы, он должен двести матов пустить по адресу руководства шахты. Создавались невозможные условия работы. Не только стахановскими методами, но и обычными методами невозможно было нормально работать».^[638]

Такие же признания во вредительстве дали Норкин и Строилов. Норкин сказал, что «в соответствии с этим мной был задуман вывод из строя нашей ГРЭС путем взрывов. В феврале 1936 года было три взрыва».^[639] А «чтобы при больших капиталовложениях иметь меньше эффекта» он старался «капиталовложения направлять не на основные объекты, а на менее важные».^[640] Когда же Норкина спросили о мотивах его признаний, он попытался намекнуть на истинное положение вещей:

Вышинский: А потом почему решили отказаться?

Норкин: Потому что есть предел всему.

Вышинский: Может быть на вас нажали?

Норкин: Меня спрашивали, разоблачали, были очные ставки.

Вышинский: Как вы вообще содержались, условия камерного содержания?

Норкин: Очень хорошо. Вы спрашиваете о внешнем давлении?

Вышинский: Да.^[641]

Показания Строилова интересны главным образом тем, что они отразили сталинскую точку зрения на сочинения Троцкого:

Строилов: Я сказал, что я читал книгу Троцкого «Моя жизнь». Он спросил меня, понравилась ли мне эта книга. Я ответил, что с литературной точки зрения он как журналист пишет хорошо, но книга не понравилась мне потому, что в ней бесчисленное количество «я».^[642]

В конце допроса Строилова Вышинский, который, как мы помним, не очень старался проверить историю с аэродромом в Осло, пустился в долгие разговоры, чтобы установить реальность одного ничтожного контакта, якобы имевшего место у Строилова в Берлине:

«Тов. Вышинский просит суд приобщить к делу справку отеля „Савой“ о том, что Берг Г. В., германский подданный, коммерсант, жил в отеле „Савой“ с 1 по 15 декабря 1930 года.

Номер телефона комнаты, занимавшейся Бергом, совпадает с номером, записанным в книжке Строилова».^[643]

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, после чего Вышинский проделал то же самое с адресом в Берлине, куда якобы ходил Строилов:

Вышинский: Я прошу суд приобщить к делу этот берлинский адрес и номер телефона, взятые из вот этой официальной публикации (вручает суду большую книгу в красном переплете). На странице 206, под номером 8563 значится имя Вюстера, Армштрассе и адрес этого Вюстера, который упоминается также в записной книжке Строилова.^[644]

Суд удовлетворил и эту просьбу и телефонно-адресная книга Германского Рейха, издание седьмое, том второй, по сей день составляет часть громадного досье, которое где-то в советских государственных архивах собирает пыль для будущих поколений.

Муралов, так же как и Дробнис, во время взрыва на шахте «Центральная» сидел в тюрьме. Но в отличие от Дробниса он отказался взять на себя ответственность за катастрофу.

Председательствующий: Знали ли вы, что на кемеровских угольных шахтах троцкисты загазовали штреки и создали абсолютно невыносимые условия труда?

Муралов: Дробнис работал на химзаводе — он находится под руководством одного треста, а шахтами руководит другой трест.

Председательствующий: Я понимаю. Я говорю о кемеровской шахте.

Муралов: Я не знал, что они взяли курс на загазовку шахты «Центральная», и Дробнис мне этого не докладывал. Это случилось, когда я уже был в тюрьме.

Председательствующий: В ваших показаниях содержится следующая фраза: «На кемеровской шахте троцкисты загазовали штреки и создали невыносимые условия для рабочих».

Муралов: Я узнал об этом, когда был в тюрьме, как о результате всей подрывной работы троцкистов.^[645]

На Муралове лежала якобы ответственность за организацию покушений, В его показаниях обнаруживается одно из самых слабых мест всей легенды:

Вышинский: А не говорилось ли, что террор вообще не дает результатов, когда убьют только одного, а остальные остаются, и поэтому надо действовать сразу?

Муралов: И я, и Пятаков — мы чувствовали, что эсэровскими партизанскими методами действовать нельзя. Надо организовать так, чтобы сразу произвести панику, В том, что создастся паника и растерянность в партийных верхах, мы видели один из способов прийти к власти.^[646]

Но признаваясь в подготовке к покушению на Эйхе и Молотова, Муралов горячо отвергал обвинения в том, что следующей жертвой был намечен Орджоникидзе.

Муралов:... относительно 1932 года и указаний Шестова о покушении на Орджоникидзе. Категорически заявляю, что это относится к области фантастики Шестова. Таких указаний я никогда не давал.

Вышинский: Он путает?

Муралов: Я не знаю, путает он или просто дает волю своей фантазии.^[647]

Вышинский был так раздражен этими словами, что вернулся к ним в своей заключительной речи, указав на очевидную странность: почему Муралов ни под каким видом не признает приписываемой ему попытки убить Орджоникидзе, сознаваясь в то же время в том, что организовал террористический акт против Молотова?.^[648]

И это действительно странно. Трудно рассматривать это иначе, как демонстрацию лояльности к Орджоникидзе и надежду на его помощь.

Что касается покушения на Молотова, то оно интересно как единственное, казалось бы, реальное действие террористов, не считая убийства Кирова. Правда об этом событии была изложена в 1961 году в выступлении Шверника на XXII съезде КПСС:

«Вот еще один пример крайнего цинизма Молотова. При поездке его в город Прокопьевск в 1934 году машина, в которой он находился, съехала правыми колесами в придорожный кювет. Никто из пассажиров не получил никаких повреждений. Этот эпизод впоследствии послужил

основанием версии о „покушении“ на жизнь Молотова, и группа ни в чем не повинных людей была за это осуждена. Кому, как не Молотову, было известно, что на самом деле никакого покушения не было, но он не сказал ни слова в защиту невинных людей. Таково лицо Молотова».^[649]

На суде Муралов показал, что по плану шофер должен был пожертвовать собой для уничтожения Молотова в катастрофе:

Муралов: Автомобиль должен был свернуть в канаву на полном ходу. При таком условии автомобиль переворачивается по инерции вверх ногами, машина ломается, люди...

Вышинский: Позвольте спросить Шестова. Подсудимый Шестов, вы подтверждаете в этой части показания Муралов а?

Шестое: Да...

Вышинский: Получив прямое поручение от Муралова о подготовке террористических актов, что вы сделали практически?

Шестов:... В подготовительном плане предусматривалось совершение террористического акта путем автомобильной катастрофы и было выбрано два удобных места. Это, кто знает Прокопьевск, возле шахты № 5, по направлению к рудоуправлению, и второе место — между рабочим городком и шахтой № 3. Там не канавка, как говорил Муралов, а овраг метров в 15.

Вышинский: «Канавка» в 15 метров! Кто выбирал это место?..

Шестов:... На самом деле он (шофер), хотя и повернул руль в овраг, но повернул недостаточно решительно, и ехавшая сзади охрана сумела буквально на руках подхватить эту машину.

Председательствующий: Возвращаемся к допросу обвиняемого Муралова.

Муралов: Разрешите по поводу объяснения Шестова. Я небудувступать в дискуссию с Шестовым — канавка или овраг...

Вышинский: Вы лично были на месте, где находится канавка?

Муралов: Нет, не был.

Вышинский: Если вы не видели места, не можете оспаривать.

Муралов: В дискуссию я не буду вступать....^[650]

Неприятное для обвинения показание Муралова относительно «канавы», а не «оврага», основывалось, очевидно, на знании обстоятельств дела. В обвинительной речи Вышинский сказал об этом следующее: «Но факт остается фактом. Покушение на товарища Молотова произошло. Эта авария на гребешке 15-метровой „канавки“, как здесь Муралов скромненько говорил, — факт».^[651]

Любопытно еще, что единственный террористический заговор (помимо убийства Кирова), который достиг стадии хоть каких-то действий, был проведен не специально обученным верным троцкистом, а завербованным на месте мелким мошенником по имени «Арнольд, он же Иванов, он же Васильев, он же Раек, он же Кульпенен...», как представил его Вышинский.^[652] Хотя Троцкий якобы чрезвычайно настаивал на выполнении нескольких террористических актов более или менее одновременно, только один из них, против Молотова, был доведен хоть до каких-то действий. Правда,

Молотов (даже согласно официальной версии) был лишь слегка испуган. Но никто из остальных будто бы намеченных жертв Пригожина или Голубенко или других профессиональных убийц не испытал даже этого легкого страха.

Дополнить ничтожный факт крупной дозой фантазии оказалось для суда нелегким делом. Поскольку была взята действительная авария, которую приказали раздуть до покушения на убийство, то убийцей выступал не заранее выбранный агент НКВД, а действительно водитель машины. И это обернулось ошибкой. Суд столкнулся не с Ольбергом или Берманом-Юриным, как на прошлом процессе, — отобранными и специально подготовленными провокаторами, — а с человеком, абсолютно не подходящим для той роли, которую ему выпало играть.

Допрос Арнольда, водителя машины, который якобы по приказу сибирских заговорщиков совершил покушение, Вышинский начал на вечернем заседании 26 января. Весь диалог между ними выглядел нелепым фарсом. На этот раз казалось, что Вышинский запутался сам.^[653]

Арнольд заявил, что его «остановила трусость» и вместо катастрофы он сделал лишь легкую аварию. Но было абсолютно ясно, что ни один заговорщик не мог ожидать самопожертвования от такого человека, как Арнольд. Между тем, по показаниям других обвиняемых, план был именно таков. В конце своих показаний Арнольд заявил, что его убедили, что троцкистская организация сильна, что она будет у власти и что он в таком случае в последних рядах не останется. Но это прямо противоречило главной идее якобы планировавшегося покушения — идее самопожертвования шофера.

В ходе допроса (занимающего в стенографическом отчете около тридцати страниц) Вышинский столкнулся не с обвиняемым-сотрудником, как обычно, не с более или менее интеллигентным человеком, а с люмпен-пролетарием, мелким мошенником и авантюристом. Понадобилось пять или десять минут только для того, чтобы добраться до настоящего имени Арнольда среди его всевозможных псевдонимов и кличек, но даже после этого с именами продолжалась путаница.

В ходе допроса выяснилось, что обвиняемый уже с детства носил *фамилию* крестного, а не отца и не матери. Еще мальчишкой Арнольд перебрался в Финляндию, потом в Германию и Голландию под очередным псевдонимом, а потом, во время первой мировой войны, в Норвегию и Англию. По возвращении в Россию он был призван в армию, но дезертировал и получил по суду шесть месяцев дисциплинарного взыскания.

Вопросами и ответами на такие темы заполнены целые страницы стенографического отчета. Опять Вышинский путается в именах, в сложной неразберихе номеров и названий воинских частей, в которые Арнольд входил во время первой мировой войны и из которых дезертировал, по поводу воинских званий, которые были ему действительно присвоены или которые он присваивал себе сам, попросту добавляя нашивки на погоны. Ответы Арнольда противоречили жизнеописанию, данному им самим на предварительном следствии. Председатель суда должен был призвать его к порядку, но и это не очень помогло...

Мы узнаем, что Арнольд украл несколько железнодорожных литеров, добрался до Владивостока, а потом, уже опять под другим именем, очутился в Нью-Йорке, где вступил в американскую армию, хотя не говорил по-английски. В Америке он сидел в тюрьме пять или шесть месяцев — в этом месте Вышинский опять увяз в противоречиях относительно того, сколько раз вообще Арнольд сидел (выходило, что всего дважды). Создавалась путаница и насчет того, сколько раз он зачислялся в американскую армию — то ли дважды, то ли вообще никогда. Арнольд заявил, что был во Франции с американской армией, а потом выплыл на свет его визит в Южную Америку. Он будто бы был масоном в Соединенных Штатах и в то же самое время членом коммунистической партии США. Такая мешанина идет на двадцати трех страницах стенограммы и на протяжении всего этого выплывает единственное возможное обвинение против Арнольда — что он скрыл от партии свое членство в масонской ложе.

По-видимому, в СССР Арнольд попал с группой американских специалистов, которых пригласили в Кемерово, а уж там вступил в ВКП[б]. В Западной Сибири он работал начальником канцелярии, потом возглавлял водный транспорт, работал в отделе снабжения и сбыта, а затем отвечал за телефонную систему на больших предприятиях Кемерово и Кузнецка. В 1932 году он, в конце концов, вступил в контакт с троцкистами и «сошелся» с Шестовым. К тому времени Арнольда уже уволили с работы за антисоветские высказывания, а кроме того, Шестов докопался до двух прежних имен Арнольда — хотя, чтобы это установить, Вышинский опять запутался в долгих спорах насчет того, сколько было имен вообще.

Единственное реальное свидетельство против Арнольда изложено приблизительно на полутора страницах. Оно заключается в том, что, по словам самого Арнольда, «мне конкретно Черепухин сообщил, что завтра приезжает Орджоникидзе. Смотри, ты должен будешь выполнить террористический акт, не считаясь ни с чем». Но он «не смог этого сделать», не выдержали нервы.

Когда приехал Молотов, план был точно таким же. Но «канавка» превратилась теперь уже не в «овраг», а в «откос»:

Арнольд:... На этом закруглении имеется не ров, как назвал Шестов, а то, что мы называем откосом — край дороги, который имеет 8-10 метров глубины, падение примерно до 90 градусов. Когда я подал машину к поезду, в машину сели Молотов, секретарь райкома партии Курганов и председатель краевого исполнительного комитета Грядинский...^[654]

Однако Арнольда будто бы опять «остановила трусость», и он только слегка свернул с дороги, когда его прижал грузовик, тоже, по-видимому, нанятый заговорщиками. Никто не пострадал.

Арнольд получил выговор за небрежное вождение, а потом устроился на работу в Ташкенте, позже вернулся в Новосибирск, стал заместителем начальника отдела снабжения и, наконец, зав. гаражом. И это было все.

После Арнольда допрашивались заместитель Наркома путей сообщения Лившиц и другие железнодорожные заговорщики. Эта часть процесса была, очевидно, личным заповедником Кагановича. И Лившиц и Князев в заключительном слове упомянули, что обманывали доверие Кагановича — и это было, по их словам, особенно отвратительным преступлением. Лившиц говорил так:

«Граждане судьи! Обвинение, предъявленное мне государственным обвинителем, усугубляется еще тем, что я из рабочих низов был поднят партией на высоту государственного управления — до заместителя Народного комиссара путей сообщения. Я был окружен доверием соратника Сталина, Кагановича».^[655]

А Князев сокрушенно восклицал.

«... и всегда в этих разговорах я переживал чудовищную боль, когда Лазарь Моисеевич всегда мне говорил: „Я тебя знаю, как работника-железнодорожника, знающего транспорт и с теоретической и с практической стороны. Но почему я не чувствую у тебя того размаха, который я вправе от тебя требовать?“».^[656]

Лившиц, как наиболее заметная фигура, обвинялся, помимо прочего, в организации различных покушений. Но в основном показания обвиняемых-железнодорожников сводились к признаниям в организации крушений поездов и в шпионаже в пользу Японии. Масштаб «вражеского» заговора на железных дорогах несет явные следы, так сказать, стиля Кагановича: обвинять повально, вырвать с корнем. Все обвиняемые называли целые списки «вредителей», окопавшихся во всех звеньях железнодорожной сети. Вышинский особенно старался выявить вредительские убийства невинных граждан:

Вышинский: Вы не помните, эти 29 красноармейцев были крепко искалечены?

Князев: Человек 15 было сильно искалечено. *Вышинский:* В чем же выражалась тяжесть ранений? *Князев:* Были у них сломаны руки, головы пробиты... *Вышинский:* Это по милости вашей и ваших соучастников? *Князев:* Да.^[657]

Вредительская сеть на железных дорогах была якобы всеохватывающей, что видно, например, из списка участников единичного вредительского акта.

Вышинский: Но почему же возможно было такое нарушение правил железнодорожной службы? Не потому ли, что начальство станции было связано с троцкистами?

Князев: Совершенно правильно.

Вышинский: Назовите эти лица.

Князев: Начальник станции Маркевич, исполняющий обязанности начальника станции Рычков, помощник начальника станции Баганов, помощник начальника станции Родионов, главный стрелочник Колесников.

Вышинский: Пять.

Князев: Стрелочник Безгин.

Вышинский: Шесть.

Князев: Там постоянно находился также начальник службы пути на участке, Бродовиков.

Вышинский: Да, а также сам начальник дороги.^[658]

Только на своей одной Южно-Уральской железной дороге Князев назвал длинный список соучастников, что в какой-то степени отражает исключительный размах террора среди железнодорожников всей страны. В дополнение к руководителям дороги были названы

начальники службы пути на нескольких участках, начальник службы движения, инспекторы-движенцы, руководители службы тяги, мастера и инженеры паровозных депо. А также начальники станций, помощники начальников, машинисты, стрелочники. Всего Князев назвал тридцать три человека — и всех их представил как кадры своей троцкистской организации на Южно-Уральской дороге.^[659]

Князев продолжал показания:

«Мы непосредственно организовали от 13 до 15 крушений поездов. Я помню, что в 1934 году всего произошло около 1500 крушений поездов и аварий...».

В депо Курган были введены мощные паровозы «ФД». Пользуясь тем, что их слабо знали в депо, администрация сознательно ухудшала качество надзора в текущем ремонте, вынуждала машинистов часто выезжать с неполным ремонтом. Были доведены до разрушения почти все водопробные приборы. В итоге этой запущенности в январе 1936 года на перегоне Роза — Варгаши произошел взрыв топки.

Вышинский:... крушение 7 февраля 1936 года на перегоне Единовер — Бердяуш совершенно по Вашему заданию?

Князев: Да... Железнодорожники считают, что если лопнул рельс, то винить некого.

Вышинский: Иными словами, это считается объективными причинами?

Князев: Виноватых не нашли...^[660]

После железнодорожников наступила очередь химиков. Уже знакомые обвинения повторялись теперь в несколько ином контексте. Ратайчак сделал слабую попытку самозащиты:

Ратайчак:... нет, но я должен был это сделать, гражданин государственный обвинитель, потому что, если бы мы не приняли мер предосторожности, то была бы опасность, что погибнут сотни рабочих. Поэтому я с самого начала руководил всеми работами на месте.

Вышинский: Вы руководили так, что 17 рабочих было убито и 15 ранено. Правильно?

Ратайчак: (молчит).

Вышинский: Вы руководили всеми работами так, что 17 рабочих было убито и 15 ранено.

Ратайчак: Верно, это была единственная возможность.^[661]

Обвинение завершилось тем, что были прочтены заключения различных экспертных комиссий. Все взрывы и пожары на шахтах эксперты приписали обвиняемым. Но по поводу экспертизы Строилов тонко заметил, что система проходки шахт, во внедрении которой с вредительскими целями обвинялись подсудимые, применялась и до них.

28 января, в 4 часа дня Вышинский начал обвинительную речь:

«Вот бездна падения! Вот предел, последняя черта морального и политического разложения! Вот дьявольская безграничность преступлений!».^[662]

Он говорил о чувствах, которые каждый честный человек испытывал по отношению к осужденным на прошлом процессе зинovieвцам. Теперь надо снова поднять голос. Ибо «превращение троцкистских групп в группы диверсантов и убийц, действующих по указанию иностранных разведок и генеральных штабов агрессоров, лишь завершило борьбу троцкизма против рабочего класса и партии, борьбу против Ленина и ленинизма, длившуюся десятилетия».^[663]

Вышинский заявил, что обвиняемые «это не политическая партия. Это банда преступников, представляющих собой простую агентуру иностранной разведки».^[664]

Согласно Вышинскому, обвиняемые были хуже белогвардейцев: «... они пали ниже последнего денкинца или колчаковца. Последний денкинец или последний колчаковец выше этих предателей. Денкинцы, колчаковцы, милюковцы не падали так низко, как эти троцкистские иуды».^[665]

В качестве типичного заговорщика был выбран Ратайчак. О нем Вышинский заметил в довольно раздраженной форме: «Вот Ратайчак, не то германский, не то польский разведчик, но что разведчик, в этом не может быть сомнения, и, как ему полагается, — лгун, обманщик и плут».^[666]

Подобный анализ, определяющий антисталинизм как преступный фашизм, естественно, совпадал со сталинскими предсказаниями, ныне подкрепленными сталинским судом: «...

Предсказания товарища Сталина полностью сбылись. Троцкизм действительно превратился в центральный сборный пункт всех враждебных социализму сил, в отряд простых бандитов, шпионов и убийц, которые целиком предоставили себя в распоряжение иностранных разведок, окончательно и бесповоротно превратились в лакеев капитализма, в реставраторов капитализма в нашей стране».^[667]

Но в речи Вышинского было и нечто более интересное, чем прямые оскорбления по адресу обвиняемых. А именно, указания на подготовку дальнейших действий. Он многозначительно говорил: «Я напому вам о том, как, скажем, по делу объединенного троцкистско-зиновьевского центра некоторые обвиняемые клялись вот здесь, на этих же самых скамьях в своих последних словах, — одни прося, другие не прося пощады, — что они говорят всю правду, что они сказали все, что у них за душой ничего не осталось против рабочего класса, против нашего народа, против нашей страны. А потом, когда стали распутывать все дальше и дальше эти отвратительные клубки чудовищных, совершенных ими преступлений, — мы на каждом шагу обнаруживали ложь и обман этих людей, уже одной ногой стоявших в могиле.

Если можно сказать о недостатках данного процесса, то этот недостаток я вижу только в одном: я убежден, что обвиняемые не сказали и половины всей той правды, которая составляет кошмарную повесть их страшных злодеяний против нашей страны, против нашей великой родины!».^[668]

Намек на обвинения, выдвинутые против Бухарина в следующем году, содержался в особенно зловещем абзаце речи прокурора: «Это Пятаков и его компания в 1918 году, в момент острейшей опасности для Советской страны, вели переговоры с эсерами о подготовке контрреволюционного государственного переворота, об аресте Ленина с тем, чтобы Пятаков занял пост руководителя правительства — председателя Совнаркома. Через арест Ленина, через государственный переворот прокладывали себе эти политические авантюристы путь к власти!».^[669]

Под конец Вышинский процитировал Сокольников, говорившего о важном единстве всех участников оппозиции — о единстве, основанном на рютинской программе:

«Что касается программных установок, то еще в 1932 году и троцкисты, и зиновьевцы, и правые сходились в основном на программе, которая раньше характеризовалась, как программа правых. Это — так называемая рютинская платформа; она в значительной мере выражала именно эти, общие всем трем группам, программные установки еще в 1932 году».^[670]

Был уже эскизно намечен персональный состав будущих процессов. В дополнение к Бухарину и Рыкову обвинение было выдвинуто против Раковского (в показаниях Дробниса).^[671]

Был назван по имени также грузинский партийный деятель Мдивани.^[672]

Вышинский заявил, что виновность подсудимых в данном случае была подтверждена с такой строгостью, какая не требуется в буржуазном суде: «Мы при помощи экспертизы проверили показания самих подсудимых и, хотя мы знаем, что в некоторых европейских законодательствах признание подсудимым своей вины считается достаточно авторитетным для того, чтобы уже не сомневаться больше в его виновности, и суд считает себя вправе освободить себя от проверки этих показаний, мы все же для того, чтобы соблюсти абсолютную объективность, при наличии даже собственных показаний преступников проверяли их еще с технической стороны и получали категорический ответ и о взрыве 11 ноября, и о горных пожарах на Прокопьевском руднике, и о пожарах и взрывах на Кемеровском комбинате. Установили, что не может быть никакого сомнения в наличии злого умысла».^[673]

Коснулся Вышинский и некоторых сомнительных пунктов прошлого судебного процесса — над Зиновьевым, Каменевым и другими. Например, по поводу отсутствия документальных доказательств прокурор сказал следующее: «Приписываемые обвиняемым деяния ими совершены... Но какие существуют в нашем арсенале доказательства с точки зрения юридических требований?... Можно поставить вопрос так: заговор, вы говорите, но где же у вас имеются документы?... Я беру на себя смелость утверждать, в согласии с основными требованиями науки уголовного процесса, что в делах о заговорах таких требований предъявить нельзя».^[674]

(Немного позже один из адвокатов обвиняемых (Брауде), по-видимому, недостаточно хорошо подготовленный, одобрительно высказался по поводу «документов, собранных по делу»^[675]).

Особый упор в обвинительной речи был сделан на раздувание гнева против обвиняемых: «Они взрывают шахты, сжигают цеха, разбивают поезда, калечат, убивают сотни лучших людей, сынов нашей родины, 800 рабочих Горловского азотно-тукового завода через газету „Правда“ сообщили имена погибших от предательской руки диверсантов лучших стахановцев этого завода. Вот список этих жертв: Лунцев, стахановец, рождения 1902 года, Юдин — талантливый инженер, рождения 1913 года, Куркин — комсомолец, стахановец, 23 лет от роду, Стрельникова — ударница, 1913 года рождения, Моспец — ударник, тоже 1913 года рождения. Это убитые. Ранено было больше десяти человек. Погиб Максименко — стахановец, выполнявший норму на 125–150 процентов, Немихин, один из лучших ударников, который спустился в забой на шахте „Центральная“, пожертвовал своими 10 днями отпуска, а там его подстрелили и убили, убит запальщик Юрьев — один из участников боев с белокитайцами, убит Ланин — участник гражданской войны, старый горняк. И так далее и так далее».^[676]

В результате Вышинский получил возможность прокричать заключительную часть своей речи: «Я не один! Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь рядом, со мною, указывая на эту скамью подсудимых, на вас, подсудимые, своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили!

Я обвиняю не один! Я обвиняю вместе со всем нашим народом, обвиняю тягчайших преступников, достойных одной только меры наказания, — расстрела, смерти!».^[677]

На этот раз, в отличие от прошлого, зиновьевского суда, некоторые из младших обвиняемых имели защитников. Точка зрения этих защитников на свои обязанности явно отличалась от взгляда адвокатов в буржуазном суде. Так, защитник Брауде начал свою речь классическим для сталинца-адвоката пассажем: «Товарищи судьи, я не буду скрывать от вас того исключительно трудного, небывало тяжелого положения, в котором находится в этом деле защитник. Ведь защитник, товарищи судьи, прежде всего — сын своей родины, он также гражданин великого Советского Союза, и чувства великого возмущения, гнева и ужаса, которые охватывают сейчас всю нашу страну от мала до велика, чувство, которое так ярко отобразил в своей речи прокурор, эти чувства не могут быть чужды и защитникам...

... В настоящем деле, товарищи судьи, не может быть спора о фактах. Товарищ прокурор был совершенно прав, когда заявил, что со всех точек зрения — с точки зрения документов, собранных по делу, с точки зрения допроса, вызванных в суд свидетелей, и перекрестного допроса обвиняемых, мы лишены возможности оспаривать очевидность. Все факты подтверждены, и в этой части защита не имеет намерения входить в какое-либо противоречие с обвинением. Невозможно также оспаривать оценку прокурором политических и моральных аспектов дела. Здесь также дело настолько очевидно, политическая оценка, сделанная прокурором, настолько ясна, что защита может только целиком и полностью присоединиться к этой части его речи».^[678]

Когда окончилась «защита», начались последние слова обвиняемых. Пятаков, говоривший с опущенными глазами, закончил так: «Через несколько часов вы вынесете ваш приговор. И вот я стою перед вами в грязи, раздавленный своими собственными преступлениями, лишенный всего по своей собственной вине, потерявший свою партию, не имеющий друзей, потерявший семью, потерявший самого себя».^[679]

Радек в последнем слове сделал, так сказать, «полезный вклад», заявив, что есть еще много «полутроцкистов, четверть-троцкистов, троцкистов на одну восьмую, людей, которые нам помогали, не зная о террористической организации, но сочувствуя нам, людей, которые из либерализма, фрондируя против партии, оказывали нам помощь...».^[680] В этом заявлении фактически содержалась целая программа для расправы с любыми критиками террора, даже если они были сталинцы на «семь восьмых».

Последнее слово Радека было одновременно и жалким и убедительным. Выдвигая обвинения против Троцкого и против соседей по скамье подсудимых, он в то же время сумел

сделать несколько двусмысленных, обоюдоострых замечаний. Так, он продолжал отмежевываться от прямых связей с немцами и отрицать такие связи у своих обвиняемых: «Но когда я прочитал об Ольберге и спросил других, знает ли кто о существовании Ольберга, то об этом никто не знал, и для меня стало ясным, что Троцкий создает здесь, помимо кадров, прошедших его школу, организацию агентуры, прошедшей школу германского фашизма».^[681]

И, наконец, он повторно упомянул тот факт, что все дело, весь процесс построены на его показаниях и словах Пятакова:

«Для этого факта какие есть доказательства? Для этого факта есть показания двух людей — мои показания, который получал директивы и письма от Троцкого (которые, к сожалению, сжег), и показания Пятакова, который говорил с Троцким. Все прочие показания других обвиняемых, они покоятся на наших показаниях. Если вы имеете дело с чистыми уголовниками, шпионами, то на чем можете вы базировать вашу уверенность, что то, что мы сказали, есть правда, неизбежная правда?».^[682]

Остальные обвиняемые выступали в более обычной манере. Дробнис, Муралов, Богуславский ссылались на свое блестящее прошлое и пролетарское происхождение. Сокольников говорил длинно, а Серебряков — очень коротко. Все «агенты», хотя и в разной степени, нападали лично на Троцкого. Арнольд упирал, совершенно справедливо, на свое низкое политическое развитие.

30 января в 3 часа утра был оглашен приговор. Смертная казнь всем, кроме Сокольников и Радека (как не участвовавших непосредственно в организации и выполнении преступлений), а также Арнольда, получившего 10 лет, и Строилова, получившего восемь. В НКВД в то время рассказывали, будто Лион Фейхтвангер просил Сталина сохранить жизнь Радеку, обещая ему оправдать показательные процессы в своей книге («Москва 1937»), чего Сталину очень хотелось, чтобы смягчить впечатление от «Возвращения из СССР» Андре Жида.^[683] Приговор Арнольду, который рассматривался на суде как активный террорист, вопиюще противоречит приговорам неудачливым убийцам на прошлом процессе — людям типа Фриц-Давида. Говорили, что показания Арнольда показались Сталину столь забавными, что он, когда писал заранее приговоры, решил по собственному капризу оказать милосердие.

Когда Радек выслушал приговор, на его лице отразилось облегчение. Он повернулся к другим обвиняемым, пожал плечами и виновато улыбнулся, словно был не в состоянии объяснить свою удачу.^[684]

Относительно Радека были затем пущены слухи, что он отбывал свое наказание в комфортабельных условиях на Урале, где жил в особняке, не более чем под домашним арестом.^[685] Возможно, его некоторое время действительно держали в таких условиях, но если так, то по-видимому лишь с одной целью — повлиять на обвиняемых в следующем третьем процессе. Остальные имеющиеся свидетельства сходятся на том, что Радек был послан в лагерь на севере и был там убит уголовником, разделив таким образом судьбу многих политзаключенных.^[686] Это было в 1939 году. В том же году умер Сокольников, очевидно в лагере.^[687]

Известно, что в тюрьмах и лагерях встречали многих родственников осужденных. Жену Радека видели в Сегежлаге среди двух тысяч других «жен врагов народа».^[688] Жену Дробниса видели уже в 1936 году в Красноярском изоляторе. Она почти полностью потеряла слух в результате «обработки» на Лубянке.^[689] Галина Серебрякова была женой двух ведущих обвиняемых поочередно — Серебрякова и Сокольников. Со времени процесса она провела в Сибири 20 лет. Через все эти годы она, как говорится, «пронесла свою преданность партии» и после реабилитации, на собраниях писателей в 1962-63 годах активно выступала против либеральных тенденций. В марте 1963 года, когда на свободомыслящих писателей оказывалось особенно тяжкое давление, Хрущев приводил Серебрякову в пример, сравнивая ее с Ильей Эренбургом, который при жизни Сталина, дескать, тепло восхвалял его и жил в комфорте, а теперь, мол, стал отходить от принципа партийности.^[690]

Неправдоподобность показательных процессов нарастала от одного к другому. На первом процессе (1936) партии предстояло согласиться только с тем, что Зиновьев и Каменев в

сотрудничестве с некоторыми настоящими троцкистами замыслили убийство партийного руководства и были фактически ответственны за смерть Кирова. Хотя казнь Зиновьева и других вызвала большое отвращение, имелись и другие факторы. Вряд ли, конечно, кто-либо из членов ЦК буквально верил обвинениям против зиновьевцев или принимал на веру их показания (к тому же ходили определенные слухи и насчет подлинной роли НКВД в убийстве Кирова). Тем не менее, зиновьевская оппозиция реально боролась со Сталиным всеми имеющимися у нее средствами, и в этой политической борьбе почти весь состав тогдашнего Центрального Комитета был на стороне Сталина. Было совершенно очевидно, что пытаясь проложить себе дорогу обратно в партию, оппозиционеры себя скомпрометировали. И было по крайней мере допустимо, что «объективно» за убийство Кирова мог нести ответственность Зиновьев. Что касается более очевидной фальши в ходе самого процесса, то в партии вполне привыкли к фальши, необходимой по партийным мотивам и, если надо, к дутым судебным процессам, предназначенным произвести впечатление на публику. Можно думать, что Сталин таким путем просто отделялся от непримиримых врагов.

Ни одно из этих соображений не подходило к Пятакову или кому-либо из обвиняемых на втором процессе. А в то же время странности и аномалии показательного суда были не меньшими, а большими, чем в предыдущем случае.

Пятакову и другим обвиняемым так же, как зиновьевцам на предыдущем процессе, инкриминировалась организация широкого террористического подполья. Радек, возможно иронически, говорил в своих показаниях про «десятки бродячих террористических групп, ждущих на авось, чтобы ухлопать одного из руководителей партии».^[691]

Было названо по меньшей мере четырнадцать групп или лиц, имевших задание убить Сталина (это задание было у нескольких из них), Кагановича, Молотова, Ворошилова, Орджоникидзе, Косиора, Постышева, Эйхе, Ежова и Берия. И опять-таки, несмотря на покровительство и соучастие высоких должностных лиц буквально повсюду, эти террористы оказались неспособны выполнить хоть одно покушение, успешное или безуспешное, за единственным исключением так называемой попытки убить Молотова — причем попытка эта, как мы уже видели, выглядела не очень профессиональной. Действительно, приговор Арнольду — 10 лет заключения — был фактически признанием, что его отнюдь не считали политическим борцом. Если среди участников заговора было полно фанатичных троцкистов, то почему они доверили подобной личности стать исполнителем операции, да еще убийцей-смертником? Никакого объяснения этому не нашлось.

Заговорщики не смогли устроить покушения даже на жизнь Кагановича, хотя несколько его ближайших сотрудников вроде Лившица, Серебрякова и Князева были якобы участниками заговора. Вышинский ссылался на то, что Зиновьев и его коллеги по предыдущему процессу, которые тогда будто бы показывали всю правду, на самом деле (как якобы выяснилось на процессе Пятакова) очень многое скрыли. Как мы уже упоминали, прокурор просто объявил, что «мы на каждом шагу обнаруживали ложь и обман этих людей, уже одной ногой стоявших в могиле».^[692] Но в этом случае, если признание обвиняемыми фактов ограничивалось лишь теми, какие они не могли опровергнуть, то их жалкие самообвинения должны были быть неискренними; иными словами все, что говорили в своих последних словах обвиняемые на прошлом процессе, было задним числом аннулировано. Однако люди, которые верили в обоснованность процессов, без труда примирили или, скорее, игнорировали эти противоречия.

Укажем еще на одну аномалию, меньшего масштаба. Обвиняемые, как мы знаем, показали, что в сговоре с Зиновьевым и Каменевым намеревались убить Молотова так же, как и остальных вождей. Но Зиновьев и Каменев в свое время об убийстве Молотова не говорили, поскольку у них этого не требовали. На первом процессе Молотов не фигурировал в списке якобы намеченных жертв.

Опять, как и на предыдущем процессе, были упомянуты имена важных участников заговора, которые в дальнейшем так и не появились. Когда, например, было названо имя старого большевика Белобородова, подписавшего в свое время постановление Уральского Совета о расстреле царской семьи, то возникли вопросы, которые трудно было решить.

Вышинский спросил: «Итак, придется спросить самого Белобородова?»^[693] Но Белобородов так и не появился, ни тогда, ни позже. То же самое относится к Смилге, Преображенскому, Угланову и другим видным фигурам, связи с которыми, после единичных упоминаний, были опущены без объяснений.

Есть свидетельство о том, как по тюремному коридору надзиратели тащили человека, кричавшего: «я Белобородов, сообщите в Центральный Комитет, что меня пытаются!».^[694]

В дополнение, конечно, были фактические ошибки — особенно визит Пятакова в Осло. И тем не менее в судебном отчете, опубликованном под эгидой англо-советского парламентского комитета, московский корреспондент газеты «Дейли Геральд» Р. Т. Миллер объявил, что «они признались потому, что их заставили свидетельства, собранные против них государством. Никакое другое объяснение не соответствует фактам». А член парламента, лейборист Нейл Маклин, председатель вышеупомянутого комитета, писал в предисловии: «Практически каждый иностранный корреспондент, присутствовавший на процессе — за исключением, конечно, японских и немецких, — отмечал большое впечатление, произведенное весомостью свидетельств, собранных обвинением, и искренностью признаний обвиняемых». Это заявление представляет собой любопытный способ клеветы на тех корреспондентов, кто думал иначе. Они были тем самым поставлены на одну доску с меньшинством отъявленных фашистов и исключены из числа порядочных людей (отнюдь не первый и не единственный случай применения этого метода полемики). Еще во время процесса «Правда» опубликовала длинную статью о том, как английский юрист Дадли Коллард на страницах газеты «Дейли Геральд» назвал процесс юридически безупречным.^[695]

Накануне, 28 января 1937 года, «Правда» напечатала еще более приятное известие: информацию о том, что Ежову присвоено новое звание Генерального комиссара государственной безопасности. Тут же красовался идеализированный портрет Ежова. Пресса и «прямодушная советская общественность» наращивала очередную кампанию ненависти. Когда был объявлен приговор, двухсоттысячная толпа была собрана на Красной площади при температуре в 27 мороза, чтобы выслушать речи Хрущева и Шверника и провести «стихийную» демонстрацию против осужденных.^[696] Демонстранты несли плакаты, требовавшие немедленного приведения приговоров в исполнение — с этим требованием власти с готовностью «согласились».

ПАРАЛИЧ СЕРДЦА

И снова казни потрясли высшие партийные круги. На сей раз Сталин встретился с угрозой твердого сопротивления со стороны Серго Орджоникидзе — человека, от которого не так легко было отмахнуться. Серго надули. Он лично участвовал в переговорах перед началом дела Пятакова, он знал, что все было подстроено и имел сталинскую гарантию, что Пятакова не казнят. Он увидел в этом фатальный прецедент. Стало ясно, что теперь Орджоникидзе начнет борьбу против террора любыми средствами, имевшимися в его распоряжении.

Один очевидец описывает поведение Орджоникидзе, когда тот узнал об аресте руководителя одного из крупных трестов, подчиненных ему как народному комиссару. Он позвонил Ежову, назвал его по телефону грязным подхалимом и потребовал немедленного представления документов по делу. Он затем позвонил Сталину по прямому проводу. Разговаривая, Орджоникидзе дрожал и глаза его были налиты кровью. Он кричал: «Коба, почему ты позволяешь НКВД арестовывать моих людей без моего ведома?». После короткого ответа Сталина он прервал его: «Я требую, чтобы этот произвол прекратился! Я пока еще член Политбюро! Я все верх дном переверну, Коба, даже если это последним будет моим действием на земле!».^[697]

Как всегда, Сталин не был захвачен врасплох. Обычно думают, что расхождения между Сталиным и Орджоникидзе возникли в ходе дела Пятакова. Сталин, дескать, хотел

освободиться от Пятакова, Орджоникидзе возражал, отсюда пошли все неприятности. Но равным образом возможно, что Сталин рассчитал уничтожение Пятакова как удар по Орджоникидзе и что уничтожение Орджоникидзе было не просто побочным продуктом дела Пятакова, а планировалось с самого начала. (Как мы уже отмечали, на процессе об этом было сделано что-то вроде политического сигнала: Муралов, признаваясь в организации покушений на жизнь Молотова и других, твердо отрицал подобные планы против Орджоникидзе^[698] и подвергался за это нападкам в обвинительной речи Вышинского). Примерно в то же самое время старший брат Орджоникидзе, Папулия, был «после истязаний расстрелян».^[699] С Папулией был расстрелян его ближайший сотрудник Мирзабекян (см. «Коммунист» (Армения), 26 июля 1965), занимавший правительственный пост в Грузии до 1937 года. На XXII съезде партии Хрущев подтвердил, что брат Серго был арестован и расстрелян еще при жизни Орджоникидзе.^[700] Таким образом, Сталин, по-видимому, готовился ударить по своему старому соратнику, но не раскрывал своих карт почти до самого последнего момента.

Между тем оперативники НКВД в Закавказье активно работали, «понуждая арестованных давать ложные показания на С. Орджоникидзе».^[701] Это было бы бессмысленно после смерти Орджоникидзе и потому показывает, что Сталин готовил досье против старого друга.

Известно также, что многие близкие сотрудники Орджоникидзе исчезли перед его смертью и после нее, что также неплохо указывает на настроение Сталина. Среди них был, например, племянник Орджоникидзе Гвахария, возглавлявший Макеевский металлургический завод.

Потом последовали удары по руководителям советской тяжелой индустрии — Рухимовичу, Гуревичу (виднейшему руководителю металлургии), Точинскому и многим другим. Исчезли крупнейшие директора, руководители промышленности, люди, которые под руководством Пятакова обеспечили единственное реальное достижение Сталина — тяжелую промышленность^[702]

Самого Орджоникидзе начали все сильнее изводить. Сотрудники НКВД «с обыском незадолго до того приходили и на квартиру Орджоникидзе. Оскорбленный, разъяренный Серго весь остаток ночи звонил Сталину. Под утро дозвонился и услышал ответ: „Это такой орган, что и у меня может сделать обыск. Ничего особенного...“».^[703]

17 февраля Орджоникидзе имел разговор со Сталиным, длившийся несколько часов. В этом разговоре он по-видимому сделал «последнюю попытку объяснить Сталину, другу многих лет, что на болезненной, пронесенной через всю жизнь подозрительности сейчас играют самые темные силы, что из партии вырывают ее лучших людей».^[704] До тех пор «люди», которых «вырывали» из партии, были практически оппозиционерами или участниками оппозиций в прошлом. Данная формулировка очень подходит к Пятакову и, возможно, — в качестве предвидения — к Бухарину и Рыкову. А понятие «темные силы» несомненно относилось к Ежову, но может быть и к Кагановичу и другим.

После этого Орджоникидзе работал у себя в наркомате до двух часов ночи, а на рассвете 18 числа, придя домой, имел еще один, столь же бесплодный разговор со Сталиным по телефону. В 5. 30 вечера того же дня он был мертв.

Его жена Зинаида Гавриловна позвонила Сталину, который тотчас явился. Он «ни о чем не спросил, только высказал удивление: „Смотри, какая каверзная болезнь! Человек лег отдохнуть, а у него приступ, сердце разрывается“».^[705]

19 февраля 1937 года было опубликовано следующее официальное медицинское заключение:

«Тов. Орджоникидзе Г. К. страдал артериосклерозом с тяжелыми склеротическими изменениями сердечной мышцы и сосудов сердца, а также хроническим поражением правой почки, единственной после удаления в 1929 году туберкулезной левой почки.

На протяжении последних двух лет у тов. Орджоникидзе наблюдались от времени до времени приступы стенокардии (грудной жабы) и сердечной астмы. Последний припадок, протекавший очень тяжело, произошел в начале ноября 1936 года.

С утра 18 февраля никаких жалоб тов. Орджоникидзе не заявлял, а в 17 часов 30 минут, внезапно, во время дневного отдыха почувствовал себя плохо, и через несколько минут наступила смерть от паралича сердца.

Народный комиссар здравоохранения СССР

Г. Каминский

Начальник лечебно-санитарного управления Кремля

И. Ходоровский Консультант лечебно-санитарного управления Кремля

доктор медицинских наук Л. Левин Дежурный врач Кремлевской амбулатории

С. Метц».^[706]

Из числа четверых, подписавших это заключение, Каминский (который подписал «очень неохотно»^[707]) был расстрелян в том же году, Ходоровский был упомянут в качестве одного из заговорщиков в процессе Бухарина, а Левин был одним из обвиняемых на этом самом процессе и тоже расстрелян. Неизвестна лишь судьба менее заметной фигуры — доктора Метца.

Любопытно, что ни врачи, ни кто-либо другой никогда не обвинялись в намеренном убийстве Орджоникидзе. Правда, на его похоронах через три дня после смерти Хрущев говорил так:

«Это они своей изменой, своим предательством, шпионажем, вредительством нанесли удар твоему благородному сердцу. Пятаков — шпион, вредитель, враг трудового народа, гнусный троцкист — пойман с поличным, пойман и осужден, раздавлен, как гад, рабочим классом, но это его контрреволюционная работа ускорила смерть нашего дорогого Серго».^[708] Но прямых обвинений не было. В издании 1939 года Большой Советской Энциклопедии Орджоникидзе назван «верным учеником и ближайшим соратником великих вождей коммунизма Ленина и Сталина», и статья о нем говорит, что он умер на своем посту как боец ленинско-сталинской партии. Далее добавляется, что «троцкистско-бухаринские выродки фашизма ненавидели Орджоникидзе лютой ненавистью. Они хотели убить Орджоникидзе. Это не удалось фашистским агентам. Но вредительская работа, чудовищное предательство презренных правотроцкистских наймитов японско-германского фашизма во многом ускорили смерть Орджоникидзе».^[709]

И тем не менее обвинение в убийстве Орджоникидзе не предъявлялось никому. Это показывает любопытную сдержанность Сталина (хотя, конечно, он мог держать это обвинение про запас для одного из после-бухаринских процессов, которые так и не состоялись, по крайней мере публично).

Теперь уже не осталось сомнений, что смерть Орджоникидзе была делом рук Сталина. Подробности до сих пор остаются неясными; но то, как была подорвана первоначальная официальная версия — сперва в воспоминаниях невозвращенцев, а затем и *всамом* Советском Союзе, представляет интерес, ибо хорошо подтверждает надежность свидетельств тех людей, которые выезжают из СССР, чтобы не вернуться.

Слухи об обстоятельствах смерти Орджоникидзе стали просачиваться из СССР довольно скоро. Они отличались многими деталями. Одни гласили, что Орджоникидзе принудили к самоубийству под угрозой немедленного ареста в качестве троцкиста, другие — что его застрелили или отравили, причем эта операция была проведена секретарем Сталина Поскребышевым.^[710] Например, высокопоставленный советский хозяйственник Виктор Кравченко писал (за 10 лет до XX съезда КПСС!), что после смерти Орджоникидзе одни говорили о самоубийстве, а другие — что он был отравлен доктором Левиным.^[711] Но никто, по словам Кравченко, не сомневался, что он умер насильственной смертью, а не естественной.

В докладе на XXII съезде партии, в 1961 году, Хрущев объявил, что в свое время верил, будто Орджоникидзе умер от сердечного припадка и только «значительно позднее, уже после войны, я совершенно случайно узнал, что он покончил жизнь самоубийством».^[712]

С другой стороны, мы недавно узнали из советских источников, что версия о самоубийстве имела широкое хождение в партии. Так, газета «Бакинский рабочий» поведала следующую историю, «Работник бакинского Горсовета» Амирджанов (человек явно не очень высокопоставленный) был репрессирован в 1937 году за то, что, когда «некоторая часть

партийного актива» узнала о самоубийстве Орджоникидзе, рассказал об этом «в тесном кругу товарищей».^[713] Есть сведения, что в казанской тюрьме слухи о самоубийстве Орджоникидзе циркулировали уже в апреле 1937 года.^[714] Теперь стало известно и то, что А. М. Назаретян, который «один из первых узнал о подлинной причине гибели Орджоникидзе», был арестован в июне 1937 года, т. к. уже знал об этом в то время.^[715] Достоверно известно, что об этом говорили в то время и среди работников НКВД.^[716]

Версия о естественной смерти Серго Орджоникидзе оставалась в Советском Союзе официально в силе до февраля 1956 года, когда Хрущев заявил:

«Берия также жестоко расправился с семьей товарища Орджоникидзе. Почему? Потому что Орджоникидзе пытался помешать Берия осуществить его гнусные планы. Берия убирал со своего пути всех, кто мог бы ему помешать. Орджоникидзе всегда был противником Берия и говорил об этом Сталину. Но вместо того, чтобы разобраться в этом вопросе и принять соответствующие меры, Сталин допустил ликвидацию брата Орджоникидзе и довел самого Орджоникидзе до такого состояния, что он вынужден был застрелиться».^[717]

Эти слова вводят в заблуждение. Хрущев представил смерть Орджоникидзе только как результат неудачной попытки остановить Берия, вследствие чего Сталин обратился против Серго. Но Берия в это время работал на Кавказе и хотя он был определенно влиятелен, но играл очень малую роль в больших государственных делах на уровне Политбюро в Москве. Интересный пункт хрущевской версии 1956 года в другом — в словах «вынужден был застрелиться».

Действительно, сам Хрущев, когда он впервые коснулся этого вопроса в открытой, не секретной речи, обошел молчанием роль Берия, поскольку к 1961 году уже не было необходимости его вспоминать. На XXII съезде он просто сказал:

«Товарищ Орджоникидзе видел, что он не может дальше работать со Сталиным, хотя раньше был одним из ближайших его друзей... Обстановка сложилась так, что Орджоникидзе не мог уже дальше нормально работать и, чтобы не сталкиваться со Сталиным, не разделять ответственности за его злоупотребления властью, решил покончить жизнь самоубийством».^[718]

С тех пор эта версия не была отменена или отвергнута. Тем не менее стоит рассмотреть и другие возможности. Теперь, когда естественная смерть Орджоникидзе исключается, остаются фактически три варианта: самоубийство от отчаяния — как добровольный акт; прямое убийство; и самоубийство в результате угрозы худшими последствиями со стороны Сталина. Хрущев намекает на первый вариант. Но разумно предположить, что он просто предлагает наименее тяжелую версию навязанного самоубийства — так же как в изложении обстоятельств убийства Кирова Хрущев не смог дойти до прямого обвинения Сталина в убийстве.

Близкий друг вдовы Орджоникидзе сообщил автору этой книги, что вдова считала убийство делом рук специально подосланных лиц, ибо видела каких-то людей, бегущих через лужайку в направлении от их дома как раз в то время, когда Орджоникидзе был найден мертвым. Уже упоминавшийся партийный работник с Кавказа Авторханов в дни смерти Орджоникидзе находился в Москве. Он утверждает, что Сталин послал нескольких сотрудников НКВД к Орджоникидзе, чтобы предложить ему на выбор арест или самоубийство и вручить револьвер. Был наготове и доктор, чтобы удостоверить сердечный приступ.^[719] Это свидетельство подтверждается еще и тем, что против Орджоникидзе был собран к тому времени солидный материал. Разумеется, нет гарантии, что фатальный выстрел Орджоникидзе сделал сам. Действительно, не было никакой необходимости заставлять его самого стреляться, когда кругом были сотрудники НКВД, способные легко сделать это за него. И, хотя ряд свидетельств говорит именно о смерти от пули, имеющиеся варианты с отравлением ничуть не менее правдоподобны. Их преимущество в том, что после отравления доктору было бы легче выдать свидетельство о смерти от сердечного заболевания, а семье было легче примириться с таким свидетельством. Когда потребовалось, например, освободиться от начальника иностранного отдела НКВД Слуцкого, то ему 17 февраля 1938 года в кабинете замнаркома Фриновского просто дали выпить цианистого калия, а смерть констатировали как наступившую от сердечного приступа.^[720]

Если все-таки Орджоникидзе покончил с собою, то слухи об участии в деле Поскребышева выглядят довольно достоверными. Вряд ли можно было ожидать, что Орджоникидзе примет политический ультиматум или покончит с собой, если бы угроза исходила от простого офицера НКВД; разумна поэтому версия о присутствии личного представителя Сталина. Конечно, личная охрана Орджоникидзе из числа работников НКВД получила своевременно соответствующий приказ.

Что касается участия других лиц, то интересно отметить, как часто в 1953-56 годах, во время процесса над Берией, а после его казни над другими работниками карательных органов, упоминались преследование и нападки на Орджоникидзе. Имея в виду широкий выбор преступлений, какие можно было инкриминировать этим людям, настойчивость в обвинениях по поводу Орджоникидзе поистине знаменательна. Стоит напомнить, что суд над Багировым, одним из близких политических сотрудников Берии (который тоже был обвинен в преследовании Орджоникидзе) имел место через два года после падения Берии, но всего лишь через несколько недель после столкновения на XX съезде КПСС Хрущева с Кагановичем и другими по поводу отречения от Сталина и его дел. Следовательно, есть по меньшей мере основания полагать, что, поднимая вопрос о смерти Орджоникидзе, новое руководство партии могло иметь в виду конкретную политическую цель. Например, компрометацию тех, кто был приближенным Сталина в 1937 году и оставался еще у руководства в 1956—Поскребышева, Кагановича, Маленкова и других.

Есть один очевидный довод в пользу теории о самоубийстве. Если врачи или кто-то один из них видели тело, и им сказали, что произошло самоубийство, то легко понять, что их можно было заставить замять скандал в интересах партии и государства. Во всяком случае, Каминский в оставшиеся ему месяцы жизни проявил себя смелым критиком террора; возможно, что его прямая связь с делом Орджоникидзе привела к решению Каминского противостоять дальнейшим убийствам. Будучи кандидатом в члены ЦК и зная о самоубийстве, Каминский, на своем политическом уровне, мог догадываться, что за этим скрывалось, и молчать. Но если бы перед ним было очевидное убийство, он вполне возможно стал бы действовать более решительно.

Другой довод убедительно говорит о том, что самоубийство Орджоникидзе могло быть только принудительным, только навязанным ему со стороны. Если бы Серго Орджоникидзе чувствовал лишь невозможность — по словам «Известий» — «разделять ответственность», если бы он не хотел «подличать», играя роль соучастника в сталинских преступных планах, то вряд ли права газета, когда пишет, будто единственное, что ему оставалось, — это уйти.^[721] Дело обстояло как раз наоборот. Предстоял пленум Центрального Комитета партии. К 20 февраля три украинских члена Политбюро (все трое «умеренные») съехались в Москву,^[722] и Политбюро, вероятно уже заседало. Когда 23 февраля открылся пленум, была сделана согласованная попытка остановить террор. Естественной (и вот уж воистину единственной) перспективой для Орджоникидзе было броситься в борьбу на пленуме. Самоубийство в такой момент было совершенно бессмысленным. Зато со сталинской точки зрения все выглядело наоборот. Оппозиция на пленуме во главе с гневным Орджоникидзе была бы гораздо более трудным противником для Сталина, чем без него. Самоубийство было бессмысленным — но убийство или навязанное самоубийство представляется неумолимо логичным вариантом.

Еще на процессе Зиновьева-Каменева Вышинский любопытно описал смерть секретаря Зиновьева — Богдана. Этого человека якобы принудили к самоубийству, поставив ему простое условие: убей себя или мы тебя убьем. Вышинский назвал такое самоубийство «фактическим убийством».^[723] В этом смысле, даже если мы примем версию о навязанном самоубийстве, можно в любом случае говорить об убийстве Орджоникидзе.

19-го февраля 1937 г. были опубликованы первые фотоснимки покойного Орджоникидзе.^[724] Вокруг тела стояли его вдова и сталинская политическая клика — сам Сталин, Ежов, Молотов, Жданов, Каганович, Микоян и Ворошилов. Все они выглядели подавленными товарищеским горем.

В тот же день было опубликовано извещение Центрального Комитета партии, в котором Орджоникидзе назван «безупречно чистым и стойким партийцем, большевиком».^[725] И в последующие годы Орджоникидзе оставался в почете у Сталина — так же, как оставался Киров. Но через пять лет, в 1942 году, появился любопытный признак предубеждения диктатора против имени Орджоникидзе. Города, в свое время переименованные в его честь, были после немецкой оккупации без шума переименованы вторично: Орджоникидзеград (в прошлом Бежица), Орджоникидзе (в прошлом Енакиево) и Серго (в прошлом Кидиевка) получили свои прежние наименования, а город Орджоникидзе на Кавказе, в прошлом Владикавказ, получил новое осетинское название Дзауджикау. По сталинским неписанным правилам такое действие непременно означало потерю расположения вождя. (Так, впрочем, оставалось и дальше, при наследниках Сталина, когда город Молотов вновь стал Пермью и т. д.) Однако никакого дальнейшего публичного развенчания Орджоникидзе не последовало.

Через пять дней после смерти Орджоникидзе собрался пленум Центрального Комитета партии. Произошло последнее столкновение противоборствующих сил, и отсутствие Орджоникидзе очень больно ощущалось теми, кто намеревался приостановить террор.

ФЕВРАЛЬСКО-МАРТОВСКИЙ ПОЕДИНОК

«Лившиц признал себя виновным и его приговорили к расстрелу. Позже стало известно, что перед расстрелом он крикнул: „За что?“».^[726] Об этом шептались в высших кругах партии. Член Центрального Комитета командарм Якир, услышав это, сказал в частной беседе, что он «не мог свести концы с концом: где же правда, а где клевета и провокация?».^[727] Эти слова командарма, как видно, отражали настроение большинства членов ЦК, когда 23 февраля открылся «февральско-мартовский пленум».

Атмосфера была исключительно напряженной. Более умеренные члены сталинского руководства собирались предпринять последнюю отчаянную попытку приостановить террор. С другой стороны, Сталин был решительно намерен прекратить колебания и сомнения, которые столь долго его задерживали и вынуждали топтаться на месте. Борьба на пленуме — еще один пример того, как упорные слухи, через десятилетия официального молчания, были более или менее подтверждены Хрущевым в 1956 и 1961 годах.

Пленум, разумеется, вели люди Сталина: официальными докладчиками были Ежов, Жданов, Молотов и сам Сталин. Формально говоря, они выступали на разные темы — Ежов говорил об органах государственной безопасности, Жданов — о партийных вопросах, Молотов выступил с экономическим докладом, а Сталин с политическим. Однако на практике все доклады вращались вокруг темы террора, от ежовского об «уроках, вытекающих из вредительской деятельности, диверсий и шпионажа японско-германско-троцкистских агентов», ждановского о неправильных методах исключения из партии, молотовского «о вредительстве и диверсиях» до сталинского «О недостатках партийной работы и методах ликвидации троцкистских и иных двурушников». (Много лет спустя Сатюков на XXII съезде КПСС в 1961 году скажет, что доклады Сталина и Молотова послужили «теоретическим обоснованием массовых репрессий».)^[728]

По сути дела, за повесткой дня скрывался лишь один вопрос — исключение из партии и арест Бухарина и Рыкова.

Сведения о том, что происходило на пленуме, просочились различными путями. Тут и официальные высказывания — речь Хрущева на закрытом заседании XX съезда, и выступление Сатюкова на XXII съезде партии; тут и рассказы видных партийцев и, в частности, бывшего секретаря Центрального Исполнительного Комитета Украины А. Буценко, который в свое время был приговорен к 25 годам лишения свободы в связи с делом «украинской национал-фашистской организации» и в 1940 году рассказывал интереснейшие подробности о пленуме своим товарищам-заключенным по воркутинским лагерям,^[729] и даже те скудные сведения,

которые публиковались по ходу и после пленума. Все вместе помогает составить достаточно четкое представление об отчаянных маневрах на этом закрытом пленуме.

Многие члены Центрального Комитета по-видимому сговорились сопротивляться попыткам судить Бухарина. Они собирались испытать преувеличенную, по их мнению, власть НКВД. Дебаты должен был начать Постышев.

На протяжении последних недель перед пленумом, начиная с января, на Постышева шли косвенные нападки. 1 февраля его ближайший сторонник Карпов был объявлен «врагом партии, гнусным троцкистом».^[730] В последующие дни было объявлено об исключении около шестидесяти старых ставленников Постышева из киевской парторганизации. Этим меньшим по масштабу людей исключить было легче. У них не было подпольного прошлого и даже если их послужные списки в сталинское время выглядели хорошо, то это не было настолько известно в партии, чтобы обвинения против них выглядели неправдоподобными. А замахиваясь на людей типа Карпова, Сталин подрывал позиции Постышева без прямого нападения на него самого. В то же время, обвиняя в троцкизме второразрядных и третьеразрядных сталинцев из окружения тех крупных работников, которых он хотел удалить, Сталин устанавливал прецеденты. Когда сопротивление террору ослабело, эти прецеденты окончательно развязали Сталину руки в расправах даже самыми высокопоставленными работниками, невзирая на их безупречное прошлое.

8 февраля 1937 года «Правда» выступила с суровыми нападками на ошибки, обнаруженные в Киеве, в Азово-Черноморской и Курской областях. На следующий день, 9 февраля, та же «Правда» «разоблачила» «подхалимскую шумиху в обкомах Киева и Ростова». Прицел на Киев был достаточно очевиден. (К этому можно добавить, что секретарь Азово-Черноморского обкома Малинов и зав. орг. отделом того же обкома вскоре были объявлены троцкистскими заговорщиками).^[731]

Эти нападки, однако, не умили Постышева, и он готов был пойти на пленуме против течения. Намерения низложить Сталина не было — сопротивляющиеся намеревались лишь несколько его ограничить, добиться удаления Ежова и прекращения террора.

О плане сопротивления на пленуме Сталин узнал заранее. Выступив первым, он предвосхитил и отверг доводы, которые должны были прозвучать против него. Он призвал к единству и к сознанию ответственности в коммунистическом руководстве.

Потом на трибуну поднялся Постышев. Своим сухим, хриплым и неприятным голосом он начал читать текст выступления. После осторожного предисловия заговорил об эксцессах террора: «Я размышлял: суровые годы борьбы прошли, члены партии, отошедшие от основной партийной линии и примкнувшие к стану врагов — разбиты; за партию боролись здоровые элементы. Это были годы индустриализации, коллективизации. Я никогда не считал возможным, чтобы после такой суровой эпохи могло случиться, чтобы Карпов и ему подобные люди очутились в стане врагов. А теперь, согласно свидетельствам, выходит, что Карпов был завербован в 1934 году троцкистами».^[732]

Постышев подошел теперь вплотную к обвинениям против Рыкова и Бухарина и собирался, видимо, начать говорить об этом, когда Сталин, слушавший речь без всяких видимых эмоций, громко прервал оратора, тем самым дав понять всем присутствующим, что ему было известно дальнейшее содержание речи.

Это и был, вероятно, тот обмен репликами между Сталиным и Постышевым, о котором говорил на XX съезде партии Хрущев. По словам Хрущева:

«Сталин высказал свое недовольство Постышевым и задал ему вопрос: „Кто ты, собственно говоря?“. Постышев ответил твердо: „Я — большевик, товарищ Сталин, большевик“. Такой ответ сначала рассматривался как признак неуважения к Сталину, позже как вредительский акт, и в конце концов это привело к тому, что Постышев был ликвидирован и без всяких оснований заклеен, как „враг народа“».^[733]

В лагерях на Воркуте упорно говорили, что после реплики Сталина (какова бы она ни была) Постышев запнулся, отошел от текста речи, стал объяснять сомнения, ощущавшиеся им и его

сторонниками, и сказал, что после того, как он выслушал сталинский анализ, он берет свои сомнения обратно и надеется, что все остальные сделают то же самое.

Большинство последующих ораторов так и сделали, но говорят, что Рудзутак, Чубарь, Эйхе и некоторые военачальники своих сомнений обратно не взяли. Они утверждали, что их сомнения не были признаком измены или слабости, а только заботы о советском государстве. Чубарь, как передавали, был особенно убедителен. Народный комиссар здравоохранения Каминский, хотя он был только кандидатом в члены ЦК, тоже по всем сведениям говорил особенно эффективно и твердо. Он предъявлял полное, хотя и спокойное обвинение Ежову и осудил его методы.^[734]

Но солидарность протестующих была нарушена. Между тем единственный шанс на успех состоял в том, чтобы выступать единым фронтом, привлекая на свою сторону сочувствующее, но робкое большинство. А на деле солидарность проявила только сталинская клика — Жданов, Ежов, Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян и особенно Хрущев и Шверник.

Сталин сидел в президиуме с безразличным видом, покуривая свою трубку и делая заметки. Под конец заседания он выступил в мягком тоне, поблагодарив всех за конструктивную критику, но указав на необходимость солидарности и твердости против троцкистских заговорщиков.

26 февраля с докладом по организационным вопросам выступал Жданов. Прения по этому докладу шли 27 февраля. В докладе Жданов использовал удобный случай и обрушился с острой критикой на «неправильное руководство» в Киеве, где во главе партийной организации стоял Постышев. Жданов критиковал Азово-Черноморский крайком, Киевский обком и ЦК КП[б]У за «факты вопиющей запущенности партийно-политической работы», «выражающиеся в грубых нарушениях устава партии и принципов демократического централизма». Главным пунктом обвинения было то, что киевская и другие организации кооптировали людей в те или иные органы, а не выбирали их, и это, дескать, было очень недемократично.^[735]

Тем временем готовилась развязка в деле Бухарина и Рыкова. Они, конечно, присутствовали на пленуме как еще не исключенные кандидаты в ЦК. Когда формально был предложен их арест, разыгралась бурная сцена. Под охраной ввели Сокольников и Радека, которые стали возводить на Бухарина и Рыкова обвинения.^[736] Но ни Бухарин, ни Рыков не сдались и, опровергая их свидетельства, горячо отстаивали свою невиновность. Как писалось в то время, «они не стали на путь раскаяния».^[737] Вскоре на процессе Бухарина Икрамов покажет, «сколько дней мы отрицали, сколько раз мои „руководители“ отрицали это на Пленуме ЦК».^[738]

Как передавали, Бухарин произнес сильную и эмоциональную речь. Он сказал, что заговор действительно существует, но это заговор Сталина и Ежова, направленный на установление режима НКВД под беспредельной личной властью Сталина.^[739] Со слезами в голосе Бухарин обратился к Центральному Комитету, призывая принять правильное решение. Сталин прервал Бухарина, объявив что его поведение недостойно революционера и что свою невиновность он может доказать в тюрьме.^[740]

Голосование, проведенное под наблюдением Сталина и Ежова, с охранниками НКВД, ожидавшими за дверью, было чистой формальностью. Бухарин и Рыков были арестованы на месте и брошены в Лубянку.

Это случилось 27 февраля. Пленум продолжался.

По докладу Ежова была принята резолюция, повторявшая сталинскую формулу о том, что НКВД под руководством Ягоды не проявлял себя должным образом четыре года назад — то есть по делу Рютина:

«Пленум ЦК ВКП[б] считает, что факты, собранные в результате расследования дел антисоветского троцкистского центра и его сторонников в провинции, показывают, что Народный комиссариат внутренних дел отстал по крайней мере на четыре года в своей деятельности по разоблачению этих наиболее непримиримых врагов народа».^[741]

Сталин резко критиковал Ягodu.^[742] Возможно, что именно на этом этапе пленума Ягода повернулся к аплодирующим

участникам и проворчал известные слова о том, что шестью месяцами раньше он мог бы арестовать их всех. Наступила очередь Молотова.

«Зло высмеивая тех, кто пытался предостеречь Сталина и Молотова от искусственного создания всевозможных заговоров, вредительских и шпионских центров, Молотов призывал партию „громить врагов народа“, якобы прикрывающихся партийными билетами».^[743] Он объявил, что «особая опасность теперешних диверсионно-вредительских организаций заключается в том, что эти вредители, диверсанты и шпионы прикидываются коммунистами, горячими сторонниками советской власти».^[744]

3 марта Сталин сделал свой доклад, озаглавленный «О недостатках партийной работы и методах ликвидации троцкистских и иных двурушников», а 5 марта пленум закончился его коротким заключительным словом. Эти два выступления Сталина были напечатаны в «Правде» 29 марта и 1 апреля 1937 года. Есть основания предполагать, что многое из сказанного Сталиным на пленуме было в публикации выпущено. Мимоходом отмечу, что через несколько месяцев этот официальный текст двух сталинских выступлений был опубликован на английском языке в книге, содержащей также слегка сокращенную стенограмму процесса над Пятаковым и другими. Председатель англо-советского парламентского комитета, член британского парламента Нейл Маклин, в своем предисловии к книге писал: «Эти речи, произнесенные в простом и ясном стиле, которым так славится г-н Сталин, представляют собой интересное изложение подоплеки процесса и вместе с тем комментарий к нему...».

Вот уж что верно, то верно! В своем докладе Сталин развил теоретическое обоснование террора. Цитируя письма ЦК от 18 января 1935 и 29 июля 1936 годов, Сталин выдвинул тезис (отвергнутый в хрущевский период) о том, что по мере укрепления основ социализма классовая борьба обостряется.

Сталин указал на то, что малочисленность контрреволюционеров не должна успокаивать партию: «Чтобы построить большой железнодорожный мост, для этого требуются тысячи людей. Но чтобы его взорвать, на это достаточно всего несколько человек. Таких примеров можно было бы привести десятки и сотни».^[745]

Однако центральной темой доклада Сталина была критика тех руководителей, у которых «притупилась бдительность»:

«Некоторые наши руководящие товарищи как в центре, так и на местах, не только не сумели разглядеть настоящее лицо этих вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко сами содействовали продвижению агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты».^[746]

Сталин добавил, что «ведя борьбу с троцкистскими агентами, наши партийные товарищи не заметили, проглядели, что нынешний троцкизм уже не тот, чем он был...». «Наши партийные товарищи не заметили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе, что из политического течения в рабочем классе, каким он был семь или восемь лет назад, троцкизм превратился в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств».^[747]

Сталин сделал затем зловещее предложение, которое, как выяснилось позже, верно отражало его дальнейшие планы:

«Прежде всего необходимо предложить нашим партийным руководителям, от секретарей ячеек до секретарей областных и республиканских партийных организаций, подобрать себе в течение известного периода по два человека, по два партийных работника, способных быть их действительными заместителями».^[748]

В заключительном слове Сталин лишь кратко коснулся своих старых, ныне раздавленных соперников:

«Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно всем, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались, троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать

беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей родине. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений».^[749]

Остальная часть заключительного слова Сталина была посвящена другому — нападкам на следующую группу его жертв. Формально речь шла о неправильном поведении, о необоснованных исключениях из партии, допущенных руководящими партийными работниками, все еще занимавшими высокие посты. Сталин сперва объявил:

«Мы, руководители, не должны зазнаваться, но должны думать, что если мы являемся членами ЦК или наркома, то это еще не значит, что мы обладаем всеми необходимыми знаниями для того, чтобы правильно руководить. Чин сам по себе не дает знаний и опыта. Звание — тем более».^[750]

После этого Сталин перешел к злополучному делу Николаенко в Киеве:

«Николаенко это рядовой член партии. Она — обыкновенный „маленький человек“. Целый год она подавала сигналы о неблагополучии в партийной организации в Киеве, разоблачала семейственность, мещанско-обывательский подход к работникам, зажим самокритики, засилье троцкистских вредителей. От нее отмахивались, как от назойливой мухи. Наконец, чтобы отбиться от нее, взяли и исключили ее из партии. Ни Киевская организация, ни ЦК КП[б]У не помогли ей добиться правды. Только вмешательство Центрального Комитета партии помогло распутать этот запутанный узел. А что выяснилось после разбора дела? Выяснилось, что Николаенко была права, а Киевская организация была неправа. Ни больше, ни меньше».^[751]

Сталин затем многозначительно коснулся «бездушно-бюрократического отношения некоторых наших партийных товарищей к судьбе отдельных членов партии, к вопросу об исключении из партии». Он сказал, что «так могут подходить к членам партии лишь люди, по сути дела, глубоко антипартийные».^[752]

Побежденное большинство участников пленума разъехалось по своим организациям, и у них в ушах звучали эти зловещие слова. Худшее для этих людей было впереди.

13 марта «Правда» напечатала на видном месте специальную статью, посвященную антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова. Адресованная более молодому поколению, которое могло и не помнить этих прежних «преступлений», статья говорила о «гнусной» антипартийной деятельности также и Томского. Все трое — Бухарин, Рыков и Томский — определенно обвинялись в преступных связях с троцкистами. Автором статьи был Петр Поспелов — в 1968 году, когда писались эти строки, академик и член ЦК.

По забавной иронии судьбы именно Поспелову досталось сказать на Совещании историков в 1962 г., «что ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были» (см. «Совещание историков», стр. 298).

Одним из первых шагов после победы сталинцев на пленуме было освобождение Постышева 17 марта поста второго секретаря ЦК партии Украины.^[753] Его понизили до первого секретаря Куйбышевского обкома партии. Там он вынужден был работать почти год под огнем постоянной критики, но все еще сохраняя свое звание кандидата в члены Политбюро, куда его не «освободили», по выражению сообщения в «Правде», от этого звания в январе 1938 года. В информационном сообщении о пленуме ЦК 1938 года Куйбышевская область, в которой Постышев, очевидно, должен был исправить свои ошибки, названа в числе тех, где, по мнению Центрального Комитета, чистка производилась неудовлетворительно.^[754]

Удаление Постышева из Киева сопровождалось резолюцией ЦК КП[б] Украины о том, что в результате его руководства и его «небольшевистского стиля работы», выразившегося в зажиме критики и самокритики и формировании клики приближенных, враги партии смогли проникать в ряды организации и иногда преследовать честных коммунистов.^[755]

В последующие месяцы обвинения против Постышева все нарастали. На Украинском партийном съезде в мае на него напал Косиор. По словам Косиора, троцкисты в Киеве сумели проникнуть на руководящие посты.^[756] Другие ораторы на съезде поносили тех, кто дал дорогу «врагам» в Киеве. На съезде выступала и восстановленная в партии Николаенко. Она самодовольно объявила, что в течение нескольких лет на Украине цариласамодовольность и во всем был виден культ личности: «Обстановка, ничего общего не имеющая с большевизмом,

достигла своего апогея, когда киевской организацией руководил тов. Постышев. „Указания Постышева“, „Призывы Постышева“, „Детсады Постышева“, „Подарки Постышева“ и т. д. Все начиналось и кончалось Постышевым». ^[757] Как сказала Николаенко, Постышев был «отравлен успехом из-за того, что наша печать поднимала шум вокруг его имени». ^[758]

Поражение Постышева и понижение его в должности было лишь началом. В последующие несколько лет подавляющее большинство, семьдесят процентов состава ЦК ^[759] — в том числе все те, кто в 1937 году сделали последнюю неловкую попытку воспротивиться террору, — последовали за Бухариным и Рыковым в камеры смертников.

Ибо теперь Сталин выиграл политический бой. У него появилась наконец полная возможность уничтожить старых участников оппозиции. В то же время, как видно по его действиям против Постышева, Сталин сделал первые шаги к подрыву и уничтожению той группы своих собственных сторонников, которая попыталась удержать его от развязывания террора.

Но главная перемена заключалась в том, что потерпела поражение последняя попытка сохранить в стране хоть какое-то подобие конституционной процедуры. В будущем Сталину уже не нужно было ограничивать себя какими-либо соображениями формального порядка. Бухарин и Рыков были последними членами ЦК, чье исключение и арест были, в соответствии с уставом партии, проведены решением пленума.

В последующие шесть месяцев положение радикально изменилось. Еще осенью 1936 года Сталину нужно было спорить и оказывать давление, чтобы добиться ареста и предания суду даже его потенциальных соперников. Теперь он мог отдать приказ об аресте любого из его ближайших сотрудников без чьего-либо ведома. Он мог наносить удары куда хотел, и жаловаться на него было некому. И переломным моментом, пунктом превращения деспотизма в абсолютную террористическую диктатуру Сталина, можно считать февральско-мартовский пленум 1937 года.

Тем не менее, Сталину предстояло предпринять кое-какие шаги, чтобы обеспечить необратимость победы. Деморализованное и побежденное большинство в Центральном Комитете, виновное в самом тяжелом из всех преступлений — безуспешной нелояльности, предстояло стереть с лица земли. Далее, террор затронул пока только определенную часть советского народа, в толще которого следовало выжечь каленым железом политическую недисциплинированность. Оставалась еще армия. По всем признакам армия была послушна, но такое впечатление нередко подводило тиранов прошлого, и Сталин намеревался как можно скорее застраховать себя от подобной ошибки.

Но прежде всего нужно было отладить машину террора. Прежний НКВД времен Ягоды был технически эффективен, но в определенном смысле ему не хватало подлинно сталинского духа. Так или иначе, новый хозяин НКВД не мог доверять людям своего предшественника.

В марте 1937 года Ежов командировал заведующих отделами НКВД в разные концы страны для проведения широкой инспекции на местах. Не были посланы лишь начальник иностранного отдела Слуцкий и — пока что — Паукер. Остальные, выехав в командировки, были арестованы на первых же станциях от Москвы, каждый на своем направлении, и привезены обратно, в тюрьму. Два дня спустя тот же прием был повторен с заместителями начальников отделов. В тот же момент Ежов сменил охрану НКВД на всех важных центральных объектах. Сам он забаррикадировался в отдельном крыле здания НКВД, окруженный мощной личной охраной, причем были введены исключительные предосторожности ^[760]

18 марта 1937 года ^[761] Ежов выступил на собрании руководящих работников НКВД в их клубе на Лубянке. Он обвинил Ягodu в том, что тот был в свое время агентом царской полиции, вором и растратчиком, а потом заговорил о «шпионах Ягоды» в рядах НКВД. Тут же были приняты немедленные меры по расчистке оставшихся кадров Ягоды. Их арестовывали в кабинетах днем или на дому ночами. Следователь, допрашивавший Каменева, грозный Черток, выбросился из окна своей квартиры на двенадцатом этаже. Несколько руководящих работников застрелились или покончили с собой, выпрыгнув из окон кабинетов. ^[762] Но большинство

пассивно шло под арест — в том числе секретарь Ягоды Буланов, арестованный, как мы знаем из «Дела Бухарина», в конце марта.^[763]

Как сообщают, в 1937 году были казнены три тысячи бывших сотрудников Ягоды в НКВД.^[764] Что касается начальников отделов, то Молчанов, Миронов и Шанин были объявлены правыми заговорщиками,^[765] организовавшими свою группу в рядах ОГПУ в 1931-32 годах, а Паукер (который исчез летом) и Гай, вместе с заместителем Паукера Воловичем и Запорожцем, оказались «шпионами».^[766] (Про Паукера, по происхождению еврея, серьезно говорилось, что он шпионил в пользу гитлеровской Германии).^[767]

3 апреля было объявлено, что сам Ягода арестован «ввиду обнаруженных должностных преступлений уголовного характера»,^[768] а через два дня, 5 апреля, было объявлено о назначении нового Народного комиссара и заместителя Народного комиссара связи.^[769] Был также объявлен перевод на другую работу бывшего заместителя наркома Г. Е. Прокофьева. Хотя в сообщении он все еще именовался «товарищем», Прокофьев был вскоре арестован как «правый». Жены Ягоды и Прокофьева были также арестованы и отправлены в лагерь.^[770] Дача Ягоды была передана Молотову.^[771]

Теперь машина Ежова была «прочищена» и готова к действию. В то же самое время был обновлен аппарат Генерального прокурора Вышинского — еще один главный элемент механизма террора. Некоторые старые прокуроры пытались поддерживать видимость законности. Например, 26 июня 1936 года заместитель главного прокурора водного транспорта представил даже служебную записку на эту тему. Протесты подобного рода поступали от целого ряда областных прокуроров — а в Брянске, например, двое прокуроров были даже арестованы «за распространение ложных, порочащих слухов». Теперь девяносто процентов областных прокуроров были сняты и многие из них арестованы в результате того, что «Вышинский провел массовую чистку органов прокуратуры. С его санкции были арестованы и впоследствии погибли^[772] многие видные прокурорские работники, стремившиеся в той или иной форме ослабить репрессии, пресечь беззакония и произвол». А в начале 1938 года сталинский журнал под ироническим названием «Социалистическая законность» призывал к дальнейшей работе по очистке органов прокуратуры от «троцкистско-бухаринских предателей, агентов фашизма и вообще чуждых нам, политически неустойчивых, разложившихся элементов».^[773]

Советские правоведы, насаждавшие «формальный» подход к законности, были привлечены к ответственности. В январе 1937 года суровой критике подвергся Е. Пашуканис — заместитель Наркома юстиции и ведущий теоретик права в Советском Союзе.^[774] А в апреле Вышинский уже объявил, что «разоблаченный ныне двурушник Пашуканис» был связан с Бухариным.^[775] Не повезло и другому заместителю Наркома юстиции: В. А. Деготь был арестован 31 июля 1937 года, отправлен в лагерь, где умер в 1944 году.^[776]

К началу весны 1937 года вся террористическая машина была в полном порядке. Старые коммунисты в полицейском аппарате и в прокуратуре, при всей их беспощадности, уже не годились для новой фазы террора. Тем советским гражданам, которые думали, что страна к тому времени была уже в руках террористов, еще предстояло узнать, что такое настоящий террор.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ИЮНЬ

11 июня 1937 года было объявлено, что цвет высшего командования Красной Армии обвиняется в измене. На следующий день командиры были судимы и казнены. В отличие от жертв прежних политических чисток, против генералов не велось какой-либо публичной пропагандистской кампании. Для большинства людей — и в стране и вне ее — новость об «измене» была полным сюрпризом, внезапным ударом. О самой «измене» не сообщалось никаких подробностей. Эффект кампании, поднятой в прессе 12 июня, не мог сравниться с тем, что было достигнуто в предшествующих случаях систематической травлей жертв на протяжении месяцев и даже лет.

Пропаганда сделала все возможное. Были срочно собраны митинги, потребовавшие смертной казни для «грязной банды шпионов»; Демьян Бедный успел настрочить стихотворение в 54 строки, включавшее зарифмованные имена генералов; подобные же вирши сочинил и другой стихоплет — Александр Безыменский; а на газетных столбцах вокруг этих рифмованных строчек рабочие заводов, сотрудники Академии Наук, полярные исследователи с острова Рудольфа и представители вообще всей «честной и прямодушной советской общественности» требовали расстрела изменников, который, как оказалось, уже состоялся. 13 июня на первой странице «Правды» был опубликован приказ Наркома обороны Ворошилова № 96 от 12 июня 1937 года. В приказе говорилось о преступлениях расстрелянных военачальников. Они якобы «сознались в своем предательстве, вредительстве и шпионаже».

Приведем список командиров. Заместитель Наркома обороны маршал Тухачевский; командующий Киевским военным округом командарм Якир; командующий Белорусским военным округом командарм Уборевич; председатель Осоавиахима комкор Эйдеман; начальник Военной академии командарм Корк; военный атташе СССР в Лондоне комкор Путна; начальник административно-хозяйственного управления Красной Армии комкор Фельдман; заместитель командующего Ленинградским военным округом комкор Примаков. Кроме того, в числе изменников был назван первый заместитель Наркома обороны, начальник Политуправления Красной Армии Ян Гамарник, о самоубийстве которого было объявлено 1 июня. В официальном сообщении Прокуратуры Союза ССР говорилось, что «указанные выше арестованные обвиняются в нарушении воинского долга (присяги), измене родине, измене народам СССР, измене Рабоче-Крестьянской Красной Армии».^[777]

Между этими обвинениями и тем, что стоит в приказе Народного комиссара обороны СССР Ворошилова, имеется некоторое несоответствие. В приказе Ворошилова — «для достижения этой своей предательской цели фашистские заговорщики не стеснялись в выборе средств: они готовили убийства руководителей партии и правительства».^[778] Как мы увидим, и троцкистская тема, и версия об измене готовились и разрабатывались на протяжении многих месяцев; мы увидим также, что версия измены, по крайней мере, была хорошо «документирована».

Все жертвы были ведущими членами группы, объединенной вокруг Тухачевского общим, заботой о пересмотре военных концепций в тридцатые годы. (Три видных фигуры из той же группы не были казнены сразу: авиационный командир Алкснис, флотский руководитель Муклевич и представлявший бронетанковые войска Халепский. Но скоро наступил и их черед). Группа разработала идею, а до некоторой степени и организационную схему эффективной современной армии.

Высшие военные руководители были еще молодыми людьми. Они становились командирами, не достигнув и тридцати лет. За исключением Корка, которому было ровно пятьдесят лет, жертвам было лишь немногим больше сорока. Тухачевскому и Путне было по сорок четыре года, Якиру и Уборевичу по сорока одному. Они оба были ровесниками Жукова, которому предстояло сыграть важную военную и политическую роль на протяжении многих последующих лет, Покончившему с собой Гамарнику было тоже только сорок три года.

По всеобщему признанию Тухачевский был наилучшим военным мыслителем в армии, *обладал* огромной силой воли и крепкими нервами. Он был выходцем из среды мелкого дворянства. Во время первой мировой войны служил подпоручиком в Семеновском Гвардейском полку. В 1915 году Тухачевский попал в немецкий плен. После пяти попыток побега Тухачевского заперли в крепости Ингольштадт, где среди его собратьев по плену был молодой капитан де Голль. В 1917 году Тухачевский вернулся в Россию, где присоединился к большевикам.

Английский военный историк профессор Джон Эриксон в своей книге *The Soviet High Command* («Высшее советское командование») пишет о Тухачевском так: «Блестящий человек быстрого ума, с долей жестокости, связанной у него с порывистой пылкостью, молодой командир Красной Армии развил в себе известную надменность и высокомерие, отнюдь не рассчитанные на облегчение дружеских связей».^[779]

Во время гражданской войны Тухачевский несколько раз спасал положение красных на восточном фронте, а в 1920 году, двадцати семи лет отроду, командовал армиями, наступавшими на Польшу. Позже он руководил подавлением Кронштадтского мятежа и операциями против повстанцев Антонова в Тамбовской губернии.

Киевский и Белорусский военные округа, под командованием соответственно Якира и Уборевича, были крупнейшими в стране. В них были сконцентрированы двадцать пять из девяноста стрелковых дивизий Красной Армии и двенадцать из двадцати шести кавалерийских.

Якир, живой и моложавый командарм, был сыном бедного еврея-аптекаря из города Кишинева. В возрасте *двадцати* одного года он организовал большевистский отряд на Украине и за три года продвинулся до командующего так называемой «фастовской армейской группировкой», действовавшей против поляков. С 1926 года Якир командовал ключевым Украинским военным округом, носившим последовательно различные названия. Среди членов Центрального Комитета партии Якир был единственным профессиональным военным. (Другими двумя «военными» членами ЦК были Ворошилов и политический руководитель армии Гамарник).

Уборевич был «военным интеллигентом», носил очки. Он тоже командовал армией в польском походе 1920 года, затем участвовал в блестящих операциях, закончившихся штурмом Перекопа в ноябре 1920 года и победой в гражданской войне. Уборевич был кандидатом в члены ЦК и, если не считать заместителя Гамарника по Политуправлению Красной Армии А. С. Булина, единственным среди кандидатов, не носившим маршальского звания. (Кандидатами в члены ЦК были маршалы Блюхер, Буденный, Егоров и Тухачевский).

Остальные «заговорщики» были почти столь же выдающимися людьми. Корк и Эйдеман, например тоже командовали армиями в гражданской войне и в походе против Польши. Эйдеман, человек с квадратобразной головой, с усиками, армейский старшина по виду, был на самом деле латышским писателем. Путна, служивший до революции в Семеновском гвардейском полку вместе с Тухачевским, был командиром меньшего масштаба, но занимал важные посты в системе военного обучения армии в двадцатые годы. Фельдман, по происхождению еврей, был одним из ближайших помощников Тухачевского.

Ян Гамарник, тоже намеченный Сталиным в качестве главной мишени для удара, был начальником Политуправления Красной Армии и первым заместителем Народного комиссара обороны. Он принадлежал к несколько иной категории, чем перечисленные выше командиры. Во многом он расходился с военными руководителями — особенно в вопросах военно-политической организации. Гамарник был типичным старым большевиком, он участвовал в опаснейших сражениях гражданской войны на Украине, а затем был участником сапроновской фракции в период ее большого влияния в этой республике.^[780] Но с середины двадцатых годов у него не было никаких связей. На пост начальника Политуправления Красной Армии Гамарник был назначен в 1929 году. Гамарник считался в партии — конечно, по партийным понятиям — чем-то вроде святого.

Однако военные заслуг в прошлом вряд ли сослужили службу генералам — скорее наоборот. К 1937 году пятую часть командного состава Красной Армии все еще составляли

ветераны гражданской войны; из них почти целиком состояло высшее командование. Но от прежних времен между ними сохранилось немало взаимных обид. Так, например, во время боев под Царицыным вокруг Ворошилова и Сталина образовалась группа военных, которые систематически не подчинялись и выражали открытое неповиновение приказам военного комиссара Троцкого. А поведение Ворошилова в долгих ожесточенных интригах было настолько скверным, что вызвало самые худшие чувства, какие только можно вообразить — даже на фоне обычной грызни в большевистском руководстве.

Именно под руководством царицынской группы находилась конница Буденного, вначале мало чем отличавшаяся от разбойничьей банды. Сам Буденный вспоминает, что в то время Троцкий называл ее именно «бандой» под руководством «атамана-предводителя». «Куда он поведет свою ватагу, туда она и пойдет», — говорил Троцкий. — «Сегодня за красных, а завтра за белых».^[781] Один из буденновских командиров застрелил комиссара только за то, что комиссар протестовал против грабежей в Ростове.

Но по мере того, как приходили новобранцы, «ватага» разрослась с помощью Сталина в Первую Конную армию. Эта армия привлекла как способных, так и сумасбродных людей, но, во всяком случае, ее организация улучшилась. Военный совет Первой Конной армии состоял из Ворошилова, Щаденко и Буденного.

После поражения советских войск в битве за Варшаву в 1920 году возникли острые споры относительно ответственности Первой Конной за это поражение. В то время как главные силы Красной Армии под командованием Тухачевского нанесли удар к северу от польской столицы, Егоров и Сталин на южном фронте, в который входили и буденновцы, наступали со стороны Львова. До самого последнего момента приказы двинуть буденновскую кавалерию к северу игнорировались — в лучшем случае по техническим причинам, в худшем — во имя близорукой попытки завоевать всю славу на своем фронте за счет общего успеха. Можно говорить о том, что советские военные силы вообще слишком растянуты, однако большинство советских военных специалистов склонялось к объяснению Тухачевского — а именно, что Сталин, Егоров и Буденный безответственно погубили все шансы на успех наступления. По-видимому, с этим соглашался и Ленин, заметивший тогдашнему управделами Совнаркома Бонч-Бруевичу: «Ну, кто же на Варшаву ходит через Львов?»^[782]

Весь этот вопрос публично и подробно обсуждался в военных лекциях. Нет сомнения, что обсуждение это горько терзало Сталина. Когда он получил полный контроль над учебниками истории, весь эпизод был переписан как стратегически верное наступление на Львов, предательски саботированное Тухачевским и Троцким. Часть ответственности за польский разгром Сталин возлагал также на Смильгу.^[783]

Но к 1937 году эти старые споры уже представлялись мелкими и академическими. В сравнении с общим политическим климатом в стране, злобным и ядовитым, положение в армии стало прямо-таки спокойным оазисом среди бури.

В двадцатые годы коммунисты в вооруженных силах открыто и активно участвовали в политических спорах того времени. Начальник Политуправления Красной Армии Антонов-Овсеенко был прямым троцкистом. Заместитель Наркома обороны Лашевич, сторонник Зиновьева, провел более или менее секретное собрание участников оппозиции где-то в лесу, продолжая занимать свой пост.

Но позже открытые действия такого типа прекратились. Некоторое время армейские коммунисты еще участвовали — хотя и более осторожно, чем гражданские лица — в политических спорах об общих задачах.

Среди командиров, подписавших документ в защиту оппозиции в 1927 году, были Якир и Путьна. Но Тухачевский не участвовал ни в одном таком выступлении.^[784] Можно провести определенное различие между профессиональными военными, которые сделались коммунистами — Тухачевским, Корком и Егоровым, — и коммунистами, выросшими в профессиональных военных, подобно Якиру, Блюхеру и Алкснису. Даже в двадцатые годы первая из этих двух групп играла лишь незначительную роль в политике — кроме тех случаев,

когда дело касалось чисто военных вопросов вроде сопротивления Тухачевского и Уборевича идеям Троцкого об организации армии.

Но, во всяком случае, с воцарением Сталина во всех областях жизни к концу двадцатых годов армейское командование полностью устранилось от политической борьбы. Очевидно, частично объяснение этому — такое же, какое было у Пятакова: вопрос о руководителе был решен. На долю командиров оставались профессиональные проблемы создания мощной военной силы.

С другой стороны, Сталин был настолько осторожен, что старался не вызывать никаких волнений среди военных. Как в 1928 году он «нейтрализовал» Украину, удалив оттуда Кагановича, так и в армии он оставил Тухачевскому и его сотрудникам относительную свободу действий. Армейские коммунисты пользовались в партии высокой репутацией. Во время сравнительно мягкой партийной чистки 1929 года лишь от 3 до 5 процентов всех коммунистов-военных было исключено из партии в сравнении со средней цифрой в 11, 7 процента по партии в целом; соответствующие цифры в чистке 1933 года были 4, 3 процента и 17 процентов.

Правда, время от времени тот или иной командир подвергался репрессиям. Но обыкновенно это бывал какой-нибудь особый случай вроде дела военного академика Снесарева, в прошлом царского генерала, погибшего в лагере в 1937 году и недавно реабилитированного. Снесарев был репрессирован в возрасте 65 лет в 1930 году по обвинению в участии в контрреволюционной монархической организации.

Однако в целом армия пользовалась все более и более дружественным вниманием и подвергалась все меньшим и меньшим преследованиям. Престиж вооруженных сил начал расти во многих отношениях. В марте 1934 года был отменен принцип разделения ответственности между командиром и политическим комиссаром. Командир стал полным единоначальником, а комиссар — всего лишь его политическим советником. 22 сентября 1935 года были восстановлены прежние воинские звания, исключая пока что генералов. Всем командирам, кроме младших, предоставлялась неприкосновенность против ареста гражданскими органами без специального разрешения Наркома обороны. Одновременно были названы первые пять маршалов Советского Союза: Тухачевский, Блюхер и Егоров с чисто военной стороны, плюс сталинские назначенцы Ворошилов и Буденный.

Однако в 1936-37 годах возникло новое обстоятельство. Как мы видели, крупнейшие военные и политические руководители армии были членами или кандидатами Центрального комитета партии. Ворошилов и Буденный всегда и во всем поддерживали Сталина. Но Якир и Гамарник среди членов ЦК, Тухачевский, Блюхер, Егоров, Уборевич и Булин среди кандидатов были, как говорят,^[785] против ареста Бухарина вместе с большинством гражданских членов и кандидатов ЦК ВКП[б].

На процессе 1938 года Бухарин туманно упомянул о каких-то «военных» в числе своих соучастников. Когда Вышинский спросил: «какие это военные?», Бухарин ответил: «правые заговорщики». Приняв это показание, Вышинский спросил: «Конкретно?» и тогда Бухарин назвал Тухачевского и Корка.^[786] В упоминании о Тухачевском и Корке на процессе Бухарина как не просто об участниках расплывчатого «блока», но как о настоящих «правых», мы находим частичное объяснение причин сталинской неприязни к военачальникам. Они не были «правыми» в том смысле, в каком был Бухарин.

Но наиболее вероятно, что они выказывали «правые» настроения в том смысле, в каком это делали Рудзутак, Чубарь и др. — а именно, военные голосовали или протестовали против Сталина на пленумах ЦК в последний период — с сентября 1936 по февраль 1937 года. Если военные кандидаты в члены ЦК еще могли избежать открытого изложения своих мнений о судьбе Бухарина, то члены ЦК должны были высказать точку зрения. Но если кто-то даже воздерживался, не голосуя ни за, ни против, то для Сталина это было уже опасным признаком.

Конечно, это не значит, что мотивы Сталина тем и исчерпывались. Роль играли и старые обиды и новые неприятности. Однако имеются и более общие, более значительные соображения.

Деспотизм, навязанный террористической и терроризованной бюрократией, может быть в целом исключительно силен. Но он всегда имеет определенные уязвимые места. Его твердость переходит в хрупкость. Даже самые строгие предосторожности не могут, например, исключить возможности убийства деспота. Не имеется реальных свидетельств того, чтобы кто-нибудь когда-нибудь серьезно покушался на жизнь Сталина (если, конечно, его смерть в 1953 году не была результатом покушения, но мы ведь пока не знаем всех точных обстоятельств). Есть несколько туманных сообщений о планировавшихся покушениях, обычно среди молодых коммунистов, но все эти попытки раскрывались еще до созревания. Были один или два индивидуальных инцидента — например, есть сообщение о солдате, который во время последней войны обстрелял вышедшую из Кремля правительственную машину, в которой находился, однако не Сталин, а Микоян!^[787]

Другое уязвимое место всякой диктатуры — возможность военного переворота. Ведь всего несколько десятков целеустремленных людей могли, теоретически рассуждая, захватить Кремль и высших руководителей в нем. И машина того типа, какую построил Сталин, могла в таких обстоятельствах сломаться очень легко. Ведь даже комическая попытка генерала Мале свергнуть Наполеона в 1812 году — попытка, основанная на чистом блефе, — имела поначалу неправдоподобно большой успех. Лучшим шансом освободиться от Сталина был бы переворот под руководством Тухачевского в союзе с еще живыми участниками оппозиции — так же, скажем, как лучшим шансом остановить Гитлера в 1933 году был бы переворот под руководством Шлейхера, поддержанный социал-демократической партией.

Но так же как немецкие социал-демократы были связаны своими понятиями о конституционности (и так же как потом большинство гитлеровских генералов чувствовало себя связанным формальным подчинением Гитлеру как главе государства), советские маршалы, подобно гражданским участникам оппозиции, были, по-видимому, загипнотизированы тем, что сталинское руководство при всех его пороках с партийной точки зрения было законным.

О существовании какого-либо военного заговора против власти Сталина нет никаких конкретных свидетельств известных нам источников, в том числе бывших советских военнослужащих и сотрудников НКВД, позже перешедших на Запад. Никаких намеков на существование заговора не содержится и в гитлеровских секретных архивах. Суждения наиболее осторожных историков — таких, как Леонард Шапиро или Эриксон — также определенно сводятся к тому, что никакого заговора не было. Разумеется, гораздо труднее подтвердить отсутствие чего-либо, чем присутствие, и нельзя формально исключить возможность того, что в один прекрасный день обнаружится свидетельство существования серьезных намерений среди некоторых военачальников того времени.

То же самое относится к туманным сообщениям о том, что идея военного переворота приходила в то время в голову некоторым командирам, в частности, Фельдману, но что высшие военачальники не были среди посвященных. В ходе процесса над Бухариным и др. был упомянут еще один «военный заговор» — будто бы возглавлявшийся Енукидзе. Эти заговорщики якобы планировали дворцовый переворот. Их связь с Тухачевским, даже если судить по материалам процесса (см. «Дело Бухарина», стр. 163-4 и 504), была поверхностной. Но опять-таки, хотя в этой истории нет ничего невозможного, она не подтверждается конкретными данными. Короче говоря, возможность существования военного заговора выглядит по меньшей мере маловероятной. Любопытно, однако, то, что легенда о каком-то реальном заговоре все еще не развеялась окончательно, хотя «заговоры», объявленные на трех больших политических процессах, были либо очевидно фальшивыми с самого начала, либо оказались таковыми очень скоро.

Парадоксально, *попричина* остающихся еще и сегодня сомнений, по-видимому, в том, что по этому делу Сталин не представил никаких свидетельств. С его точки зрения это был наилучший метод. Если бы был внезапно раскрыт настоящий военный заговор, то немедленный военный трибунал и казнь заговорщиков выглядели бы наиболее естественной реакцией. Немало прецедентов такого рода было и в других странах, и в самой России. Более того: если «заговоры», обнародованные ранее на политических процессах, выглядели весьма

сомнительными, то захват власти Тухачевским мог считаться вполне разумным и возможным действием. В этом случае никаких «доказательств» и не требовалось. В каком-то смысле дело Тухачевского и других заключало в себе особую иронию, потому что представляло собою единственный случай, в котором Сталин имел перед собой документальное свидетельство. Оно было, разумеется, фальшивым, но было подлинно немецкого происхождения.

Сталин, однако, оказался достаточно хитер, чтобы не опубликовать эти документы. Они не целиком были в его пользу и, возможно, не полностью отвечали его намерениям. С другой стороны, будучи опубликованы, документы стали бы добычей специалистов, которые могли бы обнаружить ошибки, или даже сами немцы могли сорвать весь спектакль.

Таким образом, результатом сталинского внезапного удара и отсутствия конкретных свидетельств было то, что люди легче поверили в существование заговора.

Дело не в том, что люди поверили конкретным обвинениям. Некоторые из них, как выяснилось позднее, были абсолютно невообразимыми — например, что Якир и Фельдман, оба евреи, работали для нацистской Германии. Допустимым выглядел лишь центральный тезис о том, что генералы собирались ополчиться против Сталина.

Главным пунктом заговора, согласно показаниям на бухаринском процессе 1939 года, — «один из вариантов» плана Тухачевского, «на который он наиболее сильно рассчитывал» — был захват Кремля и убийство партийного руководства группой военных,^[788] Гамарник будто бы предложил также захват главного здания НКВД. Дело было представлено так, что по свидетельству Розенгольца Гамарник якобы «предполагал, что нападение осуществится какой-нибудь войсковой частью непосредственно под его руководством, полагая, что он в достаточной мере пользуется партийным, политическим авторитетом в войсковых частях. Он рассчитывал, что в этом деле ему должны помочь некоторые из командиров, „особенно лихие“». ^[789] Забавная деталь: Гамарник, имевший такой выбор «лихих командиров» в своем распоряжении, и боевой генерал Якир будто бы поручили начальнику отдела сберкасс Наркомата финансов Озерянскому подготовить террористический акт против Ежова.^[790] Это одна из тех деталей, которые неизбежно вызывают скептицизм по отношению ко всему делу.

На потребу иностранцам советские органы пускали в обращение всевозможные слухи. Например, Джозеф Дэвис, в то время американский посол в Москве, рассказывает в своих мемуарах, что 7 октября 1937 года в разговоре с советским дипломатом Трояновским он выразил сомнение насчет того, что Тухачевский стал немецким агентом просто за деньги. Трояновский ему ответил, что маршал имел любовницу, которая была немецкой агенткой. Эта версия распространялась и через другие каналы: тот же Дэвис слышал ее от французского посла на основе будто бы данных французской разведки, полученных через Прагу. Подобную же историю рассказал в свое время американский журналист Уолтер Дюранти. Верить всему этому нет ни малейших оснований.

Как мы уже говорили, очевидная внезапность удара по армии и созданная вокруг всего дела атмосфера чрезвычайности сослужили Сталину службу в том смысле, что придали делу некое правдоподобие. Это прослеживается даже по реакции некоторых кругов НКВД. В октябре 1937 года старший сотрудник НКВД говорил своим подчиненным в Испании: «Это был настоящий заговор! Достаточно было видеть, какая паника царила в верхах: все кремлевские пропуска были внезапно отменены; наши (т. е. НКВД) войска были приведены в боевую готовность; как сказал Фриновский, „все советское правительство висело на волоске...“». ^[791]

Другому сотруднику Фриновский сказал, что НКВД «раскрыло гигантский заговор — мы их всех схватили!». ^[792] Однако это было сказано около 20 мая, когда «раскрытие» было закончено с получением фальшивого досье, но предстояли еще три важных ареста.

Несомненно, создание атмосферы внезапной секретной паники было полезно, чтобы поддержать напряжение в военных, партийных и полицейских кругах. Но эта атмосфера никак не согласуется с фактами. Давление на армию, хотя о нем и мало говорилось, было, напротив, постепенным и нарастающим. В действительности прошло одиннадцать месяцев с того момента, когда Сталин предпринял первые шаги против высшего командования — шаги, принесшие теперь столь фантастические плоды.

Первый из серии арестов, которая привела к удару по генералам, имел место 5 июля 1936 года, когда НКВД схватил комдива Дмитрия Шмидта, командира танкового соединения в Киевском военном округе, без ведома и согласия его прямого начальника Якира. Якир бросился в Москву, где Ежов показал ему материал, компрометирующий Шмидта.^[793] «Материал», по видимому, состоял из показаний Мрачковского, Дрейцера и Рейнгольда о том, что Шмидт и его соучастник Б. Кузьмичев (начальник штаба авиационного соединения) по приказу Мрачковского, переданному через Дрейцера, готовили убийство Ворошилова в интересах троцкистских элементов «блока».^[794]

Расправа со Шмидтом было вполне в стиле Сталина: вождь таил против комдива старую обиду. Шмидт не только состоял прежде в оппозиции, но еще и нанес Сталину личное оскорбление.

Член партии с 1915 года Дмитрий Шмидт был сыном бедного еврейского сапожника. Он был моряком, а затем, в ходе гражданской войны, отличным кавалерийским командиром на Украине. В тот период на Украине враждовали между собой всевозможные фракции: к примеру, Василий Гроссман вспоминает, что город Бердичев переходил из рук в руки четырнадцать раз. Город занимали «петлюровцы, деникинцы, галичане, поляки, банды Тютюнника и Маруси, шальной „ничей“ девятый полк».^[795]

Среди всего этого хаоса Шмидт поднялся до командира сначала полка, а затем и бригады, захватил Каменец-Подольск далеко на западе, окруженный силами врага, и, в конце концов, получил приказ сделать попытку (так, впрочем, никогда и не сделанную) прорваться через Польшу и Румынию на помощь венгерской советской республике в 1919 году. Однажды Шмидт ворвался в лагерь партизан-самостийников с двумя помощниками и после того, как сорвались переговоры, вступил в вооруженную схватку и ушел невредимым. Он был типичным, хотя и не слишком талантливым природным вождем партизан — бесстрашным простоватым головорезом, подлинным продуктом гражданской войны. Позже, уже в мирное время, он выстрелил в старшего командира, который обидел его жену. Командира он не убил и дело замяли

В 1925-27 годах Шмидт был связан с оппозицией, хотя и не играл в ней важной роли. Рассказывали, что, прибыв в Москву во время съезда 1927 года, на котором было объявлено исключение троцкистов, он встретил Сталина, выходящего из Кремля. Шмидт, в своей черной черкеске с наборным серебряным поясом и в папахе набекрень, подошел к Сталину и полусерьезно стал осыпать его ругательствами самого солдатского образца. Он закончил жестом, имитирующим выхватывание сабли, и погрозил Сталину, что в один прекрасный день отрубит ему уши.^[796]

Сталин побледнел и сжал губы, но ничего не сказал, Инцидент истолковали как скверную шутку, в крайнем случае как оскорбление, не носившее политического характера и по сему не достойное внимания. В конце концов, Шмидт ведь принял партийное решение, которому так сильно сопротивлялся, и продолжал служить еще около десяти лет. На процессе Зиновьева в 1936 году даже говорилось, что троцкисты, дескать, видели в нем подходящего заговорщика именно потому, что он был вне подозрений в партии.^[797] Что же касается грубости Шмидта, то ведь сам Сталин защищал грубость среди товарищей. И вообще такого рода поведение со стороны грубого солдата не рассматривалось бы сколько-нибудь серьезно никаким вождем — кроме, однако, Сталина.

С самого ареста Шмидта стало ясно, что это был не изолированный акт. «Дела» Шмидта и Кузьмичева были упомянуты среди других в обвинительном заключении на процессе Зиновьева, как «вынесенные в особое разбирательство в связи с тем, что следствие по ним не закончено». На суде Мрачковский говорил о «террористической группе, включавшей Шмидта, Кузьмичева и некоторых других, которых я не помню», что уже тогда было намеком на более широкую военную организацию, Рейнгольд тоже упоминал их как якобы часть «троцкистской группы военных», имевшей много участников, чьих имен он не знал.

Кузьмичев, так же как Шмидт, был старым товарищем Якира. Еще один из его товарищей, председатель Днепропетровского совета Иван Голубенко, был тоже арестован в августе 1936

года^[798] как троцкист, хотя позднее его превратили в шпиона. Летом 1936 года он еще был, согласно показаниям на зиновьевском процессе, членом контрреволюционного троцкистско-зиновьевского националистического блока,^[799] а в январе 1937 года на следующем процессе его упоминали как участника террористической группы, сформированной для убийства Сталина^[800] и намеревавшейся «действовать против руководителей коммунистической партии и советского правительства Украины».^[801] Есть сообщения, что на самом деле Голубенко вместе с Орджоникидзе делал попытки приостановить террор.

Эти аресты, особенно арест Шмидта, вызвали серьезное беспокойство в военных кругах на Украине. Никто не верил в виновность Шмидта. Хотя он однажды голосовал за Троцкого, он давно в этом «раскаялся». Между тем, в августе последовали новые аресты. Был схвачен комдив Ю. Саблин. Сотрудница НКВД Анастасия Рубан, знавшая Якира, тайно назначила ему свидание и сообщила, что видела материалы против Саблина и абсолютно убеждена в его невиновности. Три дня спустя была объявлена смерть Анастасии Рубан от сердечного приступа. Вскоре стало известно, что в действительности это было самоубийство.^[802]

Между тем на Лубянке Шмидта вели по всем степеням допроса высокопоставленные следователи НКВД, включая начальника особого отдела М. И. Гая и печально известного В. М. Ушакова. Комдив обвинялся в подготовке убийства Ворошилова. Было предъявлено и документальное свидетельство — карта маршрута Ворошилова на маневрах, выданная всем командирам. Некоторое время Шмидт все отрицал.^[803]

Обвинение против Шмидта и Кузьмичева было внесено в показания будущих участников зиновьевского процесса, а затем объявлено публично в обвинительном заключении. Но в ходе самого процесса 21 августа 1936 года неожиданно прозвучало имя более крупного командира, одного из членов группы Тухачевского. В тот день был вторично допрошен Дрейцер, уже закончивший давать показания 19 августа. При этом допросе, завершившем весь процесс, Дрейцер выдвинул обвинение против Путны. Этот командир якобы находился в прямой связи с Троцким и Иваном Смирновым. Смирнов отрицал, что Путна имел какое-либо отношение к делу. Однако Пикель, Рейнгольд и Бакаев подтвердили показания Дрейцера.^[804] Путна, вызванный из Лондона, к началу сентября был под арестом. Его жена узнала об аресте мужа в Варшаве, по пути на родину.^[805]

Еще один командир, которому предстояло фигурировать на суде в июне 1937 года, комкор Примаков, был заместителем командующего Ленинградским военным округом. Его арест произошел не позднее, чем в ноябре 1936 года, возможно даже раньше.^[806] Роль Примакова во всем деле очень неясна. Но однажды он уже находился в руках НКВД — по-видимому, в 1934 году^[807] — так что был особенно уязвим.

Для поверхностного наблюдателя не было ничего невозможного в том, что троцкистские заговорщики вовлекали в свою орбиту коммунистов Красной Армии, — наряду с гражданскими лицами разных профессий. В той обстановке Невозможно было жаловаться, что аресты командиров представляли собой репрессии против армии как таковой. С Другой стороны, согласно показаниям Дрейцера, инструкции Троцкого включали особый пункт о «развертывании работы по организации ячеек в армии»;^[808] это уже звучало прямой угрозой. Осенью 1936 года ходили слухи о том, что готовится показательный процесс «командиров-троцкистов» с комкором Путной в качестве главного обвиняемого. Тучи сгущались и над головой самого Тухачевского, если судить по тому, как мало о нем писали в связи с последними Маневрами. А Ворошилов, делясь в Киеве впечатлениями о белорусских маневрах, говорил о «кознях врагов» и призывал к «неусыпной бдительности».^[809]

Однако последующее падение Наркома внутренних дел Ягоды рассматривалось как частичная победа армии. Немецкие дипломатические доклады того времени утверждали, что никаких военных судить больше не будут и что сам Тухачевский полностью реабилитирован.^[810]

Но как всегда это «облегчение» оказалось просто очередным маневром Сталина. Ни Шмидта, ни Путну не освободили, и вскоре Ежов уже планировал более мощный удар по военачальникам. Есть сообщения, правда, не подтвержденные,^[811] что с самого ареста Путны от

него хотели получить Показания, что Тухачевский был английским шпионом. Эти Показания было бы наиболее естественно вложить в уста именно Путны, поскольку он сам занимал пост в Лондоне. Во время прошедших процессов подсудимые часто обвинялись в том, что работали в пользу различных иностранных государств. Тем не менее, это обвинение в последующей пропаганде развития не получило, ибо, возможно, было заслонено «связью» с немецкими фашистами.

Как мы видели, на процессе Пятакова и других прозвучало еще одно обвинение против Путны — в данном случае обвинение лишь в терроре, не в измене. 24 января 1937 года Радек на суде заметил, как бы попутно, что Пути а приходил к нему «передать одну просьбу Тухачевского».^[812] На следующий день состоялся удивительный диалог между Вышинским и Радеком:

Вышинский: Обвиняемый Радек, в ваших показаниях сказано: «В 1935 году... мы решили созвать конференцию, но перед этим, в январе, когда я приехал, ко мне пришел Виталий Путна с просьбой от Тухачевского...». Я хочу знать, в какой связи вы упомянули имя Тухачевского?

Радек: Тухачевский имел правительственное задание, для которого не мог найти необходимого материала. Таким материалом располагал только я. Он позвонил мне и спросил, имеется ли у меня этот материал. Я его имел, и Тухачевский послал Путну, с которым вместе работал над заданием, чтобы получить этот материал от меня. Конечно, Тухачевский понятия не имел ни о роли Путны, ни о моей преступной роли...

Вышинский: А Путна?

Радек: Он был членом организации; он пришел не по делам организации, но я воспользовался его визитом для нужного разговора.

Вышинский: Итак, Тухачевский послал к вам Путну по официальному делу, не имевшему никакого отношения к вашим делам, поскольку он, Тухачевский, никак не был связан с вашими делами?

Радек: Тухачевский никогда не имел никакого отношения к нашим делам.

Вышинский: Он послал Путну по официальному делу?

Радек: Да.

Вышинский: И вы воспользовались этим в ваших собственных интересах? *Радек:* Да.

Вышинский: Правильно ли я вас понял, что Путна был связан с членами вашей троцкистской подпольной организации и что вы упомянули имя Тухачевского только потому, что Путна приходил к вам по официальному делу на основании приказа Тухачевского?

Радек: Я это подтверждаю, и я заявляю, что никогда не имел и не мог иметь никаких связей с Тухачевским по линии контрреволюционной деятельности, потому что я знал, что Тухачевский — человек, абсолютно преданный партии и правительству.^[813]

Прочитав об этом, один опытный работник НКВД сразу сказал, что Тухачевский пропал. Почему, спросила его жена, ведь показания Радека так категорически исключают его вину? а с каких это пор, — был ответ — Тухачевскому понадобилась характеристика Радека?^[814]

Весь этот неуклюжий диалог был успокоительным ходом, без сомнения продиктованным лично Сталиным, возможно, по настоянию Тухачевского, после того, как его имя было накануне названо. Весьма типично, что маршал получил полное удовлетворение самым поверхностным путем. Он вряд ли мог теперь требовать более ясной оценки своей лояльности и невиновности. И в то же время сама мысль о возможной виновности была пущена в ход. И когда Вышинский в своей обвинительной речи говорил о том, что подсудимые признались во многом, но не во всем, что касалось их преступных связей, то это явно была укладка фундамента для возведения дальнейших обвинений и на Тухачевского, и на кого угодно.

Когда Шмидта, в конце концов, сломили суровыми допросами, его показания, по видимому, стали циркулировать в высших кругах партии. Якир решил проверить обвинения. Он настоял на том, чтобы ему дали свидание со Шмидтом в тюрьме. Шмидт исхудал, был совсем седой, выглядел апатично и говорил обо всем с безразличием. По описанию Якира, у него «был взгляд марсианина», как с другой планеты. Но когда Якир спросил его, соответствуют ли действительности данные им показания, Шмидт сказал, что не

соответствуют. Якиру не позволили расспрашивать его о деталях, но он получил записку от Шмидта к Ворошилову с отрицанием всех возведенных на него обвинений. Якир передал эту записку Ворошилову и сказал ему, что обвинения были явно ложными.

Очень довольный этими результатами, Якир вернулся в Киев. Но радовался он не долго. Ибо вскоре Ворошилов позвонил ему по телефону и сказал, что на следующий день, после свидания в тюрьме с Якиром, Шмидт подтвердил снова свои показания и ставит в известность Ворошилова и Якира, что его прежние признания были правильными.^[815] (Теперь известно, что в результате девятимесячных допросов Шмидт либо к тому времени, либо вскоре после этого дал показания, о которых не сообщили Якиру и другим командирам, — показания против Якира. Шмидт «признался», что по наущению Якира хотел поднять свое танковое соединение на мятеж).

Более чем вероятно, что Якир, как, по-видимому, и другие военные, действительно сопротивлялся террору на февральско-мартовском пленуме Центрального Комитета. Во всяком случае его смелое настояние на встрече со

Шмидтом в тюрьме показывает, что Якиру не занимать храбрости.

3 марта 1937 года с трибуны пленума, уже после ареста Рыкова и Бухарина, Сталин вкратце сказал о том, какой вред могут нанести «несколько человек шпионов где-нибудь в штабе армии»,^[816] а Молотов «прямо призывал к избиению военных кадров, обвинял его (пленума) участников в нежелании развернуть борьбу против „врагов народа“».^[817]

На пленуме была одержана решающая политическая победа по вопросу о терроре, и для дальнейшего распространения террора уже готовилась солидная организационная база. В апреле НКВД, «очищенный» Ежовым, был готов к дальнейшим операциям, а, говоря языком хрущевского времени, «вскоре после пленума пробравшимися в органы Наркомвнудела карьеристами и провокаторами была сфабрикована версия о „контрреволюционной военной фашистской организации“ в вооруженных силах».^[818]

До тех пор жертвами Сталина были почти исключительно бывшие участники оппозиции. Это зерно и в отношении Бухарина и Рыкова. Теперь впервые Сталин перешел к массивным ударам по своим собственным сторонникам. Что касается бывших оппозиционеров, даже Бухарина и Рыкова, то партийная элита *могла* известной степени полагать, что с ними сводили старые счеты, — а сведение счетов давно уже практиковалось в ВКП[б]. В какой-то мере влияла на умы и теория о том, что Сталин расправлялся с соперниками, с группой, которая могла придти к руководству вместо него. Но если теперь уничтожались верные сторонники Сталина, люди, не принимавшие участия ни в каких оппозиционных движениях, то тут уже никто не мог чувствовать себя в безопасности. К тому же не было видно никакого принципа в отборе жертв.

В этих обстоятельствах Сталин вполне резонно мог подумать, что высшее военное командование, представители которого сопротивлялись даже репрессиям против Бухарина или с очевидной неохотой подчинились этому партийному решению, могло пойти на открытое сопротивление. Нарушив принцип политической верности, Сталин сам освободил этих людей от обязательств, налагаемых партийной дисциплиной. Поэтому довольно естественно, что запланированный Сталиным удар по военному командованию пришелся как раз на тот период, когда вождь стал уничтожать своих собственных недостаточно покорных сторонников.

Это уничтожение, как все у Сталина, шло постепенно. После ареста Ягоды 3 апреля 1937 года на освободившийся пост Наркома связи был назначен командарм Халепский, специалист по бронетанковым войскам из группы Тухачевского. Это назначение было столь же абсурдным, сколь и зловещим.

В апреле исчез комкор Геккер — начальник управления международных связей Красной Армии, а потому особенно подходящая фигура для обвинений в шпионаже. В том же месяце был взят командующий Уральским военным округом комкор Гарькавый. Он был одним из ближайших сотрудников Якира; они даже были женаты на родных сестрах. И снова Якир выказал нежелательную смелость, обратившись к Сталину.^[819] Сталин его успокоил, сказав, что

серьезные обвинения против Гарькавого были выдвинуты теми, кто уже находился под арестом, но что, если он окажется невиновным, его выпустят.

28 апреля 1937 года «Правда» опубликовала многозначительный призыв к Красной Армии овладеть политикой и бороться как с внешним, так и с внутренним врагом. Это было правильно понято высшим командованием, уже испытавшим несколько потрясений, как сильнейший, хотя и не прямой удар.

На первомайском параде 1937 года Тухачевский первым появился на трибуне, предназначенной для военного командования. Он шел в одиночестве, заложив большие пальцы рук за пояс. Вторым пришел Егоров, но он не посмотрел на своего коллегу и не отсалютовал ему. К ним в молчании присоединился Гамарник. Военных окружала мрачная, леденящая атмосфера. По окончании парада Тухачевский не стал дожидаться демонстрации и ушел с Красной площади.^[820]

В апреле его назначили присутствовать при коронации короля Георга VI в Лондоне. 3 мая документы Тухачевского были посланы в Британское посольство, но на следующий день посольству сообщили, что по состоянию здоровья Тухачевский не сможет приехать. Вместо него выехал адмирал Орлов.

Офицер, несколько раз встречавший Тухачевского в мае 1937 года, сообщает о том, что маршал выглядел необыкновенно мрачно после того, как имел разговор с Ворошиловым. Через несколько дней у Тухачевского с Ворошиловым была еще одна беседа. Ворошилов был холоден и формален. Он коротко объявил *маршалу*, что его снимают с поста заместителя Наркома обороны и переводят в Волжский военный округ — в один из самых незначительных, располагавший тремя пехотными дивизиями и несколькими отдельными соединениями.

Тухачевский в то время сказал одному из своих друзей: «Дело не столько в Ворошилове, сколько в Сталине».^[821]

Это назначение вместе с несколькими другими стало официально известно 10–11 мая, когда была объявлена целая серия перемещений высших военачальников. Эти перемещения наиболее ясно свидетельствуют о тогдашних намерениях Сталина. Гамарник, подобно Тухачевскому, был снят с поста заместителя Наркома обороны. Более хитрым ходом было перемещение Якира из Киева в Ленинград; в отличие от нового назначения Тухачевского, это не было очевидным понижением по службе. Кроме того, ни Тухачевский, ни Якир не были посланы на свои новые места службы с унижительной поспешностью: они оставались соответственно в Москве и Киеве приблизительно до конца мая.

Тем временем постановлением от 8 мая 1937 года^[822] была восстановлена прежняя система двойного подчинения, при которой власть политических комиссаров приравнивалась к власти боевых командиров. В свое время, когда такая мера была принята впервые, официальной причиной было то, что так называемые «военспецы» были, в основном, бывшими царскими офицерами и им нельзя было полностью доверять. Восстановление этой системы уже при новом вполне советском командном составе было яркой демонстрацией недоверия к командным *кадрам*. 9 мая в армию была спущена инструкция, призывавшая к повышению бдительности.

11 мая был нанесен первый удар по Дальневосточной армии в виде ареста комкора Лапина, начальника штаба ДВА (Лапин покончил с собой после пыток в Хабаровской тюрьме).^[823] В тот же день в Москве схватили более крупную добычу — командарма Корка из Военной *академии им. Фрунзе*.

Это означает, что к середине мая трое из намеченных жертв операции «Тухачевский» были уже под арестом, и давление на Тухачевского и Якира нарастало. Но внешне дело выглядело так, что всех высших командиров намеревались перевести на новые назначения до того, как НКВД нанесет последний удар. Если первоначальные намерения были, действительно, таковы, то это означает, что в середине мая планы внезапно переменились.

Как пишет в своих *мемуарах* бывший гитлеровский разведчик Вальтер Шелленберг,^[824] «документы», свидетельствующие, что Тухачевский был немецким шпионом, были переданы в советские руки как раз около этого времени. Эти «документы» были

сфабрикованы в Восточном отделе гитлеровской службы безопасности (СД). Но подоплека у этой истории совсем не простая.

ПАРТНЕРЫ-ПРОТИВНИКИ

Я знаю, как любит немецкий народ своего Фюрера. Я хотел бы поэтому выпить за его здоровье.

Сталин, 24 августа 1939 г.

Сталинский взгляд на фашизм имел несколько особенностей. Конечно, фашизм был давно объявлен худшей формой власти буржуазии и «научно» провозглашен слугой монополистического капитала. Хотя, таким образом, само слово «фашизм» было в Советском Союзе одним из наиболее зловещих, его эффективность была значительно ослаблена тем, что «фашистами» в СССР было принято называть и социал-демократов («социал-фашисты»). В результате этой путаницы понятий германской компартии было приказано (против ее воли) бросить свои главные силы не против нацистов, а против буржуазно-социалистических коалиционных правительств — до такой степени, что в прусском референдуме 1931 и в транспортной забастовке 1932 года коммунисты активно сотрудничали с нацистами против умеренных. Ясное свидетельство такой направленности германской компартии, а также свидетельство того, что приказ исходил от Коминтерна, содержится в речи О. Пятницкого на XXII пленуме Исполкома Коминтерна.^[825]

Когда такая тактика привела к победе Гитлера, разгром германской компартии был представлен, согласно новому сталинскому стилю, как победа. По новой концепции Гитлер был своего рода «ледоколом революции» — он был последней отчаянной попыткой буржуазии удержать власть, и его падение должно было привести к полному краху капитализма. Эта точка зрения быстро входила в моду.

Когда, однако, Сталину стало ясно, что гитлеризм не находится на пороге падения — к этому заключению Сталин, вероятно, пришел после «ночи длинных ножей» в июне 1934 года, покончившей с Ремом и его сторонниками, — его продолжали удерживать от сближения с новым диктатором отнюдь не идеологические причины. Трудность была скорее в том, что Гитлер выглядел исключительно непримиримым антикоммунистом. Видя, как наращивает Гитлер германское военное и экономическое могущество, Сталин начал рассматривать проблему в комплексе. Очевидная военная угроза со стороны Гитлера могла быть блокирована двумя путями — силой или договором. Если решать проблему придется силой, тогда нужно строить мощный антифашистский союз. Если возможен договор, то лучше всего достичь его с позиции силы. По этим соображениям с середины тридцатых годов и советская внешняя политика и тактика Коминтерна были направлены на создание системы партийных и государственных союзов против Германии.

В 1936 году, после того как внешняя политика Советского Союза была переориентирована указанным образом, Наркому иностранных дел Литвинову, давно уже выступавшему за союз с Западом, стало легче работать. Однажды в ходе одного заседания Сталин положил руку на плечо наркома и сказал: «Видите, мы можем прийти к соглашению». Литвинов (так, во всяком случае, рассказывал Эренбургу З. Я. Суриц) «снял руку Сталина со своего плеча: „Ненадолго.“».^[826]

Часто высказывается мнение, что одним из мотивов сталинского террора, особенно в армии, было желание Сталина получить свободу маневра, результатом которой явился советско-гитлеровский пакт 1939 года. Прежняя, донацистская прогерманская ориентация не была ведь идеологической, и союз даже с очень «реакционной» Германией против «богатых» держав давно принимался как должное армией и большинством в партии. Изменения наступили только тогда, когда гитлеровский фашизм начал выглядеть открытой угрозой Советскому Союзу. После этого начались кампании народного фронта, проводимые Коминтерном, был

заключен франко-советский пакт и т. д. Когда эти изменения наступили, они были приняты внутри СССР очень тепло. В стране и в партии новые союзы на государственном и партийном уровнях рассматривались как возможность «поворота направо», примирения с демократией. Тем временем Тухачевский и вообще военные с энтузиазмом работали над настоящей модернизацией армии, чтобы сделать ее способной противостоять не только полякам и туркам, но и высокому потенциалу мобилизованной Германии.

Однако для Сталина все кампании народного фронта и все пакты были результатами не убеждения, а расчета.

Пока и поскольку всякие там убеждения и муки совести были ощутимы в Коминтерне, сталинская свобода действий в сближении с немцами была, понятно, ограничена. Ведь идеологические концепции, чувства социалистов были твердо антифашистского характера. Сталину было просто необходимо сокрушить независимые, недисциплинированные мнения в международном масштабе, чтобы иметь возможность торговаться свободно. Есть любопытное сообщение о том, что узники сталинских лагерей уже в 1938 году начали предсказывать возможность нацистско-советского пакта на основании того, какие категории людей арестовывались. Особенно выразительными были аресты зарубежных коммунистов.^[827]

Когда в августе 1939 года пакт был заключен, стал виден эффект интенсивной организационной работы и пропагандной кампании в Коминтерне. Во всем мире, с незначительными и временными исключениями, коммунистические партии согласились с переменной фронта и начали разьяснять ее необходимость — иногда в вечерних выпусках тех же самых газет, которые еще утром требовали борьбы до последнего против нацизма. Из руководства иностранных компартий вышли в отставку только отдельные личности.

Еще на XVII партийном съезде в 1934 году Сталин намекал на возможную альтернативу в виде соглашения с Германией: «Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной».^[828]

В августе 1935 года иностранный отдел НКВД представил Сталину пессимистический доклад о том, чувствуется ли в Германии стремление к договору с Советским Союзом. Однако есть сведения, что, по словам докладывавшего Сталину сотрудника, это на Сталина не подействовало, и он продолжал считать, что соглашение могло быть достигнуто.^[829]

Литвинов был прав. С самого 1936 года, угрожая своей возможной антигерманской политикой, Сталин зондировал почву среди нацистов через своих личных эмиссаров.

В советское посольство в Берлине прибыл под видом «коммерческого атташе» представитель личного секретариата Сталина, его старый прихвостень Давид Канделаки. Он стал деликатно нащупывать почву. В декабре 1936 года Канделаки встретился с Яльмаром Шахтом, чтобы выяснить возможности расширения советско-германской торговли. Шахт ответил, что условием для такого расширения должно быть прекращение коммунистической деятельности в Германии, поддерживаемой из Советского Союза. Канделаки вернулся в Москву, чтобы доложить Сталину, и к началу нового года был составлен письменный проект, предусматривающий открытие переговоров либо через послов, либо, если бы пожелали немцы, по секретным каналам. Проект содержал напоминание немцам, что подобное соглашение уже раньше предлагалось Советским Союзом. 29 января 1937 года Канделаки (он, кстати, позже был арестован и, видимо, умер в лагере)^[830] снова нанес визит Шахту совместно с доверенным лицом НКВД Фридрихсоном. Посетители сделали гитлеровскому министру устное предложение, исходившее от Сталина и Молотова, об открытии прямых переговоров. Шахт ответил, что это предложение должно быть передано в германское министерство иностранных дел и снова добавил, что, по его мнению, следовало бы умерить коммунистическую агитацию. 10 февраля Нейрат советовался с Гитлером по поводу этих предложений и на следующий день написал Шахту, многозначительно заметив, что нет практического смысла вступать с советской стороной в соглашение по поводу прекращения коммунистической пропаганды. Что касается существа дела, Нейрат писал, что в существующей обстановке советские предложения не заслуживают дальнейшей разработки. Если, однако, Россия будет «развиваться далее по линии

абсолютного деспотизма, поддерживаемого армией», то контакт определенно надо будет установить.

А тем временем в Советском Союзе шел суд над Пятаковым и другими — суд с резкими антифашистскими обвинениями. Но даже здесь Сталин действовал двойственным образом. Немецкий военный атташе генерал Кестринг, на чье соучастие в заговоре указывали подсудимые, не был даже объявлен «персона нон грата». Есть сообщения, что решение это было принято под значительным давлением германского правительства. Мягко говоря, любопытное решение!

Пока что сталинский зондаж был бесплодным. Но ведь намек был сделан. Германские руководители имели теперь то преимущество, что им предложили соглашение.

А покуда шли реальные попытки Сталина установить связь с Гитлером, в СССР возводились обвинения в измене на основе контактов между высшим командованием Красной Армии и нацистами — контактов, которых на деле никогда не было.

Если уж говорить о контактах, то в темном мире секретных служб известная степень контакта уже поддерживалась в то время между НКВД и немецкой службой безопасности СД, руководимой Рейнгардтом Гейдрихом.

После ликвидации германской компартии операции против ее подпольных остатков стали обыкновенной секретно-полицейской работой. И, как во многих сложных операциях подобного типа, тайная полиция нацистов оставила нескольких подпольных коммунистов нетронутыми, имея в виду поддерживать через них политический контакт. (Во время войны на оккупированных территориях гестапо тоже поддерживало контакт с местными коммунистическими партиями — по крайней мере в первый период, до начала германо-советской войны. Во Франции переговоры с французской компартией достигли стадии обсуждения того, чтобы разрешить выпуск «Юманите». В оккупированной Норвегии на короткое время разрешались коммунистические публикации. Такое же положение существовало в Бельгии.)

Махинации, имевшие целью скомпрометировать высшее командование Красной Армии, начались еще в декабре 1936 года. В начале декабря начальник иностранного отдела НКВД Слуцкий был занят поисками двух агентов, способных с этой целью разыграть роль немецких офицеров. Таковых нашли, их держали наготове в Париже, но, в конце концов, им сказали, что задание откладывается.^[831]

Среди русских зарубежных организаций, в которые стремились проникнуть как НКВД, так и германская разведка, был РОВС (Российский Обще-Воинский Союз) с главной квартирой в Париже. 22 сентября 1937 года НКВД выполнил специальную операцию — похищение и убийство руководителя РОВСа генерала Миллера. Это, по-видимому, была попытка поставить во главе Союза заместителя Миллера — генерала Скоблина. В течение долгого времени Скоблин работал как с советской, так и с германской секретной службой, и едва ли можно сомневаться, что он был одним из тех связующих звеньев, через которые проходил обмен информацией между службой СД и НКВД. Первый шаг в этом затеянном Сталиным^[832] темном деле состоял, по-видимому, в том, что НКВД послал через Скоблина в Берлин версию о том, будто высшее командование Красной Армии и, в частности, Тухачевский находились в заговоре с германским генеральным штабом.

Хотя в кругах немецкой службы безопасности СД эту версию прямо рассматривали как подброшенную НКВД, Гейдрих решил ее использовать — в первую очередь, против германского генштаба, с которым, как указывает английский военный историк Эрикссон, служба Гейдриха была в постоянном соперничестве.^[833] Итак, для руководителя СД Гейдриха главным во всем деле было скомпрометировать руководство германской армии. Но, по мере развертывания операции, эта сторона дела отошла на задний план и нас теперь не интересует.

В докладе секретаря ЦК польской объединенной рабочей партии В. Гомулки на XIX пленуме ЦК ПОРП^[834] мы находим подтверждение того, что к концу 1936 года в самых высших германских кругах, с участием Гитлера и Гимmlера, всесторонне обсуждалась компрометация Тухачевского. Было решено, что это обезглавит Красную Армию и потому попробовать

стоит.^[835] Как советские, так и западные источники согласны в том, что слух о немецких контактах с Тухачевским был пущен нацистами через президента Чехословакии Бенеша.^[836]

Информация поступила к нему еще в последние месяцы 1936 года. Бенеш конфиденциально переслал ее французам, чья уверенность в надежности франко-советского пакта, по словам Леона Блюма, сильно после этого поколебалась.^[837] Кроме того, президент Бенеш, как подтверждает несколько советских источников, передал эти сведения Сталину в качестве жеста доброй воли. Гомулка сообщает, что эта ложная информация пришла за некоторое время до сфабрикованного «документального свидетельства», так что предварительные сведения об «измене» были в руках Сталина уже во время февральско-мартовского пленума 1937 года.^[838]

Подготовка хорошего «документального свидетельства» была поистине художественной работой и потребовала времени. В марте-апреле 1937 года Гейдрих и Беренс (впоследствии возглавлявший СС в Белграде, казненный в 1946 году правительством Тито) приказали сфабриковать фальшивое «досье» в виде писем, которыми германское верховное командование якобы обменивалось с Тухачевским на протяжении года. Как сообщил автору этой книги профессор Эриксон, эту тонкую работу выполнил гравер Франц Путциг, в течение долгого времени работавший на германскую секретную службу и изготовивший для нее немало фальшивых паспортов и других документов. «Досье», подготовленное Путцигом, состояло из 32 страниц, и к одной из них прилагалась даже фотография Троцкого, снятого вместе с немецкими официальными лицами. Существует несколько версий об этой фальшивке, среди них — версия полковника Нойкса, в прошлом одного из подручных Гейдриха. Согласно этой версии, германская секретная служба располагала подлинными подписями Тухачевского, взятыми с тайного соглашения 1926 года между руководством Красной Армии и высшим командованием Рейхсвера. Этим соглашением предусматривалась техническая помощь немцев советскому воздушному флоту. Так было изготовлено письмо за подписью Тухачевского, воспроизводившее даже его стиль. На подложном письме были подлинные штампы «абвера» — «Совершенно секретно», «Конфиденциально». Все досье состояло из этого подложного немецкого письма и 15 других немецких документов, столь же фальшивых. Подписи немецких генералов были взяты с их банковских чеков. В начале мая это «досье» было показано Гитлеру и Гиммлеру, после чего вся операция получила окончательное одобрение. По соображениям безопасности служба СД решила не посылать эти документы по чехословацкому каналу, а сумела переслать их прямо Ежову. Наиболее вероятно, что это было сделано через двух захваченных в Германии агентов НКВД и еще какого-то третьего советского представителя, личность которого не выяснена по сей день. Так или иначе, документы были в руках Сталина к середине мая,

Лев Никулин в своей книге «Маршал Тухачевский» дает более или менее то же освещение всему делу, но, по-видимому, считает, как и почти все остальные источники, что немецкая разведка передала документы (фотокопию «досье») Бенешу, а не Ежову.^[839] Черчилль согласует обе версии. По его словам существуют данные, будто НКВД, получив документы от немецкой разведки, препроводил их чехословацкой полиции, чтобы создать впечатление у Сталина (которому Бенеш их передал), что он, Сталин, получил их из дружественных иностранных рук.^[840]

Наличие «документального подтверждения» «измены» военачальников определило окончательную линию поведения властей во время удара по армии. Главным пунктом обвинения стала именно измена: а связи с Троцким и обвинение в терроре, хотя и оставались в деле, отошли на второе место. Уже 20 мая был расстрелян в тюрьме без всякой огласки Дмитрий Шмидт.^[841] А сохранение Шмидта в живых было бы необходимо до процесса генералов на случай, если бы главное обвинение против них пришлось строить на троцкизме. Но теперь Дмитрий Шмидт, как связующее звено между военачальниками и Троцким, был уже не важен: имелось ведь более существенное обвинение. И Шмидта ликвидировали.

В тот же самый день в кругах НКВД начали циркулировать панические слухи относительно только что раскрытого заговора. Есть на этот счет сообщение работника НКВД, покинувшего СССР 22 мая: он сообщил, что весь руководящий состав был охвачен паникой.^[842]

22 мая последовал арест еще одного «участника заговора»- комкора Эйдемана. Его вызвали из президиума московской партийной конференции, проходившей в здании Моссовета, и тут же увезли в НКВД.^[843] Через три недели его судили и на следующий же день расстреляли. «Его жизнь, — пишет советский историк Д. В. Панков, пользуясь официальной формулой, — трагически оборвалась 12 июня 1937 года».^[844] Официальным поводом к аресту Эйдемана послужило то, что он подписал рекомендацию в партию Корку.

Подобно Якиру, Эйдеман представляется нам противником террора. Весной 1937 года по окончании одного из партийных собраний он тихо заметил своему знакомому: «Сегодня ночью у нас арестован еще один товарищ. Кажется, это был честный человек. Не понимаю.»^[845]

Через день или два последовал арест комкора Фельдмана. Мы располагаем сегодня показаниями генерал-лейтенанта Я. П. Дзенига о его последних встречах с Тухачевским. По свидетельству этого офицера, Тухачевский выглядел угрюмо. Он сказал, что узнал сейчас очень плохую новость — арестован Фельдман. По этому поводу Тухачевский с болью сказал: «Какая-то грандиозная провокация!».^[846] Разумеется, Тухачевский уже знал, что попал в западню. Когда он, направляясь к новому месту службы в Куйбышев, ехал на вокзал, его шофер посоветовал, чтобы маршал написал Сталину и рассеял очевидные недоразумения. Тухачевский ответил, что он уже написал.^[847]

Прибыв 26 мая 1937 года в Куйбышев, Тухачевский в тот же вечер произнес короткую речь на окружной партконференции. Один из присутствовавших, хорошо знавший Тухачевского, отметил, что за два месяца, в течение «которых он не видел маршала, в волосах Тухачевского пробилась седина».^[848]

На следующем заседании конференции Тухачевский уже не появился,^[849]

Тухачевского попросили по дороге в штаб округа заехать ненадолго в обком партии. Через некоторое время оттуда вышел бледный Дыбенко (которого Тухачевский должен был заменить на посту командующего округом) и рассказал своей жене, что Тухачевский арестован.^[850]

О передаче дела Тухачевского в следственные органы другие высшие командиры узнали вечером 28 мая — по официальным, но секретным каналам.^[851] Таким образом, ясно, что дальнейшие аресты, после Тухачевского, никак не могли быть громом среди ясного неба.

Следующим на очереди был командарм Уборевич. 29 мая он, по словам дочери, „получил вызов из Смоленска в Москву“ и был арестован в Москве сразу же по выходе из вагона.^[852] Две недели спустя, 11 июня 1937 года, он предстал перед судом и был расстрелян на следующий же день.^[853]

По словам генерала Горбатова,^[854] вскоре после ареста Тухачевского „на киевской окружной партконференции, И. Э. Якир, всегда веселый и жизнерадостный, выглядел за столом президиума сосредоточенным и угрюмым“, 30 мая Якиру позвонил Ворошилов и приказал немедленно прибыть в Москву на заседание Военного совета. Якир сказал, что может немедленно вылететь самолетом, но Ворошилов велел ему ехать поездом — ясное указание на то, что Нарком обороны знал планы НКВД во всех деталях.^[855]

В тот же день Якир выехал из Киева поездом, отправившемся в 1 час 15 минут дня. На рассвете 31 мая поезд остановился в Брянске. В вагон вошли работники НКВД и арестовали командарма. Его адъютант Захарченко арестован не был, и Якир смог сообщить через него жене и сыну о том, что он ни в чем не виновен.

У сотрудников НКВД Якир потребовал ордера на арест, а когда ему показали ордер, он попросил дополнительно, чтобы ему показали решение Центрального Комитета. Ему ответили, что этого решения ему придется подождать до приезда в Москву. Командарма бросили в арестантский автомобиль и повезли в Москву со скоростью сто километров в час. На Лубянке его втолкнули в одиночную камеру, сорвав все знаки отличия, ордена и медали.^[856]

31 мая было покончено с последним из „заговорщиков“. На следующий день было объявлено, что „бывший член ЦК ВКП[б] Я. Б. Гамарник, запутавшись в своих связях с

антисоветскими элементами, и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством^[857].

Есть сообщения, что Гамарник покончил с собой не потому, что боялся, что его сделают участником „заговора“ Тухачевского, а напротив: ему сказали, что он должен будет стать членом военного суда над арестованными военачальниками. Правда, из тех же источников известна и другая версия: Гамарнику будто бы обещали помилование, если он даст показания против своих коллег.^[858]

В позднейших советских изданиях сведения о самоубийстве Гамарника также разноречивы. Одно говорит, что он покончил жизнь самоубийством „накануне своего ареста“^[859], а другое — что Гамарник покончил с собой не для того, чтобы избежать ареста, а в знак протеста против террора.^[860] Согласно третьему, наконец, 31 мая в пять часов вечера Булин вместе с еще одним командиром посетили Гамарника у него дома, так как он был болен. Они сообщили Гамарнику об аресте Якира и снятии самого Гамарника с поста начальника Политуправления. После того как они вышли из комнаты, раздались выстрелы, и тут же Гамарника нашли мертвым.^[861] Ходили даже слухи, что он не сам покончил с собой, а был попросту убит.^[862] Тотчас после его гибели его объявили троцкистом, фашистом и шпионом,^[863] а Ворошилов в „приказе № 96“ даже разразился против него бранью, назвав его „предателем и трусом“.^[864]

Тем временем, сидя на Лубянке, Якир писал в Политбюро, требуя немедленного освобождения или встречи со Сталиным. Вместо всего этого, ему устроили жестокий девятидневный допрос, в ходе которого объявили, что все „Якировское гнездо“ теперь арестовано. Обвинение, выдвинутое против Якира, было настолько серьезно, что в сравнении с ним весь прежний „сценарий“, признания которого так добивались ежовские следователи от Шмидта, выглядел кустарной стряпней. Обвинение гласило „гитлеровский шпион“^[865] и состояло теперь в связях с нацистами, а не просто в троцкизме и терроризме.

Якир послал письмо Сталину, заверяя его в своей полной невиновности. Он писал:

„Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной, честной работе на виду партии и ее руководителей. Я честен каждым своим словом, я умру со словами любви к вам, к партии и стране, с безграничной верой в победу коммунизма“. По свидетельству А. Н. Шелепина» «На этом письме Сталин начертал: „Подлец и проститутка“. Ворошилов добавил: „Совершенно точное определение“. Молотов под этим подписался, а Каганович еще приписал: „Предателю, сволочи и. (далее следует хулиганское нецензурное слово) одна кара — смертная казнь“.^[866]

В начале июня проходило расширенное заседание Военного совета совместно с членами правительства. То самое заседание, на которое был приглашен Якир, не зная еще, что на повестке дня стоял „один вопрос“ — о раскрытии контрреволюционной военной фашистской организации».^[867] Выступил сам Сталин.

Замечательно, что теперь, после всех трудов и всей изобретательности, вложенных в получение немецкого «досье» против обвиняемых, Сталин об этом «досье» даже не упомянул. Вместо этого, «в своем выступлении, а затем в многочисленных репликах, ссылаясь на сфабрикованные показания репрессированных военных деятелей, он требовал полностью ликвидировать не существовавший в вооруженных силах „заговор“ и его последствия и, по сути дела, призывал к избиению военных кадров. Кроме того, он также выдвинул обвинение против еще целого ряда командиров, включая начальника штаба противовоздушной обороны командарма Седякина, начальника академии Генерального штаба комдива Кучинского и начальника Политуправления Ленинградского военного округа И. Е. Славина».^[868] Что касается «досье», то оно, по-видимому, имело хождение лишь в очень узком сталинско-ежовском кругу, служа основанием для создания заданной атмосферы срочности и паники. Весьма возможно, что Сталин применил это немецкое «досье», «чтобы приказать судьям вынести смертный приговор Тухачевскому».^[869] Возможно, что судьи, или кто-то из них, действительно видели документ или слышали о нем. Но никакого официального отражения это обстоятельство не нашло. Вероятнее всего Сталин решил, что теперь может обойтись без сомнительного «документа» и что испытанная система признаний обвиняемых может дать нужные свидетельства. Ведь было бы неловко, если бы даже на закрытом суде кто-либо из обвиняемых

командиров смог разоблачить фальшивку по какому-нибудь пункту, не замеченному Ежовым. Хотя «документы» и были искусными подделками, они все-таки не полностью соответствовали тонкому чувству нюансов, характерному для Сталина.

Одна из неудовлетворительных подробностей заключалась, например, в том, что из всех военачальников «досье» уличало одного Тухачевского. Другая любопытная деталь: по имеющимся сведениям, в «досье» упоминался в качестве участника переписки бывший посол СССР в Берлине, а затем в Париже — Суриц; по игре судьбы Суриц оказался одним из весьма немногих советских послов, переживших террор невредимыми.

Во всяком случае ясно, что скорострельный суд признал обвиняемых виновными на основании устных заявлений Сталина на Военном совете без привлечения «досье» в подтверждение выдвинутых обвинений в связях с немецкой разведкой.^[870] В обвинительном заключении по делу Бухарина сказано также, что вина подсудимых подтверждается «материалами не только настоящего следствия, но и материалами судебных процессов, прошедших в разных местах в СССР, и, в частности, судебных процессов по делу группы военных заговорщиков — Тухачевского и других, осужденных Специальным присутствием Верховного Суда СССР 11 июня 1937 года».^[871] На этом суде вообще выдвигались различные обвинения против военных, но все они появлялись в ходе показаний обвиняемых, и никакие «материалы» суда над военными представлены не были.

По сообщению «Правды» от 12 июня 1937 года, в состав суда, рассматривавшего за закрытыми дверями 11 июня дело военачальников, входили, в дополнение к председателю Ульриху, маршалы Блюхер и Буденный, командармы Шапошников, Алкснис, Белов, Дыбенко и Каширин, а также комкор Горячев. Из этого списка лишь Ульрих да Буденный пережили весь террор. Согласно Советской исторической энциклопедии, Каширин умер 14 июня 1938 года, и обстоятельства его смерти не совсем ясны. Комкор Горячев тоже вскоре умер, и можно полагать, что его смерть была естественной. На Западе высказывалось предположение, что в состав суда должен был входить также маршал Егоров, однако в окончательном списке его имя так и не появилось. Имеются также непроверенные сообщения, что один из членов суда — Алкснис — сам находился под арестом до процесса.^[872] Это чрезвычайно правдоподобно, т. к. Б. С. Э. (3-е изд., т. 1, 1970, стр. 444) датирует его смерть (вероятно, казнь) 29 июля 1938 года.

Последние дни жизни генералов и сам суд над ними окутаны таким плотным покровом тайны, что и сегодня в этом покрове видны лишь отдельные просветы. Например, долго и упорно говорилось, что никакого суда вообще не было. Два наиболее крупных советских офицера, перешедших на Запад перед войной, — Орлов из НКВД и Бармин из армии — люди, хорошо информированные и высокопоставленные, определенно придерживались такой точки зрения, и в целом с их мнением согласились лучшие западные специалисты.

С другой стороны, советский автор Дубинский пишет, что «это был формальный суд»,^[873] на котором Ульрих, обращаясь к Якиру, разглагольствовал о том, как во время его, Якира, визита в Берлин сопровождавший его немецкий офицер якобы завербовал командарма на службу к Гитлеру. Далее сообщается, что Якир все это с презрением отрицал.

Автор книги о Тухачевском Лев Никулин писал: «Суд состоялся при закрытых дверях. По некоторым совпадающим сведениям Тухачевский, обращаясь к одному из обвиняемых, который давал показания о его связи с Троцким, произнес такую фразу: „Скажите, это вам не снилось?“ По другим сведениям он сказал: „Мне кажется, я во сне“».^[874]

В этом отрывке дается понять, что, представ перед судом, Тухачевский, так же как и Якир, ни в чем не признался, но что кто-то из обвиняемых все-таки давал нужные показания. У Дубинецкого^[875] мы находим утверждение, что Якир, Тухачевский, Уборевич и другие отрицали перед судом выдвинутые против них «обвинения в преступлениях, предусмотр. ст. ст. 58–18, 58–8 и 58–11 УК РСФСР», как гласит официальное сообщение в «Правде» 12 июня 1937 года — обвинения («в шпионаже и измене родине»), также официально признанные «клеветническими» много лет спустя.^[876]

Приговор исполнили не медля, в двадцать четыре часа. В «Правде» 13 июня напечатано следующее официальное сообщение: «Вчера, 12 сего июня, приведен в исполнение приговор

Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР в отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания — расстрелу: Тухачевского, М. Н., Якира, И. Э., Уборевича, И. П., Корка, А. И., Эйдемана, Р. П., Фельдмана, Б. М., Примакова, В. М. и Путны, В. К.».

О всех командирах, поименованных в опубликованном приговоре, и сейчас официально говорится, что они «предстали перед закрытым Специальным присутствием Верховного Суда СССР».^[877] Но вполне возможно, что они предстали перед одним Ульрихом. Эренбург, однако, в своих воспоминаниях приводит слова командарма Белова о том, что «они вот так сидели — напротив нас, Уборевич смотрел мне в глаза».^[878] Однако в любом случае военные «судьи» не имели никакого голоса, и поэтому заслуживает доверия версия, что их подписи появились под приговором уже после казней, во время их встречи с Ежовым.^[879] Как бы то ни было, но даже только из сегодняшних официальных сведений о судьбе Якира совершенно ясно, что суд, если и был, носил весьма поверхностный, формальный характер. Хотя командарма и допрашивали девять дней подряд перед судом, времени для подготовки процесса, даже по сталинским стандартам, определенно не осталось.

Сведения о том, как погибли осужденные командиры, весьма разноречивы. Говорят, например, что они были расстреляны во дворе здания НКВД на улице Дзержинского N11, среди бела дня, причем мощные грузовики НКВД включили моторы на полную мощность, чтобы заглушить шум выстрелов; что расстрелом командовал бледный и потрясенный маршал Блюхер, а в качестве командира отделения палачей, расстреливавших генералов, называют Ивана Серова, в то время молодого офицера, недавно переведенного из армии в НКВД в порядке проводимой Ежовым замены старых кадров. Позже Серов возглавлял КГБ (до 1958 г.), а потом, до 1964 года, был руководителем советской военной разведки.

На XXII съезде партии Хрущев сказал, что «... в момент расстрела Якир воскликнул: „Да здравствует Партия! Да здравствует Сталин!“». Когда Сталину рассказали, как вел себя перед смертью Якир, Сталин выругался в адрес Якира».^[880]

Этот возглас «Да здравствует Сталин!» Хрущев представил в виде простого случая политической преданности. Однако генералы не были так наивны, чтобы думать, что Сталин не нес никакой ответственности за их судьбу. Якир был старым коммунистом, вполне способным вести политическую деятельность даже в момент смерти. Вернее он придерживался программы, сочетавшей поддержку Сталина с обвинениями против НКВД. Это была программа, способная мобилизовать наибольшее число сил для противодействия террору, и вполне можно думать, что Якир хотел показать: те, кто сопротивлялся террору на февральско-мартовском пленуме, не хотели свергать Генерального секретаря — они только старались выработать антиежовскую платформу.

Но, кроме того, мы знаем, что Якир все время думал о своей семье, и это тоже вынуждало его вести себя определенным образом. Если бы он в последние секунды жизни выказал сопротивление Сталину или произнес оскорбление по его адресу, это было бы явно не в интересах оставшихся в живых членов его семьи. За день до смерти в письме к Ворошилову Якир просил за свою семью:

«К. Е. Ворошилову. В память многолетней в прошлом честной работы моей в Красной Армии я прошу Вас поручить посмотреть за моей семьей и помочь ей, беспомощной и ни в чем неповинной. С такой же просьбой я обратился к Н.И.Ежову. Якир, 9 июня 1937 г.».

На этом письме Ворошилов пометил: «Сомневаюсь в честности бесчестного человека вообще. К. Ворошилов. 10 июня 1937 года».^[881]

Попытка Якира спасти членов своей семьи от преследований была безуспешной. Его жена, «верный помощник на протяжении двадцати лет», была немедленно сослана в Астрахань вместе с сыном Петром, причем их паспорта были конфискованы. В городе на Волге они повстречались с семьями Тухачевского, Уборевича, Гамарника и других. Дед молодого Петра Якира прятал газеты с обвинениями против командарма от его жены, и она увидела их только тогда, когда в Астрахани ей показала газеты жена Уборевича.

В этих газетах было опубликовано сфабрикованное письмо жены Якира, содержавшее отречение от мужа. Она обратилась, пишет ее сын Петр, «в Астраханское управление НКВД и

заявила протест. Ей предложили „если она хочет“ написать опровержение. Но мы с дедом уговорили ее „не биться головой о стену“ — опровержение все равно останется гласом вопиющего в пустыне». ^[882]

В начале сентября жену Якира арестовали. Несколько позже она была ликвидирована вместе с братом Якира, с женой другого брата, сыном жены этого другого брата и другими родственниками. ^[883] Двоюродная сестра Якира была приговорена в 1938 году к десяти годам заключения. ^[884] Четырнадцатилетний сын Петр был послан в детприемник. Через две недели ночью сотрудники НКВД забрали его оттуда, и он провел «много лет» в лагерях и тюрьмах. Сын Якира рассказывает, как в одном из Каргопольских северных лагерей Архангельской области встретил адъютанта отца и узнал от него всю историю ареста командарма. ^[885] На XXII съезде партии Хрущев рассказал, как Петр Якир подошел к нему во время поездки Хрущева в Казахстан. «Он спрашивал меня о своем отце. А что я ему мог сказать?». ^[886] Между тем, в дни ареста и казни Якира Хрущев выражался о нем, как о «выродке, намеревавшемся открыть дорогу немецким фашистам». ^[887]

Жена Уборевича была сослана в Астрахань 12 июня. Она скрывала от своей дочери обвинения, выдвинутые против мужа, — дочери еще не было тринадцати лет. Девочка узнала обо всем от маленького Пети Якира, 5 сентября жена Уборевича была арестована НКВД, Она передала своей дочери фотографию, и больше они не виделись, Через 19 лет, в 1956 году, дочь узнала, что ее мать умерла в 1941 году.

Дочь Уборевича поместили в детприемник, где она встретила с другими девочками — с Ветой Гамарник, Светланой Тухачевской и Славой Фельдман, 22 сентября детей изъяли из детприемника и направили в детские учреждения НКВД. ^[888]

У Тухачевского была большая семья, Двенадцатилетняя дочь маршала повесилась или сделала попытку покончить с собой после того, как другие дети стали оскорблять ее из-за отца. ^[889]

Судьба других членов семьи Тухачевского рассказывается различно. По одной версии Льва Никулина, «по приказанию Сталина были физически уничтожены мать маршала Тухачевского, его сестра Софья, его братья Александр и Николай. Три сестры были высланы в лагеря, дочь, когда она достигла совершеннолетия, тоже была выслана». ^[890] (Речь идет о Светлане, которой в момент смерти отца было одиннадцать лет; в возрасте семнадцати лет ее приговорили к пяти годам заключения как социально опасную; есть более поздние сообщения, что ее встречали в лагере Котласа вместе с дочерью Уборевича. ^[891] По другой версии того же Никулина, «физически уничтожены» были братья Тухачевского и его жена Нина Евгениевна. Мать же и сестра Софья «умерли в ссылке». ^[892]

Две бывших жены Тухачевского, вместе с супругой Фельдмана были отправлены в специальное лаготделение для членов семей «врагов народа» в Потьме в 1937 году. Дисциплина в этом лагере была строгой, но условия жизни сравнительно сносные. Позже, однако, женщин перевели в другой лагерь. ^[893] Еще одна сестра маршала объявила, что просит разрешения переменить фамилию. Из всей семьи Тухачевского выжили одна дочь и три сестры — они присутствовали на вечере, посвященном памяти расстрелянного маршала, в Военной академии им. Фрунзе в Москве в январе 1963 года,

Жены Гамарника и Корка были расстреляны. ^[894]

1937–1938

В то время как под аккомпанемент широкой кампании публичных оскорблений происходили казни лучших военачальников Красной Армии, Сталин и Ежов нацелили НКВД на весь командный состав Красной Армии. 1 июля 1937 года были расстреляны комкоры Гарькавый и Геккер. ^[895] Были также расстреляны двадцать более молодых командиров в одном только Московском военном округе. ^[896] Было арестовано почти все командование Кремлевской

военной школы.^[897] Маршал Бирюзов так описывает свой приезд в штаб Иркутской дивизии, куда он получил в то время назначение по окончании Военной академии им. Фрунзе: «Прибыв в дивизию, штаб которой располагался в Днепропетровске, я застал нечто невообразимое. Еще в военной комендатуре железнодорожного вокзала мне было сообщено, что в данный момент в дивизии „начальства-то, по существу, нет“: командир, комиссар, начальник штаба, начальники служб — все арестованы».^[898] Волна арестов прокатилась по Военной академии, которой до казни командовал Корк. Начальник политотдела академии Неронов был арестован как шпион. На некоторое время Академию принял Щаденко. Не проходило дня без ареста кого-нибудь из сотрудников, почти все преподаватели были арестованы.^[899] Командарм Вацетис читал лекцию слушателям академии. После первого часа лекции полагалась короткая перемена. Когда перемена кончилась, комиссар курса объявил: «Товарищи! Лекция продолжаться не будет. Лектор Вацетис арестован как враг народа».^[900]

Слушателей академии тоже хватало целыми пачками. «В служебных и партийных характеристиках появился обязательный пункт об активности в борьбе с врагами народа». Рекомендация Гамарника была достаточным основанием для репрессий. Репрессировались и те слушатели — а их было множество — которые пришли в академию из соединений, где были арестованы командиры.^[901]

То же самое творилось и на периферии. В Киевском военном округе около этого времени было арестовано 600–700 командиров из «Якирова гнезда».^[902] Генерал армии Горбатов^[903] вспоминает:

«Вскоре в Киевский военный округ прибыло новое руководство. Член Военного совета Щаденко^[904] с первых же шагов стал подозрительно относиться к работникам штаба. Приглядывался, даже не скрывая этого, к людям, а вскоре развернул весьма активную деятельность по компрометации командного и политического состава, которая сопровождалась массовыми арестами кадров. Чем больше было арестованных, тем труднее верилось в предательство, вредительство, измену. Но в то же время, как этому было и не верить? Печать изо дня в день писала все о новых и новых фактах вредительства, диверсий, шпионажа.»

Сохранился рассказ советского воентехника И. Т. Старинова, входившего в число тех, кто под руководством Якира (и Берзина) готовил засекреченные партизанские базы и обучал будущих партизан на Украине. В 1937 году все они были арестованы по обвинению «в неверии в мощь социалистического государства и в подготовке к враждебной деятельности в тылу советских армий». Старинова «допрашивали о выполнении заданий Якира и Берзина по подготовке банд и закладке для них оружия», как сформулировал это Ворошилов.^[905] (Эти партизанские базы были уничтожены, а они, кстати сказать, очень пригодились бы в 1941 году, когда можно было бы воспользоваться ими вместо того, чтобы делать неудачные попытки их наново восстановить).

Командир 7-го кавалерийского корпуса Григорьев был вызван в партийную комиссию Киевского военного округа, где ему предъявили обвинение в связях с врагом. Затем ему позволили вернуться к исполнению обязанностей и лишь на следующий день арестовали.^[906] Как мы видим, НКВД уже не чувствовал необходимости арестовывать старшего офицера немедленно после того, как обвинение делало его обреченным. НКВД, стало быть, не очень боялся каких-либо отчаянных действий со стороны военных, как об этом иногда говорят.

Террор не миновал даже ветеранов в отставке. Известно, что в Киевской внутренней тюрьме допрашивали генерала Богатского, известного героя гражданской войны. В свое время белые изувечили жену Богатского, ослепили его сына, а сам генерал потерял в бою правую руку. Теперь этого человека, которому было уже за шестьдесят, пытали новые палачи, Они приколотили ему к груди булавкой нацистскую свастику, вылили ему на голову плевательницу, пытаясь добиться признания, что генерал готовил покушение на Ворошилова.^[907]

Командование Белорусским военным округом после казни Уборевича принял его «судья» командарм Белов. Но как только он прибыл в Минск, и у него начались тяжелые неприятности. 15 июля был арестован комкор Сердич (командир югославского происхождения), как

принадлежавший к «гнезду Уборевича».^[908] Белов предпринял неблагоприятную попытку защитить Сердича,^[909] но уже 28 июля комкора расстреляли.^[910]

Пока что Белова не тронули, и он продолжал беспомощно взирать, как шла дальнейшая бойня среди его подчиненных.

«САМЫЕ ДОВЕРЕННЫЕ»

В начале июня 1937 года Сталин выступил с речью на заседании Военного совета совместно с членами правительства и снова сурово обрушился на «врагов народа».^[911]

Политуправление армии, до недавнего времени возглавлявшееся Гамарником, понесло от террора наибольшие потери. Высшие руководители управления были взяты поголовно. 28 мая был смещен со своего поста заместитель Гамарника А. С. Булин.^[912] Его перевели с понижением на должность начальника Главного управления кадров, а осенью того же, 1937 года арестовали.^[913] Другой заместитель Гамарника Г. А. Осепян и почти все начальники политуправлений и большинство членов военных советов округов были также арестованы.^[914]

1 июня 1937 года за политические ошибки был снят с должности, а затем арестован начальник Военно-политической академии в Ленинграде Иппо.^[915] Перед этим, в апреле, начальник академии подвергся критике. В 1967 году известный советский журналист Эрнст Генри (С. Н. Ростовский) в своем письме к Эренбургу перечислил количество жертв среди высших политработников Красной Армии по званиям: погибли все 17 армейских комиссаров, 25 из 28 корпусных комиссаров, а из 36 бригадных комиссаров террор пережили только двое.^[916]

Тяжелые потери отмечались также на уровне соединений и частей. За два месяца после июньского (1937) заседания Военного совета «В 5-ой механизированной бригаде Белорусского военного округа, например, было уволено из армии 25 командиров и политработников, столько же представлено к увольнению. Из уволенных девять командиров и политработников было арестовано. Среди арестованных — пять комиссаров батальонов из имевшихся шести в бригаде. Все эти пять комиссаров были исключены из партии, шестому по партийной линии был объявлен строгий выговор с предупреждением; кроме того, в бригаде были исключены из партии и арестованы комиссар и начальник политотдела».^[917] Ю. П. Петров говорит тоже и о «тысячах руководящих работников армии и флота», репрессированных в том же году.^[918]

В декабре 1937 года было утверждено назначение Л. З. Мехлиса на пост начальника Главного политического управления РККА. Мехлис известен как один из самых злобных и неприятных сталинских подручных. До своего нынешнего армейского назначения он был главным редактором «Правды», но в годы гражданской войны служил политическим комиссаром в армии. Уже тогда Мехлис изгнал из армии и арестовал многих политработников за связь с так называемой «антипартийной белорусско-толмачевской группировкой».^[919] Эта группировка на деле ратовала за укрепление политического контроля в армии. Но для Мехлиса всякая группировка старших политических комиссаров, занимавших в двадцатых годах критическую позицию по отношению к партии, была уже преступно независимой, безотносительно к ее программе. Мехлис теперь настоял на том, чтобы люди, в свое время защищавшие этих комиссаров, как, например, начальник политуправления Белорусского военного округа И. И. Сычев, разделили судьбу этой «шпионской банды».^[920]

К началу 1938 года количество политработников в вооруженных силах составляло всего одну треть штатного расписания. Поскольку на своих постах находилось 10500 человек, можно сделать вывод, что по меньшей мере 20000 политработников были арестованы или погибли — «по меньшей мере» — ибо здесь не приняты в расчет замены, которые уже могли быть сделаны. Пропорционально, в сравнении с 1934 годом, число политработников, закончивших военно-политические училища, сократилось вдвое. Таким образом, можно полагать, что из 10500 наличных политработников по меньшей мере 5000 были необученными новичками. По

свидетельству Ю. П. Петрова, в том же 1938 году «более одной трети всех партийно-политических работников не имело никакого политического образования».^[921]

Количество членов партии в вооруженных силах сократилось вдвое.^[922] На XVII съезде партии Ворошилов сообщил, что 25,6 % личного состава армии были партийцами. К февралю 1935 года численность всей армии составляла примерно миллион. Потери среди армейских коммунистов составляли, таким образом, около 125 тысяч.

КОМАНДИРЫ СУХОПУТНЫЕ

Повсюду — за исключением пока что Дальнего Востока — террор бил по всей командной структуре армии. Стали исчезать высшие командиры, только что назначенные на посты для заполнения образовавшихся вакансий.

В ноябре 1937 года заседал военный совет Кавказского военного округа. Новый командующий округом Н. В. Куйбышев (брат покойного члена Политбюро) критиковал репрессии в армии, как снижающие уровень боевой готовности. Вскоре после этого он был арестован.^[923] Та же судьба постигла командующих военными округами во всем Советском Союзе. К лету 1938 года все без исключения, кто занимал этот пост в июне 1937 года, бесследно исчезли. Точно так же исчезли все одиннадцать заместителей Наркома обороны в Москве.

Военно-воздушные силы, бронетанковые и мотомеханизированные войска понесли особенно тяжелые потери.^[924] На осенних маневрах 1936 года западные военные атташе отмечали, что командовавший бронетанковыми силами Халепский, руководившие военно-воздушными силами Алкснис и его заместитель Хрипин производили отличное впечатление. Халепский был сначала переведен в Наркомат связи, затем, в 1937 году, арестован. Он погиб в 1938 году.^[925]

Командарм Алкснис был самым молодым в группе Тухачевского, он едва достиг сорока. Поддерживаемый комкором Тодорским, тогдашним начальником Военно-воздушной академии, он прилагал максимум усилий, чтобы спасти своих подчиненных от преследований НКВД. Еще 13 ноября 1937 года имя Алксниса значилось в избирательных списках, а третье издание Малой советской энциклопедии утверждает, что до 1938 года он — начальник ВВС РККА.^[926] Но по всем данным выходит, что уже в последние дни 1937 года Алкснис был под арестом вместе с Хрипиным и Тодорским. По свидетельству бывшего полковника ВВС Г. А. Токаева, Алксниса пытали и приговорили к каторжным работам, но потом расстреляли.^[927]

Тодорский, арестованный весной 1938 года, был приговорен в мае 1939 года к пятнадцати годам заключения. Он выжил и в 1953 году был освобожден.^[928]

Исключительное коварство НКВД хорошо иллюстрируется событием из личного опыта генерала Горбатова, нашедшим отражение в его мемуарах. Вот, например, эпизод о том, как Горбатов понял, что над ним снова, уже вторично, нависла угроза. Временно назначенный командовать 6-ым кавалерийским корпусом, он отправился в командирский магазин за получением зимнего обмундирования и обнаружил, что туда пришла телеграмма заместителя командира корпуса по политчасти Фоминых, находившегося в тот момент в Москве, требующая «воздержаться от выдачи Горбатову планового обмундирования».^[929] За телеграммой последовал приказ об увольнении Горбатова в запас. Он сразу же отправился в Москву, «чтобы выяснить причину», и был арестован. Жена никак не могла узнать, что с ним случилось. Никто не говорил ей об аресте мужа до тех пор, пока в коридоре командирского общежития Красной Армии одна девушка не шепнула ей об этом.^[930]

В мемуарах Горбатова есть короткие сведения о допросах. На Лубянке с ним обращались сначала мягко, но на пятый день начались угрозы и нажим. В камере с ним вместе сидело семеро других подследственных, и все они уже «признались». Затем Горбатова перевели в Лефортовскую тюрьму, где он сидел в камере-одиночке вместе с другими двумя

заключенными. Там, на четвертом допросе, его начали пытаться и потом пытали еще пять раз с интервалом в два-три дня. После пыток его, кровоточащего от избиений, бросали обратно в камеру. Затем ему дали двадцатидневную передышку, и снова пять долгих допросов с пытками. От Горбатова не добились никаких признаний, и 8 мая 1939 года суд, длившийся четыре или пять минут, приговорил его к пятнадцати годам заключения с последующим поражением в правах на пять лет.^[931]

Имеются сведения еще об одном командире, не подписавшем никаких признаний. В прошлом он был революционным балтийским моряком, и после всевозможных допросов его оправдали, выпустили и дали гражданскую работу. Однако через шесть месяцев он был арестован вновь^[932] и судьба его неизвестна.

Однако, как сообщил на XXII съезде партии Хрущев, «много замечательных командиров и политических работников Красной Армии» дали нужные показания: «Их „убеждали“, убеждали определенным способом в том, что они или немецкие, или английские, или какие-то другие шпионы, и некоторые из них признавались даже в тех случаях, когда таким людям объявляли, что с них снимается обвинение в шпионаже, они уже сами настаивали на своих прежних показаниях, так как считали, что лучше уж стоять на своих ложных показаниях, чтобы быстрее кончились истязания, чтобы быстрее прийти к смерти».^[933]

Один командир дивизии, например, показал, что он «завербовал» всех командиров в своей дивизии до командиров рот включительно.^[934] Подобных примеров можно привести множество,

Вполне естественно, что между НКВДиармией существовало соперничество во многих областях (то обстоятельство что НКВД располагал собственными крупными вооруженными силами, само по себе действовало на армию раздражающе). Но НКВД особенно нетерпимо относился к тому, что сеть советской военной разведки за рубежом работала в известной степени независимо от иностранного отдела НКВД и всячески старался забрать ее в свои руки. Когда Тухачевский был арестован, НКВД получил полный контроль над этой сетью. Почти все военные агенты были вызваны в Москву из-за границы и расстреляны.^[935] С. П. Урицкий, с 1935 года занимавший пост начальника Разведупра РККА, был арестован в ночь на 1 ноября 1937 года и «вскоре погиб».^[936]

Предшественником Урицкого на этом посту с 1920 по 1935 год был Я. К. Берзин. По происхождению латыш, Берзин в 1919 году кратковременно занимал пост в советском латвийском правительстве. После передачи дел Урицкому в 1935 году он был послан в Дальневосточную Армию. Оттуда Берзин попал в Испанию, став фактически командующим республиканской армией под псевдонимом Гришин, Берзин не ладил с сотрудниками НКВД и по возвращении из Испании был расстрелян (по-видимому, 29 августа 1938 года),^[937]

Командир интернациональной бригады в Испании «генерал Клебер» (советский командир, замаскированный под канадца, чтобы соблюсти международный декорум) был арестован и, по-видимому, казнен прямо в Испании.

Комбриг Горев (Скоблевский) прославился в битве за Мадрид. По возвращении в СССР он был удостоен высоких почестей. «А полгода спустя героя Мадрида оклеветали и он погиб в Москве».^[938] Есть сведения, что Скоблевского арестовали через два дня после вручения ему ордена Ленина.^[939]

Среди советских военных, побывавших в Испании во время гражданской войны, дальнейшими жертвами были старший военный советник в Испании «Григорович» — Штерн, в дальнейшем получивший звание командарма на Дальнем Востоке, и вы дающийся советский летчик «Дуглас», впоследствии командовавший советскими военно-воздушными силами под именем генерал-лейтенанта Смушкевича.^[940] Оба они были расстреляны в 1941 году.

Маршал Р. Я. Малиновский, тоже сражавшийся в Испании, рассказывает, как он не подчинился двум приказам возвратиться в Советский Союз. Третий приказ возвратиться пришел уже с угрозой, что Малиновского будут считать невозвращенцем.^[941] После этого Малиновский вернулся в Москву — по счастью тогда, когда худший период террора был уже

позади. Как известно, маршал Малиновский благополучно пережил террор и позже, до самой своей смерти, занимал пост Министра обороны.

Не очень везло и советским гражданским лицам, побывавшим в Испании. Антонов-Овсеенко, занимавший деликатный пост советского генерального консула в Барселоне, погиб так же, как и советский посол в республиканской Испании Розенберг. Преступление Розенберга состояло в попытке организовать обмен пленными с Франко. Сталин всегда рассматривал подобные попытки как подозрительные, и когда югославские партизаны начали аналогичные переговоры с германским командованием на Балканах, в Москве реагировали резко отрицательно.^[942]

ШТОРМ ВО ФЛОТЕ

Во флоте бушевал тот же шторм, что и в армии. Из восьми человек, носивших к началу террора высшее флотское звание флагмана 1-го ранга, не выжил ни один.^[943] Первой жертвой пал тот, кого считали мозгом флота, — флагман Р. А. Муклевич. Приятный, крепкого вида человек, Муклевич был старым большевиком с совершенно исключительной биографией. Он родился в 1890 году, шестнадцати лет вступил в партию и в тяжелые годы после провала революции (1907–1909), все еще безусым юношей, руководил партийной организацией Белостока. В 1912 году Муклевича призвали в императорский флот, где он до самой революции вел военно-партийную работу. Во время гражданской войны он служил в штабах различных армий и фронтов, в 1921 году занимал пост заместителя начальника Военной академии, затем до 1925 года служил в военной авиации и, наконец, в 1926–27 годах фактически руководил флотом. Позже, в качестве руководителя советского судостроения, Муклевич играл ведущую роль в модернизации флота. Ясное понимание задач и скромная деловитость сделали Муклевича естественным и желанным сотрудником группы Тухачевского.

Муклевич был арестован в мае 1937 года.^[944] Открытого суда над ним не было — не было ведь вообще объявлено ни о каких процессах над руководителями флота, Однако на XVIII съезде партии в 1939 году Муклевич и бывший командующий советским флотом флагман Орлов были названы пособниками Тухачевского. Нападки на них, в отличие от клеветы на армейских командиров, особо касались их стратегических концепций. В своем выступлении на XVIII съезде партии Нарком судостроения И. Т. Тевосян заявил, что «враги народа — агенты фашизма Тухачевский, Орлов и Муклевич и прочая фашистская мерзость — старались доказать, что нам не нужен мощный надводный флот», и что только их удаление с постов позволило начать его отстройку.^[945] Стоит отметить, что эта химера отвлекла значительную часть советских усилий на безнадежные и бесполезные попытки создать военный флот, способный соперничать с флотами главных морских держав.

Сегодня есть все основания полагать, что на самом деле Муклевич исходил из реалистической оценки имевшихся возможностей и предлагал, основываясь на имевшихся советских ресурсах, строить флот ближнего действия и защитного характера. А Сталин желал иметь крупные боевые единицы дальнего действия, пригодные для нападения; он «обещал строго наказывать любого, кто будет возражать против тяжелых крейсеров».^[946] Когда пришла война, советский флот потерял контроль в основных морях, и Муклевич оказался посмертно прав — руководители советского флота втихомолку приняли его концепции, хотя в этом и не признались.

Однако эти расхождения не были, конечно, главной причиной террора во флоте. Причины были те же, какие привели к террору в армии и во всей стране. Дело было не в том, что технические разногласия решались с помощью казней, а в том, что технические разногласия использовались для оправдания казней. Есть сведения, что Муклевич дал требовавшиеся от него показания после недели жестоких пыток в Лефортовской тюрьме^[947] и погиб 7 февраля 1938 года.^[948]

Вслед за Муклевичем пали командующий Военно-морскими силами флагман 1-го ранга Орлов, командующий Балтийским флотом флагман Сивков и командующий Черноморским флотом флагман Кожанов.^[949] Орлов был арестован в ноябре 1937 года. Однако от командования флотом он был отстранен еще в июне, после чего его обязанности исполнял командующий Тихоокеанским флотом флагман Виктор, который сам вскоре пал жертвой террора.^[950]

Вместе с руководителями флота погибло большое количество их подчиненных.

По самой своей природе флот предоставлял возможность контакта, по крайней мере теоретически, с иностранцами. Советские военные корабли наносили визиты вежливости в другие страны. Они крейсировали в международных водах. Во время второй мировой войны эти подозрительные обстоятельства еще значительно усилились, так как советские корабли сотрудничали с британским Королевским флотом в Мурманске и при проводке в Мурманск союзных морских конвоев вокруг Скандинавии. В повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» выведен военный моряк Буйновский — «кавторанг». Он провел целый месяц на британском крейсере как офицер связи. «И еще, представляете, после войны английский адмирал, черт его дернул, прислал мне памятный подарок: „В знак благодарности“. Удивляюсь и проклинаю!.. И вот — всех в кучу одну.»^[951]

Подобная атмосфера была создана во флоте еще гораздо раньше. Контр-адмирал Исаков рассказывает историю своего знакомого, флаг-офицера Озаровского, который однажды потерпел крушение, плывя на своей маленькой парусной лодке недалеко от Кронштадтского берега. Его заметил проходивший норвежский пароход и спустил шлюпку. Озаровский, однако, отказался от помощи, хотя его положение было отчаянным. И дальше Исаков описывает, что думал и чувствовал в то время Озаровский. Он полагал, что его все равно спасут: хотя заметить его самого с берега было нельзя, иностранный пароход, зашедший в запретную зону, должны были заметить моментально. И послать наперерез ему катер. Так оно и случилось. Офицера подобрали и отправили в госпиталь, где Исаков его навестил. Исаков спросил Озаровского, почему тот не хотел, чтобы его подобрал норвежец и доставил в Ленинград, Озаровский ответил так: «Мне пришлось бы писать объяснение: когда и как было задумано это randevu с иностранными агентами, что именно и за сколько я продал из наших оперативных планов, пока транспорт двигался по каналу». С этими доводами Исаков вынужден был согласиться. Он добавляет, что Озаровский все равно не избежал кары. Его арестовали, допрашивали и пытали на основании тех самых нелепых предположений, о которых он с такой иронией говорил в госпитале.^[952]

Опасность стать жертвой террора была во флоте фактически еще больше, чем в армии. У флотских было в этом смысле только одно довольно призрачное преимущество. Морские офицеры всех флотов, кроме Тихоокеанского, объявлялись обычно английскими шпионами, а это, по крайней мере до 1939 года, давало им чуть более высокое «общественное положение», чем тем, кого обвиняли в шпионаже в пользу Германии, Японии или Польши.

ВТОРОЙ КРУГ

Арест командующего флотом флагмана Орлова связан со второй, новой волной репрессий против военнослужащих, начавшейся в 1938 году. Есть сведения, что в начале этого года по указанию Сталина было спущено им самим отредактированное закрытое письмо «О недостатках в партийно-политической работе в РККА и мерах к их устранению». Это письмо призывало к дальнейшей очистке армии от «врагов народа», к «ликвидации последствий вредительства» и требовало «не забывать также о „молчаливых“, политически бесхребетных людях, не принимавших активного участия в первой террористической волне».^[953]

Теперь на Лубянку отправляли тех, кто занял посты арестованных в первой волне командиров. В начале января был вызван в Москву командарм 1-го ранга Белов. 8

воспоминаниях к 70-летию со дня рождения Белова «Военно-исторический журнал» писал, что «чем ближе командарм подъезжал к Москве, тем задумчивей становилось его лицо. Видимо, сердцем он чувствовал надвигающуюся беду. И не ошибся. С прибытием к месту вызова он был арестован».^[954] Возможно, что ему было поставлено в вину и его прошлогоднее вмешательство в защиту Сердича.

Следом за Беловым пал жертвой второй маршал Советского Союза — Егоров. Он был старше всех участников группы Тухачевского. К моменту ареста маршалу Егорову было пятьдесят пять лет — на год меньше, чем его бывшему сослуживцу по императорской армии Шапошникову. Они оба были офицерами до революции. Было известно, что Егоров входил даже в число собутыльников Сталина. Есть сообщения, что после расстрела Тухачевского Сталин предложил Егорову занять дачу казненного маршала, но Егоров отказался принять подарок.^[955]

Во время польской кампании Егоров командовал юго-западным фронтом, где Сталин был политическим руководителем. Егоров оказался единственной крупной фигурой из старого военного окружения Сталина, попавшей под террор.

Первый удар по армии истребил всех военных — членов Центрального Комитета партии, кроме Ворошилова, Буденного, Блюхера и Егорова. Возможно, что именно в Центральном Комитете Егоров оказал в чем-то сопротивление Сталину — наиболее вероятно во время февральско-мартовского пленума 1937 года. Его сняли с поста заместителя Наркома обороны в конце февраля 1938 года.

Один из бывших заключенных, позже сумевших выехать из Советского Союза, рассказывает, что встречал Егорова в Бутырской тюрьме зимой 1939 года.^[956] Точную дату его смерти установить трудно, поскольку она дана различно в различных советских официальных источниках — чем раньше источник, тем позднее дата. Так, например, в Малой советской энциклопедии (3-е изд., 1959 г.) сказано, что он умер 10 марта 1941 г.; в Советской исторической энциклопедии (т. 5, изд. 1961 г.), что он умер 22 февраля 1939 г., а в Б. С. Э. (3-е изд., т. 9, 1972 г.), что он умер 23 февраля 1939 г. Снятие Егорова с бывшего поста Тухачевского знаменовало собой начало нового удара по высшему военному командованию — удара не менее ошеломляющего, чем предыдущий.

В феврале 1938 года, «по клеветническому навету», писала «Правда» много лет спустя, в 1964 г., «был арестован и вскоре трагически погиб» (официальная формула для «казнен», «расстрелян» и т. д.) командарм Дыбенко, командовавший Ленинградским военным округом.^[957] Но по сведениям 3-го издания Б. С. Э. (т. 8, 1972 г.), «погиб» он не «вскоре», а через полтора года — 29 июля 1939 года. (Возможно, конечно, что, как и в случае Геккера — см. библиографию 119 — это опечатка и вместо «1939» следует читать «1938»). Во время гражданской войны Дыбенко служил вместе с Ворошиловым и Сталиным, но теперь уже и это не давало надежной защиты. Дыбенко, человек великанского сложения, бывший матрос, руководил матросским мятежом на корабле «Император Павел I» в 1916 году, а во время революции командовал балтийскими моряками. Одно время он был женат на пылкой революционерке Александре Коллонтай, вышедшей из дворянской семьи. В 1918 году Дыбенко командовал Красной Гвардией, разогнавшей Учредительное собрание. Но в нем еще некоторое время оставался коммунистический идеализм: когда советское правительство решило не отменять смертной казни, Дыбенко пытался даже выйти из партии.^[958] Его ближайшими друзьями в Военной академии были расстрелянный в 1937 году Урицкий и командарм Федько, переведенный 2 февраля 1938 года с бывшего поста Якира на Украине в заместители Наркома обороны, но проработавший там лишь недолгое время перед исчезновением.^[959] Отметим мимоходом, что все трое — Дыбенко, Урицкий и Федько в 1921 году были направлены из академии на подавление Кронштадтского восстания.^[960]

Но теперь исчезли не только бывшие сподвижники Сталина, вроде Дыбенко, надо было и другим бывшим врагам отомстить за старые обиды. Среди арестованных были, как мы уже упоминали, первый главнокомандующий Красной Армией командарм Вацетис, которого Сталин и Ворошилов хотели снять в 1919 году с поста как предателя. Тогда Троцкий успешно

защитил Вацетиса. С тех пор Вацетис занимал ответственные посты в военной инспекции и Военной академии.^[961]

27–29 июля 1938 года произошло следующее крупное избиение военных руководителей. В те дни были уничтожены флагман Орлов, командармы Алкснис, Белов, Дубовой (до того возглавлявший Харьковский военный округ), Дыбенко (см. выше), Вацетис и Великанов (командовавший Байкальским военным округом).^[962] Среди других погибших были комкор Грязнов, командовавший Среднеазиатским военным округом,^[963] а также легендарный герой гражданской войны Ковтюх.^[964] Писатель Александр Серафимович вывел Ковтюха под именем «Кожух» в романе «Железный поток», причем любопытно, что и после исчезновения Ковтюха «Железный поток» переиздавался как ни в чем не бывало. Он переиздается и до сих пор.

Адмирал Виктор и комкор Н. В. Куйбышев были схвачены на день или два позже, 1 августа.^[965] Известна судьба и еще нескольких менее видных жертв: А. А. Свечин, бывший генерал-майор императорской армии и в тридцатых годах коллега Вацетиса по академии им. Фрунзе был расстрелян 29 июля; К. А. Озонин, комиссар Харьковского военного округа при Дубовом — 1 августа;^[966] без сомнения, были и другие жертвы. Операция была столь же широкой, как и в июне 1937 года, но на этот раз она была полностью засекречена. Она была, по-видимому, связана также с ликвидацией ряда крупных партийных деятелей, развернувшейся в эти же дни.

Последний большой удар по руководству Дальневосточной армии был нанесен несколько позже. Мы расскажем об этом и рассмотрим результаты небывалого по масштабу уничтожения командного состава вооруженных сил. Но и без этого уже очевидно, что Сталин, если и избавился от какой-то опасности, угрожавшей его власти, то в то же время причинил громадный ущерб обороноспособности страны.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПОД КОРЕНЬ

*Свободу сделал ты орудьем палача.
Лермонтов*

ДЕЛА ПЕРИФЕРИЙНЫЕ

В апреле 1937 года начались перевыборы местного партийного руководства. Это послужило поводом для шумной кампании в печати против тех, кто, подобно Постышеву, нарушал партийную демократию. Таких находили повсюду. Кампания началась с грозной директивной статьи «Внутрипартийная демократия и большевистская дисциплина».^[967] Автором статьи был Борис Пономарев, тот самый, который в октябре 1961 года стал секретарем ЦК КПСС.

Аресты членов ЦК начались с Ленинграда. Кроме Москвы, только в Ленинграде и в Закавказье уже стояли у власти беспощадные первые секретари (Жданов и Берия), готовые вести беспредельный террор.

Говоря о результатах убийства Кирова, И. В. Спиридонов, выступая на XXII съезде партии, заявил:

«Ленинградская партийная организация понесла особенно большие потери... В течение четырех лет в Ленинграде шла непрерывная волна репрессий по отношению к честным, ничем себя не запятнавшим людям. Часто выдвижение на ответственную работу было равносильно шагу на край пропасти. Многие люди были уничтожены без суда и следствия по лживым, наскоро сфабрикованным обвинениям. Репрессиям подвергались не только сами работники, но и их семьи, даже абсолютно безвинные дети, жизнь которых была надломлена, таким образом, в самом начале. Репрессии были совершены или по прямым указаниям Сталина, или с его ведома и одобрения».^[968]

На деле, однако, первые волны террора ударили по беспартийным и по массе низовых работников. Жданов продолжал действовать сталинскими методами. Он ослабил старые кировские кадры снизу, заменив много старых низовых работников на уровне райкома. Но до поры до времени он не сбрасывал с постов главных помощников Кирова, многие из которых были членами или кандидатами в члены ЦК. Они продолжали занимать свои высокие посты в городе и области. В частности, вторым секретарем обкома оставался пока Михаил Чудов, работавший с Кировым. Печатник по профессии, большевик с 1913 года, Чудов был переведен в Ленинград в 1928 году для поддержки Кирова. Он был членом ЦК и входил в Президиум XVII съезда партии. В 1934 году на похоронах Кирова в Москве Чудов произносил надгробную речь от имени ленинградцев, он был членом правительственной комиссии по организации похорон Кирова. Более чем кто-либо другой Чудов представлял кировские традиции в Ленинграде.

Старые партийные руководители такого уровня, как скоро выяснилось, были неприемлемы для Сталина ни в одном районе страны. Но в Ленинграде такие люди были особенно нетерпимы для вождя. Во-первых, они были тесно связаны с Кировым и его платформой, а все, что связывалось с Кировым, было теперь объектом особой сталинской враждебности. Во-вторых, это были те самые люди, которые 1 декабря 1934 года, услышав выстрел, бросились в коридор Смольного и должны были заметить — как теперь известно, действительно заметили — отсутствие охраны и другие подозрительные признаки.

Избавиться от них сразу означало создать сильное впечатление, что Сталин был настроен против Кирова и что он хотел устранить всех, кто знал что-либо об убийстве. Но с победой Сталина на февральско-мартовском пленуме 1937 года такие мотивы перестали играть роль.

Террор в Ленинграде уже и до 1937 года был жесточайшим даже по советским меркам. Но в последующий период, когда террор охватил все политическое и хозяйственное руководство, он стал страшнее, чем почти во всех других местах страны. Это означало почти стопроцентное

уничтожение руководящих кадров, тогда как в других районах цифра колебалась между восьмьюдесятью и девяноста процентами.^[969] О деталях террора в Ленинграде имеется больше информации, чем о последовавшем уничтожении руководства в других областях. По ленинградским данным можно составить полное представление о том, какого рода операция обрушилась теперь *на партию* и на все население.

Вернувшись в Ленинград с февральско-мартовского пленума, Жданов сделал доклад на областном партийном активе. Его доклад изобилует суровыми нападками на различные райкомы города. На том же партактиве выступил комиссар государственной безопасности первого ранга Ваковский, говоривший о том, «к каким подлым уловкам прибегали враги народа — фашистские агенты — в Ленинграде».^[970]

В последовавших убийствах и арестах Заковский стал теперь правой рукой Жданова. А левой рукой был печально известный А. С. Щербаков — единственный человек среди высших ленинградских партийных руководителей, которому Жданов доверял полностью. С 1924 по 1930 год Щербаков работал вместе со Ждановым в Нижегородском (Горьковском) обкоме партии, продвинувшись до заведующего отделом агитации и пропаганды. Щербакова как личность повсеместно ненавидели еще сильнее, чем Жданова. Это был полный человек в очках с аккуратно зачесанными назад волосами. Из Горьковского обкома его сначала перевели в Москву, в аппарат ЦК, а потом, в 1934 году, назначили секретарем Союза писателей! В 1936-37 годах Щербаков работал в Ленинграде, после чего его сделали разъездным надсмотрщиком по террору, посылая в те области, где людей уничтожали все еще неохотно. Только на протяжении одного 1938 года Щербаков побывал не менее чем на четырех областных постах. Полностью растерзав партийные кадры в Иркутске, Щербаков затем возглавил последовательно два обкома на Украине, уже опустошенных хрущевскими «чистками», а затем, следующей зимой, стал первым секретарем Московского горкома партии. Во время второй мировой войны Щербаков стал начальником Политуправления Красной Армии, секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. Он умер в 1945 году — будто бы от руки «врачей-вредителей». Таков послужной список типичного ждановца.

И вот эта группа — Жданов, Заковский и Щербаков — взялась за «работу». По рассказу старой большевички Д. А. Лазуркиной (ей предстояло провести 17 лет в лагерях), в мае 1937 года «Жданов собрал нас, руководящих работников обкома, и сообщил: „В наших рядах, в ленинградской организации, раскрыли двух врагов — Чудова и Кадацкого. Они арестованы в Москве“. Мы ничего не могли сказать. Казалось, что примерз язык. Но когда окончилось это совещание, и когда Жданов уходил из зала, я сказала ему:

„Товарищ Жданов, Чудова я не знаю, он недавно в нашей Ленинградской организации. Но за Кадацкого я ручаюсь. Он с 1913 года член партии. Я его много лет знаю. Он честный член партии. Он боролся со всеми оппозициями. Это невероятно! Надо это проверить“. Жданов посмотрел на меня жесткими глазами и сказал: „Лазуркина, прекратите этот разговор, иначе вам будет плохо“».^[971]

Согласно принятой на IV городской конференции резолюции, Ленинградская парторганизация «повысила свою боеспособность», «разоблачая и изгоняя из своих рядов антисоветских троцкистско-правых двурушников — этих японо-немецких диверсантов и шпионов»,^[972] Исключение было высшей мерой партийного наказания и в тех обстоятельствах почти неизменно развязывало руки НКВД для последующего ареста. И это был только первый шаг: из 65 членов нового Ленинградского горкома партии, *избранных* 29 мая 1937 года, только двое были избраны в следующий состав горкома 4 июня 1938 года (еще пятеро были переведены на должность вне Ленинграда).^[973]

Наступившие в Ленинграде белые ночи создали известную техническую трудность для подручных Заковского. Когда волна арестов достигла руководства местной партийной организации, потом снова распространилась вниз, захватив тех, кто был выдвинут на партийную работу в последние год-два, а потом вышла и за эти пределы; когда аресты приняли массовый характер среди уже терроризованного населения, их стало невозможно выполнять под благопристойным покровом ночи. Ленинград — пожалуй, самый северный из крупных

городов мира, он находится на той же широте, что Шетландские острова или северный Лабрадор. Зимой дни в Ленинграде чрезвычайно короткие, зато летом, когда в нем царит «задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный», когда Пушкин мог сказать свое «пишу, читаю без лампы», шум и скрежет тормозов арестантских карет на светлых, но безлюдных улицах был, по воспоминаниям многих, особенно тревожным.

Председатель Ленинградского совета Кадацкий, член ЦК партии, по-видимому, расстрелян в 1939 году. В том же году был уничтожен другой член ЦК из Ленинграда — П. А. Алексеев, председатель ленинградского облпрофсовета. Несколько подробнее можно проследить судьбу Чудова.

В Ленинграде был арестован некто Розенблюм, член партии с 1906 года. Его арестовали по делу знаменитого старого большевика Николая Комарова.

После поражения зиновьевцев в 1926 году Комаров занял зиновьевский пост председателя Ленинградского совета. В 1929 году он стал неподходящим для Сталина человеком: не поддерживая открыто Бухарина, Комаров не проявлял никакого энтузиазма в борьбе против него. В июле 1928 года Бухарин сказал Каменеву, что высшие руководители в Ленинграде «всей душой с нами, но они приходят в ужас, когда мы говорим о снятии Сталина». Эти люди колебались, они не могли принять решение. По воспоминаниям современников, попытки Сталина перетянуть ленинградских руководителей на свою сторону не удавались. Речь шла как раз о Комарове и других преемниках Зиновьева.^[974] Комарова сняли и перевели на работу в ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства) в Москву. В 1934 году Комаров уже не был членом ЦК, но оставался еще кандидатом.

Теперь Ленинград перешел в руки людей, полностью придерживавшихся партийной линии, несмотря на то, что во всем руководстве города и области в начале 30-х годов настоящие сталинцы, помимо Кирова и Чудова, встречались редко. Большинство было сторонниками Сталина с легким правым уклоном, к которому до известной степени склонялся и сам Киров.^[975]

Комаров оставался связанным с этими людьми. Позже, в 1938 году, на процессе над Бухариным и другими его назвали в качестве видного члена ленинградской группы.^[976] Теперь мы знаем, что дело Комарова хотели связать с делом Чудова с помощью Розенблюма. Но Чудову собирались устроить показательный процесс со всеми атрибутами. И вот Розенблюм, который, как рассказал на XX съезда партии Хрущев, к тому времени уже подвергся «страшным пыткам»,^[977] предстал перед Заковским. Вот что далее рассказывал Хрущев:

«Заковский предложил ему освобождение при условии, чтобы на суде он сделал сфабрикованное в 1937 году НКВД признание относительно „террористического центра саботажа, шпионажа и диверсии в Ленинграде“. С невероятным цинизмом Заковский описал гнусный „механизм“, при помощи которого фабриковались вымышленные „антисоветские заговоры“.

„Чтобы показать мне этот механизм, — сообщил Розенблюм, — Заковский описал мне несколько возможных вариантов организации такого центра и его отделений. Подробно описав мне такую организацию, Заковский сказал мне, что НКВД заготовит дело для этого центра, и добавил, что суд будет открытым.“

„Вам самому, — сказал Заковский, — не придется ничего выдумывать. НКВД заготовит для вас готовое описание каждого отделения центра. Вам нужно будет тщательно изучить его и помнить все вопросы и ответы, с которыми вам придется иметь дело во время суда. Дело это будет готово месяца через четыре, через пять, может, через полгода. Все это время вы должны будете готовиться, чтобы не скомпрометировать следователя и себя, Ваша будущая участь зависит от того, как пройдет суд и каковы будут его результаты. Если вы начнете завираться и давать неверные показания — пеняйте на себя. Если вы выдержите это испытание, вы спасете свою жизнь и мы будем кормить вас и одевать до самой вашей смерти“.^[978]

Как сказал Розенблюму Заковский, на суде должны были фигурировать Чудов, его жена — секретарь ленинградского облпрофсовета и член обкома партии Людмила Шапошникова, а

также три других секретаря горкома и обкома — член партии с 1903 года Борис Позерн, А. И. Угаров и Петр Смородин. Трое последних были кандидатами в члены ЦК ВКП[б].

Надо отметить, что, как и во многих других случаях,

основание для будущего дела было подготовлено неплохо. Уже в августе 1936 года, на процессе Зиновьева, позвучали показания, что несколько членов группы, связанной с убийцей Кирова Николаевым, „пользовались доверием многих партийных и советских руководящих работников в Ленинграде“, и это доверие якобы „обеспечило им все возможности вести подготовку к террористическому акту против Кирова без малейшей опасности разоблачения“.^[979]

Что касается политического направления будущих обвиняемых, то ясно было, что ленинградцев запишут в „правые“. В этом была даже некая крупница правды — во всяком случае, конец этих людей означал окончательное подавление „линии Кирова“.

Процесс „Ленинградского центра“, планировавшийся Ваковским, так и не состоялся (более или менее важные официально объявленные процессы были проведены только в Москве и в Грузии), Почему так — мы не знаем. Можно лишь предполагать, что сопротивление следствию со стороны некоторых ленинградцев было причиной падения Ваковского, который сам вскоре после этого был расстрелян.

Сведения о судьбе людей, подготовленных Ваковским в качестве жертв будущего процесса, производят несколько странное впечатление. Энциклопедический справочник „Ленинград“ указывает, что Чудов умер в 1937 году.^[980] Тот же справочник утверждает, что Смородин умер в 1941 году;^[981] „Энциклопедический словарь“, однако, дает другую дату смерти Смородина — 1937 год.^[982] Известно, что Смородин в июне 1937 года сменил Чудова на посту второго секретаря Ленинградского обкома партии; наиболее вероятно, что арестован он был в конце того же лета. По поводу смерти Б. Позерна в советских источниках наблюдается поразительный разницей. Справочник „Ленинград“ называет 1939 год, в биографических справках к 50-му тому собраний сочинений Ленина, вышедшему в 1965 году, говорится, что Позерн погиб в 1938 году, в то время как сборник „Из истории гражданской войны“^[983] и вышедшая в Москве за пять лет до этого книга „От Февраля к Октябрю“ уверяет в справочном примечании, что Позерн скончался в 1940 году. Так или иначе, еще в мае 1938 года Б. Позерн был на свободе. Что касается А. И. Угарова, то его даже повысили до первого секретаря Московского обкома партии, и он исчез только осенью 1938 года. Это определенно показывает, что, как говорил Заковский, „возможны варианты“. В числе будущих жертв „вариантов“ Ваковского могли быть люди, с которыми он ежедневно сидел в обкоме за одним столом.

О терроре в Ленинграде и Ленинградской области, как уже было сказано, известно больше, чем о терроре в других областях страны, и потому весьма поучительно оценить итоги террора. Были арестованы все семеро членов и кандидатов в члены ЦК ВКП[б], работавшие в Ленинграде, — Чудов, Кадацкий, Алексеев, Смородин, Позерн, А. И. Угаров, а также представитель Ленинградского облисполкома П. И. Струппе. Среди других жертв оказались А. Н. Петровский, возглавлявший горисполком, а затем переведенный в секретари Ленинградского обкома, и И. С. Вайшля — секретарь Ленинградского обкома комсомола. Кроме них исчезло большинство членов бюро обкома и „сотни активнейших партийных и советских работников“. В это число входят, разумеется, многие секретари райкомов партии Ленинграда. Террор ударил также по военной верхушке Ленинграда, начиная с командующего военным округом Дыбенко (который по положению был членом обкома партии) и командующего Балтийским флотом А. К. Сивкова. Жертвами террора пали также ведущие хозяйственники — руководители Ленэнерго, Кировского завода, Металлического завода имени Сталина и многих других.^[984] Из 154 делегатов XVII съезда партии, избранных от Ленинграда, только двое были избраны делегатами на следующий XVIII съезд. Причем эти двое были Андреев и Шкирятов, чьи связи с ленинградской организацией были чисто формальными. Из 65 членов Ленинградского обкома партии, избранных 17 июня 1937 года, только девять появились в следующем году (четверо других были переведены на работу вне Ленинграда).^[985] На XXII съезде партии, вспоминая 1937 год, старая ленинградская коммунистка Д. А. Лазуркина говорила: „... В 1937 году меня

постигла участь многих. Я была на руководящей работе в Ленинградском обкоме партии и, конечно, тоже была арестована“.^[986]

Когда старые кадры были уничтожены, Жданов выдвинул своих людей. Среди них был Вознесенский, работавший в Ленинграде председателем облплана и заместителем председателя горсовета — до того, как его перевели в Москву и, в конце концов, ввели в Политбюро ЦК ВКП[б]; А. А. Кузнецов — вначале секретарь райкома, затем второй секретарь обкома, а позднее секретарь ЦК ВКП[б]; будущий первый секретарь обкома Попков. Все эти трое были расстреляны в 1950 году по так называемому „Ленинградскому делу“. Другие из ленинградских выдвиженцев того времени дожили почти до наших дней. Так, Н. Г. Игнатов, в прошлом работник ОГПУ, был секретарем парткома одного из заводов, когда к власти в Ленинграде пришел Жданов. В 1937 году Игнатов стал первым секретарем одного из райкомов Ленинграда и членом горкома. На следующий год его послали вторым секретарем в Куйбышев — для политического обеспечения последней и заключительной операции против Постышева. Потом, после многих повышений и понижений, Н. Г. Игнатов стал заместителем председателя Совета Министров СССР и в этой должности скончался в 1966 году.

Еще более интересно проследить за карьерой Алексея Косыгина.^[987] В те годы Косыгин играл активную роль в партийной жизни как член бюро Выборгского райкома ВКП[б] Ленинграда (в то время главная „активность“ заключалась в доносах и всяческих обвинениях против прежних секретарей и членов бюро). В 1937 году Косыгин занял одну из освободившихся вакансий, став директором Октябрьской текстильно-ткацкой фабрики. В июне 1933 года он был утвержден заведующим промышленно-транспортным отделом Ленинградского обкома партии, а в октябре того же года — председателем горисполкома, заняв, таким образом, бывшую должность Кадацкого. В следующем году он был переведен в Москву и по сей день работает в правительстве.

События в Ленинграде не представляли исключения. Такие же события происходили в обкомах по всей стране, с той только поправкой, что всего трем первым секретарям (Жданову в Ленинграде, Берии на Кавказе и Хрущеву в Москве) было доверено вести террор самим. Остальные делали это под надзором свыше.

Каганович, например, побывал в Иванове, в Смоленске, на Кубани и в других местах; Маленков — в Белоруссии и в Армении; Г. Д. Шкирятов — на Северном Кавказе. Повсеместно они уничтожали прежнее руководство. В те годы для ареста „троцкистов“, занимавших ответственные должности, требовалась подпись первого секретаря обкома. (Эйхе, работавший первым секретарем обкома в Западной Сибири, считал это своей прерогативой).^[988] И на ранних стадиях террора первые секретари обкомов могли и часто желали приостановить действия НКВД. Во всяком случае, они могли приостанавливать производ, которого требовали теперь Сталин и Ежов. И в большинстве случаев избивание руководящих кадров в областях производила теперь сама Москва, причем Секретариат ЦК ВКП[б] применял и такой метод: в область, где первый секретарь не очень охотно вел террор, назначали вторым секретарем отъявленного террориста (так Н. Г. Игнатов был послан на подрыв позиций Постышева в Куйбышеве).

Хрущев на XX съезде партии говорил: „Материалы следствия, проведенного в то время, показывают, что почти во всех краях, областях и республиках будто бы существовали шпионско-террористические и диверсионно-саботажные организации и центры правых и троцкистов и что во главе таких организаций, как правило, по непонятным причинам, стояли первые секретари областных, краевых и республиканских партийных комитетов“.^[989]

Поразительные разоблачения сделал на XXII съезде партии старый коммунист Сердюк. Он рассказал, что Каганович, прибыв в Иваново, немедленно по прибытии телеграфировал Сталину: „Первое ознакомление с материалами показывает, что необходимо немедленно арестовать секретаря обкома Епанечникова. Необходимо также арестовать заведующего отделом пропаганды обкома Михайлова“! Вскоре Каганович отправил вторую телеграмму: „Ознакомление с положением показывает, что право-троцкистское вредительство здесь приняло широкие размеры — в промышленности, сельском хозяйстве, снабжении, торговле,

здравоохранении, просвещении и полит партработе. Аппараты областных учреждений и обкома партии оказались исключительно засоренными^[990]. Приезд Кагановича в Иваново называли „черным смерчем“. Он обвинил тогда всю партийную организацию, имеющую большие революционные традиции, в том, что она якобы находится в стороне, на обочине столбовой дороги. На пленуме обкома без всякого основания он приклеил ярлык врага народа большинству руководящих работников».^[991]

В 60-е годы о событиях того периода было принято говорить, что Каганович или Маленков отправились туда-то и туда-то и «разгромили» обком партии. Ответственными за такие дела объявляются только либо названные двое, либо Ежов или Берия. Мы пока не слышали из советских источников о подробностях разгрома ЦК Компартии Украины, в котором принимал участие Хрущев, хотя уже после удаления Хрущева, в «Очерках по истории Московской партийной организации», Москва, 1966, стр. 539, приведены мимоходом фамилии шестерых секретарей МК партии, а также председателя Моссовета Н. А. Филатова, исчезнувших в то время, когда первым секретарем был Хрущев. Такое же молчание царит по поводу роли Микояна в разгроме армянской Компартии, где вся вина возлагается на Маленкова. В Белоруссии террор вел главным образом некто Яковлев, позднее сам ставший жертвой, а затем реабилитированный. Об этом тоже ничего не говорится.

Писатель Аркадий Васильев (позже «общественный обвинитель» на процессе над Синявским и Даниэлем) в беллетристической форме, но очевидно по личному опыту, описывает сцену, которая часто происходила в те времена в обкомах. 23 июля 1937 года член обкома приходит на пленум. Его известили о пленуме всего за несколько часов до начала, не сообщив о повестке дня. Все сидят в молчании, атмосфера напряженная. Каждый старается занять место как можно дальше от президиума, в задних рядах.

Последующие события автор романа описывает так:

«Первым на сцену вышел человек с бородой. Я до этого видел его только на портретах. Он тогда в большой силе был — и нарком, и секретарь Центрального Комитета, один чуть ли не в семи лицах. В зале тишина. Нарком нахмурился, видно, не понравилось, как его встретили, привык к триумфу. Кто-то догадливый спохватился, захлопал. Поддержали, и все пошло как надо.

Затем появились члены бюро нашего обкома во главе с первым секретарем. Им тоже, поменьше, пожиже, но похлопали.

Нарком сел с краю, возле трибуны. Первый секретарь приглашал его в середину рядом с собой — не пошел.

И только тут узнал пленум о повестке дня. Первое — о состоянии агитационно-пропагандистской работы в связи с предстоящей уборкой урожая и второе — оргвопросы.

Не знаю, как других, а у меня отлегло от сердца — к уборке урожая я лично отношения почти не имел. Выделишь, бывало, подшефному колхозу три грузовика, бригаду девчат пошлешь — и все. А оргвопросы — это тоже меня не касается, кого-то от чего-то освободят, кого-то куда-то введут. В ту пору мне все равно было, тщеславия у меня не замечалось — знал свое место и на большее не рассчитывал, оснований не было.

Бывало, стоило только пустить в ход налаженную, годами проверенную машину совещаний — и все заработает, как следует быть: во время доклада летят уже из зала записочки — записываются в прения, перерыв, прения — все точно пригнано или, как моряки говорят, принайтовано. И почти все заранее известно, кто в прениях выступит, и с чем, кто, обидевшись, будет слово для справки просить.

На этот раз все скособочилось, По поводу агитационно-пропагандистской работы на селе доклад делать полагалось бы секретарю по пропаганде, а на трибуну выпустили заведующего областным земельным управлением Костюкова, Он говорить мастак. Особенно о планах, гектарах, вывозе удобрений. А тут он губами двигает, а его не слышно. Кто-то посмелее из зала крикнул:

— Громче!

Костюков поднял глаза от тезисов, и мне жутко стало- такие они были стеклянные, как у мертвеца.

Нарком чего-то сердито сказал первому секретарю, тот встал, позвонил и произнес деревянным голосом:

— Прошу соблюдать тишину!

Какое там соблюдать — и так слышно, как карандашом по бумаге водят.

Костюков все же собрался с силами, и мы услышали:

— Два дня назад мы с председателем облисполкома товарищем Казаковым посетили колхоз имени Будённого...

Нарком избоченился весь и странно как-то, не то с удивлением, не то с насмешкой спросил докладчика: — С кем? С кем вы посетили колхоз?

— С товарищем Казаковым...

Тут только я обратил внимание, что Казакова в президиуме нет. „Как же так? — думаю. — Он ведь член бюро!“ Нарком все тем же непонятным тоном продолжает:

— Следовательно, я вас так понимаю, вы считаете Казакова товарищем? Отвечайте!

Костюков побелел и залепетал. Солидный он был, высокий, любил зимой на коньках кататься, в проруби купался, а тут стоит виноватый, словно школьник, не приготовивший урока.

— Конечно... Если так... Почему бы и не считать... Нарком посмотрел на наручные часы, потом на кулисы

глянул, и к нему тотчас же подскочил какой-то человек, не из наших. Нарком выслушал секундный доклад и объявил...

— Не понимаю, как вы можете себя так вести. Отказываюсь понимать... — снова на часы глянул и добавил: — Враг народа Казаков арестован двадцать минут тому назад...

И случилось, если по нынешним временам измерять, совершенно невероятное: кто-то из сидящих в президиуме зааплодировал. Сначала робко подхватили, затем энергичнее. Чей-то бас крикнул:

— Нашему славному НКВД — ура!

И я кричал „ура“. Сейчас что угодно можно говорить и думать о том периоде. Не знаю, как другие, но я кричал от всей души, искренно, верил, что Казаков действительно враг народа. После пленума с мыслями собрался, кое-что в хозяйственной области проанализировал и еще больше поверил — враг. Так настроен был, так мои душевные струны были подтянуты, что другие слова — „ошибка“, „недосмотр“, „неправильный расчет“, „просто халатность“ — на ум и не приходили, а только одно: „вражеская деятельность“.

Костюков совсем раскис и, промямлив еще несколько слов, сошел с трибуны, под стук собственных каблуков. Больше его никто не видел — ушел за кулисы навсегда.

Нарком снова на часы посмотрел и все тем же своим непонятным тоном обратился к секретарю по пропаганде:

— Может ты неудачного докладчика дополнишь?

Секретарь вышел на трибуну белый-белый, откашлялся для порядка и сравнительно бойко начал:

— Состояние агитационно-пропагандистской работы на селе не может не вызывать у нас законной тревоги... Как уже сообщил предыдущий оратор, уборку мы должны провести в более сжатые сроки... Правда, товарищ Костюков не отметил...

При этих словах нарком опять избоченился и ехидно спросил:

— Костюков вам товарищ? Странно, очень странно... — снова взгляд на часы и — как обухом по голове:

— Пособник врага народа Казакова последыш Костюков арестован пять минут тому назад...

Все бюро обкома, весь президиум облисполкома минут за сорок подмели под метелку».^[992]

В конце июня Каганович выступил на специально созванном заседании Смоленского (в то время Западного) обкома партии и объявил, что первый секретарь обкома Румянцев, который

служил опорой Сталина в Смоленске с 1929 года, второй секретарь Шульман. и большая группа прежних руководителей являются «предателями, шпионами германского и японского фашизма и членами право-троцкистской банды».^[993] Эти люди исчезли без следа. Румянцева заменил на посту Д. Коротченков, под руководством которого Смоленская область пережила страшный террор. До и после своей работы в Смоленске «Коротченков» носил фамилию Коротченко. В 1968 году, когда писалась книга, Д. Коротченко был членом ЦК КПСС и председателем Президиума Верховного Совета УССР. В 1937 году он работал также секретарем МК под руководством Хрущева, а позже сопровождал Хрущева на Украину.

Во время второй мировой войны смоленский архив был захвачен гитлеровцами. После поражения Германии этот архив был перевезен в США. Благодаря этому есть возможность проследить на примере Смоленской области, как проводился террор в низовых партийных организациях.

В тогдашнюю Западную область входил небольшой районный центр — город Белый (ныне Калининской области). В марте 1937 года, после февральско-мартовского пленума, обком партии, сам находившийся под ударом, обрушился на районных руководителей. Первый секретарь Вельского райкома партии Ковалев подвергся своеобразной четырехдневной церемонии — его «критиковали», оскорбляли и обвиняли во всех грехах подчиненные. На него нападали за то, что в 1921 году он жил вместе с троцкистом, что вел себя, как местный диктатор, что дезертировал из Красной Армии и т. д. Присутствовало более 200 местных коммунистов, представлявших большую часть местной партийной организации. По отчету видно, что многие еще не усвоили тон и стиль, внедрявшиеся тогда в партии. С мест задавали вопросы: почему, если ораторы, критиковавшие Ковалева, знали все это о нем раньше, они не только молчали, но и одобряли все действия секретаря? На это один из наиболее хитрых обвинителей ответил, что молчал четыре года потому, что Ковалев запрещал ему говорить!

Представитель обкома, прибывший в Белый как раз для того, чтобы организовать снятие Ковалева с поста, говорил более умеренным тоном, чем некоторые местные рядовые доносчики. Он сказал: «У меня нет достаточных оснований назвать Ковалева троцкистом», но обещал, что этот вопрос будет расследован. Когда затем, в июне, сам обком был «разоблачен», город Белый охватила истерия арестов и обвинений. 26–27 июня проходило еще одно собрание, в ходе которого на Ковалева и на все его окружение возводились еще более страшные обвинения. Все, кто работал с Ковалевым, пали жертвами. Но менее, чем через три месяца, 18–19 сентября, состоялся пленум райкома, разгромивший тех, кто пришел к руководству после группы Ковалева. Так, нового секретаря райкома Карповского обвинили в том, что он был агентом Румянцева, что в свое время принадлежал к банде преступников, что имел родственников за границей, что поддерживал отношения с сестрой, которая была замужем за иностранным коммерсантом. Карповский защищался, говоря, что он не только никогда не был бандитом, но самолично убил несколько бандитов. Он получил однажды письмо от тетки из Румынии, но он не видел этой тетки с тех пор, как она выехала из России в 1908 году. Что касается его сестры, то и она и ее бывший муж-коммерсант занимались теперь полезным трудом. Более того, друг Карповского, воевавший вместе с ним, показал, что оба они боролись с бандитами. Но ничего не помогло. Оратор за оратором набрасывались на секретаря, понося его в самых диких выражениях и, в конце концов, даже его друг сказал с сомнением, что он просто не знал об участии Карповского в бандитской шайке.

Все сотрудники Карповского пали либо вместе с ним, либо непосредственно после него. К концу года районом руководила совершенно новая группа людей, причем никто из них не был местным жителем. Численность партийной организации района, насчитывавшей на 1 сентября 1934 года 367 человек, снизилась почти вдвое и теперь не достигала 200.^[994]

Поразительно, что террористические призывы сверху сочетались с истерическими, линчевательскими настроениями, воцарившимися ныне в низовых партийных организациях. В то время как уничтожались высшие и средние круги партийного руководства, эмиссары Москвы повсюду находили доносчиков (вроде уже упоминавшейся Николаенко в Киеве), готовых дать «показания» против всех, кого требовалось уничтожить.

В 1962 году газета «Бакинский рабочий», в статье, озаглавленной «Досье провокатора»,^[995] описывала, как один член партии в Азербайджане делал карьеру в годы террора, донося в НКВД на видных коммунистов. Среди оклеветанных им были три секретаря ЦК Компартии Азербайджана и бывший председатель Совнархоза республики. А сам «провокатор» И. Я. Мячин оставался до послесталинских времен известным и уважаемым членом партии. Одно время он даже занимал должность заместителя Наркома текстильной промышленности Азербайджана.

Что клеветническая деятельность Мячина, хотя и поздно, но все же раскрылась, газета объясняет тем, что в свое время он писал все свои доносы в двух экземплярах — один посылал «в НКВД на имя прислужников Багирова. Второй же с собственноручной подписью подшивая в дело № 4, которое с гордостью сдал в архив». Это «дело № 4» пролежало на полке четверть века, пока его «случайно» не обнаружил архивариус. В папке оказались доносы Мячина, написанные в период с февраля по ноябрь 1937 года и «скомпрометировавшие» 14 партийных, советских и хозяйственных руководителей. Одно из типичных обвинений состояло в том, что один коммунист, «посоветовавший в автобусе не болтать о вредительстве», якобы хотел этим «дать указание контрреволюционерам держать язык за зубами». Оправдывая свои поступки, Мячин говорил: «Мы думали, так нужно. Писали все».

Он был по-своему прав.

То же самое происходило повсюду. На XX съезде партии Хрущев рассказал, как «отдел НКВД по Свердловской области „открыл“ так называемый „уральский штаб восстания — орган блока троцкистов, правых уклонистов, эсеров и священников“». Его мнимым руководителем был назван секретарь Свердловского областного комитета партии, член ЦК ВКП[б] Кабаков, член партии с 1914 года. Материалы следствия, проведенного в то время, показывают, что почти во всех краях, областях и республиках будто бы существовали шпионско-террористические и диверсионно-саботажные организации и центры правых и троцкистов и что во главе таких организаций, как правило, по непонятным причинам, стояли первые секретари областных, краевых и республиканских партийных комитетов».^[996]

Первым секретарем Ростовского и Азово-Черноморского обкома был назначен Е. Г. Евдокимов — в прошлом руководящий работник НКВД. Но даже он, по имеющимся сведениям, жаловался в Москву, что террор заходит слишком далеко.^[997] Как бы то ни было, он сам вскоре исчез. И в то время как волна арестов охватила Ростовский обком, там обозначилась быстрая карьера молодого Михаила Сулова. В 1933-34 году он входил в комиссии по партийной чистке в ряде областей. Теперь он был назначен одним из секретарей Ростовского обкома. В 1939 году Сулов стал первым секретарем Ставропольского крайкома партии, где в 1944 году принял участие в насильственном переселении карачаевцев в отдаленные районы страны. Видимо, он показал себя способным к такого рода операциям, ибо был сделан председателем Бюро ЦК во вновь оккупированной в 1944 году Литве, где восстановил советскую власть, сломив упорное сопротивление партизан. К 1947 году Сулов стал секретарем ЦК партии и этот пост он занимает до сих пор.

В сентябре 1937 года Сталину позвонил с Дальнего Востока тамошний первый секретарь крайкома Иосиф Варейкис. Этот работник пользовался большим доверием Сталина, до Дальнего Востока работал первым секретарем Воронежского и Сталинградского обкомов. Темой телефонного разговора Варейкиса со Сталиным был арест некоторых коммунистов, против которого Варейкис возражал. В разговоре он, очевидно, поставил вопрос также и об аресте Тухачевского. Варейкис служил вместе с Тухачевским во время гражданской войны, и однажды оба они, Тухачевский и Варейкис, были захвачены эсеровскими мятежниками, которых впоследствии подавили.

Сталин закричал: «Не твоего ума дело! Не вмешивайся, куда не следует, НКВД знает, что делает!». Потом Сталин сказал, что «защищать Тухачевского и других может только враг советской власти» и бросил трубку. Варейкис был глубоко потрясен. Ему было даже трудно поверить, сказал он своей жене, что с ним разговаривал именно Сталин.

30 сентября Варейкис получил телеграмму, вызывавшую его в столицу по служебным делам. 9 октября он был арестован за несколько станций до Москвы. Через четыре дня арестовали его жену.^[998]

На процессе так называемого «право-троцкистского блока» Варейкис упоминался в качестве соучастника заговора^[999] и осенью 1939 года был расстрелян.^[1000] Нигде не сказано прямо, но вполне возможно, что разговор Варейкиса со Сталиным касался также и положения тогдашнего командующего Дальневосточной армией маршала Блюхера. Внезапный сталинский порыв гнева мог отражать реальный страх Сталина, его озабоченность положением в Дальневосточной армии.

В РЕСПУБЛИКАХ

Положение дел в республиках было таким же, как в областях самой России. В 1935 и 1936 годах Ежов использовал проводившуюся «проверку и обмен партийных документов» для исключения из партии «половины всего состава партийной организации» в Белоруссии^[1001] за связи с каким-то антисоветским подпольем. Местные партийные работники протестовали против таких действий, которые на самом деле были первой фазой разрушения прежней партии и создания на ее руинах совсем другой организации. 17 марта 1937 года, т. е. сразу после февральско-мартовского пленума, в Минск был послан эмиссар из центра В. Ф. Шарангович, которого сделали первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. В Белоруссии Шарангович работал и раньше, до 1936 года.

Однако сопротивление террору на высшем уровне белорусского республиканского руководства было распространено широко. Как сообщил в той же речи Мазуров, на одном из заседаний ЦК партии республики председатель Совнаркома Белоруссии М. М. Голодед «поставил под сомнение итоги проверки и обмена партийных документов».^[1002] Это было поводом для того, чтобы направить в Минск Маленкова. Он прибыл в июне 1937 года и уничтожил почти все республиканское руководство.

Председатель Президиума Верховного Совета Белоруссии Червяков — «глава государства» этой «суверенной республики» — покончил самоубийством. Голодед был обвинен в «буржуазном национализме».^[1003] Его арестовали по дороге в Москву и расстреляли.^[1004] Предшественник Шаранговича Гикало, сам проводивший террор против других, был также расстрелян. Согласно Мазурову, «почти весь руководящий состав республики, в том числе секретари ЦК, председатель Совнаркома, наркомы, многие руководители местных партийных и советских органов и представители творческой интеллигенции были исключены из партии и многие из них арестованы».^[1005] На процессе Бухарина Голодед, Червяков, Гикало, а также бывший третий секретарь ЦК КП Белоруссии Жеборевский и Народный комиссар земледелия Бенек были упомянуты как участники «национал-фашистской организации», чья деятельность в основном заключалась в шпионаже в пользу Польши и вредительстве в сельском хозяйстве.

В середине июня, на республиканском партийном съезде, Шарангович горячо приветствовал проходивший террор. В августе на пленуме ЦК КП Белоруссии он сам пал жертвой террора — его «разоблачил» Я. А. Яковлев, присланный из Москвы на его место.^[1006] С Яковлевым прибыла группа новых правителей, в том числе преемник Червякова Наталевич. В течение лета и осени террор распространился до местного и даже массового уровня.

Судьба Шаранговича типична, и на его примере можно говорить об одном примечательном явлении. В те годы за решетку попадали даже представители нового поколения сталинских карьеристов — людей, вполне приспособившихся к новой системе. Это в особенно большой степени относится к первым, наиболее энергичным из них, вырвавшимся на высокие посты. Они были уничтожены младшими по возрасту, но подобными им по характеру типами, которые позже, в свою очередь, нередко становились жертвами террора.

Объяснение краткости пребывания на своих постах многих из тех, кто был выдвинут взамен первых жертв террора, сводится к следующему:

«Люди этого типа имели тенденцию доводить партийную линию до нелепых крайностей, что объяснялось их неразборчивостью в средствах и служебным рвением. В результате, их действия позже объявлялись „перегибами“ и отходом от партийной линии. Кроме того, люди подобного типа по породе своей склонны к коррупции и к использованию своих постов в личных целях. Этим они возбуждали ненависть и ревность со стороны младших сослуживцев. А это еще более укорачивало сроки пребывания их на постах».^[1007]

Как известно, на февральско-мартовском пленуме Сталин высказал пожелание, чтобы каждый партийный работник подготовил себе «на всякий случай» двух заместителей. В этом предложении содержалось известное предвидение, хотя и недостаточное. Во многих случаях только четвертый или пятый преемник выживал на своем посту до конца террора. Но были и такие, кто как раз в те годы начинали делать карьеру, — например, тот же К. Мазуров (к моменту сдачи этой книги в набор член Политбюро ЦК КПСС), занимавший в 1938 году ответственный пост в политотделе Белорусской железной дороги, персонал которой тяжело пострадал от террора.

В Белоруссии террор, кстати говоря, помимо политических деятелей и инженеров, тяжело обрушился на деятелей культуры — в особенности это относилось к Наркомату просвещения и Институту языковедения. Оба эти учреждения как бы олицетворяли все национальное, чисто белорусское. Почти неизменно арестованных белорусов объявляли польскими шпионами, что объяснялось географическим положением республики.^[1008]

История террора в Белоруссии интересна тем, что здесь жестокостям оказывалось несколько более сильное сопротивление, чем в большинстве собственно русских областей. Вероятно, тут слегка помогали местные национальные чувства. Гораздо более заметным это явление было на Украине, где полное покорение оказалось еще более трудным, так как пришлось иметь дело с большим количеством высших украинских руководителей. Террор в Грузии начался тогда, когда не было никакой нужды уничтожать высшее руководство. В свое время, в 1919 году, Грузия была полностью меньшевистской; меньшевики имели 105 из 130 мест в Национальном собрании республики. За них голосовали на выборах 640 тысяч человек, а за большевиков всего 24 тысячи, так что последние не получили в парламенте вообще ни одного мандата. Но потом положение коренным образом изменилось. Сталин протацил старого оперативника ОГПУ Лаврентия Берия в первые секретари Компартии Закавказской Федерации. Это случилось в 1931 году, и с тех пор чекист с тонкими чертами лица и в пенсне стал властвовать в Грузии. С самого своего назначения Берия рьяно вел террор. Уже 11 августа 1936 года он расстрелял в своем кабинете первого секретаря ЦК КП Армении Ханджана.^[1009]

Таким образом, внутрипартийный террор в Грузии был жестоким, но обычным. Для проведения и усиления террора не нужен был никакой эмиссар ЦК. С другой стороны, Грузия стала ареной нескольких публично объявленных судов, хотя эти процессы фактически проводились при закрытых дверях.

Наиболее важный процесс произошел 10–12 июля 1937 года. На процесс вывели людей, столь же известных в грузинском большевистском движении, как были известны во всесоюзном масштабе жертвы московских процессов. Совершенно очевидно, что вначале было намерение сделать процесс показательным. Ибо все обвиняемые были старыми врагами Сталина. Среди них выделялся Буду Мдивани, бывший председатель Совнаркома Грузии, которого Ленин защищал от Сталина перед самой своей смертью. Фактически именно дело Мдивани послужило Ленину поводом к тому, чтобы включить в свое «Завещание» пункт о нежелательности пребывания Сталина на посту Генерального секретаря. Вместе с Буду Мдивани судили старого большевика Окуджаву, отца известного ныне поэта и менестреля Булата Окуджавы, и других коммунистов.

Есть сведения, что решение провести этот процесс было принято на февральско-мартовском пленуме 1937 года.^[1010] Но обвинения против подсудимых были выдвинуты задолго до того. Обвинение Мдивани в незаконной троцкистской деятельности было выдвинуто

уже в 1929 году.^[1011] Но затем Мдивани примирился с партийной линией, так как, по его собственным словам, он был слишком стар, чтобы организовать новую партию. На процессе Зиновьева имя Мдивани упомянуто не было; однако было сказано, что «грузинские уклонисты» были, «как известно», сторонниками террора еще с 1928 года. Тогда, на зиновьевском процессе, это было поистине рекордным обвинением: к тому времени ни одна группа не обвинялась еще в том, что разрабатывала террористические планы до 1930 года. На процессе Пятакова в 1937 году о Мдивани уже говорилось, что он готовил террористические акты против Ежова и Берии.^[1012] После уничтожения Мдивани, на суде над Бухариным и другими в 1938 году, его называли английским агентом.^[1013]

Когда следователь попытался вынудить у Мдивани признания, он, *поимеющимся* сведениям, ответил так: «Вы меня уверяете, что Сталин обещал сохранить жизнь старым большевикам! Я знаю Сталина 30 лет. Сталин не успокоится, пока всех нас не перережет, начиная со своего непризнанного ребенка и кончая своей слепой прабабушкой!». ^[1014] Мдивани и Окуджава горячо отрицали свою вину.^[1015] Но Верховный суд Грузии приговорил их к смерти и они были расстреляны,

29 сентября и 29 октября в двух автономных республиках Грузии — Аджарии и Абхазии состоялись два подобных процесса, устранившие других старых ветеранов. Любыпытна судьба старого аджарского большевика Нестора Лакобы, который умер 28 декабря 1936 года в результате каких-то тайных действий Берии.^[1016] Через десять месяцев после этого, на тайном же суде, Нестора Лакобу посмертно обвинили в попытке организовать покушение на Сталина.^[1017] Тогда же был расстрелян и сын Лакобы.^[1018]

К началу осени обрушился новый удар на недавно пришедших к власти грузинских руководителей среднего масштаба. В 1964 и 1965 годах было реабилитировано много грузинских и закавказских коммунистов и выяснилось, что очень многие из них были арестованы в короткий период с 1 по 3 сентября 1937 года. Это было началом общего террора без какого бы то ни было объявления о процессах над участниками оппозиции. На XVIII съезде партии в 1939 году представитель Грузии Джаша сообщил, что за 1937 и 1938 годы на партийную, государственную и хозяйственную работу в Грузии было выдвинуто 4238 человек^[1019] (представляющих из себя, очевидно, руководящие кадры). К моменту предыдущего, XVII съезда партии, полная численность грузинских коммунистов составляла 34000 человек. Вывод ясен: за годы террора были уничтожены практически все руководящие кадры.

На Компартию Армении террор обрушился еще в мае 1937 года. 17 мая 1937 года «Правда» опубликовала статью о том, что в «самом аппарате ЦК Компартии Армении обнаружены сомнительные люди». Вскоре руководитель местного НКВД вызвал к себе в кабинет бывшего председателя Совнаркома республики Тер-Габриеляна. Прямо в кабинете несчастного допрашивали в течение 7 часов по поводу каких-то растрат на железных дорогах — после чего прямо там же и убили.

В сентябре 1937 года в Ереване состоялся пленум ЦК КП Армении. Там произошел решительный разгром. ЦК ВКП[б] представлял Микоян, сопровождаемый Берией и Маленковым. По новой конституции Армения не принадлежала больше к прежней «Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республике», находившейся под управлением Берии. В известном смысле Армения все еще находилась под его эгидой, но приезд из Москвы Маленкова, который завернул сначала в Тбилиси, а потом отправился в Ереван, не считался в данном случае вмешательством в дела бериевской епархии. В 1937 году Маленков выехал на Кавказ «с ведома и по поручению Сталина».^[1020] В Тбилиси Маленков сделал остановку, чтобы совместно с Берией выработать удовлетворительную версию смерти армянского руководителя Ханджана, которого, как мы уже знаем, Берия расстрелял. Как теперь известно из публикации в том же «Коммунисте» и из речи Шелепина на XXII съезде партии, оставшиеся в живых армянские руководители были сделаны ответственными за смерть Ханджана.^[1021]

Первым обрушился на местных руководителей Микоян. Передавали, что первый секретарь ЦК КП Армении Амадуни оказал ему сильное сопротивление и даже кричал в ответ на обвинения Микояна: «Вы лжете!». Вскоре и он, и второй секретарь ЦК и председатель Совнаркома республики, а заодно и республиканский Нарком внутренних дел были арестованы. 23 сентября все они были объявлены «врагами народа».^[1022] Затем был арестован почти весь личный состав армянского ЦК и Совнаркома. Причем, «Маленков в ряде случаев лично участвовал в допросах арестованных, которые проводились с грубым нарушением норм социалистической законности».^[1023]

На этой самой третьей неделе сентября 1937 года волна массовых арестов прокатилась по всей республике. К октябрю не осталось на свободе ни одного из 16 членов и кандидатов Бюро ЦК, избранных в июне 1935 года. А из тех, кто сформировал новое Бюро в 1937 году, к 1940 году выжили только двое. В июне 1937 года был также избран полный состав нового ЦК КП Армении. Из его 55 членов только 15 были вновь избраны годом позже, в июне 1938 года. И среди этих пятнадцати были к тому же трое «посторонних» — Сталин, Берия и Микоян. Можно проследить судьбы примерно 30 человек из тех, кто был устранен из состава ЦК. Все они были исключены из партии и, наиболее вероятно, арестованы.

Так же, как в Грузии, террор смел с лица земли и второй эшелон партийных руководителей. Свыше 3500 ответственных партийных, советских, хозяйственных, военных и комсомольских работников были арестованы в течение нескольких месяцев одного только 1937 года. Многие из них были расстреляны без суда и следствия.^[1024] В последний день 1937 года — 31 декабря — было объявлено о казни восьми руководящих работников в Армении и — по иронии судьбы, в том же номере газеты — о посмертных обвинениях, выдвинутых против Ханджана.^[1025]

То, что массовые аресты и в Грузии и в Армении начались в сентябре, не было совпадением. Наиболее вероятно, что было принято общее решение о разгроме старого состава компартии в национальных республиках. Все правительство

Татарской республики, например, было арестовано в середине лета того же года.^[1026] В сентябре началась совершенно неожиданная и чрезвычайно злобная кампания в печати против того, о чем мало говорили в предыдущие годы, — против «буржуазного национализма». Статьи под заголовком вроде «Гнилая позиция Дагестанского обкома» стали обычным явлением. Примерно с 8 сентября партийные организации в районах национальных меньшинств стали мишенью постоянных нападок, подававшихся под крупными заголовками. Повсюду — в Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Башкирии, Карелии — среди руководства были «обнаружены» большие группы предателей. Практически все руководство было объявлено предателями. В дальнейшем, в главе 11 этой работы, я коснусь подробнее того, что произошло в Узбекистане.

Ход террора в национальных республиках поражает одной страшной особенностью. Она состояла вот в чем: по тщательно разработанным предварительным планам люди, присланные из Москвы, хладнокровно уничтожали имевшуюся в республике партию, создавая вместо нее из рядов работников и новичков особый набор энтузиастов, представлявший собой уже не партию, а некую новую организацию террористов и доносчиков. Необходимо подчеркнуть именно размах операции, полноту уничтожения всей партийной иерархии. В центре, в Москве, Сталин уже создал свои кадры и протасил их на все высокие посты. В ближайшие месяцы в Москве тоже предстояли грандиозные опустошения. Однако здесь сохранялась видимость непрерывности руководства, поскольку кучка самых высших сталинцев пережила террор, а инструментами власти Сталина были вновь назначенные более молодые работники. В республиках же «черный ураган» вырвал с корнем всех старых «партийно-сознательных» сталинцев — ветеранов, представлявших некую непрерывную линию руководства и связь с подпольной дореволюционной партией, с революционерами 1917 года и участниками гражданской войны. Это была еще одна революция — не столь заметная, но настолько же полная, насколько и предшествовавшие ей другие коренные изменения в стране.

Необходимо отметить еще один факт, хоть и меньший по значению: если до тех пор самым полновластным человеком в национальной республике был первый секретарь ЦК, то теперь

таким лицом стал Нарком внутренних дел. В течение следующего года или двух новые партийные руководители вернули себе значительную часть власти. Но в этот момент именно НКВД — сам по себе тоже все время «прочищаемый» террором — был прямым исполнителем воли Центра и проводил в жизнь все главные задания.

УКРАИНСКАЯ ГЛАВА

А възстона бо, братіє, Кієвъ туюю.

«Слово о полку Игореве»

Победа Сталина над партией была окончательно закреплена, когда он сокрушил «умеренных» на февральско-мартовском пленуме 1937 года. Оставалось лишь пустить террористическую машину в ход. И только на Украине оставался еще слабый очажок сопротивления.

Среди недавних официальных разоблачительных материалов о терроре 1937-38 года украинские события представлены весьма скудно. Публикация таких материалов проводилась под наблюдением Хрущева, и в результате мы имеем подробности о событиях в тех районах, с которыми сам Хрущев в годы террора не был связан — и особенно в тех, где ответственность за террор несли его различные соперники.

Имеются, однако, и другие источники. По ним можно видеть, что еще летом 1937 года, несмотря на удаление Постышева, руководящие украинские работники сохраняли солидарность между собой в сопротивлении дальнейшему развертыванию террора. Они действовали в местном масштабе, пытаясь уберечь Украину от общего психоза, оставить ее очагом относительного здравомыслия. Не было больше, конечно, никаких надежд на победу в масштабе Советского Союза. Борьба, происходившая в Киеве, напоминает отчаянное сопротивление гарнизона окруженной крепости, который продолжает сражаться с храброй безнадежностью отчаяния после того, как главные силы вокруг разгромлены.

И в Центральном Комитете партии в Москве и в других крупных городах, в областных центрах, в окраинных республиках были люди, сопротивлявшиеся террору. Но к тому времени, о котором мы рассказываем, они представляли собой изолированные фигуры, бессильно ожидающие своей судьбы. И лишь на Украине старое руководство, опирающееся на ЦК местной компартии, оставалось еще у власти.

После того, как убрали Постышева, могущественного второго секретаря, Сталин рассчитывал, что власть в Политбюро Украины перехватит кто-либо из противников Постышева, Но и Косиор и Петровский — два оставшихся высших руководителя Украины — оба были из числа «сомневаемых». Место Постышева занял его предшественник на этом посту — Хатаевич. Он был членом ЦК ВКП[б] и с 1933 года входил в Политбюро ЦК КП Украины.

После февральско-мартовского пленума на Украине, по данным американского историка Сэлливанта, была проведена основательная чистка — было исключено из партии 20 % всего состава.^[1027] Тем не менее на съезде Компартии Украины в мае-июне 1937 года старое руководство было избрано вновь. И когда Сталин попытался захватить позиции на Украине методом «дворцового переворота», его попытка сорвалась.

История украинской компартии имеет некоторые особенности. Ленин определенно недооценивал силу украинских национальных чувств. На выборах в Учредительное Собрание (как, впрочем, и в Великороссии) в 1917 году 77 % украинских голосов было подано за эсеров и меньшевиков, и лишь 10 % за большевиков. Местные советы на Украине обычно находились под враждебным большевизму руководством. С 1917 по 1920 год на Украине существовали различного рода националистические режимы, и большевистское руководство и первоначально и по окончании гражданской войны было навязано Украине в значительной мере извне.

В отличие от великорусской, немалая часть украинской коммунистической партии состояла из бывших левых эсеров. Их главная организация на Украине имела националистический характер и носила название «боротьбисты». Эта партия была распущена в начале 1920 года и ее члены вступили в компартию.

Москва посылала на Украину все новых и новых большевистских руководителей, верных сторонников централизованного руководства, — и всякий раз эти руководители с течением времени меняли свои взгляды: пытаться управлять Украиной полностью с позиций агента иностранной державы, — эта перспектива выглядела для них нежизненной.

В июле 1923 года председателем Совнаркома Украины стал Влас Чубарь, державшийся относительно умеренных взглядов по национальному вопросу. Однако, в 1925 году первым секретарем ЦК КП Украины посадили Кагановича.

Его беспощадно централизаторская политика была непопулярна среди местных партийных руководителей, которые во всех других отношениях не имели разногласий со Сталиным. В изданном в Москве еще при его жизни 8-ом томе собрания сочинений Сталина есть любопытное признание, что в 1926 году на Украине выдвигались требования о замене Кагановича Чубарем или Гринько.^[1028] Сталину это не понравилось, но занятый сложной борьбой в центре, он не хотел входить в противоречия с более умеренной фракцией украинских руководителей по такому местному вопросу и в конце концов в июле 1928 года убрал Кагановича с Украины. В июле 1928 года Бухарин говорил Каменеву, что Сталин «подкупил украинцев, удалив Кагановича из республики». Сменил Кагановича Станислав Косиор — низкорослый, лысый, длинноголовый поляк, который безоговорочно поддерживал Сталина до самого ежовского периода.

В годы полемик с левой и правой оппозицией выявилась правильность сталинского расчета. Неприятностей в украинской компартии не было. Троцкизм почти не нашел в ней распространения. Национальные меньшинства вообще относились к Троцкому еще хуже, чем Сталин. Осетинский коммунист Григорий Токаев, позже перешедший на Запад, пишет, что методы Троцкого весьма напоминали сталинские, но что в национальном вопросе Троцкий был «еще более реакционен».^[1029]

Опыт с украинской оппозицией не был, однако, обнадеживающим. Пятаков, например, который в годы гражданской войны короткое время управлял в Киеве, считал, что Украину следует полностью подчинить России: «Можем ли мы допустить, чтобы форма существования пролетарско-крестьянской Украины могла бы определяться исключительно и независимо трудящимися массами Украины? Конечно, нет!».^[1030]

В начале 30-х годов коллективизация на Украине превратила республику в поле битвы между партией и населением. На Украине это чувствовалось сильнее, чем где-либо. И решающим критерием была партийная солидарность. Некоммунистический национализм оставался все еще сильным. В *марте-апреле* 1930 года состоялся процесс 42 ведущих культурных деятелей на Украине, который был представлен как суд над «Союзом освобождения Украины». Последовали и другие процессы подобного рода, направленные против действительного народного сопротивления.

Столь крайними и жестокими мерами старая украинская интеллигенция была практически стерта с лица земли. Лишь старый большевик Скрыпник, возглавлявший Наркомат просвещения республики, продолжал оставаться защитником остатков украинской культуры. Эти остатки Скрыпник был намерен защищать любой ценой.

Нет сомнения, что Скрыпник со своим искренним желанием сопротивляться Москве был представителем сильного течения среди рядовых партийцев. Но остальные руководители республики занимали другую позицию. Война Сталина против крестьянства поставила их в такое положение, что единственным насущным вопросом был старый ленинский вопрос «кто кого?». У них могли быть сомнения; они могли думать разное о планах, которые привели республику к кризису. Но ожидать от них критики по адресу центрального руководства было бы не более разумно, чем ожидать от генерала, ведущего отчаянный бой, что он будет тратить время на обсуждение стратегических ошибок высшего командования.

И все же эти руководители, по-видимому, чувствовали себя потрясенными и опустошенными после беспрекословного выполнения в республике приказов Сталина о коллективизации.

В начале 1933 года трое из семи украинских секретарей обкома были сняты со своих постов. Такая же участь постигла трех членов Политбюро и секретаря ЦК КП Украины. А из Москвы на Украину с неограниченными полномочиями был послан секретарь ЦК ВКП[б] Постышев. В течение 1933 года из России на Украину было переведено много ответственных работников не украинской национальности, известных своей партийной преданностью (по оценке американского историка Сэлливанта, число таких работников составило 5000 человек).^[1031]

8-11 июня 1933 года был дан первый «критический залп» по Скрыпнику. Он, однако, отказался каяться в каких-либо грехах и получил за это чрезвычайно резкий выговор от Постышева. Последовала новая кампания в печати против Скрыпника, и 7 июля он покончил с собой. Незадолго перед этим совершил самоубийство украинский писатель Хвылевский — тоже после обвинений в излишнем украинском национализме. Весьма возможно, что Хвылевский послужил примером Скрыпнику.

В свое время, в 1909 году, Скрыпник был одним из трех представителей подпольных организаций на территории Российской Империи, прибывших на конференцию большевистских руководителей в Париже. Тем не менее, на следующий день после смерти Скрыпника «Правда» назвала его самоубийство «актом трусости». «Правда» писала, что Скрыпник был «недостойн звания члена ЦК», что он пал жертвой буржуазно-националистических ошибок.

В следующем, 1934 году, выступая на XVII съезде партии, Петровский говорил: «Мы не так легко отбили эти националистические атаки, потому что во главе национал-уклонистов, как вам известно, стоял старый большевик Скрыпник». Петровский заявил, что «помощь со стороны ЦК, особенно присылка к нам известных уже вам товарищей, была вполне своевременна». Он особенно приветствовал нового руководителя ОГПУ Балицкого, прибывшего на Украину вместе с Постышевым.^[1032]

От сторонников Скрыпника избавились одним ударом: вскоре после его смерти последовало «разоблачение» так называемой «украинской военной организации», состоявшей главным образом из ученых Института лингвистики, сотрудников Госиздата, факультета марксистской философии и Научно-исследовательского литературного института им. Шевченко. В большинстве это были представители молодого поколения, занявшие свои посты в 1930 году или позже.

После этого до самого падения Постышева в начале 1937 года особых нападков на украинские кадры не было. Когда Власа Чубаря перевели в Москву на должность заместителя председателя Совнаркома, то его место на Украине занял Панас Любченко, бывший боротьбист, разделявший взгляды Чубаря во всем. Любченко был худеньким человечком с редкой бороденкой и одухотворенным интеллигентным лицом. Он, однако, сумел угодить высшему начальству своей твердостью во время только что прошедшей коллективизации.

Но когда в марте 1937 года Постышева удалили, террор на Украине разразился с особенной силой. Как сообщил в мае 1937 года в речи на XIII съезде Компартии Украины С. Косиор, уже к тому времени были заменены две трети всего руководящего аппарата в областях республики и одна треть районного аппарата.^[1033] До поры до времени это не коснулось остатков высшего руководства. Как мы уже говорили, на том же XIII съезде (май-июнь 1937 года) прежние руководители были вновь избраны в ЦК. Правда, съезду пришлось принять резолюцию, осуждающую ошибки во всех областях идеологии — в печати, в Институте марксизмаленинизма, в Институте красной профессуры и других местах, — а также выступить с резкими нападками на Постышева и прежнее киевское руководство. Косиор, который еще во время снятия Постышева занимал сравнительно мягкую позицию, теперь заговорил об отсутствии бдительности в высшем руководстве, которое позволило троцкистам проникнуть в Киевский обком партии,^[1034] а на том же XIII съезде выступил с разоблачениями Постышева, на

сей раз названного по имени и обвиненного в том, что при нем «на Украине допустили серьезное засорение партийного аппарата врагами. Особенно засоренной оказалась Киевская партийная организация и ее обком. Здесь больше всего окопались троцкисты. Они захватили в свои руки серьезные посты. В этом повинен в первую голову бывший секретарь Киевского обкома тов. Постышев».^[1035]

К числу ответственных за такое «засорение» принадлежал, очевидно, и злополучный Карпов, который описывался как «бывший секретарь ЦК» на Украине, отказавшийся верить «сигналам» о том, что один из его подчиненных был троцкистом и оставивший его на посту, на котором этот последний до самого своего ареста имел доступ к секретной документации.^[1036]

Около этого же времени был переведен на другую работу, а вскоре арестован Нарком внутренних дел Украины Балицкий, член ЦК ВКП[б], который, как упомянуто выше, прибыл на Украину вместе с Постышевым. В следующем году в одной из своих речей Хрущев назвал Балицкого фашистским агентом.^[1037] После XIII съезда Украинской Компартии появились признаки того, что давление на украинских руководителей нарастало. Когда 20 июня 1937 года были опубликованы приветствия летчикам Чкалову, Байдукову и Белякову, то послание московских руководителей было подписано, а ЦК КП[б] Украины приветствовал летчиков анонимно, что противоречило прежней практике. 15 июля прозвучала критика по адресу руководящих органов Украинской республики — в частности за то, что продвинутые Постышевым «троцкисты» переводились из Киева на другие посты в республике. А 21 июля мишенью было украинское радио.^[1038] На следующий день — украинский комсомол, секретарь которого Клинков был объявлен врагом народа.^[1039] Наконец, на пленуме ЦК ЛКСМ обвинение было брошено ЦК партии Украины как таковому: «ЦК КП[б]У несет полную ответственность за то, что творится в руководстве комсомола Украины. Трудно понять, как люди терпели подрывную работу врага среди молодежи».^[1040] В том же месяце последовал арест первого из членов украинского Политбюро — Шелехеса.^[1041]

Для малосведущего внешнего наблюдателя все выглядело нормально в «славном граде Киеве». Стояло теплое спокойное украинское лето. На открытой эстраде, окруженной кипарисами, регулярно давались симфонические концерты. На самом же деле даже музыканты ощущали растущее давление — подобно всем остальным деятелям культуры. Директор Украинского Государственного театра оперы и балета Яновский был вскоре, в числе других, объявлен фашистом.

И все же, хотя украинское руководство принимало резолюции о необходимости чистки аппарата, хотя проходили массовые снятия с работы на низовом уровне, хотя произвольные аресты органами НКВД были обычным делом, Политбюро и ЦК все еще не были сломлены. Теперь Сталин решил, что пришло время их раздавить.

Начались доносы в Кремль о предательстве и взяточничестве на Украине через голову украинских руководителей. Эти руководители протестовали в каждом случае, говоря, что не видели даже копий доносов. Один из таких случаев и послужил поводом для чрезвычайного вмешательства сверху. В августе 1937 года в Киев прибыла комиссия в составе Молотова, Хрущева и Ежова, сопровождаемая крупными силами спецвойск НКВД. На пленуме Украинского ЦК Молотов предложил снять с поста Косиора, Петровского, Любченко и других, вывести их из состава ЦК, а также избрать первым секретарем Хрущева.

Члены ЦК КП Украины отказались, однако, голосовать за эти предложения, несмотря на то, что Молотов звонил в Москву, чтобы получить личные инструкции Сталина. В конце концов Молотов предложил, чтобы украинское Политбюро отправилось в Москву для совместного заседания с Политбюро ЦК ВКП[б].^[1042] Такой маневр трудно было отвергнуть без открытого нарушения партийной дисциплины. Любченко это понял. 30 августа он застрелил жену и застрелился сам, «запутавшись в своих антисоветских связях»^[1043] по выражению «Правды».

О самоубийстве Любченко есть несколько слегка отличающихся версий, но все они сходятся в том, что сам Любченко и его жена умерли одновременно. У них было двое детей, дочь-студентка и 13-летний сын. Согласно одной из версий, дочь умерла вместе с родителями.

Часть украинской делегации, отправившейся в Москву, была арестована немедленно, остальные вернулись на Украину и исчезли все подряд. Если уж Сталин сурово мстил тем, кто предпринял совершенно безнадежную попытку удержать его на февральско-мартовском пленуме, то сопротивление украинцев, имевшее временный успех, должно было вызвать и вызвало еще более страшную и всестороннюю месть Сталина.

В течение следующего года были арестованы все члены Политбюро, Оргбюро и секретари ЦК КП Украины, за исключением одного Петровского. Из 102 членов украинского ЦК выжили только трое. Были арестованы все 17 членов украинского правительства, Пали жертвами все секретари обкомов на Украине.

Террор прокатился по всем абсолютно республиканским учреждениям. Промышленные предприятия, местные советы, учебные и научные учреждения — все теряли руководителей буквально сотнями. Союз писателей Украины был практически уничтожен.

Пошли дикие нападки на украинские организации в целом, и в частности на киевское и харьковское радио. «Правда» заявила, что все это было результатом деятельности вражеской организации, которую украинский ЦК не сумел раскрыть,^[1044] злобно нападала на украинскую систему народного просвещения, якобы усеянную националистами,^[1045] указала, что даже музеи на Украине полны агентов, занятых исключительно подчеркиванием антирусского украинского национализма,^[1046] что в республике не отпраздновали достойным образом годовщину победы Петра 1 над шведами под Полтавой.

Для украинских жертв Сталина были избраны особые клеветнические обвинения. Как известно, участники оппозиции, которых судили на трех больших московских процессах, были объявлены предателями, троцкистами, шпионами и соучастниками фашистов. Но от них никогда не требовали, чтобы они объявляли себя просто открытыми фашистами. А на Украине был якобы раскрыт не какой-нибудь «право-троцкистский блок» — тут, оказывается, действовала «национал-фашистская организация», возглавляемая председателем Совнаркома Любченко и включавшая Наркома финансов СССР Гринько (еще один бывший боротьбист), Балицкого, Затонского, Якира и целый ряд работников украинского правительства, Центрального Комитета и даже культурных деятелей вроде Яновского.

Косиора, однако, пока не трогали. Его послали обратно в Киев после того, как он подчинился всем инструкциям об уничтожении своих подчиненных. На собрании актива киевской парторганизации, проходившем 15 и 16 сентября 1937 года, Косиор выступил «с докладом о раскрытой на Украине контрреволюционной банде буржуазных националистов», а Нарком просвещения УССР Затонский «признал, что Наркомпрос и многие школы засорены врагами. Он признал, что не сумел разоблачить их».

Затонский был учителем физики, скромного вида круглолицым человеком в железных очках; вместе с Пятаковым он руководил украинским коммунистическим правительством в 1918 году, все короткое существование которого прошло в непрерывной борьбе. После критики Затонский отправился в Москву, но его не допустили на октябрьский пленум ЦК 1937 года. Он вернулся в Киев, но 3 ноября был вызван с университетского собрания и арестован.^[1047]

Осенью того же 1937 года был арестован третий секретарь ЦК КП Украины Н. Н. Попов, а затем заместитель председателя Совнаркома Порайко и другие. В декабре арестовали К. В. Сухомлина как «японского шпиона».^[1048] Преемник Постышева М. М. Хатаевич еще до конца 1937 года был «оклеветан и репрессирован».^[1049]

Столь же быстро менялись лица на более низком уровне. Как мы помним, Постышев занимал также должность секретаря Киевского обкома партии. На этом посту его сменил Кудрявцев. В конце 1937 года сменили и Кудрявцева и объявили в январе 1938 года «врагом народа».^[1050] Занявший его пост Д. М. Евтушенко был арестован 17 апреля 1938 года. Позднее этих людей связали между собой в единый центр «вражеского руководства», который будто бы совратил большинство секретарей райкомов Киевской области.^[1051]

Председателем Совнаркома Украины после Любченко стал молодой коммунист М. И. Бондаренко. Но его арестовали через два месяца,^[1052] и некоторое время Украина вообще не

имела председателя Совнаркома. Постановления Совнаркома подписывались именами неизвестных подчиненных Петровского.

Наконец был назначен следующий председатель Совнаркома Маршак. В феврале 1938 года его снизили до заместителя председателя,^[1053] а вскоре арестовали. Рассказывают, будто *Маршак* однажды вечером пьянствовал вместе с преемником Балицкого — Наркомом внутренних дел Украины Леплевским. В пьяном виде он сделал несколько скептических замечаний о виновности Тухачевского. Наутро Маршак вспомнил эти слова и подумал, что Леплевский, как высший представитель НКВД в Киеве, мог его провоцировать. Маршак решил опередить события: он позвонил Ежову, донес на Леплевского, и тот был арестован. При допросе Леплевский в свою очередь обвинил Маршака, и в конце концов оба они признались в заговорщицкой деятельности, в терроризме и шпионаже.^[1054] Третьим руководителем НКВД на Украине за один год стал Успенский, которого тоже расстреляли через несколько месяцев.

Террор был настолько всеобщим и настолько «скорострельным», что законные органы власти фактически распались. В украинском ЦК не было больше кворума; не существовало органа, назначающего правительство. Наркомы, назначаемые нерегулярно, появлялись в наркоматах на недели или даже дни и затем исчезали. Беспрецедентный удар по политическому руководству означал полное разрушение украинской партии. Республика стала не более, чем вотчиной НКВД, где даже формальная партийная и советская работа практически *замерла*.

В конце концов в январе 1938 года состоялся пленум ЦК КП Украины, вероятно, с подтасованным составом, избравший Хрущева первым секретарем.^[1055] Хрущев привез с собой из Москвы нового второго секретаря Бурмистенко, который в 20-е годы долго служил в ВЧК, а позднее был тесно связан с секретариатом Сталина. Вместе с Хрущевым прибыл и новый председатель Совнаркома Украины Демьян Коротченко.

В мае-июне 1938 года все украинское правительство было заменено опять. С февраля по июнь 1938 года были сняты с постов все двенадцать новых секретарей обкомов, в большинстве случаев вместе со вторыми секретарями.^[1056]

Среди 86 членов и кандидатов в члены ЦК КП Украины, избранных в июне 1938 года на XIV съезде партии, оказалось только трое из прошлого состава, избранного за год до того, — все трое лишь почетные и аполитичные фигуры. В первый раз была полностью нарушена преемственность руководства. Ни один из новых членов Политбюро, Оргбюро и Секретариата не вел раньше какой-либо подобной работы.

Тогдашнее Политбюро представляло собою смехотворный орган-обрубок, состоявший всего из шести членов: Хрущева, Бурмистенко, Коротченко, командующего военным округом Тимошенко, Наркома внутренних дел Успенского и вездесущего Щербакова. Последний находился на Украине временно, будучи послан на несколько месяцев для чистки нескольких обкомов.

Эти-то люди и отстроили новую партию снизу доверху. В течение 1938 года 1600 членов партии были выдвинуты в секретари райкомов и горкомов.^[1057] Среди них, между прочим, был и молодой Леонид Брежнев. В мае 1937 года он был выдвинут в заместители председателя Днепродзержинского горисполкома. В 1938 году, при Хрущеве, стал заведующим отделом в Днепродзержинском обкоме, а на следующий год — уже секретарем этого обкома. Его карьера была обеспечена. Назад он больше не оглядывался.

Еще одним способным карьеристом того времени был А. П. Кириленко, в настоящий момент (1970) член Политбюро ЦК КПСС. В 1938 году он стал секретарем райкома, а на следующий год — уже секретарем Запорожского обкома партии. Но в общем, таких счастливых было не очень много. Между 1938 годом и следующим республиканским партийным съездом в 1940 году текучесть кадров оставалась все еще высокой. Среди 119 членов ЦК КП Украины, избранных в 1940 году, было 73 новичка.

Сталин и Хрущев преуспели в уничтожении старых партийных кадров на Украине. Они сумели заменить их людьми, отличающимися только покорностью и дисциплиной или энтузиазмом по отношению к новому методу правления. Тем не менее, это не разрешило украинской проблемы. Во время войны, на конференции в Ялте (аргументируя в пользу

принятия УССР в Организацию Объединенных Наций), Сталин заметил в разговоре с Рузвельтом, будто «на Украине его положение трудное, ненадежное».^[1058] А позже Сталин сожалел, что было невозможно выселить с Украины всех украинцев, как он выселил чеченцев и калмыков.^[1059]

В ЦЕНТРЕ

Пока карательные экспедиции, посланные Сталиным и Ежовым, громили провинцию, Москва оставалась эпицентром шторма. Тогдашний ЦК состоял из 71 члена; примерно две трети из них постоянно работали в Москве. В их числе были все члены Политбюро, кроме Косиора, наркомы, заведующие отделами ЦК, высшие руководители комсомола, профсоюзов, Коминтерна. Словом, обычная концентрация высокопоставленных лиц централизованной государственной машины.

Террор среди этих людей вели непосредственно Сталин и Ежов. Когда требовалось, они получали ценную помощь от Молотова и Ворошилова, но в целом Сталин исключительно прочно держал весь процесс в своих руках, работая только через Ежова.

Только за период 1937-38 годов Ежов послал Сталину 383 списка, содержащих тысячи имен тех лиц, приговоры которым «заготавливались заранее», но требовали личного его утверждения.^[1060] Поскольку Ежов был у власти лишь немногим более двух лет — а его особенно активная деятельность продолжалась и того меньше, — это значило, что Сталин получал такие списки чаще, чем через день. Число лиц в каждом списке в точности неизвестно. В списках были имена «лиц, дела которых попадали под юрисдикцию коллегий Военных Трибуналов».^[1061] Советский историк Рой Медведев утверждает, что эти списки охватывали около 40000 имен.^[1062] Хрущев, не называя определенной цифры, тоже говорит о «тысячах».^[1063] Мы можем себе представить, как Сталин, приходя в кабинет, находил почти каждый день в секретной папке список из сотни, а то и больше имен осужденных на смерть; как он просматривал эти списки и утверждал их в порядке, так сказать, нормальной кремлевской работы. На XXII съезде КПСС 3. Т. Сердюк цитировал одно из писем Ежова Сталину, с которыми посылались списки обреченных:

«Товарищу Сталину,

Посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих суду Военной Коллегии:

1. Список № 1 (общий).
2. Список № 2 (бывшие военные работники).
3. Список № 3 (бывшие работники НКВД).
4. Список № 4 (жены врагов народа).

Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов».

Сердюк добавил, что «под первой категорией осуждения понимался расстрел. Списки были рассмотрены Сталиным и Молотовым, и на каждом из них имеется резолюция: За. И. Сталин. В. Молотов».^[1064] Отметим попутно, что в списке № 4 были имена жен Косиора, Эйхе, Чубаря и Дыбенко.^[1065]

Постановления об аресте тех или иных людей, а часто даже ордера на арест подписывались, бывало, за месяцы до фактического ареста (подробнее расскажем об этом через несколько страниц). И случалось, что руководящие работники награждались орденами «за неделю до ареста».^[1066] Объяснение этому дал однажды высокопоставленный сотрудник НКВД, сказав, что следственные власти информировали о заведенных делах только их непосредственных старших начальников, а Ежов информировал только лично Сталина.^[1067]

В столице, как по всей стране, новая террористическая волна поднялась в мае 1937 года.

Иностранные наблюдатели, присутствовавшие в 1938 году на Первомайском параде на Красной площади и видевшие на трибуне мавзолея Политбюро во главе со Сталиным, отмечают нервозность и беспокойство членов Политбюро.^[1068] Этим людям было отчего

тревожиться, ибо на трибуне отсутствовал член партии с 1905 года, просидевший 10 лет в царских тюрьмах и ссылках, в прошлом член, а ныне кандидат в члены Политбюро Ян Рудзутак. По-видимому, его только что арестовали.^[1069] Рудзутак был арестован за ужином, после театра. Сотрудники НКВД арестовали всех, кто присутствовал на этом ужине. Три месяца спустя Евгения Гинзбург встретила в Бутырской тюрьме четырех женщин в растерзанных вечерних туалетах. Эти четыре женщины были в числе других арестованных с Рудзутаком.^[1070] Его дача перешла к Жданову.^[1071]

Рудзутака арестовали как якобы «правого». Он будто бы был руководителем «резервного центра», готового продолжать борьбу в случае разоблачения Бухарина. Рудзутак, дескать, особенно подходил для этой цели, ибо, как говорится в показаниях на процессе Бухарина, «никому не было известно о каких-либо его разногласиях с партией».^[1072] Здесь фактически впервые признается тот факт, что даже сталинцев старой *закалки* стали арестовывать — особенно (но не только) если они выказывали признаки сопротивления террору. Пятым в биографии Рудзутака было его нежелание рекомендовать смертную казнь для Рютина, когда в 1932 году Рудзутак был председателем Центральной Контрольной Комиссии. По-видимому, Рудзутак придерживался той же линии и на февральско-мартовском пленуме.

И опять, как в прошлом году, волна террора сопровождалась грандиозным отвлекающим спектаклем. Год назад это были перелеты советских летчиков; теперь, в мае 1937 года, газеты были полны сообщениями о высадке на Северном полюсе группы исследователей под командой И. Д. Папанина. Всей операцией по высадке руководил О. Ю. Шмидт. Участники экспедиции, доставившей папанинцев на льдину, были приняты партийными вождями, награждены и осыпаны почестями. А лагерь на льду тем временем дрейфовал к югу месяцы подряд, посылая время от времени верноподданнические поздравления руководителям и получая от них ответы — как самый дальний форпост партии и государства.

Всю весну и начало лета на газетных столбцах печатались и другие внеполитические новости. Руководители партии и правительства посетили ряд спектаклей и балетов, после чего были напечатаны длинные списки вновь произведенных народных артистов и театральных награждений.

Ясное, солнечное лето, наступившее на русских равнинах, стало свидетелем новых арестов. Один за другим исчезали бывшие участники оппозиции. Еще в марте 1937 бывший член Политбюро и секретарь ЦК Николай Крестинский, до того времени работавший заместителем Наркома иностранных дел, был переведен в заместители Наркома юстиции РСФСР.^[1073] На состоявшемся при переводе Крестинского партийном собрании он сам одобрил свою перестановку, сказав, что в нынешних обстоятельствах бывшие участники оппозиции не должны работать в Наркомате иностранных дел, где требуется полное доверие высшего руководства и незапятнанное прошлое.^[1074]

В конце мая Крестинского арестовали. После недели допросов^[1075] он начал давать показания — около 5 июня.^[1076] К тому времени только-только начал «признаваться» и Бухарин, с которым Крестинскому предстояло вместе сесть на скамью подсудимых через девять месяцев.^[1077]

Любая связь с арестованными оппозиционерами теперь сама по себе считалась преступлением. В этом смысле характерен пример члена партии с 1903 года Г. И. Ломова, до революции члена Московского бюро большевистской партии, который был вторым человеком (после Троцкого), с энтузиазмом поддерживавшим Ленина на заседании ЦК в его плане захвата власти в ноябре 1917 года. История гибели Ломова рассказана на XXII съезде партии А. Н. Шелепиным.

В июне 1937 года один из работников Госплана СССР направил письмо Сталину, в котором указал, что член бюро Комиссии Советского Контроля при Совнаркоме СССР Ломов Г. И. (Оппок) якобы имел дружеские отношения с Рыковым и Бухариным. Сталин наложил на этом письме резолюцию: «Т-шу Молотову. Как быть?». Молотов написал: «За немедленный арест этой сволочи Ломова. В. Молотов». Через несколько дней Ломов был арестован, обвинен в принадлежности к правооппортунистической организации и расстрелян.^[1078]

Имя Ломова (который, по-видимому, расстрелян в 1938 году^[1079]) позже упоминалось на процессе Бухарина-Рыкова, где говорилось, что Ломов состоял в заговоре с Бухариным против Ленина.^[1080]

Но даже после всего этого оппозиция не была еще полностью раздавлена. В последнюю неделю июня состоялся еще один пленум ЦК — официально он обсуждал вопросы овощеводства. Там разыгрывались сцены с взаимными обвинениями. Член Центральной Ревизионной Комиссии Назаретян, которого Орджоникидзе спас в начале 30-х годов, был арестован по дороге в Кремль, направляясь на этот пленум.^[1081]

В последующие месяцы Сталин добился возможности натравливать органы безопасности на любых своих противников, уже не придерживаясь политического протокола. На июньском пленуме 1937 года, по имеющимся сведениям, его речь отличалась беспощадностью. В частности, Сталин требовал более сурового обращения с заключенными.^[1082]

В зале заседаний пленума недосчитывались уже многих — Бухарина и Рыкова, Рудзутака и Чудова, Гамарника, Якира, Ягоды и нескольких других. Однако дух сопротивления был все еще не полностью подавлен. Если верить показаниям на процессе Бухарина, «после февральского пленума ЦК в кругах заговорщиков была поднята кампания против Ежова», была сделана «попытка дискредитировать Ежова и его работу внутри партии, оклеветать его».^[1083]

На июньском пленуме 1937 года нашелся еще один человек, достаточно храбрый, чтобы встать и высказаться против террора. Это был уже обреченный Нарком здравоохранения Каминский, который твердо держался своего мнения. На XX съезде партии Хрущев рассказал, что «на одном из пленумов ЦК бывший Народный комиссар здравоохранения Каминский сказал, что Берия работал на мусаватскую разведку».^[1084] Каминский (вступивший в большевистскую партию еще студентом-медиком за несколько лет до революции) был «арестован и расстрелян», «едва пленум ЦК успел окончиться».^[1085]

В то время как страна погружалась в тотальный террор, был предпринят еще один отвлекающий маневр. В июне Чкалов с Байдуковым и Беляковым перелетели на самолете АНТ-25 через Северный полюс и приземлились в американском городе Фолкленде, в штате Орегон. В июле еще один такой же перелет под командой Михаила Громова закончился в городе Сан-Джасинто, штат Калифорния, с новым мировым рекордом на дальность. Эти два перелета (оба, несомненно, отличные достижения) были поводом для новой шумной кампании в прессе. Страницы за страницами в газетах заполнялись поздравлениями, торжественными митингами, биографиями летчиков, фотографиями их и т. д. Когда же, в конце концов, 15 декабря 1938 года Чкалов погиб в катастрофе, Беляйкин, возглавлявший Главное управление авиационной промышленности, Усачев, директор завода, построившего самолет Чкалова, и Томашевич, конструктор этого самолета, были репрессированы за саботаж.^[1086]

Одновременно газеты продолжали призывать к бдительности и рассказывали о различных методах, применяемых врагом. «Правда» обратила даже внимание на опечатки в местных газетах, которые отнесла за счет вредительства. Например, в одной газете было напечатано «беды» вместо «победы» социализма. Публиковалось много сообщений о судебных процессах на местах. Но основной удар наносился в то время против руководящих кадров режима. Он имел целью уничтожить старый ЦК и тысячи партийных работников, стоящих на одну ступень ниже.

Теперь, начиная с мая 1937 года, под арест пошел цвет административной политической машины, которую Сталин возвращал долгие годы. После Рудзутака и до конца года не был арестован ни один член или кандидат в члены Политбюро. На свободе оставались некоторое время и высшие сотрудники, непосредственно подчиненные членам Политбюро — до тех пор, пока их всех не забрали в ходе специально подготовленной операции в течение ноября и декабря 1937 года. А пока что, в летние месяцы, шла суровая чистка среди работников, стоявших на ступеньку ниже. Среди них оказался, например, заместитель председателя Совнаркома Антипов, член партии с 1902 года, несколько раз арестовывавшийся при царизме, организатор подпольных типографий. Во время Первомайской демонстрации 1937 года он еще стоял на трибуне вместе с членами Политбюро. Но в том же году «кипучая деятельность Н. К.

Антипова была прервана».^[1087] Позднее, на процессе Бухарина, Рыкова и остальных членов «право-троцкистского блока» Антипов был назван в числе главных заговорщиков: он якобы являлся «руководителем параллельной группы правых».^[1088] Но на суде он так и не появился.

В последний раз стоял на трибуне мавзолея первого мая 1937 года и Акулов — лысый, монгольского типа человек. В начале 30-х годов Сталин хотел поставить его во главе ОГПУ как своего прямого представителя. Акулов был предшественником Вышинского на посту Генерального прокурора. Теперь он занимал бывшую должность Енукидзе — старый и почтенный пост секретаря Центрального Исполнительного Комитета. Акулова сняли с этого поста 9 июля и с тех пор о нем ничего больше не известно.

В самом аппарате ЦК был полностью обновлен отдел руководящих партийных органов, возглавлявшийся Маленковым. На процессе Бухарина-Рыкова был упомянут в качестве важного связного в бухаринском заговоре бывший Народный комиссар земледелия Я. А. Яковлев. Летом 1937 года он был заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК партии. В июне он еще фигурировал в печати как докладчик на том самом июньском пленуме — докладчик по единственному открыто объявленному вопросу, т. е. по овощеводству. После этого он исчез из поля зрения до самого своего чудесного превращения в «правого» в марте 1938 года — очень странное название для человека, который был одним из главных действующих лиц в коллективизации.

Еще один исчезнувший заведующий отделом ЦК был человек, в свое время выдвинувшийся чуть ли не на вершину власти. Речь идет о заведующем отделом науки К. Я. Баумане. В течение нескольких месяцев 1929-30 годов Бауман был секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро (заменив Угланова). Энтузиаст-сталинец, он был сделан козлом отпущения за эксцессы коллективизации после статьи Сталина «Головокружение от успехов». Тем не менее, Бауман оставался членом ЦК! 14 октября 1937 года Баумана расстреляли. С ним вместе было уничтожено большинство сотрудников отдела науки. Заведующий параллельным, но еще более важным отделом агитации и пропаганды ЦК Стецкий — старый экономист, занимавший этот пост с 1929 года — был арестован почти одновременно с Бауманом, а расстрелян позднее.

Вместе с террором господствовал цинизм. Высокопоставленный военный, находясь в тюрьме, рассказывал, как однажды на приеме его весело приветствовала жена Молотова. «Саша, что это? Почему вы еще не арестованы?».^[1089] Эта женщина стала председателем Косметического треста «ТЭЖЭ» после ареста ее бывшего начальника Чекалова. Этот пост она занимала несколько лет. Что касается Чекалова, то он был послан на Воркуту, в лагеря строительства железной дороги.^[1090] Супруга Молотова была в 1939 году избрана в ЦК, где также заменила кого-то «исчезнувшего». В 1948 году арестовали и ее.

Партийные и правительственные учреждения окутала атмосфера ужаса. Народных комиссаров арестовывали по дороге на работу по утрам. Каждый день исчезал кто-нибудь еще из членов ЦК или заместителей наркомов или других крупных сотрудников.

Радость в тот момент царил только в одной сфере. 18 июля Ежов был награжден орденом Ленина, что послужило предлогом для опубликования его фотографий, передовых статей и всеобщих празднеств. Ту же самую награду 21 июля получил Вышинский — правда, с меньшим шумом.

Ордена были также вручены многим руководителям органов безопасности. По окончании дела Мдивани награды получили работники и грузинского НКВД. Среди награжденных тогда грузин встречаются имена тех, кто через год заменил руководящих оперативников и в Москве и в других местах и кто исчез только с окончанием эпохи Берии в 1953-55 годах: Гоглидзе, Кабулов, Рапава и им подобные.^[1091] Вскоре была награждена еще одна группа ежовцев, в том числе Ушаков (позднее руководивший пытками Эйхе), Фриновский, а из нижестоящих — Л. Е. Влодзимирский. Этот прожил относительно долго; он служил под началом Берии, в 1953 году Берия даже назначил его руководить следственным отделом по особо важным делам. Однако в декабре того же года Влодзимирский был расстрелян.

Сам Ежов удостоился теперь высшей чести: его именем назвали город. 22 июля бывший сотрудник ОГПУ и протеже Кагановича Булганин был назначен председателем Совнаркома РСФСР. Это случилось после падения его предшественника на этом посту Сулимова. И столица Черкесской автономной области, называвшаяся ранее городом Сулимовым, была срочно переименована в Ежово-Черкесск.

Будущий коллега и соперник Булганин а Хрущев вел в то время террористическую работу — чистку — как в самой Москве, так и в Московской области к удовлетворению высшего руководства. Как в свое время в Ленинграде, он начал эту деятельность во второй половине марта.^[1092] А 23 августа того же 1937 года на собрании актива Московской организации ВКП[б] Хрущев выступил с целой серией обвинений против местных руководителей, вроде председателя облисполкома Филатова (что предшествовало исчезновению этого человека вместе со многими другими). К. В. Уханов, еще недавно председатель Московского Совета, теперь возглавлял Наркомат местной промышленности РСФСР. Его тоже арестовали и он умер в 1939 году.^[1093]

В августе Советский Союз посетило больше иностранных туристов, чем когда-либо. И никто из этих туристов не заметил подавленного настроения народа. Был отпразднован еще один дальний перелет — на сей раз Леваневского на «Н-29» вокруг Советского Союза. Хотя газеты были очень заняты торжествами по поводу этого перелета, в них нашлось место для того, чтобы к концу августа объявить о награждении орденом Ленина трудолюбивых военных юристов, в том числе Ульриха, Матулевича и Никитченко.^[1094] Матулевич и Никитченко были названы при этом заместителями председателя Военной Коллегии Верховного Суда. А 22 августа было объявлено также о награждении прокуроров, вроде уже упоминавшегося выше Рогинского.^[1095]

Между тем органы безопасности хватили наркомов и их заместителей из промышленных наркоматов. Нарком земледелия Чернов исчез 30 октября. Нарком финансов Гринько и Нарком лесной промышленности Иванов появились в следующем году на показательном процессе вместе с Бухариным и Рыковым. А вот о заместителе Наркома тяжелой промышленности М. Л. Рухимовиче ничего не было слышно после того, как 30 октября он был снят^[1096] и заменен братом Кагановича — М. М. Кагановичем. В годы всех оппозиций Рухимович был верным сторонником Сталина; еще раньше близко участвовал в интригах Сталина и Ворошилова против Троцкого при обороне Царицына в годы гражданской войны. Рухимович умер в 1939 году.^[1097] К той же самой категории относился и Народный комиссар легкой промышленности Любимов, которого 7 сентября 1937 года сняли с работы вместе с обоими его заместителями.^[1098] (По-видимому, с Любимовым расправились немедленно. В книге «От Февраля к Октябрю» (Москва, 1957) сказано, что он умер в 1937 году. Но на процессе Бухарина, Рыкова и др. в марте 1938 года имя Любимова упоминалось в связи с бухаринским «резервным центром»).

К концу года, кроме Ворошилова и Кагановича, уцелело совсем немного наркомов. В дополнение к названным выше были арестованы Нарком связи Халепский, Нарком внутренней торговли Вейцер, Нарком тяжелой промышленности Межлаук, Нарком просвещения Бубнов, Нарком юстиции Крыленко и Нарком водного транспорта Янсон. Было также арестовано новое руководство Государственного банка, а потом и следующее руководство и подчиненные им служащие.

Расскажем сейчас более подробно еще об одном аресте. Глава весьма деликатного Наркомата внешней торговли Розенгольц был 15 июня снят и «переведен на другую работу». Тут же исчезли оба его заместителя — Элиава и Логановский. Элиаву расстреляли в том же 1937 году.^[1099]

Широкоплечий решительный Розенгольц, по национальности еврей, был отличным администратором. В последние несколько лет он сумел приспособиться к новому стилю руководства. Происходил он из семьи революционеров. Рассказывая о себе на процессе Бухарина, где Розенгольц был одним из подсудимых, он говорил: «Уже в десятилетнем возрасте моя детская рука была использована для того, чтобы ночью прятать, а утром вынимать

нелегальную литературу оттуда, куда не могла проникнуть рука взрослого».^[1100] В большевистскую партию Розенгольц вступил, еще не достигнув 16-летнего возраста, а в 16 лет был впервые арестован. В 17 лет он был избран делегатом на съезд партии. Во время революции Розенгольц активно действовал в Москве, а потом отличился на нескольких фронтах гражданской войны. После этого он управлял Донбассом и делал это беспощадно. После кратковременного флирта с троцкистской оппозицией Розенгольц был назначен послом в Лондон. В 1928 году он вернулся в страну и с тех пор находился на ответственной работе. Наркомом внешней торговли он был с 1930 года.

В июньском указе 1937 года об освобождении Розенгольца от занимаемой должности его все еще называли «товарищем» — и некоторое время не трогали. Все это было в полном согласии с обычной практикой Сталина. Решение об аресте принято, снятие с поста произошло — а потом жертву на несколько месяцев оставляют на какой-нибудь маленькой должности, и несчастный не знает, в какой момент на его голову обрушится удар. Американец, живший в Москве в августе 1937 года, рассказывает о бывшем высокопоставленном советском чиновнике, чья квартира была напротив. После освобождения со своего поста этот человек целыми днями сидел на балконе и ждал ареста. Американец — это был недавно скончавшийся Луи Фишер — писал так: «Ожидание его убивало. Он ждал три недели, жена его чахла на глазах, а НКВД все наблюдало да наблюдало. Наконец, они пришли».^[1101]

Некоторые вернувшиеся из лагерей после смерти Сталина утверждают, что психологически ожидание ареста было более изматывающим и разрушительным для человека, чем сам арест и последующие допросы. Ожиданием человека доводили до такого состояния, что потом при допросах от него легко удавалось получить что угодно. Таким образом, часть своей работы НКВД выполнял, что называется, не пошевельнув пальцем. Это, разумеется, сберегало силы и энергию сотрудников столь перегруженной работой организации.

В таком положении Розенгольца оставили на много недель. В августе 1937 года он еще был на свободе и даже сделал несколько отчаянных попыток добиться приема у Сталина. Позже, на суде, это было представлено как попытки Розенгольца убить Сталина.^[1102]

Еще больше пугало это жуткое ожидание жену Розенгольца. Согласно одному описанию, она была «веселой рыжеволосой молодой женщиной, весьма слабо образованной и выросшей в религиозной семье».^[1103] В эти томительные недели она решила помочь мужу, чем могла.

Когда Розенгольца арестовали и сделали личный обыск, то обнаружили, что в подкладку заднего кармана его брюк был зашит кусочек сухаря, обернутый в тряпочку. А внутри сухаря оказался клочок тонкой бумаги, на котором жена Розенгольца написала восемь стихов из 67-го и 90-го псалмов, чтобы отвести от мужа зло.^[1104] Вот эти стихи, эти древние выклики беспомощных жертв, обращенные против мучителей:

ПСАЛОМ 67

2 Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его!
3 Как рассеивается дым, Ты рассеяй их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия.

ПСАЛОМ 90

Живущий под кровом Всевышнего под сению Всемогущего покоится.
2 Говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю»!
3 Он избавит тебя от сети ловца, от губительной язвы.
4 Перьями Своими осенит тебя и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его.
5 Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
6 Язвы, ходящей в мраке, заразы, опустошающей в полдень.

НА САМОЙ ВЕРШИНЕ

В то время как темп террора — во всяком случае, его видимой части — осенью 1937 года несколько снизился, Сталин начал подготовку следующей фазы. Велись допросы множества видных людей, в том числе самих Бухарина и Рыкова, с расчетом на показательный процесс. Значительное число неудачливых сталинцев вроде Рудзутака и Антипова, возможно, даже оказавших поначалу какое-то сопротивление, были теперь готовы фигурировать в качестве центральных фигур следующего процесса. Однако предстояло сделать еще очень многое.

Все рядовые участники сопротивления на февральско-мартовском пленуме были уже раздавлены. Но самые высшие из тех, кто выражал сомнение, все еще занимали свои высокие должности. Этим высших сановников, а также всех других, проявивших своеобразие или независимость, Сталину требовалось искоренить; пока они существовали, Сталин считал, что в структуре его власти имеется слабое место.

Члены сталинского Политбюро, сопротивлявшиеся Генеральному секретарю на февральско-мартовском пленуме, представляли совершенно новую проблему для вождя. Они не были, подобно Зиновьеву или Бухарину, людьми, давно отстраненными от власти. Они не были, подобно Пятакову, работниками, отодвинутыми на второстепенные посты в правительстве и партии. Правда, они составляли меньшинство и (за исключением Косиора и в недавнем прошлом Постышева, осуществлявших подлинное управление Украиной) имели мало доступа к настоящим орудиям власти. Тем не менее, они потенциально представляли большую опасность, чем их предшественники. Все еще оставалась возможность комбинации, которую Сталин мог считать угрожающей, — комбинации «умеренных» руководителей с армией. Даже удар, нанесенный по военным руководителям в июне

1937 года, не выглядел для него завершающим. Какие-то командиры еще оставались в живых и они могли представлять опасность. Так или иначе, Сталин продолжал действовать, сочетая, как обычно, постепенность с беспощадностью.

Первым делом были предприняты определенные шаги, так сказать, технического порядка. После смягчающего закона от августа 1936 года осужденные надоедали властям своими жалобами на то, что быстрые суды над ними и приговоры к смертной казни были незаконными. И вот 14 ноября 1937 года был издан новый чрезвычайный закон, подтверждающий чрезвычайный закон от 1 декабря 1934 года, вводящий «упрощенный порядок судопроизводства» по статьям 58-7, 58-8 и 58-9 Уголовного кодекса. На приговоры по этим делам были запрещены обжалования, а также ходатайства о помиловании, право на которые было восстановлено в 1936 году с целью обмануть Зиновьева и компанию. Кроме того, эти законы «устраняли гласность судебного разбирательства».^[1105] В этом сообщении видны явные противоречия: во-первых, много судебных процессов уже было проведено до закона без всякого «гласного разбирательства»; во-вторых, предстоявший тогда процесс Бухарина, Рыкова и других был проведен как раз «гласно», да еще с большим шумом. Но, как бы ни рассматривать этот закон, он, по всей видимости, отражал определенное решение Сталина: прекратить показательные процессы после того, как будет проведен ближайший из них, уже полностью подготовленный. Иногда утверждают, что частичный провал процесса над Бухариным и Рыковым привел к прекращению дальнейших публичных судилищ. Но упомянутый закон показывает, что решение об этом могло быть принято раньше. Нет сомнения, что процесс над Бухариным и другими принес Ежову немало затруднений. В свое время Пятаков и Радек были готовы к открытому процессу после всего четырех месяцев обработки. Теперь же прошло девять месяцев со времени ареста Бухарина и Рыкова, а над ними предстояло работать еще по меньшей мере три или четыре месяца. Тем не менее, как мы сейчас увидим, планы проведения процесса Бухарина-Рыкова достигли уже той стадии, на которой появились все мыслимые составные части процесса: убийства, медицинское убийство, промышленное и сельскохозяйственное вредительство, шпионаж, буржуазный национализм и измена. До сих пор каждый процесс добавлял новые преступления к дежурному списку, но после этого процесса добавлять уже явно нечего.

2 октября 1937 года был принят еще один закон, позволяющий суду, по выражению Вышинского, «в особых случаях избирать меру наказания среднюю между 10 годами лишения свободы и высшей мерой социальной защиты»—смертной казнью. В истолковании Вышинского эта «средняя мера» приравнивается к 25 годам тюремного заключения.^[1106] Сразу после этого короткий пленум ЦК, проведенный 11–12 октября, ознаменовал собою окончание открытой оппозиции Ежову: он был избран кандидатом в члены Политбюро. На этом пленуме состоялось также падение одной очень важной фигуры, причем состоялось оно в обстановке такого произвола, какого до сих пор не бывало на столь высоком уровне.

Нарком просвещения Андрей Бубнов был одним из наиболее известных старых большевиков. Достаточно сказать, что Бубнов был в свое время делегатом V съезда партии (1907); кандидатом в члены ЦК РСДРП в 1912 году и членом первого Политбюро, назначенного для проведения революции в октябре 1917 года. В августе 1918 года Бубнов совместно с Пятаковым организовал коммунистическое восстание на Украине. В прошлом «демократический централист», он перешел на сторону Сталина еще в 1923 году, провел жесткую чистку фракционеров в армии и с тех пор верно служил. На октябрьский пленум Бубнов отправился вместе со своим украинским коллегой по работе — Наркомом просвещения УССР Затонским. Они подошли к зданию ЦК, предъявили свои удостоверения. Однако офицер НКВД у дверей заявил, что не может их впустить без дополнительных документов, которые должны быть им выписаны. Бубнов вернулся в свой наркомат и проработал там допоздна. В полночь к нему вошла дрожащая секретарша и сказала, что только что слышала по радио извещение о его снятии, как не справившегося с работой. На следующий день он передал дело временно исполняющему обязанности Тюркину, а в декабре был арестован.^[1107]

Тем временем суды и смертные приговоры продолжались, но в несколько меньшем масштабе и без объявлений на первых страницах газет. Грандиозная пропагандистская кампания против «врагов» ослабла. Пресса занялась подготовкой к выборам в Верховный Совет. Предвыборные статьи были полны разговоров о демократии. Появлялись заголовки вроде «Женщины-избиратели — большая сила». Потом пошли предвыборные собрания, выдвижение кандидатами всех вождей, восторженные митинги по всему Союзу—и так до конца октября.

Сталин, однако, не прекращал подготовки к нападению на тех своих соратников, кто его чем-либо не удовлетворял. На XXII съезде КПСС Шелепин рассказал, что существует документ, подписанный Сталиным, Молотовым и Кагановичем в ноябре 1937 года и санкционирующий «предание суду Военной коллегии большой группы товарищей из числа видных партийных, государственных и военных работников». Шелепин сообщил далее, что «большинство из них было расстреляно. Среди невинно расстрелянных и посмертно реабилитированных такие видные деятели нашей партии и государства, как товарищ Постышев, Косиор, Эйхе, Рудзутак, Чубарь, Нарком юстиции Крыленко, секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР Уншлихт, Нарком просвещения Бубнов и другие».^[1108]

Здесь содержался ясный намек (хотя прямо об этом не было сказано), что перечисленные Шелепиным люди были в списке жертв, о котором Шелепин непосредственно перед тем говорил. Некоторые из них, правда, были к тому времени уже под арестом, но по заведенному порядку их, очевидно, допрашивали с намерением отложить формальное «предание суду» до момента, когда они дадут нужные показания.

То, что документ был подписан Сталиным, Кагановичем и Молотовым по-видимому, от имени ЦК и Совета Народных Комиссаров — выглядит странно. Вообще говоря (за исключением случаев ареста членов самого Политбюро), Сталин в случае особо важных арестов стремился получить согласие всего состава Политбюро. И хотя в критический период 1937–38 годов это, может быть, не соблюдалось, в последующие годы существовала именно такая тенденция.

Еще удивительно то, что некоторые аресты, санкционированные документом, не осуществлялись целые недели и даже месяцы — так что обреченные люди довольно долго оставались на высоких постах.

Вообще-то процедура ареста любого члена партии требовала, чтобы НКВД информировал либо местную партийную организацию, либо, если фигура важная, даже ЦК о том, что имеется ордер на арест такого-то и такого-то. После этого человек исключался из партии на секретном заседании партбюро и об этом исключении ему не сообщали до самого ареста. Бывало, что период между таким тайным исключением и арестом длился довольно долго. Известен случай, когда секретарь обкома партии на Украине был тайно исключен из партии украинским ЦК в марте 1938 года, но до июля оставался на свободе. В течение этого времени он продолжал выполнять все свои обязанности, в том числе даже председательствовал при исключении из партии других.^[1109] Известен также случай иностранной коммунистки, арестованной 19 июня 1938 года, причем ей показали ордер на арест, датированный 15 октября 1937 года.^[1110] Нечего и говорить, что все это было в полном противоречии с партийным уставом.

В то время, о котором идет речь, Постышев все еще занимал свой пост в Куйбышеве и оставался кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП[б]. Косиор оставался первым секретарем ЦК партии Украины и членом Политбюро ЦК ВКП[б]. Пребывал в составе Политбюро и заместитель председателя Совнаркома Чубарь. Можно перечислить еще несколько обреченных руководителей, продолжавших тогда работать, ни о чем не ведая.

Не очень ясно, кого имел в виду Шелепин, говоря об «известных военных работниках». Однако, как мы видели, военных в те месяцы арестовывали пачками. Что касается упоминания о «других», то в их число мог входить, например, Нарком тяжелой промышленности В. И. Межлаук, который с весны 1937 года стал появляться на трибуне вместе с членами Политбюро.^[1111] Этот полный квадратный лысеющий человек в очках был арестован в декабре 1937 года.^[1112]

Также к концу 1937 года был арестован и Уншлихт, по происхождению поляк, пришедший к власти примерно тем же путем, что и Дзержинский. С 1900 года Уншлихт был пробольшевистским членом польской социал-демократической партии. В революционные годы он был членом Петроградского Ревкома, воевал в гражданскую войну вместе с Тухачевским в 16-й Армии, был ранен. Позже он стал заместителем председателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии — ВЧК.^[1113]

Несколько меньшей по масштабу фигурой был Нарком юстиции Н. В. Крыленко. В 1918 году он произвел на английского представителя в Москве Брюса Локкарта впечатление «дегенерата-эпилептика».^[1114] Иванов-Разумник, сидевший с Крыленко в 1938 году в тюрьме, называет его «пресловутым и всеми презираемым Народным комиссаром юстиции».^[1115]

Роль Крыленко на Шахтинском процессе была поистине отвратительной. Но после реабилитации Крыленко эту роль стали всячески превозносить. Так, например, Е. Адамов писал в журнале «Советская юстиция»: «В нашем суде юридическая оценка неизбежно сочетается с моральной и политической. Это всегда учитывал Крыленко... Выступая на Шахтинском процессе, оратор, например, так подчеркивает особую роль нашего советского суда: „Наш суд, — говорил он, — это орган, при помощи которого руководящий авангард пролетариата, рабочий класс в целом строит новое общество; вот почему его приговоры должны явиться определенным орудием воспитательной, правовой и политической пропаганды. Вот почему его приговоры должны нести в себе элементы общественно-политического воспитания“».^[1116]

На международном шахматном турнире в 1932 году Крыленко (он был большим поклонником и покровителем шахмат) выступил с речью, догматизм которой придавал ей буквально фарсовый характер:

«Мы должны раз и навсегда покончить с нейтралитетом шахмат. Мы должны раз и навсегда осудить формулу „Шахматы ради шахмат“ как формулу „Искусство для искусства“. Мы должны организовать ударные бригады шахматистов и начать немедленное выполнение пятилетнего плана по шахматам».^[1117]

Этот доктринерский фанатизм Крыленко пронес через всю свою юридическую работу в годы сталинского террора. С 1931 года он был Наркомом юстиции РСФСР, а в 1936 году возглавил уже всесоюзный Наркомат юстиции.

После ареста, в Бутырской тюрьме, с Крыленко обращались особенно презрительно, — «чтобы сбить с него гордость», как писал тот же Иванов-Разумник. Через некоторое время его перевели в Лефортовскую тюрьму, и следы бывшего наркома затерялись.^[1118] В книге английского исследователя Д. Ричардса о советских шахматах утверждается, что одно из обвинений, выдвинутых против Крыленко, состояло в том, что он будто бы задержал развитие шахматной игры и отделил ее от общественной и политической жизни народа.^[1119] Крыленко погиб в 1940 году.^[1120]

Обреченные члены Политбюро все еще оставались на свободе. Ничего не предпринималось даже против Постышева, так значительно пониженного в должности. После перевода в Куйбышев он имел последнюю встречу со Сталиным, причем якобы искренне протестовал против террора, по крайней мере в отношении верных партийцев.^[1121] Однако в июне была опубликована речь Постышева на партийной конференции в Куйбышеве: это был призыв, исключительно яростный, даже по тогдашним масштабам, к бдительному искоренению троцкистов.

30 октября 1937 года, после удаления Чернова из Наркомата земледелия, его пост занял Эйхе. Это был член партии с 1905 года, крупный, серьезного вида человек, с репутацией беспощадного руководителя. До того времени Эйхе работал секретарем Западно-сибирского крайкома партии. Вышинский критиковал Западную Сибирь за то, что там возбуждалось недостаточное количество дел по обвинению в контрреволюционной деятельности в 1937 году. Возможно, этот факт как-то характеризовал подход Эйхе к террору.^[1122] Во всяком случае, он фигурировал в последующих обвинениях против Эйхе.

3 ноября 1937 года был издан предвыборный плакат с портретами членов Политбюро. Там были все тогдашние члены Политбюро, в том числе Косиор и Чубарь, а из числа кандидатов фигурировали только Жданов и Ежов. Таким образом, Эйхе, Постышев и Петровский были демонстративно унижены. Вообще на протяжении последних месяцев 1937 года обреченным кандидатам Политбюро выказывались признаки неуважения. Их не выбирали, например, в почетные президиумы. Их имен не было в списках кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР на предстоявших в декабре выборах. В кандидаты часто не выдвигали также и Косиора, а Петровский и Эйхе в одном случае были выдвинуты.^[1123] С другой стороны, когда в печати появилось письмо высших руководителей Советского Союза, выдвинутых сразу во многих избирательных округах, с отказом баллотироваться во всех, кроме одного, то имена всех этих обреченных там фигурировали.^[1124] И все они — Косиор, Постышев, Эйхе, Чубарь и Петровский — были избраны депутатами.

Примерно два месяца подряд, до дня выборов 12 декабря 1937 года, а также и после этого дня, выборы служили главной темой пропаганды и о них много писали. Каждый день в газетах появлялось множество статей, фотографий, отчетов с предвыборных собраний, особенно с участием членов Политбюро, излагались так называемые «наказы избирателей»; газеты нагнетали обстановку радостного ожидания. Резолюции массовых митингов подавались под заголовками вроде: «С радостью голосуем за Николая Ивановича Ежова». Сталинский «акын» Джамбул из Казахстана, написал стихотворение «Народный комиссар Ежов», в котором обрисовывал руководителя тайной полиции такими умильно-розовыми красками, что это было слишком даже для ангела.

Статьи и всякие материалы о выборах продолжали появляться весь декабрь. Было среди них и много сообщений из-за рубежа — например, о «большом впечатлении в Англии». А когда избирательная тема стала постепенно выдыхаться, для публики нашлись другие — например, годовщина Шота Руставели, дополненная всевозможными конференциями стахановцев.

Однако без показательного убийства год все-таки не закончился. Между процессами Зиновьева и Пятакова прошло 5 месяцев. После этого прошло уже целых 11 месяцев, а процесс Бухарина еще не был подготовлен. В качестве промежуточной меры состоялся закрытый суд над людьми, которые не желали давать нужные показания, — суд по закону от 14 ноября.

20 декабря 1937 года на многие газетные страницы раскатилось празднование двадцатой годовщины ВЧК-ОГПУ-НКВД. Были напечатаны крупные портреты Дзержинского и Ежова.

Бдительность органов-юбиляров была продемонстрирована как раз накануне объявлением о чистке в хлебозаготовительных организациях. Митинги трудящихся аплодировали, посылая резолюции и даже стихотворения относительно замечательной роли тайной полиции. В «Правде» появилась длинная статья Фриновского, а также большой список награжденных. Начальник ГУЛАГа Борис Берман получил орден Ленина. Среди всех этих громких праздничных публикаций затерялось небольшое объявление, возможно, специально приуроченное к случаю. Это объявление касалось более практической стороны деятельности людей Ежова. Сообщалось, что Енукидзе, а также Карахан, Орахелашвили и другие 16 декабря предстали перед Военной коллегией Верховного Суда СССР как шпионы, буржуазные националисты и террористы. Они будто бы признались в своих были расстреляны.^[1125]

Есть сообщения, что осенью 1937 года Енукидзе перевели из Суздальского изолятора в Москву.^[1126] Он, как передавали, был в неплохом состоянии. На предстоявшем процессе Бухарина-Рыкова он должен был стать главным злодеем-террористом, ответственным за организацию убийства Кирова. Действительно, в отчете об этом процессе мы находим упоминание о том, что Енукидзе приказал Ягоде проинструктировать заместителя начальника ленинградского НКВД Запорожца не чинить препятствий убийце,^[1127] а также, что Енукидзе ответственен и за подготовку убийства Горького.^[1128] Менее официально, по слухам, Енукидзе не только отказался давать показания, но даже заявил об участии Сталина в убийстве Кирова и его виновности в смерти других.^[1129]

Бывший секретарь ЦК Компартии Грузии Орахелашвили в последние пять лет занимал должность заместителя директора Института Маркса-Энгельса-Ленина в Москве. Некоторые советские источники утверждают, что Орахелашвили был уничтожен, так как возражал против книги Берии «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Книга Берии содержала грубые извращения, имевшие целью выпятить роль Сталина. Правда, с датой смерти Орахелашвили творится нечто мистическое. В официальном объявлении было сказано, что «приговор приведен в исполнение». «Большая советская энциклопедия» утверждает, что Орахелашвили прожил до 1940 года.^[1130] А недавно вышедшая (в 1967 году) «Советская историческая энциклопедия» опять дает дату его смерти «декабрь 1937 года». Жена Орахелашвили Мария была также расстреляна.^[1131]

20 декабря состоялось торжественное собрание в Большом театре, посвященное 20-летию ВЧК-НКВД. Присутствовали Каганович, Молотов, Ворошилов, Микоян и Хрущев. В почетный президиум был избран полный состав Политбюро, в том числе Косиор и Чубарь (которые не присутствовали). Однако опять-таки среди кандидатов в члены Политбюро были названы Жданов и Ежов, а оставшиеся места в президиуме заняли Хрущев и Булганин.

Главным докладчиком был Микоян. Он восхвалял Ежова как «талантливого, верного сталинского ученика», называл его «любимцем советского народа», призывал чекистов «учиться у товарища Ежова сталинскому стилю работы, как он учился и учится у товарища Сталина» и, «подробно остановившись на последнем периоде работы Наркомвнудела», даже воскликнул в порыве энтузиазма: «Славно поработал НКВД за это время».^[1132]

В январе состоялся пленум ЦК и представление нового правительства Верховному Совету. Постышев (которого официально все еще называли «товарищем») был выведен из числа кандидатов в члены Политбюро и заменен Хрущевым.^[1133] (Кстати говоря, это был последний случай, когда было официально объявлено о выводе из состава Политбюро. После этого люди и их фотографии попросту исчезали). Передовая статья «Правды» тогда же обвинила руководителей определенных партийных организаций в том, что прежде они разрешали группироваться вокруг них «заклятым врагам народа», а теперь «шарахнулись к огульному исключению из партии десятков и сотен коммунистов». В качестве примера был назван Куйбышевский обком. В постановлении Пленума ЦК от 19 января 1937 года содержалось угрожающее замечание о том, что «органы НКВД не нашли никаких оснований для ареста» этих исключенных из партии в Куйбышевской области.^[1134] Постышева «освободили от работы на Украине» и ему было объявлено партийное порицание в период его работы в Куйбышеве за покровительство «врагов народа».^[1135] Однако он не был немедленно арестован. У Постышева

была в Москве небольшая квартира, где уже после этого пленума его посетил сын — военный летчик.^[1136] На этой квартире Постышев, по-видимому, оставался до своего ареста весной 1938 года.

Что касается Косиора, то он прожил в Киеве очень тяжелый год на пепелище своей бывшей власти. 3 июля 1937 года умер его брат И. В. Косиор, тоже член ЦК. Его похоронили с почетом. Между тем, теперь выяснилось, что, как и Орджоникидзе, он покончил самоубийством.^[1137] Другой брат, В. В. Косиор был давним участником оппозиции; еще в 1934 году он получил 10 лет. Обвинения по его адресу звучали также и на процессе Пятакова.^[1138] Летом 1937 года в числе других оппозиционеров он был привезен в Москву с Воркуты и расстрелян.

26 января 1938 года Косиор и Петровский вернулись в Киев и были встречены на вокзале теми, кто оставался еще от «украинского ЦК». На следующий день, 27 января, «пленум» этого ЦК снял Косиора с его поста. Первым секретарем ЦК КП Украины стал, как мы уже знаем, Никита Хрущев.^[1139] Однако Косиор не был немедленно предан забвению. Напротив, его назначили заместителем председателя Совнаркома СССР и председателем Комиссии Партийного Контроля.

Все это не помешало Молотову представить 19 января 1938 года Верховному Совету новое правительство, куда в качестве заместителей председателя Совнаркома входили Косиор, Чубарь и Микоян. А Эйхе был Наркомом земледелия.^[1140]

Конечно, заместители председателя Совнаркома не могли серьезно думать, будто располагали реальной властью. И Ворошилов, и Каганович, например, оба стояли в руководящей иерархии неизмеримо выше их, но в то же время они не были заместителями председателя Совнаркома. Это хорошо подчеркивает декоративный характер назначений.

Тем не менее, было чем любоваться: Молотов в кресле председателя на заседании Совета Народных Комиссаров — после того, как он подписал приказы о суде и аресте нескольких из них. Встречаясь со своими тремя заместителями, он знал, что двое из троих были как бы уже мертвыми, и их высказывания попросту не имели никакого значения.

В период пребывания у власти Хрущева и особенно после XX съезда КПСС было принято говорить о январском пленуме 1938 года как о некоем возврате к законности. А как же иначе — ведь именно этот пленум возвел Хрущева на высший уровень власти. Действительно, резолюция пленума, как всегда, содержала сильные выпады против несправедливых исключений из партии. Там была критика по адресу обкомов за ошибки такого рода. Эта критика продолжалась весь 1938 год и давала основания говорить о «возврате к законности» тем, кто хотел говорить об этом. На самом же деле никаких признаков улучшения не было, и в работе Ю. П. Петрова, например, сделана лишь попытка совместить требования Хрущева с правдоподобием. Автор писал: «Январский пленум ЦК ВКП[б] 1938 года несколько оздоровил положение. Однако репрессии не прекратились».^[1141]

Самые резкие критические замечания против несправедливых исключений из партии сделал... сам Ежов. На протяжении всего террора высшие руководители постоянно выступали против несправедливых исключений — однако лишь с целью уничтожить своих подчиненных. Например, как мы уже видели, в нападках на Постышева, относящихся к 1937 году, официально осуждались нарушения партийной демократии, тогда как фактически целью было сломить сопротивление террору. Это можно заметить уже и в письме ЦК от 24 июня 1936 года «Об ошибках при рассмотрении апелляций исключенных из партии во время проверки и обмена партийных документов»: письмо энергично протестовало против непринципиальных исключений.^[1142]

Резолюция январского пленума 1938 года критиковала, кроме Куйбышевской, и многочисленные партийные организации, обвиняя таких работников, как «бывший секретарь Киевского обкома КП Украины, враг народа Кудрявцев», «разоблаченный враг народа, бывший зав. ОРПО (заведующий отделом руководящих партийных органов) Ростовского обкома ВКП[б]» Шацкий и т. д..^[1143] Вместе с тем резолюция рассказывала грустные истории о честных большевиках и даже об их супругах, которые увольнялись с работы в результате неправильных обвинений.

Постоянное присутствие этой темы весьма примечательно. Совершенно ясно, что было гораздо выгоднее обвинить Постышева и других в негуманности, чем в поздно проявленной гуманности. Этим путем центральное руководство могло или полагало, что могло, избежать непопулярности, связанной с его действиями. Но если взглянуть поглубже, то в этом можно усмотреть определенное намерение Сталина. С самого начала террора Сталин направлял всеобщую ненависть на тех, кто на каждом предыдущем этапе был его орудием, чтобы уничтожить их, когда они сделают свое дело. Если так, то до известной степени это шло успешно. За террором в памяти народной осталось прозвание «ежовщина» — и со своим исчезновением Ежов унес с собой часть ненависти, которая в противном случае досталась бы пережившим его руководителям.

После пленума произошло еще одно примечательное назначение. 11 февраля 1938 года первым секретарем Московского обкома и горкома партии вместо Хрущева был назначен А. И. Угаров, который в то время уже находился под следствием по «ленинградскому делу» Заковского и других. В течение нескольких месяцев он появлялся на трибуне с самым высшим руководством и считался человеком восходящим. Однако в сентябре или ноябре 1938 года он был заменен Щербаковым, затем исчез.

Партия в том виде, как она существовала всего год назад, была разгромлена. Ветераны первого периода сталинского правления, от секретарей обкомов до народных комиссаров, пали жертвами Ежова. Однако это был еще не конец шторма. Охваченных ужасом людей ждали новые жестокие удары.

Примечания

1

* Печатается с соблюдением особенностей орфографии оригинала.
(обратно)

2

1. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, 5-ое издание, Москва, 1958-70, (В дальнейшем цитируется как «Ленин, Собр. соч.»), т. 43, стр. 31 (Отчет X съезду РКП[б]).

(обратно)

3

2. Там же, т. 44, стр. 285 (Замечания о чистке партии).

(обратно)

4

3. Там же, т. 43, стр. 31 (Речь при открытии X съезда РКП[б]).

(обратно)

5

4. Там же, т. 44, стр. 398 («О задачах Наркомюста»).

(обратно)

6

5. Там же, т. 45, стр. 199 («О двойном подчинении и законности»).

(обратно)

7

6. Там же, т. 45, стр. 95–96 (Отчет XI съезду РКП[б]).

(обратно)

8

7. Там же, т. 44, стр. 398 и т. 45, стр.

(обратно)

9

8. Там же, т. 45, стр. 345 («Письмо к съезду», так наз. «Завещание»).

(обратно)

10

9. Там же, т. 45, стр. 346 («Добавление к письму»).

(обратно)

11

10. Там же, т. 44, стр. 106 («Новые времена, старые ошибки в новом виде»).

(обратно)

12

11. Там же, т. 45, стр. 390 («Лучше меньше, да лучше»).

(обратно)

13

12. Там же, т. 45, стр. 404 («Лучше меньше, да лучше»).

(обратно)

14

13. «Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 году. Сборник материалов и протоколов заседаний Петербургского Комитета РСДРП[б] и его Исполнительной комиссии за 1917 г.» Под ред. П. Ф. Куделли. М. -Л. 1927 г., стр. 323 (Г. Зиновьев и Ю. Каменев: «К текущему моменту», 11–24 окт. 1917).

(обратно)

15

14. «Резолюция Петербургского комитета РСДРП[б]: По текущему моменту. Октябрь 1917». См. «КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции, июль-ноябрь 1917 г. Сборник документов». М. 1957, стр. 399.

(обратно)

16

15. «Резолюция ЦК РСДРП[б], 10–23 окт. 1917». См. «КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции, июль-ноябрь 1917 г. Сборник документов». М. 1957, стр. 67.

(обратно)

17

17. Протоколы X съезда РКП[б], под ред. Н. Н. Попова, М. 1933, стр. 291.

(обратно)

18

16. В. Souvarine, «Staline», Paris 1935, p. 298. В английском издании, Нью-Йорк, 1939, имеется дополнение — Postscript — которое цитируется отдельно.

(обратно)

19

18. X конференция РКП[б]. Стенографический отчет, стр. 66–67. (Выступление Радека).

(обратно)

20

19. См. В. Souvarine, «Staline», p. 310–311.

(обратно)

21

20. Ленин, Собр. соч., т. 38, стр. 372 (Речь об обмане народа, V).

(обратно)

22

21. Там же, т. 40, стр. 117 (Речь на конференции Губчека).

(обратно)

23

22. XI съезд РКП[б]. Стенографический отчет, Москва 1961, стр. 80.

(обратно)

24

23. Alexander Barmine, «One Who Survived», New York, 1945, p. 94 (оценку этого источника см. приложение 8). (О «малоподвижных массах пролетариата», которые «тысячу раз отчаиваются в своих силах», Радек говорил и на III конгрессе Коминтерна. См. К. Радек, «Путь Коммунистического Интернационала», Петроград, 1921, стр. 50).

(обратно)

25

24. IX съезд РКП[б]. Протоколы, Москва, 1960, стр. 52.

(обратно)

26

25. Victor Serge, «Memoires d'un revolutionnaire», Paris 1951, p. 210.

(обратно)

27

26. Anton Ciliga, «The Russian Enigma», London 1940, p. 86.

(обратно)

28

27. E. H. Carr, «Socialism in One Country», vol. I, London 1958, p. 151.

(обратно)

29

28. Barmine, p. 93–94.

(обратно)

30

Милован Джилас, «Новый класс», Изд. Презер, Нью-Йорк 1958, стр. 69.

(обратно)

31

30. «Правда», 18 декабря 1923.

(обратно)

32

31. Souvarine, стр. 233.

(обратно)

33

32. Там же.

(обратно)

34

33. Robert Daniels, «The Conscience of the Revolution», Oxford 1960, p. 28.

(обратно)

35

34. XIV съезд ВКП[б], Стенограф, отчет, Москва-Ленинград, 1926, стр. 505, 506.

В Собр. соч. И. В. Сталина (Москва 1947) оставлен только предшествующий этим словам вопрос: «Чем объяснить, что, несмотря на это, еще продолжается разнузданная травля Бухарина? Чего, собственно, хотят от Бухарина?» (т. 7, стр. 384).

(обратно)

36

35. Souvarine, p. 390.

(обратно)

37

36. «Правда», 17 окт. 1926.

(обратно)

38

37. Souvarine, p. 450–51.

(обратно)

39

38. XV съезд ВКП[б], Стенограф, отчет, Москва 1962, т. 2, стр. 1394.

(обратно)

40

39. isaak Deutscher, «The Prophet Unarmed», London 1959. (Имеется стереотипное изд. 1970) p. 351, note 2. (В своем изложении Дейчер пользуется неопубликованным архивом Троцкого).

(обратно)

41

40. Ciliga, p. 74.

(обратно)

42

41. Alexander Weissberg, «Conspiracy of Silence», London 1952, p. 501 (оценку этого источника см. приложение 8).

(обратно)

43

42. Victor Kravchenko, «I Chose Freedom», New York 1946, p. 275 (оценку этого источника см. приложение 8).

(обратно)

44

43. XXII съезд КПСС, Стеногр. отчет, Москва 1962, т. 2, стр. 588 (выступление Хрущева).

(обратно)

45

44. Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС, стр. 12 (Официальной советской публикации этого доклада до сих пор нет. Мы пользовались поэтому заграничной публикацией: Н. С. Хрущев, «Доклад на закрытом заседании XX съезда КПСС», 1959).

(обратно)

46

45. Deutscher, «The Prophet Unarmed», p. 458.
(обратно)
47
46. «Как готовился Московский процесс (Из письма старого большевика)», (окончание) «Социалистический вестник» (Париж) № 1–2, 1937, стр. 20 (оценку этого источника см. приложение 3).
(обратно)
48
47. В крупнейших зарубежных библиотеках имеется на русском языке, к сожалению, только сокращенный судебный отчет по делу антисоветского троцкистского центра, составленный по тексту газет «Известия» и «Правда» и изданный НКЮ в Москве в 1937 г. Где возможно, мы цитируем это издание. Пропущенные в нем места цитируются в обратном переводе с изданного тем же НКЮ на английском языке полного стенографического отчета «Report of the Court Proceedings in the Case of Anti-Soviet Trotskyite Centre», English ed., Moscow 1937. В дальнейшем и то и другое цитируется как «Дело Пятакова», с указанием на русское или английское издание. («Дело Пятакова», русское изд., стр. 184, английское изд., стр. 482).
(обратно)
49
48. Ленин, Собр. соч., т. 45, стр. 345 («Письмо к съезду»).
(обратно)
50
49. Там же, т. 49, стр. 194 (Письмо Шляпникову).
(обратно)
51
50. Там же, т. 45, стр. 345 («Письмо к съезду»).
(обратно)
52
51. Souvarine, p. 233.
(обратно)
53
52. Deutscher, «The Prophet Unarmed», p. 82.
(обратно)
54
53. Л. Д. Троцкий, «Моя жизнь», т. 2, изд. «Гранит», Берлин 1930, стр. 207.
(обратно)
55
54. И. В. Сталин, Собр. соч., т. 8, Москва 1948, стр. 131 и 142.
(обратно)
56
55. D. J. Dallin and B. J. Nicolaevsky, «Forced Labor in the Soviet Union». London 1948, p. 116.
(обратно)
57
56. XVI съезд ВКП[б], Стеногр. отчет, Москва, 1930/31, стр. 202.
(обратно)
58
57. А. Авторханов, «Технология власти», АЛюнхен 1959, стр. 120.
(обратно)
59
58. XVI съезд ВКП[б], Стеногр. отчет, стр. 63.
(обратно)
60
59. «Вопросы истории» № 3, 1963. См. также «Большевик», № 22, 1929, стр. 12–13.
(обратно)
61
60. «Правда» 1 дек. 1963.
(обратно)
62
61. «Правда» 6 янв. 1963.
(обратно)
63
62. Судебный отчет по делу антисоветского «Право-троцкистского блока», рассмотренному Военной Коллегией Верховного Суда Союза ССР 2-13 марта, 1938 г., по обвинению Бухарина Н. И., Рыкова А. И., Ягоды Г. Г и 18-ти др. Москва 1938, стр. 624. В дальнейшем цитируется, как «Отчет Бухарина».
(обратно)
64
63. См. например, Ciliga, p. 95.
(обратно)
65
64. «Ленинградская правда» 2 дек. 1962.
(обратно)
66
65. Ciiiga, p. 96.
(обратно)
67
66. G. A. Tokaev, «Betrayal of an Ideal», London 1954, pp. 167-68.
(обратно)
68
67. «Бюллетень оппозиции» № 31, ноябрь 1932.
(обратно)
69

*Вывоз зерна за границу о начале 30-х годов достиг своего максимума со времени революции: около 5 миллионов тонн в 1930/31 году, и 1¼ [млн.] тонны во время голода 1932/33 года. В 1929/30 году вывоз зерна не достиг и 200 тысяч тонн.

- (обратно)
70
68. «Известия» 12 марта 1933.
(обратно)
71
69. Fred E. Beal, «Word from a Native», London 1937, pp. 254-55.
(обратно)
72
70. Иван Стаднюк, «Люди не ангелы», «Нева» № 12, 1962, стр. 58. В том же романе, вышедшем отдельным изданием, («Роман-газета», № 16 (292), 1963, Москва) эта фраза опущена. О гибели детей см. также John A. Armstrong, «The Politics of Totalitarianisms», New York 1961, p. 7; Frank Lorimer. «The Population of Soviet Union: History and Prospects», League of Nations, Geneva 1946; Василий Гроссман, «Все течет», Франкфурт-на-Майне, 1970, гл. 14, особенно стр. 126-27.
(обратно)
73
71. Известия о голоде на Украине исчерпывающе обработаны Dana G. Darlymple в журнале «Soviet Studies», January 1964.
(обратно)
74
72. Lorimer, «The Population of the Soviet Union».
(обратно)
75
73. Alexander Orlov, «The Secret History of Stalin's Crimes», London 1954, p. 42 (оценку этого источника см. приложение 8).
(обратно)
76
74. Souvarine, «Stalin», New York 1937, Postscript, p. 670 (Во французском оригинале книги отсутствует).
(обратно)
77
75. John A. Armstrong, «The Politics of Totalitarianism», New York 1961, стр. 7.
(обратно)
78
76. Merle Fainsod, «Smoienk under Soviet Rule», Cambridge, Mass, 1958, Chapter XII, pp. 242-51, 263. (Книга Файнсод написана на основе так называемого «Смоленского архива», документов, захваченных германской армией при взятии в 1941 году Смоленска. Эти документы хранятся в США, в Military Record Branch, Federal Record Center, Reg. 3) (Оценку этого источника см. приложение 8).
(обратно)
79
77. Winston S. Churchill, «The Second World War», vol. IV, London 1951, pp. 447-48 (Русский перевод: Уинстон С. Черчилль, «Вторая мировая война», изд. им. Чехова, Нью-Йорк 1954-55, охватывает только первые три тома).
(обратно)
80
78. S. Swanievicz, «Forced Labor and Economic Development», London 1965, p. 98 (оценку этого источника см. приложение 8).
(обратно)
81
79. Naum Jasny, «The Socialized Agriculture of the USSR», Stanford 1949, p. 458.
(обратно)
82
80. Kravchenko, «I Chose Freedom», p. 130.
(обратно)
83
81. Barmine, pp. 199–200.
(обратно)
84
82. Raphael Abramovitch, «The Soviet Revolution», London 1962, pp. 346-47.
(обратно)
85
83. Boris J. Nicolaevsky, «Power and the Soviet Elite», London 1965, p. 18.
(обратно)
86
84. Там же, стр. 18–19.
(обратно)
87
1. IX Всесоюзный съезд Профессиональных Союзов. Стеногр. отчет, Москва 1933, стр. 205, 253.
(обратно)
88
2. «Правда» 2 дек. 1930.
(обратно)
89
3. На процессах Зиновьева и Бухарина имена Сырцова и Ломинадзе фигурировали как имена заговорщиков (см. напр. Судебный отчет по делу антисоветского «право-троцкистского блока», Москва 1938, стр. 349–350 [В дальнейшем — «Дело Бухарина»]).
(обратно)
90
4. О нем сообщают, напр. Ciliga, Abramovitch, Николаевский.
(обратно)
91
5. Ciliga, p. 279.
(обратно)
92
6. «Как подготовлялся Московский процесс [из письма старого большевика]» в «Социалистическом Вестнике», Париж, № 23–24, дек. 1936 (автор Б. И. Николаевский).
(обратно)
93

7. «Дело Бухарина», стр. 349.
(обратно)
94
8. «Московский процесс» в «Соц. вестнике», № 23–24, дек. 1936.
(обратно)
95
9. Abramovitch, pp. 353, 355.
(обратно)
96
10. «Правда» 17 нояб. 1964.
(обратно)
97
11. Ciliga, p. 279.
(обратно)
98
12. «КПСС в резолюциях», 5-е издание, т. 2, стр. 669 (В последнем 7-м изд. выпущено).
(обратно)
99
13. «Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам» (18–21 дек. 1962), Москва 1964, стр. 291 (В дальнейшем — «Совещание историков»).
(обратно)
100
14. Там же, стр. 291.
(обратно)
101
15. Б. Николаевский [«Старый Большевик»]: «Хрущев о преступлениях Сталина [опыт исторического комментария]», в «Социалистическом вестнике», Нью-Йорк, № 6, июнь 1956.
(обратно)
102
16. «КПСС в резолюциях», 7-е изд. 1953, т. 2, стр. 742.
(обратно)
103
17. «Правда» 14 янв. 1933, см. также «Дело Бухарина», стр. 566-7.
(обратно)
104
18. Одиннадцатый съезд РКП[б], под ред. Н. Н. Попова, М. 1936, стр. 806.
(обратно)
105
19. Ciliga, p. 278.
(обратно)
106
20. Л. Шаумян в «Правде» 7 февр. 1964.
(обратно)
107
21. «Дело Бухарина», стр. 340.
(обратно)
108
22. Карл Радек, «Портреты и памфлеты», т. 2, Москва 1934, стр. 30 («Зодчий социалистического общества»).
(обратно)
109
23. Varmine, pp. 101-2.
(обратно)
110
24. «Бюллетень оппозиции» № 34.
(обратно)
111
25. Судебный отчет по делу троцкистско-зиновьевского террористического центра, Москва 1936, стр. 14 (В дальнейшем — «Дело Зиновьева»). Русского текста этого отчета нам не удалось найти даже в крупнейших библиотеках мира. Мы были вынуждены поэтому прибегнуть к обратному переводу с английского из опубликованного Наркомюстом в 1936 году в Москве Report of Court Proceedings. The Case of the Trotskyite-Zinovievite Terrorist Centre, English Edition, Moscow 1938, указывая страницы именно этого издания.
(обратно)
112
26. Abramovitch, p. 343; Fainsod, p. 263.
(обратно)
113
27. «Правда» 25 мая 1933.
(обратно)
114
28. «Как готовился Московский процесс [из письма старого большевика]». Окончание. «Социал. Вестник», Париж, № 1–2, янв. 1937 [автор Б. И. Николаевский].
(обратно)
115
29. К. Радек, «Зодчий социалистического общества» («Портреты и памфлеты», т. 2, стр. 11).
(обратно)
116
30. «Бюллетень оппозиции» № 33, см. также Ciliga, главы 5 и 7.
(обратно)
117
31. Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда, стр. 54.

- (обратно)
118
32. Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда, стр. 18.
(обратно)
119
33. И. В. Сталин. Собр, соч., т. 13, Москва 1951, стр. 347.
(обратно)
120
34. XVII съезд ВКП[б], Стеногр. отчет, Москва 1934, стр. 518.
(обратно)
121
35. См. «Письмо старого большевика». *Ватмине*, цит. соч. и др.
(обратно)
122
36. Л. Шаумян в «Правде», 7 февр. 1964.
(обратно)
123
37. С. Синельников, «Сергей Миронович Киров — жизнь и деятельность», Москва 1964, стр. 194-95.
(обратно)
124
38. Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда, стр. 17.
(обратно)
125
39. Токаев, р. 166.
(обратно)
126
40. Николаевский в «Новом Русском Слове», Нью-Йорк, 6 дек. 1959 («Еще о Сталине и Кирове»)
(обратно)
127
41. Устав ВКП[б] (принят XVII съездом 26 янв. — 10 февр. 1934) Статья 25. Стеногр. отчет, стр. 676. См. также «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», часть 2-я, изд. 7-е, М. 1953, стр. 780.
(обратно)
128
42. Н. Русланов, «Восхождение Маленкова» в «Социал. Вестнике», Нью-Йорк, № 7–8, 1953.
(обратно)
129
43. Б. Николаевский, «Сталин и убийство Кирова», статья третья, № 12, 1956.
(обратно)
130
44. Большая Советская Энциклопедия, 1-е изд. т. 62, Москва 1933 стр. 439 (статья «Шкирятов»)
(обратно)
131
45. Выступление на I съезде Союза советских писателей (см. Стеногр. отчет, Москва 1934, стр. 234).
(обратно)
132
46. Orlov, pp. 24–25.
(обратно)
133
47. Синельников, стр. 196. См. также Orlov, pp. 26–27.
(обратно)
134
1. См. «Правду», 2 дек. 1934.
(обратно)
135
2. С. Красников, «Киров», Москва 1964, стр. 200.
(обратно)
136
3. См. «Правду», 4 дек. 1934.
(обратно)
137
4. Различные слухи об убийстве Кирова; см. Токаев, *Betrayal of an Ideal*, p. 242; Orlov, *The Secret History of Stalin's Crimes*, p. 32; Elizabeth Letmolo, *Face of a Victim*, London, 1956, p. 90 ff.
(обратно)
138
5. Л. П. Петровский, Открытое письмо в ЦК КПСС, 5 марта 1969. Выдержки из письма Петровского появились 27 апр. 1969 г. в газете *Washington Post*.
(обратно)
139
6. См. «Дело Зиновьева», стр. 31, 32, 34.
(обратно)
140
7. Красников, стр. 197.
(обратно)
141
8. Orlov, p. 28.
(обратно)
142
9. Там же, стр. 259-60.
(обратно)

143

10. «Дело Бухарина», стр. 506.

(обратно)

144

11. Там же, стр. 51 0.

(обратно)

145

12. Там же, стр. 336.

(обратно)

146

13. Oglou, p. 29–30.

(обратно)

147

14. Letmolo, p. 90.

(обратно)

148

15. См. доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС, стр. 19.

(обратно)

149

16. «Дело Бухарина», стр. 506.

(обратно)

150

17. Там же, стр. 493.

(обратно)

151

18. XXII съезд КПСС, Стеногр. отчет, т. 2, стр. 583 (закл. слово Хрущева).

(обратно)

152

19. «С. М. Киров в Ленинграде», стр. 196.

(обратно)

153

20. XXII съезд КПСС, Стеногр. отчет, Москва 1962, т. 3, стр. 152–153 и «Правда», 31 окт. 1961.

(обратно)

154

21. См. «С. М. Киров в Ленинграде», стр. 196.

(обратно)

155

22. «Правда», 4 дек. 1932.

(обратно)

156

23. Доклад Хрущева на секретном заседании XX съезда КПСС, стр. 18.

(обратно)

157

24. XXII съезд КПСС, т. 2, стр. 402–403 (выст. А. Н. Шелепина) и «Правда», 27 окт. 1961, стр. 10.

(обратно)

158

25. Очерки истории Ленинграда, т. 4, Москва-Ленинград 1964, стр. 355.

(обратно)

159

26. Oglou, p. 37.

(обратно)

160

27. XXII съезд КПСС, т. 2, стр. 583–584 (закл. слово Хрущева).

(обратно)

161

28. См. «Дело Бухарина», стр. 493.

(обратно)

162

29. Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда, стр. 19.

(обратно)

163

30. XXII съезд КПСС, т. 2, стр. 583–584 (закл. слово Хрущева).

(обратно)

164

31. Светлана Аллилуева, «Двадцать писем другу», Нью-Йорк, 1967, стр. 132.

(обратно)

165

32. См. «Советскую Белоруссию», 13 янв. 1963; см. также Аллилуеву «Только один год», Нью-Йорк, 1970, стр. 134.

(обратно)

166

33. Letmolo, p. 17.

(обратно)

167

34. «Как подготовлялся Московский процесс» из «Письма старого большевика» в «Соц. вестнике» № 1–2, янв. 1937, стр. 18.

(обратно)

168

35. «Правда», 22 дек. 1934.

(обратно)

169

36. «Как готовился Московский процесс» в «Соц. вестнике» № 1–2, янв. 1937, стр. 18.
(обратно)
170
37. См. напр. Ciliga, chaps. 5, 7.
(обратно)
171
38. Orlov, стр. 35.
(обратно)
172
39. Orlov, p. 34, p. 35.
(обратно)
173
40. «Дело Зиновьева», стр. 136.
(обратно)
174
41. См. «Правду», 6 дек. 1934.
(обратно)
175
42. «Правда», 18 дек. 1934.
(обратно)
176
43. Hrihory Kostiuk, «Stalinist Rule in the Ukraine», Munich, 1960, p. 98–100. См. также статью «Влыско» в «Українська Радянська Енциклопедія», 1951–65.
(обратно)
177
44. Lermolo, pp. 264–265.
(обратно)
178
45. См. Fainsod, Smolensk under Soviet Rule, pp. 56–57.
(обратно)
179
46. Ciliga, p. 71.
(обратно)
180
47. Lermolo, p. 175.
(обратно)
181
48. «Вечерний Ленинград», 30 дек. 1964.
(обратно)
182
49. VII съезд ВЛКСМ, Москва 1926, протоколы, стр. 108 (выст. Котолынова).
(обратно)
183
50. См. «Правду», 27 дек. 1934.
(обратно)
184
51. См. там же.
(обратно)
185
52. «Как готовился Московский процесс» в «Соц. вестнике» № 1–2, янв. 1937.
(обратно)
186
53. Там же.
(обратно)
187
54. Там же.
(обратно)
188
55. «Дело Зиновьева», стр. 74.
(обратно)
189
56. См. «Дело Бухарина», стр. 492.
(обратно)
190
57. См. там же, стр. 492.
(обратно)
191
58. «Правда», 17 дек. 1934.
(обратно)
192
59. «Правда», 22 дек. 1934.
(обратно)
193
60. См. «Правду», 22 дек. 1934.
(обратно)
194
61. XI съезд РКП[б], Стеногр. отчет, Москва 1961, стр. 847 (биогр. справка).
(обратно)
195

62. Ленин, Собр. соч., т. 44, Москва 1964, стр. 624.
(обратно)
196
63. См. «Бюллетень оппозиции» № 52–53, стр. 11.
(обратно)
197
64. Ciliga, p. 282.
(обратно)
198
65. Lermolo, p. 245.
(обратно)
199
66. Gustav Herling, *A World Apart*, New York, 1951, p. 123.
(обратно)
200
67. «Правда», 30 дек. 1934.
(обратно)
201
68. «Правда», 27 дек. 1934.
(обратно)
202
69. Там же.
(обратно)
203
70. См., например, Lermolo, pp. 46–48.
(обратно)
204
71. Там же, стр. 45–46.
(обратно)
205
72. «Правда», 30 дек. 1934.
(обратно)
206
73. «Дело Зиновьева», стр. 145.
(обратно)
207
74. V. Petrov, *It Happens in Russia*, London, 1951, p. 31.
(обратно)
208
75. См. «Правду», 16 янв. 1935.
(обратно)
209
76. Deutscher, Stalin, p. 357.
(обратно)
210
77. «Дело Зиновьева», стр. 142.
(обратно)
211
78. Там же, стр. 47.
(обратно)
212
79. Там же, стр. 147–8.
(обратно)
213
80. Там же, стр. 143.
(обратно)
214
81. Там же, стр. 145.
(обратно)
215
82. «Правда», 29 марта 1937.
(обратно)
216
83. «Правда», 24 янв. 1935.
(обратно)
217
84. «Дело Бухарина», стр. 494.
(обратно)
218
85. Orlov, p. 23–24.
(обратно)
219
86. Там же, стр. 22.
(обратно)
220
87. Victor Kravchenko, *I Chose Yustice*, London, 1950, p. 260. (Оценку этого источника см. прил. 8).
(обратно)
221
88. Orlov, pp. 21–22.

(обратно)
222
89. V. Petrov, p. 185.
(обратно)
223
90. W. Krivitsky, I Was Stalin's Agent, London, 1940, p. 206.
(обратно)
224
91. V. Petrov, p. 185.
(обратно)
225
92. Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС, стр. 19.
(обратно)
226
93. «Дело Зиновьева», стр. 58, см. также стр. 29 и 161.
(обратно)
227
94. V. Petrov, p. 256–257.
(обратно)
228
95. Fainsod, p. 422.
(обратно)
229
1. Weissberg, Conspiracy of Silence, p. 507,
(обратно)
230
3. Милован Джилас, «Разговоры со Сталиным», Изд. «Посев», Франкфурт 1970, стр. 58-9.
(обратно)
231
4. Abramovitch, The Soviet Revolution, p. 416.
(обратно)
232
5. F. Beck and W. Godin, Russian Purge and the Extraction of Confession, London, 1951, p. 227.
(обратно)
233
6. Bernard Roeder, Kaforga: an Aspect of Modern Slavery, London, 1958, p. 196.
(обратно)
234
7. Koestler, Darkness at Noon, London, 1940, pp. 23–24.
(обратно)
235
7. Этот вопрос отлично освещен в главах 24 и 25 в работе: Bertram D. Wolfe, Three Who Made a Revolution, New York, 1948, and London, 1966.
(обратно)
236
8. В письме к Горькому в 1913 г. См. Ленинский сборник 1, стр. 134.
(обратно)
237
9. Souvarine, Staline, p. 267–9.
(обратно)
238
10. Там же, стр. 446.
(обратно)
239
11. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 29.
(обратно)
240
12. Там же, стр. 59.
(обратно)
241
13. Токаев, Stalin Means war, London, 1951, p. 115.
(обратно)
242
14. Илья Эренбург, Собр. соч. т. 9, стр. 714 («Люди, годы, жизнь», кн. 6, гл. 30).
(обратно)
243
15. Джилас, «Разговоры», стр. 183.
(обратно)
244
16. Воспоминания Иосифа Иремашвили; не изданы; цитируются у Wolfe, Three Who Made a Revolution, p. 508.
(обратно)
245
17. Аллилуева, «20 писем к другу», стр. 103 и сл. Письмо 9; Varmine, pp. 263-4; Orlov, pp. 316-8.
(обратно)
246
18. Аллилуева, стр. 108 (Письмо 10).
(обратно)
247
19. Там же, стр. 108.
(обратно)

248

20. Orlov, *The Secret History of Stalin's Crimes*, pp. 314-25.

(обратно)

249

21. Аллилуева, стр. 51-2, 123.

(обратно)

250

22. Токаев, *Stalin Means War*, p. 128.

(обратно)

251

23. Там же, стр. 120; Аллилуева, стр. 197 и сл. (Письмо 19).

(обратно)

252

24. Varmine, п. 267; Аллилуева, стр. 24 и сл. (Письмо 3).

(обратно)

253

25. Souvarine, pp. 228-9.

(обратно)

254

26. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 49–50. Приведенные Хрущевым цитаты см. «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», Москва, 1948, стр. 105, 240, 231 и 232.

(обратно)

255

27. Varmine, p. 305.

(обратно)

256

28. Троцкий, «Моя жизнь», т. 2, стр. 255. Несколько выше (стр. 241) Троцкий говорит, что «как высшее выражение аппаратной посредственности и поднялся Сталин».

(обратно)

257

29. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 52.

(обратно)

258

30. Deutscher, *Stalin*, p. 290.

(обратно)

259

31. См. Лукас в приуроченном к XXII съезду КПСС специальном выпуске журнала *Nuovi Argomenti*, окт. 1961.

(обратно)

260

32. Джилас, «Новый класс», Нью-Йорк, 1958, стр. 156.

(обратно)

261

33. Аллилуева, стр. 29 (Письмо 3).

(обратно)

262

34. Deutscher, *Stalin*, pp. 8, 14, 17–19, 23–24.

(обратно)

263

35. Джилас, «Новый класс», стр. 156.

(обратно)

264

36. Varmine, p. 161.

(обратно)

265

37. Джилас, «Разговоры», стр.59

(обратно)

266

38. Троцкий, «Сталин», гл. XI «Междущарствие». (Русского издания этой работы нет. В авторизованном французском переводе [Leon Trotsky, *Staline*, Paris, 1948] его можно найти на стр. 498).

(обратно)

267

39. Устное сообщение проф. Т. Самуэли автору.

(обратно)

268

40. И. Эренбург, «Новый мир» № 5, 1962, стр. 152 («Люди, годы, жизнь»).

(обратно)

269

41. В книге «Михаил Кольцов, каким он был», составитель Н. Беляев, Москва, 1965, стр. 71.

(обратно)

270

42. В. Vazhanov, *Stalin der rote Diktator*, s. 21.

(обратно)

271

43. Varmine, p. 257.

(обратно)

272

44. Константин Симонов, «Солдатами не рождаются», Москва, 1964, стр. 681.

(обратно)

273

45. Троцкий, «Моя жизнь», т. 2, стр. 184.
(обратно)
274
46. Сталин, Собр. соч., т. 7, Москва, 1947, стр. 15 и «Рабочая газета», № 17, 21 янв. 1925.
(обратно)
275
47. Джилас, «Разговоры».
(обратно)
276
48. Н. К. Черкасов, «Записки советского актера», Москва, 1953, стр. 380–381. По словам С. М. Дубровского («Вопросы истории», № 8, август 1956, стр. 128), «Записки» Н. К. Черкасова были подготовлены к изданию при жизни И. В. Сталина. Никаких возражений ни со стороны последнего, ни со стороны лиц (Молотова, Жданова), присутствовавших при указанной беседе, не последовало. Очевидно, изложение беседы считалось правильным.
(обратно)
277
49. Adolf Hitler, *Mein Kampf*, 3-е изд., Мюнхен, 1928, т. 1, стр. 123.
(обратно)
278
50. Сталин, Собр. соч., т. 2, Москва, 1936, стр. 50–51. («Лондонский съезд Российской социал-демократической партии. Записки делегата».)
(обратно)
279
51. «Суд идет», глава 1. См. «Фантастический мир Абрама Терца», Нью-Йорк, 1966, стр. 201.
(обратно)
280
52. «Правда», 1 июля 1950. (Отчет объединенной сессии Академии Наук и Академии Медицинских Наук).
(обратно)
281
53. *Souvarine*, p. 250.
(обратно)
282
54. См. так называемое «Завещание» Ленина (Собр. соч., т. 45, стр. 346). «Добавление к письму (к съезду) от 24 дек. 1922 г.», а также его письмо Троцкому от 5-го марта 1923 г. (Собр. соч., т. 54, стр. 329–330).
(обратно)
283
55. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 8.
(обратно)
284
56. George Kennan in the Introduction to V. I. Nicolaevsky's, *Power and the Soviet Elite*, 1965, p. XVII.
(обратно)
285
57. Аллилуева, стр. 54–55 (Письмо 5).
(обратно)
286
58. Эренбург, Собр. соч., т. 9, стр. 708 («Люди, годы, жизнь», кн. 6, гл. 30).
(обратно)
287
59. Humphrei Slater, *The Nerefics*, Лондон, 1946.
(обратно)
288
60. Константин Симонов, «Солдатами не рождаются», стр. 676.
(обратно)
289
61. Там же, стр. 674.
(обратно)
290
62. XXII съезд КПСС, Стенографический отчет, т. 2, стр. 587 (заключительное слово Хрущева) и «Правда», 29 окт. 1961.
(обратно)
291
63. V. Petrov, *It Happens in Moscow*, pp. 122 ff.
(обратно)
292
64. См. БСЭ, 3-е изд., М., 1973, т. 11, стр. 1 24, статья «Кавтарадзе С. Н.»
(обратно)
293
65. См. БСЭ, 2-е изд., Москва, т. 26, стр. 545 (статья «Махарадзе»). См. также Л. П. Берия. «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье», 9-е изд., Москва, 1952, глава IV, в частности стр. 230, 233, 240, 245.
(обратно)
294
66. *Varmine*, p. 257.
(обратно)
295
67. Dallin and Nicolaevsky, p. 19.
(обратно)
296
1. L. Schapiro, *The Communist Party of the Soviet Union*, London, 1960, p. 402; см. также Tokaev, *Betrayal of an Ideal*, p. 248; B. Nicioievsky, *Power and the Soviet Elite*, 1965, p. 66.
(обратно)
297
2. См. в «Правде», 24 января 1935.

(обратно)
298
3. «Дело Бухарина», стр. 536–537.
(обратно)
299
4. Там же, стр. 537.
(обратно)
300
5. Там же, стр. 474.
(обратно)
301
6. «Социал. вестник» № 1–2 (Париж), 17 янв. 1937, стр. 19–20. «Как готовился Московский процесс. Из письма старого большевика» (Окончание).
(обратно)
302
7. См. напр. «Открытое письмо А. М. Горькому» писателя Ф. Панфоро-ва в «Правде», 28 янв. 1935.
(обратно)
303
8. Orlov, *The Secret History of Stalin's Crimes*, p. 216.
(обратно)
304
9. См. «Правду», 1 марта 1935.
(обратно)
305
10. См. «Правду», 9 марта 1935.
(обратно)
306
11. Fainsod, *Smolensk under Soviet Rule*, p. 58.
(обратно)
307
12. Там же, стр. 374.
(обратно)
308
13. Там же, стр. 57.
(обратно)
309
14. Там же, стр. 57–58, 223.
(обратно)
310
15. Там же, стр. 223.
(обратно)
311
16. Там же, стр. 229–30.
(обратно)
312
17. Там же, стр. 224.
(обратно)
313
18. Там же, стр. 58.
(обратно)
314
19. Уголовное законодательство СССР и Союзных Республик. Сборник (Основные законодательные акты) под ред. проф. Д. С. Кареева, Москва, 1957, стр. 48.
(обратно)
315
20. А. Пионтковский и В. Меньшагин «Курс советского уголовного права», Особая часть, т. 1, Москва, 1955, стр. 155.
(обратно)
316
21. Во время войны это было распространено шире и введены наказания «по страшной статье, каравшей родственников тех, кто сдался в плен». Аллилуева «Двадцать писем к другу», стр. 173 (Письмо 17).
(обратно)
317
22. «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. (СЗ СССР 1935 г., № 1 9, стр. 1 55). См. «Уголовное Законодательство СССР...» Сборник... под ред. Д. С. Кареева, М. 1957, и «Правду», 8 апр. 1935.
(обратно)
318
23. Orlov, p. 53.
(обратно)
319
24. Б. Николаевский в «Социал. вестнике» (Нью-Йорк) май-июнь 1962, стр. 63–66, «А. С. Енукидзе, его „преступление“ и его реабилитация». Letmolo, *Face of the Victim*, pp. 225–7; (см. также 206–207).
(обратно)
320
25. «Бюллетень оппозиции» № 47; Deutscher, *The Prophet Outcast*, p. 357; Frederic Adler, *The Witchcraft Trial in Moscow*, London, 1936, p. 26.
(обратно)
321
26. Ciliga, *The Russian Enigma*, p. 283; Krivitsky, *J Was Stalin's Agent*, pp. 182–3.
(обратно)
322

27. «Дело Бухарина», стр. 374.
(обратно)
323
28. Ленин, Собр. соч., т. 53, стр. 490 (биограф. справка).
(обратно)
324
29. «Дело Бухарина», стр. 373–374.
(обратно)
325
30. «Социал. вестник» (Париж), № 1–2, 17 янв. 1937, стр. 22 «Как готовился Московский процесс. Из письма старого большевика».
(обратно)
326
31. См. «Правду», 26 мая 1935.
(обратно)
327
32. Л. Шаумян в «Правде», 19 мая 1962 (статья «Стойкий большевик. К 85-летию со дня рождения А. С. Енукидзе»).
(обратно)
328
33. А. Мельчин, «Станислав Косиор», Москва, стр. 71.
Последнее верно, только если гены, отвечающие за эти признаки распложены на разных хромосомах.

(обратно)
329
34. «Правда», 8 июня 1935.
(обратно)
330
35. «Правда», 16 июня и 19 июня 1935.
(обратно)
331
36. Orlov, pp. 310-11.
(обратно)
332
37. Orlov, p. 312.
(обратно)
333
38. Letmolo, pp. 121, 259-60.
(обратно)
334
39. См. «Правду», 28 июня 1935, «О перестройке работы комсомола» Доклад тов. А. В. Косарева на XI Пленуме ЦК ВЛКСМ IX созыва.
(обратно)
335
40. См. «Дело Зиновьева», стр. 174.
(обратно)
336
41. Ciliga, p. 283.
(обратно)
337
42. См. «Правду», 7 февр. 1935, «Постановление VII съезда Советов Союза ССР о внесении некоторых изменений в Конституцию Союза ССР».
(обратно)
338
43. Niscoiaevsky, Power and the Soviet Elite, p. 22.
(обратно)
339
44. Там же, стр. 14–16.
(обратно)
340
45. См. «Социал. вестник» (Париж), № 1–2, янв. 1937 «Как готовился Московский процесс», стр. 23.
(обратно)
341
46. Orlov, p. 73.
(обратно)
342
47. Там же, стр. 89.
(обратно)
343
48. «Дело Зиновьева», стр. 24.
(обратно)
344
49. Orlov, p. 73.
(обратно)
345
50. См. Soviet Affairs, № 1 (St. Antony Papers), p. 13.
(обратно)
346
51. Orlov, p. 123.
(обратно)
347
52. Там же, стр. 338-51.
(обратно)

348
53. А. Я. Вышинский, «Судоустройство в СССР», Москва, 1936, стр. 24.
(обратно)
349
54. Oglov, p. 82–84.
(обратно)
350
55. Там же, стр. 73.
(обратно)
351
56. Там же, стр. 119.
(обратно)
352
57. «Дело Зиновьева», стр. 97.
(обратно)
353
58. См. статью «Убийство Кирова», подписанную «Иван Иванов» в «Социал. вестнике», март 1951, стр. 68–69.
(обратно)
354
59. «Дело Пятакова», стр. 40 (англ. изд.), 33 (русск. изд.).
(обратно)
355
60. Oglov, pp. 110–111.
(обратно)
356
61. Daniels, *The Conscience of the Revolution*, p. 170.
(обратно)
357
62. Oglov, p. 109.
(обратно)
358
63. «Дело Зиновьева», стр. 158.
(обратно)
359
64. В. Кривицкий в «Социал. вестнике» № 8, 29 апр. 1938, стр. 6–7 «Из воспоминаний советского коммуниста» (продолжение).
(обратно)
360
65. «Дело Зиновьева», стр. 13, 31.
(обратно)
361
66. Там же, стр. 33.
(обратно)
362
67. Oglov, p. 86.
(обратно)
363
68. G. A. Tokaev, *Comrade X*, London, 1956, pp. 56–57.
(обратно)
364
69. Oglov, p. 130.
(обратно)
365
70. Статья «Убийство Кирова» в «Социал. вестнике», март 1951.
(обратно)
366
71. Oglov, pp. 129–130.
(обратно)
367
72. Там же, стр. 124.
(обратно)
368
73. «Социал. вестник» (Париж), № 1–2, янв. 1937 («Как подготовлялся Московский процесс»).
(обратно)
369
74. См. «Дело Бухарина», стр. 451; см. также БСЭ, 2-е изд., г. XII, Москва, 1952, стр. 244, 259 (статья «Горький»).
(обратно)
370
75. Oglov, p. 131.
(обратно)
371
76. Доклад Хрущева на закр. заседании XX съезда КПСС, стр. 239
(обратно)
372
77. Krivitsky, *I Was Stalin's Agent*, p. 204.
(обратно)
373
78. Oglov, p. 58; см. также «Правду», 24 марта 1937.
(обратно)
374

79. Fainsod, p. 234.
(обратно)
375
80. Orlov, p. 115–16.
(обратно)
376
81. В. Кривицкий, «Из воспоминаний советского коммуниста». 5. «За кулисами московских процессов», «Социалистический вестник» № 8, 29 апреля 1938, Париж, стр. 7.
(обратно)
377
82. «Дело Зиновьева», стр. 159.
(обратно)
378
83. Orlov, p. 117.
(обратно)
379
84. Статья «Убийство Кирова» в «Социал. вестнике», март 1951, стр. 69.
(обратно)
380
85. Там же.
(обратно)
381
86. См. «Дело Бухарина», стр. 491.
(обратно)
382
87. Orlov, p. 149.
(обратно)
383
88. «Социал. вестник» (Париж), № 1–2, янв. 1937 («Как подготовлялся Московский процесс»).
(обратно)
384
89. Там же.
(обратно)
385
90. Orlov, p. 162.
(обратно)
386
91. Там же, стр. 163.
(обратно)
387
92. См. об этом свидетельство Орлова (Secret History of Stalin's Crimes, p. 174) и В. и Е. Петровых в их книге Empire of Fear, London, 1956, p. 45, 66-7.
(обратно)
388
93. Никитченко упоминается также в воспоминаниях генерала Горбатова, по свидетельству которого он, по-видимому, был председателем суда, осудившего Горбатова. См. «Новый мир» № 4, 1964, стр. 122. В отдельном издании книги Горбатова, «Годы и войны», Москва, 1965, стр. 134, это упоминание упущено. Никитченко умер в 1967 году, не понеся никакой ответственности за свою деятельность в период сталинского террора.
(обратно)
389
94. Доклад Хрущева на закр. заседании XX съезда КПСС, стр. 27-8.
(обратно)
390
95. XXII съезд, Стеногр. отчет, Москва, 1961, т. 2, стр. 404.
(обратно)
391
96. См. «Правду», 3 апр. 1964, стр. 7 (Доклад М. А. Суслова на Пленуме ЦК КПСС 14 февраля 1964 года).
(обратно)
392
97. См. Nova Mysl, № 7, 10 июля 1968.
(обратно)
393
98. Orlov, p. 168–9.
(обратно)
394
99. «Дело Зиновьева», стр. 11.
(обратно)
395
100. Там же, стр. 39.
(обратно)
396
101. Там же, стр. 34.
(обратно)
397
102. Там же, стр. 40–41.
(обратно)
398
103. См. Victor Serge, De Lenine a Staline, Paris, Le Crapouillot, numero special, Janvier, 1937, p. 53.
(обратно)

399

104. «Дело Зиновьева», стр. 151.

(обратно)

400

105. Там же, стр. 51.

(обратно)

401

106. Там же, стр. 58.

(обратно)

402

107. Там же, стр. 61.

(обратно)

403

108. Там же, стр. 61.

(обратно)

404

109. Там же, стр. 145.

(обратно)

405

110. Там же, стр. 63.

(обратно)

406

111. Там же, стр. 63–64.

(обратно)

407

112. Там же, стр. 66.

(обратно)

408

113. Там же, стр. 54.

(обратно)

409

114. Там же, стр. 67.

(обратно)

410

115. Там же, стр. 68.

(обратно)

411

116. Там же, стр. 70.

(обратно)

412

117. Там же, стр. 81.

(обратно)

413

118. Там же, стр. 72.

(обратно)

414

119. Там же, стр. 77–78.

(обратно)

415

120. Там же, стр. 85.

(обратно)

416

121. Там же, стр. 81.

(обратно)

417

122. Там же, стр. 154.

(обратно)

418

123. Там же, стр. 153.

(обратно)

419

124. Isaac Don Levine, *The Mind of an Assassin*, New York, 1959, p. 26.

(обратно)

420

125. «Правда», 21 авг. 1936.

(обратно)

421

126. *Sozialdemokraten*, 1 сент. 1936.

(обратно)

422

127. *Not Guilty! Report of the Commission*, New York, 1937, p. 85. (Книга представляет собой отчет объединенной следственной комиссии, учрежденной в марте 1937 г. под председательством знаменитого американского философа Джона Дьюи, с целью рассмотрения вопроса о вине Льва Троцкого и его сына Льва Седова. Описание работы этой комиссии можно найти также в томе 3 трилогии «Троцкий»: Isaac Deutscher, *The Prophet Outcast*, pp. 371–393).

(обратно)

423

128. *Orlov*, pp. 70–71.

(обратно)

424

129. «Дело Зиновьева», стр. 103.
(обратно)
425
130. Там же, стр. 103.
(обратно)
426
131. Там же, стр. 1 07.
(обратно)
427
132. Там же, стр. 104.
(обратно)
428
133. Там же, стр. 105.
(обратно)
429
134. Там же, стр. 147.
(обратно)
430
135. В опубликованной, имеющейся у нас английской (см. выше) стенограмме процесса нет показаний, указывающих на какое-либо соучастие Пятакова. Однако в опубликованном варианте стенограммы показания, по-видимому, даны в сокращенном виде.
(обратно)
431
136. «Дело Зиновьева», стр. 115–116.
(обратно)
432
137. Там же, стр. 119.
(обратно)
433
138. Там же, стр. 120.
(обратно)
434
139. Там же, стр. 128.
(обратно)
435
140. Там же, стр. 152-3.
(обратно)
436
141. Там же, стр. 163.
(обратно)
437
142. См. Orlov, p. 147.
(обратно)
438
143. «Дело Зиновьева», стр. 166.
(обратно)
439
144. Там же, стр. 166.
(обратно)
440
145. См. Orlov, pp. 175-6.
(обратно)
441
146. «Дело Зиновьева», стр. 171.
(обратно)
442
147. Там же, стр. 171.
(обратно)
443
148. Там же, стр. 172.
(обратно)
444
149. Serge, De Lenine a Staline, pp. 50–51.
(обратно)
445
150. Там же, стр. 50.
(обратно)
446
151. Weissberg, Conspiracy of Silence, p. 526.
(обратно)
447
152. Ленин, Собр. соч., т. 45, Москва, 1963, стр. 655.
(обратно)
448
153. Об этом сообщает Петр Якир в письме от 2 марта 1969 г. в редакцию журнала «Коммунист» (См. «Посев», № 5, май 1969).
(обратно)
449
154. Margarete Buber-Neumann, A/s Getangene Bei Stalin und Hitler, Munchen, 1949, ss. 141, 148, 152.
(обратно)
450

155. «Социал. вестник» (Париж), № 1–2, янв. 1937, стр. 24 («Как подготовлялся Московский процесс»)
(обратно)
451
156. Светлана Аллилуева, «Только один год», Нью-Йорк, 1970, стр. 176.
(обратно)
452
157. «Дело Зиновьева», стр. 19.
(обратно)
453
158. Georgi Dimitrov, Selected Articles, Eng. ed., London, 1951, pp. 22–23, 203.
(обратно)
454
159. «Дело Зиновьева», стр. 55.
(обратно)
455
160. Там же, стр. 20.
(обратно)
456
161. Там же, стр. 31.
(обратно)
457
162. Там же, стр. 33.
(обратно)
458
163. Там же, стр. 59.
(обратно)
459
164. Там же, стр. 67.
(обратно)
460
165. См. Orlov, p. 179.
(обратно)
461
166. Deutscher, The Prophet Outcast, pp. 416-18.
(обратно)
462
167. Dallin, Forced Labor, p. 39.
(обратно)
463
1. См. «Дело Зиновьева»: Каменев — стр. 170; Пикель — стр. 168; Гольцман — стр. 172; Мрачковский — стр. 166.
(обратно)
464
2. Beck and Godin, The Russian Purge and Extraction of Confessions, p. 38.
(обратно)
465
3. Авторханов, «Технология власти», стр. 136.
(обратно)
466
4. Abramovich, The Soviet Revolution, p. 416
(обратно)
467
5. Nisoliaevsky, Power and the Soviet Elite, p. 25.
(обратно)
468
6. XIII съезд РКП[б], Стеногр. отчет, Москва, 1963, стр. 158-9.
(обратно)
469
7. См. «Правду», 29 февр. 1928.
(обратно)
470
8. Н. Валентинов (Н. В. Вольский) в «Новом журнале» (Нью-Йорк), № 52, 1958 (стр. 140-61). («Суть большевизма в изложении Ю. Пятакова»)
(обратно)
471
9. Валентинов, там же, стр. 150-3.
(обратно)
472
10. Ciliga, The Russian Enigma, p. 75.
(обратно)
473
11. Там же, стр. 85.
(обратно)
474
12. Arthur Koestler, Arrow in the Blue, vol. 2, London, 1945, p. 155.
(обратно)
475
13. Ciliga, p. 255.
(обратно)
476
14. Сталин, Собр. соч., т. 5, Москва, 1947, стр. 382 («О статье Сапронова»).

(обратно)
477
15. См. «Правду», 18 янв. 1924.
(обратно)
478
16. «Социал. Вестник» (Берлин), № 2, 1924, стр. 5 (сноска).
(обратно)
479
17. XIV съезд ВКП[б], Стеногр. отчет, Москва-Ленинград, 1926, стр. 274.
(обратно)
480
18. Там же, стр. 186.
(обратно)
481
19. Сталин, Собр. соч. т. 10, Москва, 1953, стр. 190 («Троцкистская оппозиция прежде и теперь»).
(обратно)
482
20. Троцкий в «Большевике», № 16, 1925 («По поводу книги Истмена»).
(обратно)
483
21. Souvarine, Staline, p. 408. В собр. соч. Сталина сохранился лишь отзвук этой полемики в закл. слове Сталина на VII Пленуме ИККИ (т. 9, стр. 77).
(обратно)
484
22. XIV съезд ВКП[б], стр. 856.
(обратно)
485
23. Angelica Balabanoff, Impressions of Lenin, 1964, p. 88.
(обратно)
486
24. XV съезд ВКП[б], Стеногр. отчет, т. 1, Москва, 1961, стр. 280-1.
(обратно)
487
25. XIII съезд РКП[б], стр. 106 (отчет ЦК).
(обратно)
488
26. XV съезд ВКП[б], Стеногр. отчет, т. 2, М., 1961, стр. 1417.
(обратно)
489
27. «Дело Зиновьева», стр. 133.
(обратно)
490
28. См. «Правду», 16 июня 1933.
(обратно)
491
29. «Социал. вестник», № 1–2, 1937, стр. 22 «Как подготовлялся Московский процесс».
(обратно)
492
30. Евгения Гинзбург «Крутой маршрут», Франкфурт, 1967, стр. 137.
(обратно)
493
31. Koestler, Darkness at Noon, p. 242.
(обратно)
494
32. Beck and Godin, p. 86.
(обратно)
495
33. Там же.
(обратно)
496
34. Koestler, Arrow in the Blue, vol. 2, p. 394.
(обратно)
497
* По замыслу Кестлера, Рубашов представляет из себя смесь Бухарина (мировоззрение и образ мыслей) с Троцким и Рыковым (характер, личные качества и внешний облик).
(обратно)
498
35. См. напр. показания А. Таирова перед французской «Commission Interrogatoire» (Report of the Dewey Commission, p. 370).
(обратно)
499
36. Koestler, Darkness at Noon, p. 183.
(обратно)
500
37. «Дело Бухарина», стр. 687-8.
(обратно)
501
38. Orlov, The Secret History of Stalin's Crimes, p. 117–18.
(обратно)
502

39. Serge, De Lenine a Staline, p. 50.
(обратно)
503
40. Orlov, p. 145–6.
(обратно)
504
41. Там же, стр. 149.
(обратно)
505
42. Ciliga, p. 283.
(обратно)
506
43. «Дело Пятакова», стр. 204.
(обратно)
507
44. XXII съезд КПСС, т. 2, стр. 588 (закл. слово Хрущева).
(обратно)
508
45. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 29.
(обратно)
509
46. Victor Kravchenko, I Chose Justice, 1951, p. 252–4.
(обратно)
510
47. Там же, стр. 169.
(обратно)
511
48. Там же, стр. 154.
(обратно)
512
49. Lermolo, Face of a Victim, p. 44.
(обратно)
513
50. Kravchenko, p. 169–70.
(обратно)
514
51. Токаев, Betrayal of an Ideal, p. 264–6.
(обратно)
515
52. Margarete Buber-Neumann, Als Gef ange bei Stalin und Hitler, Munchen, 1950, s. 42; P. В. Иванов-Разумник, Тюрьмы и ссылки, изд. им. Чехова, 1953, стр. 254; Гинзбург, стр. 125.
(обратно)
516
53. Иванов-Разумник, стр. 274.
(обратно)
517
54. Там же, стр. 285.
(обратно)
518
55. Там же, стр. 279-80; см. также Гинзбург, стр. 155, 160.
(обратно)
519
56. Иванов-Разумник, стр. 283.
(обратно)
520
57. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 47-8.
(обратно)
521
58. См. Примечания Бориса Николаевского к первому изданию доклада Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС («The Crimes of the Stalin Era», the New Leader edition of Khrushchev's Secret Speech, note 37).
(обратно)
522
59. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 30.
(обратно)
523
60. А. В. Горбатов, «Годы и войны», Москва, 1965, стр. 130.
(обратно)
524
61. Там же, стр. 127.
(обратно)
525
62. Иванов-Разумник, стр. 82–83.
(обратно)
526
63. См. «Советское государство и право» № 3, март 1965 (статья «Об извращениях Вышинского в теории советского права и практике»).
(обратно)
527
64. Weisberg, Conspiracy of Silence, p. 236.
(обратно)

528

65. Antoni Ekart, *Vanished without a Trace*, 1954, p. 175.

(обратно)

529

66. Гинзбург, стр. 85–90.

(обратно)

530

67. «Дело Бухарина», стр. 229.

(обратно)

531

68. В. Душенькин, «От солдата до маршала», Москва, 1 964, стр. 223 (изд. третье. В первых изданиях эта фраза опущена).

(обратно)

532

69. Beck and Godin, pp. 53-4.

(обратно)

533

70. Иванов-Разумник, стр. 278-9.

(обратно)

534

71. Weissberg, pp. 233, 236.

(обратно)

535

72. Там же, стр. 295.

(обратно)

536

73. Там же, стр. 386-8.

(обратно)

537

74. Там же, главы VIII и IX.

(обратно)

538

75. Beck and Godin, p. 71.

(обратно)

539

76. El Campesino, *Listen, Comrades!* London, 1952, p. 132.

(обратно)

540

77. Z. Stypulkowski, *Invitation to Moscow*, London, 1951, Chap. XII–XIV.

(обратно)

541

78. Arthur London, *L'Aveu*, Paris, 1969.

(обратно)

542

79. Evzen Loebel und Dusan Pokorny, *Die Revolution Rehabilitiert Ihre Kinder*, Wein, 1968, s. 14–21.

(обратно)

543

80. Ciliga, p. 154.

(обратно)

544

81. Orlov, p. 54.

(обратно)

545

82. Z. Stypulkowski, p. 242.

(обратно)

546

83. См. XXII съезд, т. 2, стр. 587 (закл. слово Хрущева).

(обратно)

547

84. — Предисловие к книге Вайсберга *Conspiracy of Silence*, pp. XI–XII.

(обратно)

548

85. Kravchenko, *I Chose Freedom*, pp. 289-90.

(обратно)

549

86. Иванов-Разумник, стр. 283.

(обратно)

550

87. Точно так же (как официально сообщалось в 1968 году) целый ряд видных обвиняемых по делу Сланского в Праге не был выведен в зал суда, потому что «они не хотели вести себя, как следует в суде»: из 50-ти или 60-ти имевшихся налицо партийных руководителей суд воспользовался только четырнадцатью (См. *Nova Mysl, Praha*), № 7, 10. 7. 1968.

(обратно)

551

88. См. приложение к новейшим изданиям стенографических отчетов ранних партийных съездов и конференций, изд. 5-е полного собрания сочинений Ленина и ряд других работ, в том числе «История гражданской войны» (М. 1960), «Партия в период гражданской войны и иностранной военной интервенции» (М. 1962), «Таков был Ленин» (М. 1964) и др.

(обратно)

552

89. H. Kostiuk, *Stalinist Rule in the Ukraine*, Munich, 1960, p. 118, note 18.

(обратно)

553

90. Weissberg, p. 415.

(обратно)

554

91. Там же, стр. 352-5.

(обратно)

555

92. «Новая жизнь», 8 июня 1918 (См. также статью Y. E. Scott, «The Cheka», *Soviet Affairs*, № 1, p. 8).

(обратно)

556

94. Kravchenko, *I Chose Freedom*, p. 169–172.

(обратно)

557

93. Н. В. Жогин в «Советском государстве и праве», № 3, 1965 («Об извращениях Вышинского в теории советского права и практике»), стр. 29.

(обратно)

558

1. «Соц. вестник» № 23–24, 22 дек 1936, стр. 20 («Как подготавливался Московский процесс». Из «Письма старого большевика»).

(обратно)

559

2. См. «Дело Пятакова», англ. изд., стр. 202, 214; русск. изд. стр. 93. (В дальнейшем стр. «Дела Пятакова» в этой главе даются дробью: англ. русск., в данном случае: 202, 214/93).

(обратно)

560

3. См. там же, стр. 561 241

(обратно)

561

4. См. там же, стр. 167/—.

(обратно)

562

5. См «Правду», 28 авг. 1936.

(обратно)

563

6. См. «Правду», 1 сент. 1936.

(обратно)

564

7. См. «Соц. вестник» № 1–2, янв. 1937 («Как подготавливался Московский процесс»).

(обратно)

565

8. См. «Дело Пятакова», стр. 17 20.

(обратно)

566

9. А. Авторханов в «Посеве», 5 ноября 1950 («Покорение партии»), он же: Alexander Uralov, *The Reign of Stalin*, London, 1959, p. 223.

(обратно)

567

10. Напр Schapiro, *The Communist Party of Soviet Union*, p. 415. Пожалуй, стоит заметить, что в 1935 году состоялись четыре официально объявленных пленума ЦК, а в 1937 году — три, в то время как в 1936 году был объявлен только один пленум, прошедший с 1 по 4 июня, Стоит заметить также, что среди сопротивлявшихся Авторханов не называет Орджоникидзе, а это дает дополнительное основание полагать, что столкновения внутри Политбюро произошли либо в ноябре, когда Орджоникидзе болел, либо на февральско-мартовском пленуме 1937 года.

(обратно)

568

11. «Дело Бухарина», стр. 117

(обратно)

569

12. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 22.

(обратно)

570

13. «Соц. вестник» № 1–2, 7 янв. 1937 («Как подготавливался Московский процесс»).

(обратно)

571

14. Orlov, *The Secret History of Stalin's Crimes*, p. 143.

(обратно)

572

15. См. «Дело Бухарина», стр. 491.

(обратно)

573

16. См. Simon Wolin and Robert M. Slusser, *The Soviet Secret Police*, New York 1957, p. 45.

(обратно)

574

17. «Дело Бухарина», стр. 491.

(обратно)

575

18. Токаев, *Betrayal of an Ideal*, pp. 249-50.

(обратно)

576

19. См. «Социалистический вестник» № 1–2, янв. 1937 («Моск. процесс»).

(обратно)

577

20. Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС, стр. 19–20.

(обратно)

- 578
21. «Дело Бухарина», стр. 254.
(обратно)
579
22. Orlov, p. 180
(обратно)
580
23. Там же, стр. 206.
(обратно)
581
24. См. «Дело Пятакова», стр. 134-65.
(обратно)
582
25. Orlov, p. 205.
(обратно)
583
26. Pierre Broue, *Le Procès de Moscou*, Paris, 1964, p. 276.
(обратно)
584
27. Weissberg, *Conspiracy of Silence*, p. 56.
(обратно)
585
28. Orlov, p. 189.
(обратно)
586
29. Там же, стр. 187-9
(обратно)
587
30. Н. В. Жогин в «Советском государстве и праве» № 3, 1965, стр. 24. («Об извращениях Вышинского в теории советского права и практике»)
(обратно)
588
31. См. «Дело Пятакова», стр. 287/—.
(обратно)
589
32. Orlov, p. 182.
(обратно)
590
33. Kravchenko, *I Chose Freedom*, p. 331
(обратно)
591
34. Weissberg, p. 232
(обратно)
592
35. Kravchenko, *I Chose Freedom*, 329-30.
(обратно)
593
36. См. «Дело Пятакова», стр. 257/105.
(обратно)
594
37. Там же, 537/—.
(обратно)
595
38. Orlov, p. 183.
(обратно)
596
39. «Правда», 30 мая 1937.
(обратно)
597
40. В «Очерках по истории Коммунистической партии Украины» (2-ое изд., Киев, 1964, стр. 466) «некая Николаенко» названа «одной из злостных клеветниц». См. также Георгий Марягин, «Постышев», Москва, 1965, стр. 294.
(обратно)
598
41. См. «Правду» 29 мая 1937.
(обратно)
599
42. См. Сталин, *Собр. соч.*, т. XIV, Станфорд 1967, стр. 240-41. (Закл. слово на Пленуме ЦК 5 марта 1937). Собрание сочинений Сталина, издававшееся в СССР, было приостановлено на т. XIII, обрывающемся статьей от 1 февр. 1934. Дополнительные т. — т. XIV, XV и XVI изданы Гуверовским Институтом в Станфорде (Калифорния).
(обратно)
600
43. Дубинский — Мухадзе, «Орджоникидзе», Москва, 1963, стр. 5.
(обратно)
601
44. «Дело Бухарина», стр. 117-18.
(обратно)
602
45. Orlov, p. 190.
(обратно)
603

46. Там же, стр. 207.
(обратно)
604
47. Там же, стр. 250.
(обратно)
605
48. См. «Правду» 30 мая 1937.
(обратно)
606
49. См. «Вісті» 1 июня 1937
(обратно)
607
50. «Дело Пятакова», стр. 401 /33.
(обратно)
608
51. *Watline*, p. 295.
(обратно)
609
52. См., напр., «Правду» 12 сент. 1936: «Реставраторы капитализма и их защитники», автор А. Васнецов.
(обратно)
610
53. Сталин, Доклад на Пленуме ЦК ВКП[б] 3 марта 1937 г.: «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и других двурушников», Собр. соч., т. XIV, Станфорд, 1967, стр. 199
(обратно)
611
54. «Дело Пятакова», стр. 9/14.
(обратно)
612
55. Там же, стр. 16/—.
(обратно)
613
56. Там же, стр. 14/18.
(обратно)
614
57. Там же, стр. 43/35.
(обратно)
615
58. Там же, стр. 48/38.
(обратно)
616
59. Там же, стр. 49/38.
(обратно)
617
60. Там же, стр. 49/38.
(обратно)
618
61. Там же, стр. 25/—.
(обратно)
619
62. — «Дело Пятакова», стр. 413/—.
(обратно)
620
63. Там же, стр. 69/—.
(обратно)
621
64. Там же, стр. 60–66/45–47.
(обратно)
622
65. *Oglov*, p. 191.
(обратно)
623
66. См. «Последние новости» (Париж) 26 июня 1939.
(обратно)
624
67. «Дело Пятакова», стр. 443/156.
(обратно)
625
68. Там же, стр. 85/—.
(обратно)
626
69. Там же, стр. 124–5/63.
(обратно)
627
70. Там же, стр. 125/—.
(обратно)
628
71. Там же, стр. 127/—.
(обратно)
629

72. Там же, стр. 129/—.
(обратно)
630
73. Там же, стр. 135/—.
(обратно)
631
74. Там же, стр. 105/—.
(обратно)
632
75. Там же, стр. 160/74 (В сокращенном газетном издании диалог здесь обрывается; в полной стенограмме процесса он продолжается. См. конец цитаты).
(обратно)
633
76. Там же, стр. 159–160/2.
(обратно)
634
77. Там же, стр. 209/91-2.
(обратно)
635
78. Там же, стр. 210/-.
(обратно)
636
79. Там же, стр. 245 —.
(обратно)
637
80. Там же, стр. 257/105.
(обратно)
638
81. Там же, стр. 258/105.
(обратно)
639
82. Там же, 283/113.
(обратно)
640
83. «Дело Пятакова», стр. 280/112.
(обратно)
641
84. Там же, стр. 288/115.
(обратно)
642
85. Там же, стр. 248/—.
(обратно)
643
86. Там же, стр. 271/109 цитируемый русский текст несколько сокращен в сравнении с английским изданием стенограммы процесса.
(обратно)
644
87. Там же, стр. 272/—.
(обратно)
645
88. Там же, стр. 229/—.
(обратно)
646
89. Там же, стр. 226/97.
(обратно)
647
90. Там же, стр. 222/96 в тексте газетного отчета последний вопрос Вышинского («Он путает?») и ответ на него Мурзлова сокращен.
(обратно)
648
91. Там же, стр. 510 —.
(обратно)
649
92. XXII съезд КПСС. Стеногр. отчет, Москва, 1961, т II, стр. 216.
(обратно)
650
93. «Дело Пятакова», стр. 220-22/95-6.
(обратно)
651
94. Там же, стр. 511/210.
(обратно)
652
95. Там же, стр. 475/178.
(обратно)
653
96. См. там же, стр. 302–330/121-8.
(обратно)
654
97. Там же, стр. 328/—.
(обратно)
655

98. Там же, стр. 566-7/245.

(обратно)

656

99. Там же, стр. 569/247-8.

(обратно)

657

100. Там же, стр. 367/137.

Последнее верно, только если гены, отвечающие за эти признаки расположены на разных хромосомах.

(обратно)

658

101. Там же, стр. 368/138 в сокращенном издании перечисление опущено.

(обратно)

659

102. Там же, стр. 365/—.

(обратно)

660

103. Там же, стр. 371-2, 378/139-40 (сокр.).

(обратно)

661

104. Там же, стр. 412/147 в сокр. изд. последняя реплика Ратайчака опущена.

(обратно)

662

105. Там же, стр. 463/168.

(обратно)

663

106. Там же, стр. 466/171.

(обратно)

664

107. Там же, стр. 480/182.

(обратно)

665

108. Там же, стр. 494/195.

(обратно)

666

109. «Дело Пятакова», стр. 474/177.

(обратно)

667

110. Там же, стр. 468/172.

(обратно)

668

111. Там же, стр. 514/212-13.

(обратно)

669

112. Там же, стр. 476-7/179.

(обратно)

670

113. Там же, стр. 489/190.

(обратно)

671

114. Там же, стр. 207/91.

(обратно)

672

115. Там же, стр. 170/76-77

(обратно)

673

116. Там же, стр. 502/202.

(обратно)

674

117. Там же, стр. 512/210-1.

(обратно)

675

118. Там же, стр. 517/—.

(обратно)

676

119. —Там же, стр. 481/183.

(обратно)

677

120. Там же, стр. 516/214.

(обратно)

678

121. Там же, стр. 517/214-15 в сокр. изд. второй абзац речи Брауде опущен.

(обратно)

679

122. Там же, стр. 541/224.

(обратно)

680

123. Там же, стр. 550/—.

(обратно)

681
124. Там же, стр. 548/229
(обратно)
682
125. Там же, стр. 543/225.
(обратно)
683
126. См. Elisabeth K. Poretsky, *Our Own People*, London, 1969, p. 198
(обратно)
684
127. Orlov, p. 212.
(обратно)
685
128. См. Walter Duranty, *The Kremlin and the People*, London, 1942, p. 73.
(обратно)
686
129. См., например: V. and E. Petrov, *Empire of Fear*, p. 69; Herling, *A World Apart*, p. 22.
(обратно)
687
130. XI съезд РКП[б], Стенографии, отчет, Москва, 1961, стр. 850 (биографическая справка).
(обратно)
688
131. См. анонимное свидетельство в книге: S. Wolin and R. Slusser, *The Soviet Secret Police*, p. 194.
(обратно)
689
132. Lermolo, *Face of a Victim*, p. 155.
(обратно)
690
133. Н. С. Хрущев, «Высокое призвание литературы и искусства», Москва, 1963, стр. 184 (Речь от 8 марта 1963).
(обратно)
691
134. «Дело Пятакова», стр. 545/227.
(обратно)
692
135. Там же, стр. 514/213.
(обратно)
693
136. Там же, стр. 353/—.
(обратно)
694
137. См. Lermolo, p. 241.
(обратно)
695
138. См. «Правду» 29 янв. 1937.
(обратно)
696
139. См. «Правду» 31 янв. 1937.
(обратно)
697
140. Kravchenko, *I Chose Freedom*, p. 239.
(обратно)
698
141. См. «Дело Пятакова», стр. 222/96 и 510/209.
(обратно)
699
142. Дубинский — Мухадзе, стр. 6 и «Известия», 22 ноября 1963.
(обратно)
700
143. XXII съезд КПСС, т. II, стр. 587.
(обратно)
701
144. Это было объявлено на суде над Багировым в 1956 году (См. «Бакинский рабочий» 27 мая 1956). Еще раньше, в ноябре 1955 года, во время суда над бывшими работниками НКВД, было выдвинуто обвинение в собирании клеветнических материалов против Орджоникидзе, а затем в организации террористических актов против членов его семьи и близких друзей, занимавших ответственные посты. (См. R. Conquest, *Power and Policy in the USSR*, London, 1961, pp. 449-53).
(обратно)
702
145. См. Kravchenko, *I Chose Freedom*, p. 254.
(обратно)
703
146. Дубинский — Мухадзе, стр. 6 и «Известия», 22 ноября 1963.
(обратно)
704
147. Там же, стр. 7 и «Известия», 22 ноября 1963.
(обратно)
705
148. Там же, стр. 7 и «Известия», 22 ноября 1963.
(обратно)
706

149. См. «Правду», 19 февр. 1937.
(обратно)
707
150. Дубинский — Мухадзе, стр. 7.
(обратно)
708
151. «Правда», 22 февр. 1937.
(обратно)
709
152. Большая Советская Энциклопедия, т. 43, Москва, 1939, стр. 286 и 299–300 (во 2-ом изд. 1955, т. 31, стр. 173 оставлена только фраза: «На посту руководителя ЦКК — РКИ, Г. К. Орджоникидзе ведет борьбу против троцкистов, зиновьевцев, буржуазных националистов всех мастей, оберегая, как зеницу ока, монолитность рядов Коммунистической партии»
(обратно)
710
153. «На рубеже», № 3–4, 1952.
(обратно)
711
154. Kravchenko, I Chose Freedom, p. 240.
(обратно)
712
155. XXII съезд КПСС, т. II, стр. 587 (закл. слово Хрущева).
(обратно)
713
156. «Бакинский рабочий», 17 июня 1962.
(обратно)
714
157. Е. Гинзбург, «Крутой маршрут», стр. 91
(обратно)
715
158. «Правда», 17 ноября 1964.
(обратно)
716
159. См., напр., Oglov, pp. 196-8.
(обратно)
717
160. Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС, стр. 48.
(обратно)
718
161. XXII съезд КПСС, т. II, стр. 587 (закл. слово Хрущева).
(обратно)
719
162. Авторханов, «Технология власти», стр. 239.
(обратно)
720
163. Oglov, p. 238.
(обратно)
721
164. «Известия», 22 ноября 1963 и Дубинский — Мухадзе, стр. 7.
(обратно)
722
165. См. «Правду», 21 февр. 1937.
(обратно)
723
166. «Дело Зиновьева», стр. 162.
(обратно)
724
167. См., напр., «Правду», 19 февр. 1937.
(обратно)
725
168. Там же, см. также БСЭ 2-ое изд., т. 31 (статья «Орджоникидзе»
(обратно)
726
169. П. И. Якир и Я. А. Геллер, «Командарм Якир», Москва, 1963, стр. 225
(обратно)
727
170. Там же, стр. 226.
(обратно)
728
171. Опубликован только доклад Сталина (См. Сталин, Собр. соч. т. XIV, Станфорд, 1967, стр. 189–224 и «Правда», 29 марта 1937). Название доклада Ежова дал Хрущев (См. его доклад на закр. заседании XX съезда, стр. 20). «Доклад Молотова о вредительстве и диверсиях», по словам Сатюкова на XXII съезде КПСС, «как и выступление Сталина... послужил теоретическим обоснованием массовых репрессий». (См. XXII съезд КПСС, т. II, стр. 352; см. также выступление Шверника, там же, стр. 216).
(обратно)
729
172. См. Kostiuk, Stalinist Rule in the Ukraine, pp. 118-22.
(обратно)
730
173. См. «Вісті», 1 февр. 1937
(обратно)

731
174. «Правда», 5 июня 1937
(обратно)
732
175. Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС, стр. 22
(обратно)
733
176. Там же, стр. 56–57 (В этом крайне сжатом изложении Хрущева несомненно смещены акценты).
(обратно)
734
177. Устные сведения, полученные автором.
(обратно)
735
178. «Правда», 6 марта 1937.
(обратно)
736
179. Так рассказывал М. М. Литвинов. См. Joseph E. Davies, *Mission to Moscow*, London, 1942, p. 172.
(обратно)
737
180. См. Н. С. Хрушев в «Правде» 17 марта 1937 («Об итогах Пленума ЦК ВКП[б]»).
(обратно)
738
181. «Дело Бухарина», стр. 313–314.
(обратно)
739
182. Uralov (Avtorkhanov), *The Reign of Stalin*, p. 118.
(обратно)
740
183. Krivitsky, p. 227.
(обратно)
741
184. См. доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда, стр. 20.
(обратно)
742
185. Krivitsky, p. 228.
(обратно)
743
186. «Правда», 26 октября 1961.
(обратно)
744
187. См. XXII съезд КПСС, т. II, стр. 216 (выст. Шверника).
(обратно)
745
188. Сталин, «Правда» 1 апреля 1937 и Собр. соч., т. XIV, Станфорд, 1967, стр. 219 (Доклад на Пленуме ЦК ВКП[б] 3 марта 1937).
(обратно)
746
189. Там же, стр. 189-90 и «Правда» 1 апреля 1937.
(обратно)
747
190. Там же, стр. 197-8 и «Правда» 1 апреля 1937.
(обратно)
748
191. Там же, стр. 221 и «Правда» 1 апреля 1937.
(обратно)
749
192. Именно это место выступления Сталина (там же, стр. 227-8) не случайно процитировано Вышинским на процессе Бухарина (См. «Дело Бухарина», стр. 551).
(обратно)
750
193. Там же, стр. 228 (закл. слово) и «Правда» 1 апреля 1937.
(обратно)
751
194. Там же, стр. 240 и «Правда» 1 апреля 1937.
(обратно)
752
195. Там же, стр. 242-3 и «Правда» 1 апреля 1937.
(обратно)
753
196. См. «Вісті», 17 марта 1937.
(обратно)
754
197. «КПСС в резолюциях» 7-ое издание, т. II, стр. 852–853. См. также «Правду», 19 января 1938.
(обратно)
755
198. См. «Правду» 19 марта 1937 (Собрание актива Киевской парторганизации).
(обратно)
756
199. См. «Правду», 29 мая 1937.
(обратно)

757
200. «Правда», 30 мая 1937.
(обратно)
758
201. «Вісті», 2 июня 1937.
(обратно)
759
202. См. доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 17.
(обратно)
760
203. Orlov, p. 221.
(обратно)
761
204. Krivitsky, p. 167.
(обратно)
762
205. Orlov, p. 222.
(обратно)
763
206. См. «Дело Бухарина», стр. 496.
(обратно)
764
207. Orlov, p. 225.
(обратно)
765
208. См. «Дело Бухарина», стр. 503.
(обратно)
766
209. Там же, стр. 504.
(обратно)
767
210. Там же, стр. 492.
(обратно)
768
211. «Правда», 4 апреля 1937
(обратно)
769
212. См. «Правду», 6 апр. 1937.
(обратно)
770
213. См. Zbigniew Brzezinski, *The Permanent Purge*, Cambridge, Mass., 1956, p. 229.
(обратно)
771
214. См. Аллилуева, «Только один год», стр. 356.
(обратно)
772
215. Жогин в «Советском государстве и праве» № 3, 1965 («Об извращениях Вышинского»), стр. 26.
(обратно)
773
216 «Социалистическая законность», № 1, 1938 (статья «Кадрь»)
(обратно)
774
217. См. «Правду», 20 янв. 1937
(обратно)
775
218. Вышинский в «Правде» 9 апр. 1937, стр. 2–3 («Против антимарксистских теорий права»)
(обратно)
776
219. См. «Вопросы истории КПСС» № 6, 1965, стр. 96.
(обратно)
777
1. «Правда», 11 июня 1937.
(обратно)
778
2. Там же, 13 июня 1937.
(обратно)
779
3. John Erickson, *The Soviet High Command*, St. Martin Press, London, 1962, p. 58.
(обратно)
780
4. Robert Sullivan, *Soviet Politics and the Ukraine 1917–1957*, New York, 1963, p. 342.
(обратно)
781
5. Маршал Советского Союза С. М. Буденный, «Пройденный путь», Москва, 1959, стр. 245.
(обратно)
782
6. В. Бонч-Бруевич, «На боевых постах Февральской и Октябрьской революций», Москва, 1930, стр. 283.
(обратно)
783

7. Sm. Trotsky, Stalin, p. 329; см. также Erickson, p. 99.
(обратно)
784
8. Deutscher, The Prophet Unarmed, p. 350,
(обратно)
785
9. А. Авторханов в «Посеве», 5 ноября 1950 («Покорение партии»); он же А. Uralov, The Reign of Stalin, p. 46; см. также Kostiuk, Stalinist Rule in the Ukraine, p. 121.
(обратно)
786
10. «Дело Бухарина», стр. 1 73,
(обратно)
787
11. P. Deriabin and F. Gibney, The SecretWorld, London, 1960, pp. -110-111.
(обратно)
788
12. «Дело Бухарина», стр 230.
(обратно)
789
13. Там же, стр. 233.
(обратно)
790
14. Там же, стр, 75.
(обратно)
791
15. Orlov, The Secret History of Stalin's Crimes, p. 242.
(обратно)
792
16. Krivitsky, I Was Stalin's Agent, p. 7.
(обратно)
793
17. И. В. Дубинский, «Наперекор ветрам», Москва, 1964, стр. 248.
(обратно)
794
18. См. «Дело Зиновьева», стр. 34.
(обратно)
795
19. Василий Гроссман, «Жизнь», Москва, 1947, стр. 44 («В городе Бердичеве»)
(обратно)
796
20. Vartine, One Who Survived, pp. 89–90.
(обратно)
797
21. См. «Дело Зиновьева», стр. 36.
(обратно)
798
22. Дубинский, стр. 249
(обратно)
799
23. «Дело Зиновьева», стр. 37.
(обратно)
800
24. «Дело Пятакова», стр. 181/81
(обратно)
801
25. Там же, стр. 94/54
(обратно)
802
26. Дубинский, стр. 249-51; см. также «Военно-исторический журнал», № 6, 1965.
(обратно)
803
27. Там же.
(обратно)
804
28. См. «Дело Зиновьева», стр. 116.
(обратно)
805
29. Vartine, p. 31 1.
(обратно)
806
30. «Герои гражданской войны», Москва, 1963, стр. 218 сообщает, что «с 1935 года до августа 1936 года Примаков находился на работе заместителя командующего войсками».
(обратно)
807
31. См. Erickson, pp. 376-7.
(обратно)
808
32. «Дело Зиновьева», стр. 22
(обратно)

809

33. Дубинский, стр. 261.

(обратно)

810

34. См. Erickson, p. 427

(обратно)

811

35. Авторханов в «Посеве» 12 ноября 1950; он же Uralov, *The Reign of Stalin*, pp. 50–51.

(обратно)

812

36. «Дело Пятакова», стр. 105/—.

(обратно)

813

37. Там же, стр. 146/—.

(обратно)

814

38. Krivitsky, p. 239.

(обратно)

815

39. П. Якир и Геллер, «Командарм Якир», стр. 224–225.

(обратно)

816

40. Сталин, Собр. соч., т. XIV, стр. 219, Стенфорд. («О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и других двурушников». Доклад на Пленуме ЦК ВКП[б], 3 марта 1937 года).

(обратно)

817

41. Ю.П.Петров, «Партийное строительство в Советской армии и флоте. Деятельность КПСС по созданию и укреплению политорганов, партийных и комсомольских организаций в вооруженных силах (1918–1961 гг.)», Военное изд. Мин. обороны СССР, Москва, 1964.

(обратно)

818

42. Там же.

(обратно)

819

43. П. Якир и Геллер, стр. 212.

(обратно)

820

44. Krivitsky, pp. 250–251; Barmine, p. 7.

(обратно)

821

45. Генерал-лейтенант Г. П. Софронов в сб. «Маршал Тухачевский», стр. 220–221.

(обратно)

822

46. Ю. П. Петров, «Партийное строительство в Советской армии и флоте», стр. 303.

(обратно)

823

47. См. Жаров и Геллер в «Военно-историческом журнале», № 4, 1964.

(обратно)

824

48. Waller Schellenberg, *Memoiren*, KfIn, 1959, s. 50. (Полному немецкому изданию предшествовало издание в Лондоне неполного английского перевода [1956], в котором приведенная справка находится на стр. 49.)

(обратно)

825

49. См «Коминтерн в документах», Москва, 1933, стр. 976; XII пленум ИККИ, стенограф, отчет, Москва-Ленинград, 1933. (Кстати сказать, сам Гитлер однажды заметил, что всегда может обратить коммуниста в нацистскую веру, но не может обратить социал-демократ а). См. Hermann Rauschnig, *Hitler Speaks*, New York, 1940, p. 134.

(обратно)

826

50. И. Эренбург, Собр. соч., т. 9, стр. 709-10 («Люди, годы, жизнь», кн. 6, гл. 30).

(обратно)

827

51. Beck and Godin, *The Permanent Purge*, p. 198.

(обратно)

828

52. Сталин, собр. соч., т. 13, стр. 302 (доклад XVII съезду ВКП[б]).

(обратно)

829

53. Krivitsky, p. 31.

(обратно)

830

54. См. Geoffrey Bailey, *The Conspirators*, London, 1961, p. 147.

(обратно)

831

55. См. Krivitsky, p. 237.

(обратно)

832

56. См. выступление майора Генштаба В. Далишева на совещании по истории Великой Отечественной войны в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 18 февр. 1966 г. (Стенограммы этого совещания не опубликованы, но имеется запись. См. «Посев», 13 янв. 1967; см. также Эрнст Генри [С. Н. Ростовский] в «Гранях», № 63, 1967, стр. 195).

(обратно)

833

57. Erickson, pp. 433-4.

(обратно)

834

58. См. Trybuna Ludu, 23 ноября 1961.

(обратно)

835

59. См. Wilhelm Hoettl, The Secret Front, New York, 1954, pp. 77–78. Оригинальное издание этой книги на немецком языке вышло в Австрии под псевдонимом: Waiter Hagen).

(обратно)

836

60. Напр., Лев Никулин, «Тухачевский», Москва, 1964, стр. 193; Н. С. Хрушев в заключительном слове на XXII съезде КПСС (см. XXII (В русском переводе, выпущенном изд. им. Чехова, см. кн. 1, стр. 307–308). съезд, т. 11, стр. 585-6); Winston Churchill, The Second World War, vol. 1, London, 1948, p. 225.

(обратно)

837

61. См. Erickson, p. 433.

(обратно)

838

62. См. Trybuna Ludu, 23 ноября 1961 (доклад Гомулки на XIX пленуме ЦК ПОРП).

(обратно)

839

63. Л. Никулин, «Маршал Тухачевский», Москва, 1964, стр. 193; более подробная версия дается в «Огоньке», № 13, март 1963; Л. Никулин, «Последние дни маршала».

(обратно)

840

64. Winston Churchill, The Second World War, vol. 1, London, 1948, p. 225.

(обратно)

841

65. См. «Українська радянська енциклопедія», 1959-65 (ст. «Шмидт»).

(обратно)

842

66. Krivitsky, p. 27.

(обратно)

843

67. Д. В. Панков, «Комкор Эйдеман», Москва, 1965, стр. 103.

(обратно)

844

68. Панков в «Вопросах истории КПСС», № 12, 1964 («Солдат революции»). См. также П. Н. Александров и др., «Командарм Уборевич, Воспоминания друзей и соратников», составители: П. Н. Александров, А. Т. Якимов, В. И. Уборевич-Боровская, М. С. Ангарский, Москва, 1964, стр. 243.

(обратно)

845

69. Д. В. Панкратов в «Вопросах истории КПСС», № 12, 1964 («Солдат революции»).

(обратно)

846

70. Я. П. Дзенит в сборнике «Маршал Тухачевский», стр. 134.

(обратно)

847

71. Никулин, стр. 189.

(обратно)

848

72. Ген. — лейтенант П. А. Ермолин в сборнике «Маршал Тухачевский», стр. 128.

(обратно)

849

73. Ермолин, там же; см. также «Военно-исторический журнал», № 10, 1965.

(обратно)

850

74. Никулин, стр. 190.

(обратно)

851

75. П. Якир и Геллер, стр. 229.

(обратно)

852

76. П. Н. Александров и др., «Командарм Уборевич, Воспоминания друзей и соратников». Составители: П. Н. Александров, А. Т. Якимов, З. И. Уборевич-Боровская, М. С. Ангарский, Москва, 1964, стр. 231 -33.

(обратно)

853

77. Там же, стр. 223 и 243,

(обратно)

854

78. А. В. Горбатов, «Годы и войны», Москва, 1965, стр. 122.

(обратно)

855

79. П. Якир и Геллер, стр. 229.

(обратно)

856

80. Подробности ареста Якира известны теперь по многим источникам — в частности, по книгам Дубинского (стр. 263–264), П. Якира и Геллера (стр. 231–232).

(обратно)
857
81. «Правда», 1 июня 1937 (Хроника).
(обратно)
858
82. См. Weissberg, Conspiracy of Silence, p. 428; Krivitsky, p. 254.
(обратно)
859
83. Ю. П. Петров, стр. 299.
(обратно)
860
84. «Красная звезда», 13 апр. 1962.
(обратно)
861
85. «Военно-исторический журнал», № 5, 1964. I
(обратно)
862
86. Krivitsky, p. 255.
(обратно)
863
87. См., напр., «Красную звезду», 6 июня 1937.
(обратно)
864
88. «Правда», 13 июня 1937: «Приказ Народного комиссара обороны СССР № 96 от 12 июня 1937 г.»
(обратно)
865
89. Дубинский, стр. 265.
(обратно)
866
90. См. XXII съезд КПСС, т. II, стр. 403 (выступ. Шелепина).
(обратно)
867
91. См. Ю.П.Петров, стр. 299
(обратно)
868
92. Там же, стр. 300.
(обратно)
869
93. Л. Никулин в «Огоньке», № 1 3, март 1 963 («Последние дни маршала»). (В книге Никулина этого места нет).
(обратно)
870
94. Выступление П. И. Якира на совещании по истории Великой Отечественной войны в Институте Маркса-Энгельса-Ленина (См. «Посев», 13 янв. 1967).
(обратно)
871
95. «Дело Бухарина», стр. 1 1
(обратно)
872
96. См. Krivitsky, p. 255.
(обратно)
873
97. Дубинский, стр. 267
(обратно)
874
98. Л. Никулин в «Огоньке», № 1 3, март 1 963 («Последние дни маршала»). (В книге Никулина первая версия [«Скажите, это вам снилось?»] отсутствует).
(обратно)
875
99. Дубинский, стр. 268.
(обратно)
876
100. См., например, П. Н Александров и др., «Командарм Уборевич», стр. 243.
Последнее верно, только если гены, отвечающие за эти признаки распложены на разных хромосомах.

(обратно)
877
101. См., напр., сборник «Герои гражданской войны», стр. 120.
(обратно)
878
102. Эренбург, собр. соч., т. 9, стр. 190 («Люди, годы, жизнь», кн. 4, гл. 28).
(обратно)
879
103. См. Orlov, p. 243.
(обратно)
880
104. XXII съезд КПСС, т II, стр. 586-7 (Закл. слово Хрущева).
(обратно)
881
105. Там же, стр. 403 (Выст. Шелепина).

- (обратно)
882
106. П. Якир и Геллер, стр. 230-1
(обратно)
883
107. См. «Казахстанскую правду», 15 окт 1963.
(обратно)
884
108. См. Buber-Neumann, Als Cefangene bei Stalin und Hitler, s. 57
(обратно)
885
109. П. Якир и Геллер, стр. 231
(обратно)
886
110. XXII съезд КПСС, стр. 586 (Закл. слово Хрущева).
(обратно)
887
111. «Більшовик України», № 6, 1938
(обратно)
888
112. Александров и др., стр. 233.
(обратно)
889
113. Varmine, p. 8.
(обратно)
890
114. Л. Никулин в «Огоньке», № 13, 1963 («Последние дни маршала»)
(обратно)
891
115. Ekart, Vanished Without a Trace, p. 244.
(обратно)
892
116. Л. Никулин, «Маршал Тухачевский», Москва, 1964, стр. 191
(обратно)
893
117. Wolin and Slusser, Police, p. 194.
(обратно)
894
118. П. Якир. Письмо в ред. «Коммуниста» (см. «Посев», № 5, 1969).
(обратно)
895
119. См. Сов. ист. энциклопедию, т IV, стр. 1 16 и 1 80-181; о Геккере см также «Военно-исторический журнал», № 5, 1966. В 3-м издании Б. С. Э., 1971 г., дата его смерти дана годом позже—1 июля 1938. Быть может, это опечатка.
(обратно)
896
120. Varmine, p. 8.
(обратно)
897
121. Tokayev, Betrayal of an Ideal, p. 244.
(обратно)
898
122. Маршал С. С. Бирюзов, «Советский солдат на Балканах», Москва, 1963, стр. 141-2.
(обратно)
899
123. Там же.
(обратно)
900
124. А. Т. Стученко, «Завидная судьба», Москва, 1964, стр. 63.
(обратно)
901
125. Там же, стр. 64.
(обратно)
902
126. Varmine, pp. 6-8.
(обратно)
903
127. Горбатов, стр. 123.
(обратно)
904
* Щаденко заменил на этом посту М. П. Амелина, который вскоре, 8 сентября 1937 г., был расстрелян. (См. «Укр. Ист. Журнал» № 6, 1 963.)
(обратно)
905
128. И. Т. Старинов, «Мины ждут своего часа», Москва, 1964, стр. 157 и 158.
(обратно)
906
129. Горбатов, стр. 123-4.
(обратно)
907
130. Weissberg, p. 422-3.

(обратно)
908
131. О Сердиче см.: Очак, «Д. И. Сердич — красный командир», Москва, 1964: см. также Стученко, стр. 261.
(обратно)
909
132. См. «Беларусь», № 7, 1965.
(обратно)
910
133. «Военно-ист. журнал», № 8, 1966.
(обратно)
911
134. См. Ю. П. Петров, стр. 299–300. (В собр. соч. Сталина этого выступления нет.)
(обратно)
912
135. См. «Красную звезду», 2 июня 1937; см. также у Петрова, стр. 302.
(обратно)
913
136. С. Смирнов в сборнике «Комиссары», Москва, 1961 («В сердце осень», биогр. очерк об А. С. Булине).
(обратно)
914
137. Ю.П. Петров, стр. 302.
(обратно)
915
138. См. «Красную звезду», 1 июня 1937.
(обратно)
916
139. См. «Грани», № 63, 1967.
(обратно)
917
140. Ю. П. Петров, стр. 300.
(обратно)
918
141. Там же, стр. 302.
(обратно)
919
142. Там же, стр. 301–302.
(обратно)
920
143. Там же, стр. 302.
(обратно)
921
144. Там же, стр. 307.
(обратно)
922
145. Там же, стр. 312.
(обратно)
923
146. Там же, стр. 303 прим.
(обратно)
924
147. Там же, стр. 300 и след.
(обратно)
925
148. См. Ленин, Собр. соч., т. 51, стр. 527 (Биогр. справка) и Б.С.Э., 3-е издание, 1970, т. 1, стр. 444.
(обратно)
926
149. М. С. Э., 3-е изд., т. I, Москва, 1958, стр. 285 (ст. «Алкенис»).
(обратно)
927
150. Токаев, р. 189.
(обратно)
928
151. Лагерная судьба Тодорского описана Борисом Дьяковым в «Октябре», № 7, 1964 («Повесть о пережитом»).
(обратно)
929
152. Горбатов, стр. 126.
(обратно)
930
153. Там же, стр. 132.
(обратно)
931
154. Там же, стр. 133-34.
(обратно)
932
155. Beck and Godin, p. 48.
(обратно)
933
156. XXII съезд КПСС, т. II, стр. 586 (Закл. слово Хрущева).
(обратно)

934
157. Beck and Godin, p. 48.
(обратно)
935
158. Weissberg, p. 27.
(обратно)
936
159. См. «Красную звезду», 2 марта 1965 (К 70-летию со дня рождения Урицкого).
(обратно)
937
160. Б. С. Э., 3-е изд., 1970, т. III.
(обратно)
938
161. И. Эренбург, Собр. соч... т. 9, стр. 139 («Люди, годы, жизнь», кн. 4, гл. 21) и «Новый мир», № 5, 1962.
(обратно)
939
162. Orlov, p. 241.
(обратно)
940
163. Эренбург, там же, стр. 143 и «Новый мир», № 5, 1962.
(обратно)
941
164. Маршал Р. Я. Малиновский в сборнике «Под знаменем Испанской республики», Москва, 1965, стр. 190.
(обратно)
942
165. См. Джилас, «Разговоры со Сталиным», стр. 9.
(обратно)
943
166. Эрнст Генри (Ростовский) в «Гранях», № 63, 1967,
(обратно)
944
167. См. Erickson, p. 475.
(обратно)
945
168. XVIII съезд КПСС, Стенограф, отчет, Москва, 1939, стр. 422.
(обратно)
946
169. Н.Г.Кузнецов в «Октябре», № 1 1, 1965 («Перед войной»), стр. 143
(обратно)
947
170. Иванов-Разумник, «Тюрьмы и ссылки», стр. 280.
(обратно)
948
171. См. А.Басов в «Военно-ист. журнале», № 11, 1965.
(обратно)
949
172. По Сов. ист. энц. (ст. «Кожанов» и «Гиттис») Кожанов был расстрелян одновременно с комкором Гиттисом 22 авг. 1938 г.; см. также Алафузов в «Военно-ист. журнале», № 3, 1964.
(обратно)
950
173. Сов. ист. энц.; см. также Кузнецов в «Военно-ист. журнале», № 6, 1965; С.Е.Захаров и др., «Тихоокеанский флот», Москва, 1966, стр. 135.
(обратно)
951
174. Солженицын, Собр. соч., т. I, стр. 92 («Один день Ивана Денисовича»)
(обратно)
952
175. И. Исаков в «Новом мире», № 8, 1961 («Пари летучего голландца»), стр. 177.
(обратно)
953
176. См. Ю.П.Петров, стр. 301.
(обратно)
954
177. «Военно-исторический журнал», № 6, 1963, стр. 76.
(обратно)
955
178. Orlov, p. 246.
(обратно)
956
179. Weissberg, p. 481.
(обратно)
957
180. См. «Правду», 17 февр. 1964 (К 75-летию со дня рождения Дыбенко).
(обратно)
958
181. Souvarine, Stalin, p. 242.
(обратно)
959
182. «Герои гражданской войны», стр. 338.
(обратно)

960

183. Barmine, p. 95.

(обратно)

961

184. См. Erickson, pp. 66–67.

(обратно)

962

185. См. Сов. ист. энциклопедический словарь; Украинский радянський енциклопедичний словник; «Военный вестник», № 9, 1966; «Военно-ист. журнал», № 9, 1966; Б. С. Э. Возможно, что вместе с ними был взят и командарм Левандовский, смерть которого указывается в различных советских источниках 29 июля 1937 года. Левандовский, однако, упоминается как командующий и после этой даты (см., напр., Корицкий в «Заре Востока», 21 марта 1965). А в «Военно-ист. журнале», № 4, 1965 указывается, что он умер в 1938 году.

(обратно)

963

186. Дата Смерти Грязнова в Сов. ист. энциклопедический словарь — 29 июля 1938 (см. т. 4, стр. 862). То же и в 3-м изд. Б. С. Э. (т. 7, 1972, стр. 418). И. Кузнецов и И. Полонский в «Военно-ист. журнале», № 2, 1963 утверждают, однако, что Грязнов «трагически погиб» 21 авг. 1940 г.

(обратно)

964

187. Другие советские источники, как, например, Александров («Командарм Уборевич») датируют смерть Ковтюха 1943 годом; Леонид Петровский в своем письме в ЦК КПСС утверждает, что Ковтюх «погиб, замученный в Лефортовской тюрьме».

(обратно)

965

188. См. Сов. ист. энциклопедический словарь.

(обратно)

966

189. См. там же.

(обратно)

967

1. См. «Правду», 14 апр. 1937.

(обратно)

968

2. XXII съезд КПСС, т. 3, стр. 114.

(обратно)

969

3. Советский историк Рой Медведев в своей работе «Нужно ли реабилитировать Сталина?» утверждает, что в 1937–38 годах было ликвидировано девять процентов состава областных и городских комитетов партии. См. Roy Medvedev, *Faut-il Rehabiliter Staline?* Paris, 1969, p. 42. (На русском языке книга не вышла).

(обратно)

970

4. См. «Правду», 21 марта 1937.

(обратно)

971

5. XXII съезд КПСС, т. 3, стр. 120.

(обратно)

972

6. См. «Правду», 30 мая 1937.

(обратно)

973

7. См. «Правду», 5 июня 1938.

(обратно)

974

8. Ciliga, *The Russian Enigma*, p. 48.

(обратно)

975

9. Там же, стр. 160.

(обратно)

976

10. См. «Дело Бухарина», стр. 148.

(обратно)

977

11. Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС, стр. 26.

(обратно)

978

12. Там же, стр. 26–27.

(обратно)

979

13. «Дело Зиновьева», стр. 34.

(обратно)

980

14. «Ленинград», Энциклопедический справочник, Москва-Ленинград, 1957, стр. 783.

(обратно)

981

15. Там же, стр. 724.

(обратно)

982

16. Энциклопедический словарь, т. 2, Москва, 1964, стр. 405.

(обратно)

983

17. «Из истории гражданской войны», т. 1, Москва, 1960, стр. 793, прим. 146.

(обратно)

984
18. «Очерки истории Ленинграда», т. 4, Москва-Ленинград, 1964, стр. 381.
(обратно)
985
19. Brzezinski, *The Permanent Purge*, p. 226.
(обратно)
986
20. XXII съезд КПСС, т. 3, стр. 119.
(обратно)
987
21. См. БСЭ, 2-ое изд., т. 23, стр. 141-2 (статья «Косыгин»).
(обратно)
988
22. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 23.
(обратно)
989
23. Там же, стр. 27.
(обратно)
990
24. XXII съезд КПСС, т. 3, стр. 153.
(обратно)
991
25. Там же, стр. 159 (выст. Ю. М. Вечеровой).
(обратно)
992
26. Аркадий Васильев, «Вопросов больше нет». См. журнал «Москва» № 6, 1964, стр. 45–50 (глава «Одна бессонная ночь»).
(обратно)
993
27. Fainsod, *Smolensk under Soviet Rule*, p. 59–60.
(обратно)
994
28. Там же, стр. 132–137.
(обратно)
995
29. «Бакинский рабочий», 17 июня 1962.
(обратно)
996
30. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 27.
(обратно)
997
31. А. Авторханов в «Посеве», 7 янв. 1951; (он же) *Uralov, The Reign of Stalin*, p. 147.
(обратно)
998
32. См. «Правду», 18 сент. 1964 (К 70-летию со дня рождения И. М. Варей киста).
(обратно)
999
33. «Дело Бухарина», стр. 74.
(обратно)
1000
34. См. Д. А. Лаппо в «Вопросах истории КПСС» № 1 1, 1963 («Стойкий ленинец»).
(обратно)
1001
35. См. XXII съезд КПСС, т. I, стр. 291 (выст. К. Т. Мазурова).
(обратно)
1002
36. XXII съезд КПСС, т. I, стр. 291.
(обратно)
1003
37. См. «Рабочий» (Минск), 8 июня 1937.
(обратно)
1004
38. См. «Известия», 23 мая 1964.
(обратно)
1005
39. XX! I съезд КПСС, т. I, стр. 291.
(обратно)
1006
40. См. «Рабочий» (Минск), 12 авг. 1937.
(обратно)
1007
41. Beck and Godin, *The Russian Purge*, p. 92.
(обратно)
1008
42. Brzezinski, pp. 180-4.
(обратно)
1009
43. См. «Коммунист» (Армения), 28 нояб. 1963.
(обратно)
1010

44. См. Б. Николаевский, примечания к Crimes of the Stalin Era (Английское издание доклада Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС). Прим. 58 и 3.
(обратно)
1011
45. См. «Правду», 23 июня 1929.
(обратно)
1012
46. «Дело Пятакова», стр. 74/48.
(обратно)
1013
47. «Дело Бухарина», стр. 275.
(обратно)
1014
48. Orlov, The Secret History of Stalin's Crimes, p. 249.
(обратно)
1015
49. «Бюллетень оппозиции», №№ 56, 57, 1937.
(обратно)
1016
50. См. Г. А. Дзидзария в «Вопросах истории КПСС», № 5, 1963 («Отважный революционер»).
(обратно)
1017
51. См. Souvarine, Stalin, London, 1937, postscript, p. 638.
(обратно)
1018
52. См. П. Якир — письмо в ред. журнала «Коммунист», 2 марта 1969 («Посев» № 5, 1969).
(обратно)
1019
53. XVIII съезд ВКП[б], стр. 578.
(обратно)
1020
54. См. «Коммунист» (Армения), 15 нояб. 1961.
(обратно)
1021
55. Там же, см. также XXI i съезд КПСС, т. 2, стр. 404 (выст. Шелепина).
(обратно)
1022
56. Mary Matossian, The Impact of Soviet Policies in Armenia, Leyden, 1 962, p. 159.
(обратно)
1023
57. «Коммунист» (Армения), 15 нояб. 1961.
(обратно)
1024
58. Там же.
(обратно)
1025
59. См. «Заря Востока», 31 дек. 1937.
(обратно)
1026
60. См. Гинзбург, «Крутой маршрут», стр. 129.
(обратно)
1027
61. Sullivant, Soviet Politics and the Ukraine, p. 194.
(обратно)
1028
62. Сталин, Собр. соч., т. 8, Москва, 1948, стр. 150 (Письмо Кагановичу 26 апр. 1926 г.).
(обратно)
1029
63. Токаев, Betrayal of an Ideal, p. 57.
(обратно)
1030
64. См. VIII съезд РКП[б], Протоколы, Москва, 1959, стр. 80.
(обратно)
1031
65. Sullivant, Soviet Politics and the Ukraine, p. 193.
(обратно)
1032
66. XVII съезд ВКП[б]. Стеногр. отчет, Москва, 1934, стр. 141.
(обратно)
1033
67. См. отчетный доклад С. Косиора на XIII съезде КП[б]У. Опубликован также в «Правде», 29 мая 1937.
(обратно)
1034
68. См. «Правду», 26 мая 1937, статья: С. Коснор «К XIII съезду большевиков Украины».
(обратно)
1035
69. См. отчетный доклад XIII съезду КП[б]У. Цитируем русский текст по «Правде», 29 мая 1937.
(обратно)
1036

70. См. «Партийное строительство», № 15, 1937.
(обратно)
1037
71. См. «Бішовик України», № 6, 1938.
(обратно)
1038
72. См. «Правду», 21 июля 1937.
(обратно)
1039
73. Там же, 22 июля 1937.
(обратно)
1040
74. Там же, 25 июля 1937.
(обратно)
1041
75. См. Suliivant, pp. 217–226 (в частности, стр. 222).
(обратно)
1042
76. Этот эпизод, впервые рассказанный А. Авторхановым (в «Посеве» № 45 и № 50, 1950), позднее подтвержден югославскими источниками, которые, впрочем, по имени называют лишь Молотова «с двумя членами советского политбюро». См. Vladimir Dedijer, *Tito Speaks*, London, 1953, p. 102.
(обратно)
1043
77. «Правда», 2 сент. 1937.
(обратно)
1044
78. Там же, 21 и 22 июля 1937.
(обратно)
1045
79. Там же, 4 окт. и 29 дек. 1937.
(обратно)
1046
80. Там же, 25 сент. 1937.
(обратно)
1047
81. «Володимир Петрович Затонський» (по-украински), Киев, 1964, стр. 132.
(обратно)
1048
82. Ф. Бега и В. Александров, «Петровский», Москва, 1963.
(обратно)
1049
83. М. Д. Беднов в «Вопросах истории КПСС» № 6, 1 963 («Несгибаемый коммунист»).
(обратно)
1050
84. «Правда», 19 янв. 1938.
(обратно)
1051
85. См. XVIII съезд ВКП[б], Москва, 1939, стр. 595 (выст. 3. Т. Сердюка).
(обратно)
1052
86. Brzezinski, *The Permanent Purge*, p. 78.
(обратно)
1053
87. «Правда», 22 февр. 1938. Имя Маршака окончательно исчезло из всех списков в мае 1938 г.
(обратно)
1054
88. Weissberg, pp. 461-2.
(обратно)
1055
89. См. «Вісті», 28 янв. 1938.
(обратно)
1056
90. Sullivant, p. 223.
(обратно)
1057
91. XVIII съезд ВКП[б], стр. 238 (выст. Бурмистенко).
(обратно)
1058
92. Edward Stettinius, Jr., *Roosevelt and the Russians: The Yalta Conference*, New York, 1949, p. 187.
(обратно)
1059
93. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 40.
(обратно)
1060
94. Там же, стр. 27–28.
(обратно)
1061
95. Там же, стр. 27.
(обратно)

1062

96. Roy Medvedev, p. 43.

(обратно)

1063

97. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 28.

(обратно)

1064

98. XXII съезд КПСС, т. 3, стр. 152.

(обратно)

1065

99. «Правда», 3 апреля 1964.

(обратно)

1066

100. Иванов-Разумник, «Тюрьмы и ссылки», стр. 345; p. 241.

Последнее верно, только если гены, отвечающие за эти признаки распложены на разных хромосомах.

(обратно)

1067

101. Weissberg, p. 168.

(обратно)

1068

102. Fitzroy Maclean, p. 28.

(обратно)

1069

103. Cesko-slovensky casopis historicky, № 4, 1964.

(обратно)

1070

104. Гинзбург, «Крутой маршрут», стр. 150.

(обратно)

1071

105. Аллилуева, «Только один год», стр. 356.

(обратно)

1072

106. «Дело Бухарина», стр. 251.

(обратно)

1073

107. Louis Fischer, Men and Politics, 1941, p. 414.

(обратно)

1074

108. Varmine, One Who Survived, p. 307.

(обратно)

1075

109. «Дело Бухарина», стр. 229.

(обратно)

1076

110. Там же, стр. 54.

(обратно)

1077

111. Там же, стр. 687.

(обратно)

1078

112. XXII съезд КПСС, т. 2, стр. 404. См. также «Правду», 77 окт. 1961, стр. 10.

(обратно)

1079

113. XI съезд РКП[б], Москва, 1961, стр. 832 (биограф. справка).

(обратно)

1080

114. «Дело Бухарина», стр. 408–416.

(обратно)

1081

115. См. «Правду», 17 нояб. 1964 (К 75-летию со дня рождения А. М. Назаретяна).

(обратно)

1082

116. Гинзбург, стр. 183 (В собр. соч. Сталина это выступление не включено).

(обратно)

1083

117. «Дело Бухарина», стр. 75 (показания обвиняемого Гринько).

(обратно)

1084

118. Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС, стр. 45.

(обратно)

1085

119. Там же; см. также И. Т. Леонов в «Вопросах истории КПСС» № 11, 1965 «Григорий Наумович Каминский — к 70-летию со дня рождения».

(обратно)

1086

120. А. С. Яковлев, «Цель жизни», Москва, 1966, стр. 77.

(обратно)

1087

121. См. «Известия», 19 дек. 1964: М. Ефимов «Посланец Питерских рабочих. К 70-летию со дня рождения Н. К. Антипова».

(обратно)
1088
122. «Дело Бухарина», стр. 186.
(обратно)
1089
123. Beck and Godin, p. 80.
(обратно)
1090
124. Kravchenko, I Chose Justice, p. 235.
(обратно)
1091
125. См. «Правду», 22 июля 1937.
(обратно)
1092
126. Там же, 17 марта 1937.
(обратно)
1093
127. Б. С Э., 2-е изд., т. 51, 1958 г., стр. 301.
(обратно)
1094
128. «Правда», 21 авг. 1937.
(обратно)
1095
129. Там же, 22 авг. 1937.
(обратно)
1096
130. Там же, 30 окт. 1937.
(обратно)
1097
131. «Из истории гражданской войны», т. 1, Москва, 1960, стр. 807, прим. 234.
(обратно)
1098
132. См. «Правду», 8 сент. 1937.
(обратно)
1099
133. Ленин, Собр. соч., т. 50, стр. 572 (биогр. справка).
(обратно)
1100
134. «Дело Бухарина», стр. 675.
(обратно)
1101
135. Louis Fischer, Men and Politics, 1941, p. 409.
(обратно)
1102
136. «Дело Бухарина», стр. 708.
(обратно)
1103
137. Vagmine, p. 245.
(обратно)
1104
138. «Дело Бухарина», стр. 548. %
(обратно)
1105
139. Н. В. Жогин в «Советском государстве и праве», № 3, 1965; см. так же Kravchenko, I Chose Justice, p. 157.
(обратно)
1106
140. «Дело Бухарина», стр. 613.
(обратно)
1107
141. А. Биневич и З. Серебрянский, «Андрей Бубнов», Москва, 1964 стр. 78–79; Об аресте Бубнова см. также «Вопросы истории КПСС» № 4 1963 (К 80-летию со дня рожд. Бубнова).
(обратно)
1108
142. XXII съезд, т. 2, стр. 403.
(обратно)
1109
143. Beck and Godin, p. 97.
(обратно)
1110
144. Buber-Neumann, Als Gefangene bei Stalin und Hitler, s. 29.
(обратно)
1111
145. См. напр. «Правду», 2 мая 1937; 31 окт. 1937.
(обратно)
1112
146. «Вопросы истории КПСС», № 2, 1963.
(обратно)
1113
147. См. «Правду», 25 дек. 1964; см. также «Вопросы истории КПСС», № 7, 1964.

(обратно)
1114
148. R. H. Bruce Lockhart, *Memoirs of a British Agent*, London, 1932, p. 257.
(обратно)
1115
149. Иванов-Разумник, стр. 350.
(обратно)
1116
150. «Советская юстиция» № 10, 1965 («Крыленко как судебный оратор»)
(обратно)
1117
151. *Souvarine, Stalin*, p. 526.
(обратно)
1118
152. Иванов-Разумник, стр. 350-51.
(обратно)
1119
153. D. J. Richards, *Sovief Chess*, Oxford, 1956, p. 57.
(обратно)
1120
154. «Из истории гражданской войны», т. 2, стр. 782, прим. 73.
(обратно)
1121
155. Георгий Марягин, «Постышев», стр. 297.
(обратно)
1122
156. См. «Советское государство и право», № 3, 1965, а также «Вопросы истории КПСС», № 7, 1965.
(обратно)
1123
157. См. «Правду», 2 нояб. 1937.
(обратно)
1124
158. Там же, 10 нояб. 1937.
(обратно)
1125
159. Там же, 20 дек. 1937.
(обратно)
1126
160. Lermolo, *The Face of a Victim*, p. 233-4.
(обратно)
1127
161. «Дело Бухарина», стр. 25-26.
(обратно)
1128
162. Там же, стр. 26-27.
(обратно)
1129
163. Lermolo, p. 275.
(обратно)
1130
164. Б. С. Э, 2-е изд., т. 51 (дополнительный), Москва, 1958, стр. 218 (статья «Орахелашвили»); см. также Энци. словарь, т. 2, стр. 138.
(обратно)
1131
165. См. «Правду», 10 июня 1963 (к 80-летию со дня рождения Орахелашвили).
(обратно)
1132
166. Там же, 21 дек. 1937.
(обратно)
1133
167. Там же, 19 янв. 1938; «КПСС в резолюциях», 7-е изд., т. 2, Москва, 1953, стр. 849.
(обратно)
1134
168. См. «КПСС в резолюциях», 7-е изд., т. 2, стр. 852-3: «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП[б] и о мерах по устранению этих недостатков».
(обратно)
1135
169. Г. Марягин, «Постышев», стр. 298.
(обратно)
1136
170. Этот эпизод передавался по московскому радио 8 февр. 1964.
(обратно)
1137
171. См. П. Якир — письмо в ред. журнала «Коммунист», 2 марта 1969 («Посев», № 5, 1969).
(обратно)
1138
172. «Дело Пятакова», стр. 207/90.
(обратно)
1139
173. «Станислав Викентьевич Косиор» (по-украински), Киев, 1963, стр. 173; см. также «Правду», 28 янв. 1938.

(обратно)

1140

174. См. Стенографический отчет Первой сессии Верховного Совета СССР, Москва, 1938.

(обратно)

1141

175. Ю. П. Петров, «Партийное строительство в Советской Армии», стр. 300.

(обратно)

1142

176. См. «КПСС в резолюциях», 7-е изд., т. 2, стр. 851.

(обратно)

1143

177. См. «Правду» 19 янв. 1938.

(обратно)